

Вадим Кожевников

6

В
КВадим
КОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений

К Вадим Кожевников

Собрание
сочинений
в девяти
томах



Москва
«Художественная
литература»
1987

К Вадим Ожевников

Собрание
сочинений
Том
шестой

Щит и меч

Роман

Книга первая



Москва
«Художественная
литература»
1987

ББК 84Р7
К58

Оформление художника
Ю. Б о я р с к о г о

К $\frac{4702010200-015}{028(01)-87}$ подписное

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1987 г.

Книга первая

Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин, по национальности немец.

Сотрудники латвийского уголовного розыска установили: убийство совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенно и бесшумно убивающие жертву.

Хотя у погибшего были похищены различные ценности — обручальное кольцо, часы, бумажник, — однако часть этих вещей удалось обнаружить в свертке, брошенном в канализационный колодец, что исключало версию об убийстве с целью грабежа.

Скорее можно было предполагать организованную террористическую акцию.

Убит был крупный специалист в области радиотехники — инженер Рудольф Шварцкопф.

Его сын Генрих Шварцкопф, студент Рижского политехнического института, потрясенный смертью отца, не дал никаких показаний.

В уголовный розыск был вызван Иоганн Вайс, слесарь-механик из авторемонтной мастерской, принадлежащей Фридриху Кунцу.

По имеющимся сведениям, Иоганн Вайс в день убийства длительное время находился в квартире Шварцкопфа, где монтировал какие-то приборы, заказанные инженером. Кроме того, Вайс состоял в дружеских отношениях с сыном Шварцкопфа, который увлекался мотоциклетными гонками, и Вайс, будучи хорошим механиком, внес полезные усовершенствования в принадлежащий Генриху Шварцкопфу мотоцикл фирмы «Цундап». Было известно, что Иоганн Вайс аккуратно посещает собрания «Немецко-балтийского народного объединения» и бесплатно отремонтировал автомашину крейслейтера ¹ этого объединения, адво-

¹ Районного руководителя (нем.).

ката Себастьяна Функа, у которого он в свободное время работал шофером.

На допросе Иоганн Вайс вел себя крайне сдержанно, отвечал на вопросы уклончиво. А когда молодой сотрудник латвийского уголовного розыска в раздражении упрекнул Вайса, что тот не желает помочь следствию, хотя убит его соотечественник, Иоганн Вайс ответил, что не видит ничего удивительного в том, что убит именно его соотечественник. Ведь латыши относятся сейчас к немцам крайне недружелюбно.

Эти слова возмутили следователя. И он стал упрекать Вайса: как, мол, ему, молодому рабочему, не стыдно говорить подобные вещи. Разве Вайс не понимает, что именно теперь, как никогда, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех рабочих, независимо от их национальности?

Вайс слушал серьезно, внимательно, но по его холодному, спокойному лицу нельзя было понять, как он воспринимает то, что говорит ему следователь — тоже молодой рабочий, только недавно ставший сотрудником уголовного розыска.

Из уголовного розыска Вайс пошел в кафе, где заказал пиво, сосиски и неторопливо позавтракал. И столь же неторопливо отправился на остановку, пропустил один трамвай, сел только в следующий и всю дорогу меланхолично глядел в окно. Не доезжая остановки до дома, где жил крейслейтер «Немецко-балтийского народного объединения» адвокат Себастьян Функ, вышел и поспешно, чуть ли не бегом устремился вперед.

Себастьян Функ, унитанный, широкоплечий, почти квадратный человек с тугим животом и тяжело обвисшими щеками, нетерпеливо топтался возле подъезда своего дома. Когда Вайс подал к парадному старомодный «адлер», Функ с трудом влез на переднее сиденье и сердито спросил:

— Почему я должен ждать машину, а не машина меня?

Вайс кротко ответил:

— Извините, господин Функ, но у меня большие неприятности.

— Какие еще могут быть у тебя неприятности? — брезгливо буркнул Функ и пообещал: — Это я тебе сегодня сделаю неприятность. — Но все-таки, смилостивившись, осведомился: — Ну, что у тебя там такое?..

По мере того как Вайс подробно рассказывал, о чем его допрашивали в уголовном розыске, лицо Функа приобрета-

ло все более благодушное выражение. Он похлопал шофера по плечу:

— Это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник-немец. Ты немец.

— Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. И я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом.

— Ничего не понадобится,— небрежно сказал Функ.— Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать.

— Ну какой же я рабочий? — горячо возразил Вайс.— Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке.

— Да, и потому, что ты этого не знал, ты несколько месяцев так трогательно ухаживал за своей больной тетушкой, что вся община говорила о тебе как об исключительно порядочном юноше. Не удивляйся. Я, как крейслейтер, считаю своим долгом знать о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь.

— Но я же любил свою тетушку, хотя, конечно, сильно огорчился, что не получил наследства.

Функ покачал головой.

— Я полагаю, на кладбище ты плакал в равной мере и о тетушке, и о наследстве...— Спросил сухо: — Ты все еще колеблешься — ехать тебе на родину или оставаться с большевиками?

— Господин Функ,— сказал Вайс,— теперь я решил: ехать, и как можно скорее.

— Почему теперь, а не раньше?

— Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал ее фиктивным владельцем. Я думал, что у меня здесь будет больше перспектив, чем на родине. Но мне теперь ясно, мастерскую конфискуют. И я буду вынужден пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь.

— Вот теперь я слышу голос немецкой крови! — одобрительно закивал головой Функ.

Вечером, когда Вайс, вымыв машину, протирал стекла замшевым лоскутом, в гараже неожиданно появился Функ (раньше он туда никогда не приходил) и спросил:

— Ты собираешься сегодня к сыну Шварцкопфа, чтобы выразить ему соболезнование?

— Его отец всегда хорошо ко мне относился.

— Это я знаю,— сердито сказал Функ,— но не могу понять почему.

— Я всегда аккуратно выполнял его заказы.

— И еще?

— Я помогал ему в свободное время, ведь он был изобретатель.

— А над чем он работал?

— К сожалению, я недостаточно образован, чтобы понимать, над чем он работал.

— Да, глупая у тебя голова,— изрек Функ. Понизил голос, сказал твердо и веско: — А теперь слушай. Если ты решил уехать на родину, то это вовсе не означает, что ты уедешь туда, потому что мы этого еще не решили. Но мы решим, чтобы ты уехал, если уедет Генрих Шварцкопф. А чтобы он уехал, ему надо знать, что так же собирался поступить его отец.

— А разве он этого не знает?

— До последнего дня не знал. Он не знал, что недавно Рудольф прислал мне письмо... Ты скажешь Генриху, что у меня есть такое письмо.

— А может, лучше просто показать письмо Генриху, ведь он всегда делал то, чего хотел его отец.

Функ поморщился, но тут же, смягчаясь, сказал:

— Я тебе доверяю, Иоганн, доверяю, как своему сыну. Это письмо у меня пропало. Я думаю, его похитили агенты НКВД. И это они убили Рудольфа Шварцкопфа. Он им был нужен как крупный инженер, понимающий толк в технике военной связи. И когда они узнали, что Шварцкопф собирается уехать, убили его.— Произнес высокопарно: — Теперь наш долг — вернуть родине сына Шварцкопфа, дядя которого сейчас большой человек в Германии. Он мечтал прижать к сердцу брата и племянника, и я обещал ему, что по возвращении в Германию Шварцкопфы будут в исключительно привилегированном положении по сравнению со всеми нами.— Спросил: — Ты все понял?

— Да, я скажу Генриху, что буду самым преданным ему человеком, если он согласится в ближайшие дни уехать.

— Это так, но и мне ты тоже кое-чем обязан,— напомнил Функ. — Без моего согласия тебе не выбраться отсюда.

Даже лучший специалист не смог придать умиротворенного выражения искаженному ужасом лицу Рудольфа Шварцкопфа, — в гробу его прикрыли крепом.

Немцы, жившие в Риге, недолюбливали Шварцкопфа за высокомерие, проявляемое к влиятельным соотечественни-

кам, и за слишком демонстративное уважение к профессору Гольдблату.

Дружить с евреем, пусть даже он гений, — ведь это вызов обществу!

Ходили слухи, будто бы Шварцкопф потребовал от сына, чтобы тот просил руки дочери профессора Гольдблата. Правда, поговаривали также, что если соединить работу Гольдблата — ученого-теоретика с энергичной деятельностью Шварцкопфа в области техники, то это сулит такие патенты, приобретением которых могут заинтересоваться даже великие державы.

Высокий, статный, со строгим лицом и надменными манерами, Рудольф Шварцкопф сумел создать себе репутацию волевой, решительной натуры, но, в сущности, был человеком крайне неуравновешенным, мнительным и болезненно самолюбивым.

Нежелание Шварцкопфа переселяться в Германию объяснялось главным образом тем, что у него там был младший брат, которого он не без основания считал бездарным, тупым пруссаком. Прижитый отцом от горничной еще при жизни жены и впоследствии усыновленный, он теперь стал крупной фигурой в гитлеровском рейхе. И он, несомненно, воспользуется своим положением, чтобы по своему отомстить старшему брату за его брезгливо-высокомерное отношение к себе: будет оказывать ему снисходительное покровительство, требуя взамен почтительности к своей матери, бывшей горничной Анни, а ныне вдовствующей госпоже фон Шварцкопф.

Рудольф Шварцкопф знал почти все, что имело отношение к радиотехнике, и почти ничего не знал в других областях человеческой мысли.

К фашизму он относился терпимо, считая, что фашизм выражает слепое отчаяние нации, униженной военным поражением. И победы, которые одержала сейчас Германия в Европе, он объяснял тем, что народы поверженных государств обладают нормальным человеческим мышлением, чуждым идеям иступленной жертвенности во имя мирового господства или любви к отечеству.

Брат Рудольфа, штурмбанфюрер Вилли Шварцкопф, неоднократно писал крейслейтеру Функу, что теперь, когда Латвия стала социалистической, дальнейшее пребывание там Рудольфа может повредить его, Вилли, партийной карьере, и требовал от крейслейтера принятия решительных мер.

Незадолго до убийства Рудольфа Шварцкопфа инженера посетил председатель Совнаркома Латвии и спросил, как тот отнесется к выдвижению его кандидатуры на пост директора научно-исследовательского института.

Шварцкопф сказал, что подумает.

В тот же день к нему без предупреждения явился крейслейтер Функ и с возмущением заявил, что немецкие круги в Риге считают поведение Шварцкопфа предательским по отношению к национальным интересам рейха.

Генрих не придавал особого значения чрезвычайной взволнованности отца после этого визита. Раздраженное самолюбие инженера особенно страдало, когда ему напоминали о брате-штурмбанфюрере, проявляющем большую осведомленность о всех его делах и поступках.

Успокоился Шварцкопф только тогда, когда Иоганн Вайс принес заказанные ему приборы, выполненные не только с особой тщательностью, но и с дополнительными техническими усовершенствованиями, которые не были предусмотрены в чертежах.

Иоганн Вайс держал себя у Шварцкопфа непринужденно, но с тем особым тактом, который невольно импонировал инженеру, не терпевшему никакой фамильярности.

Вайса отличали сдержанность, готовность услужить, но не было в нем и тени угодливости. Чувствовалось, что он преклоняется перед знаниями своего патрона. Однако его любознательность в области техники не простиралась дальше заказов, которые он выполнял. И когда Шварцкопф увлеченно начинал рассказывать о задуманных работах, Вайс вежливо напоминал, что он недостаточно образован и, к сожалению, ему трудно понять технические идеи, которые развивает перед ним господин Шварцкопф.

С Генрихом Шварцкопфом у Вайса были самые дружеские отношения, но и с ним он вел себя со скромным достоинством человека, отлично сознающего разделяющее их неравенство в положении.

Несмотря на это, Генрих неоднократно уверял, что Иоганн — настоящий друг, и даже ввел его в дом профессора Гольдблата, дочь которого, Берта, по воскресеньям собирала у себя молодежь, преимущественно музыкальную. Берта училась в консерватории, но уже давала концерты, и не только в Латвии: года два назад она выступала в Стокгольме и Копенгагене. На музыкальных вечерах Иоганн Вайс скромно сидел где-нибудь в уголке. А перед ужином отправлялся на кухню и помогал кухарке нарезать

тонкими ломтиками ветчину для сэндвичей, откупоривал бутылки, колот лед для коктейлей.

Когда Генрих спрашивал Иоганна, какого он мнения о Берте, Вайс говорил:

— Красивая!

— Ну, а еще?

— Талантливая...

— Ну-ну, дальше? — нетерпеливо требовал Генрих.

— Будет знаменитой.

Генрих мрачнел и говорил, нервно дергая плечом:

— Вот именно. И ей нужен супруг, который будет таскать за ней чемоданы, оклеенные этикетками всех отелей мира. А отец требует, чтобы я женился на этой гордячке во имя его целей; он хочет сделать профессора сотрудником своей фирмы «Рудольф Шварцкопф».

— Но почему ты считаешь ее гордячкой?

— А потому, что она мечтает о личной власти над толпой так же, как мы, немцы, о мировом господстве!

— Ну, это не одно и то же...

Генрих произнес раздраженно:

— Отец, пожалуй, не очень-то симпатизирует фашизму. Он сам хочет прибрать к рукам Гольдблата, претворить его замыслы в патенты и стать единоличным властелином фирмы, торгующей техническими идеями. И таким способом диктовать свою волю самым крупным мировым концернам.

— Он технократ и фантазер.

— Но он очень талантливый человек. А я?

Вайс заколебался:

— Ты слишком разбрасываешься. И, по-моему, излишне увлекаешься спортом.

— Это помогает ни о чем не думать.

— По-моему, это невозможно — не думать.

— Вот я и стремлюсь к невозможному, — резко закончил разговор Генрих.

Иоганн Вайс последние месяцы всегда сопровождал Генриха на мотодром и на взморье, где Генрих тренировался на мотоботе.

Месяца три назад, когда они однажды вышли в море в плохую погоду, разразился шторм. Сильной волной мотобот перевернуло. Вайс спас Генриха. Но, когда Генрих торжественно заявил, что вся Рига узнает о подвиге Иоганна, Вайс попросил Генриха никому об этом не говорить: если появится заметка в газете, владелец автомастерской

Фридрих Кунц уволит его с работы, потому что владельцы мастерских, обслуживающих моторные суда, обвинят Кунца в том, что он нарушает коммерческие правила, посылая своего рабочего обслуживать спортивные катера.

Просьбу Иоганна Генрих выполнил. Сдержанность Вайса он считал выражением ограниченности его натуры, чуждой страстей, увлеченности чем-либо возвышенным, а его рассудочность принимал за чисто национальный практицизм, внушенный старонемецкой добропорядочностью, не более.

О своем детстве Вайс рассказывал неохотно, ссылаясь на то, что рано осиротел. Работал он на ферме, принадлежавшей эмигрантам из России. Родственную ласку узнал, только поселившись у тетки, которая взяла его к себе, когда к ней пришло одиночество и страх смерти. Эта тетка помогла ему снова почувствовать себя немцем. У нее была хорошая библиотека. И только из книг Иоганн узнал кое-что о своей родине, которую он, конечно, любит, но, увы, недостаточно знает. Но лекции в клубе объединения помогли ему более полно узнать то, что он знал лишь поверхностно.

В мотоклубе Вайс бывал только в качестве личного механика Генриха и никогда не переступал черты, отделяющей технического рабочего от истинного спортсмена. Он не отказывался подготовить машину к пробегу, произвести на месте мелкий ремонт, но, закончив работу, каждый раз писал на листке блокнота счет, вручал его владельцу машины и недовольно хмурился, если оплату затягивали.

Получая сверх положенного, он сдержанно благодарил, но никогда при этом не улыбался.

Со спортсменами держал себя с чопорной вежливостью. И хотя он нравился некоторым девицам в вызывающе обтягивающих фигуру кожаных костюмах, ни одну из них он не соглашался сопровождать в далекие загородные поездки. И когда Генрих, смеясь, спросил, не боится ли он потерять невинность, Иоганн серьезно ответил, что больше всего боится потерять работу в мастерской: он только следует правилам поведения, которые ему внушил господин Фридрих Кунц.

Генрих назвал это проявлением рабской психологии.

Иоганн ответил, что настолько дорожит своей службой, что ради нее готов отказаться от многих удовольствий.

Генрих усмехнулся:

— На твоем месте я бы из одного чувства классового

протеста поторжествовал над буржуазией. Тем более — внешние данные для этого у тебя вполне подходящие.

Иоганн пожал плечами и заявил, что, хотя теперь он действительно рабочий, это вовсе не означает, что он останется им навсегда.

— Ну да, — усмехнулся Генрих, — ты рассчитываешь, что, как только переселишься в рейх, перед тобой откроются блестящие перспективы!

— Нет, — сказал Иоганн, — на особо блестящие перспективы я не рассчитываю. Я знаю, что в Германии меня сразу возьмут в солдаты.

— И все-таки хочешь уехать.

— Я не расстался со своими колебаниями, — с грустью признался Иоганн, — но я немец, и долг для меня превыше всего, хотя я и понимаю, что быть солдатом не самая завидная участь.

— Не унывай, старина! — Генрих снисходительно хлопал его по плечу. — Дядя Вилли заочно испытывает ко мне родственные чувства. Он большой человек, и даже если мы с отцом не поедem в Германию, мы дадим или, вернее, я дам тебе письмо к дяде, и он тебя сунет куда-нибудь, где тебе будет потеплее. Можешь быть уверен.

— Я буду за это весьма признателен, — учтиво сказал Вайс, — тебе, твоему отцу и господину Вилли Шварцкопфу.

— Ну, отец-то его недолюбливает, считает плебеем, ревнует к фамильной чести нашего рода. А дядя меня очень зовет, писал, что уже заказал специально для меня гоночную машину в Праге — он там близкий человек к гаулейтеру. Сейчас он снова в Берлине, но обещал, что встретит нас с отцом на новой границе новой Германии и что мы даже не подозреваем, как она от нас близка.

— А какого класса машина? — заинтересовался Иоганн.

— В письме дядя подробно описал все ее технические достоинства.

— Мне было бы интересно ознакомиться.

— Пожалуйста. — Генрих протянул письмо Иоганну. Вайс спросил:

— Но ты не возражаешь?

— Ну что ты!

Вайс пробежал письмо глазами, воскликнул восхищенно:

— Поздравляю! Это же отличная машина. — И вдруг заторопился, вспомнив, что обещал хозяину выполнить одну срочную работу.

Иоганн Вайс отправился к Шварцкопфам, надев черный галстук. Домоправительница принимала соболезнующих визитеров в гостиной. Люстра была затянута черным крепом.

Генрих Шварцкопф не выходил из кабинета отца. Но Вайсу домоправительница сказала, что молодой хозяин ждет его. Вайс полагал, что найдет Генриха убитым отчаянием, и был несколько удивлен, увидев, что тот деловито разбирает бумаги отца и укладывает их в два больших кожаных чемодана. Не подавая Иоганну руки, он сказал:

— Я уезжаю. Дядя сообщил телеграммой, что выедет встречать. — Лицо его было бледным, но не горестным, а скорее каким-то ожесточенным. Спросил вскользь: — Ты готов меня сопровождать?

Вайс кивнул. Потом добавил:

— Если крейсleiter господин Функ оформит мой выезд.

— Функ сделает все, что я ему прикажу, — властно заявил Генрих и злобно добавил: — Дядя писал, что этим типом еще займется гестапо. Функ должен был знать, что агенты НКВД готовят покушение на отца, чтобы помешать ему покинуть Латвию. И не принял мер для его спасения. Я уверен, Функ — советский агент. Он сам признался, что чувствует себя косвенным виновником смерти отца. Красным нужно было запугать немцев, которые решили покинуть Советскую страну. Функ утверждает, что якобы не знал, кого они намечают жертвами.

— И давно у Функа появились такие подозрения?

— Какое мне дело, давно или недавно! Важно то, что он сам мне в этом признался. И поплатился за это.

В комнату вошла Берта Гольдблат. Генрих окинул ее взглядом, заметил:

— О! Тебе идет черное!

Девушка, делая вид, что не придает значения этим словам, или действительно пренебрегая ими, осторожно и нежно притронувшись длинными, тонкими пальцами к плечу Генриха, сказала:

— У папы сердечный приступ. Он просит извинить, что не мог навестить тебя. — И, снимая черные перчатки, сообщила: — Мне предложили выступить с концертной программой в Москве, но я отказалась. — Она опустила глаза, как бы объясняя причину: — У тебя такое горе, Генрих!..

Генрих дернул плечом.

— Евреи — в Москву! Немцы — в Берлин! — Оглянулся на Вайса, показав глазами на Берту, спросил: — Любуешься, верно? Ей идет черное! Но в Берлине ты не увидишь еврейки, которая носила бы траур по немцу.

Берта гордо вскинула голову.

— В Берлине вы не увидите и немку, которая носила бы траур по евреям, которых там убивают...

— Фашисты, — добавил Вайс.

— Давайте лучше выпьем, — примирительно предложил Генрих и, наливая вино в бокалы, озабоченно сказал: — Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта. Но у меня к нему неотложная просьба, которую он, как честный человек, несомненно бы выполнил. Поэтому я обращаюсь с той же просьбой к тебе. У вас в доме есть некоторые бумаги, касающиеся работ моего отца. Я прошу, чтобы мне их вернули, хотелось бы получить их сегодня же.

— Но твой отец работал вместе с моим. Как я могу без помощи папы отличить, какие именно бумаги принадлежат твоему отцу?

— Это тебе посоветовал... Функ? — спросил Вайс у Генриха.

Генрих замялся. Он никогда не лгал. Произнес уклончиво:

— Разве я не могу настаивать, чтобы все, что принадлежало отцу, было возвращено мне, как наследнику?

— А мне кажется, на этом настаивает Функ, — сказал Вайс.

Генрих бросил гневный взгляд на Иоганна, но тот, ничуть не смущаясь, объяснил:

— Господин крейслейтер обязан в какой-то степени заниматься всеми делами здешних немцев — это естественно. — И предложил: — Если хочешь, я помогу фрейлейн Берте разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк твоего отца, кроме того, он поручал мне незначительные чертежные работы.

— Да, пожалуй, — согласился Генрих.

Берта вздохнула с облегчением:

— Будет лучше всего, если Иоганн мне поможет.

Раздался телефонный звонок. Вайс снял трубку, подавая ее Генриху, сказал:

— Профессор Гольдблат.

— Да, — сказал Генрих, — я вас слушаю... Да, я разре-

шил крейслейтеру войти в курс всех дел по наследству. Но послушайте... Да выслушайте меня!.. — Он с растерянным видом повернулся к гостям...

Берта, побледнев, поднялась с кресла. Вайс, с чрезмерным вниманием разглядывая свои новенькие ботинки, пробормотал:

— А мне казалось, что покойный господин Шварцкопф никогда не выражал ни дружеских чувств, ни особого доверия к Функу и был бы очень удивлен, узнав, что тот проявил такую заботу о его работах.

Берта сказала дрожащим, срывающимся голосом:

— Я очень сожалею, Генрих. Очень. Я должна идти. — Холодно кивнула и вышла из комнаты.

— Проводи, — попросил Генрих.

Вайс вышел вслед за Бертой. Она шла молча, быстро.

— Что с ним? — спросила она, не поворачивая головы к Вайсу.

Тот пожал плечами.

— Его окружают сейчас те, кого не очень-то жаловал Рудольф Шварцкопф.

— Но ведь невозможно так сразу стать совсем другим.

— Вы его любите?

— Да, мне нравится Генрих. Но я никогда не была в него влюблена.

— А он?

— Вы знаете его лучше, чем я. Вы извините, но я возьму такси. Я уверена, у отца обыск. Там какие-то люди из немецкого объединения. Это может убить его.

— А почему бы вам немедленно не обратиться к властям? Ну хотя бы для того, чтобы были свидетели?

— Ну вот вы и будете свидетелем.

— Я не могу, — поспешно сказал Вайс, — господин крейслейтер может помешать моему отъезду, и...

— Вы тоже становитесь коричневым, Вайс. Вы мне неприятны. Я прошу вас оставить меня. — И Берта перешла на другую сторону улицы.

Вайс вернулся к Шварцкопфу.

Генрих спросил:

— Ну?

— Она не ожидала от тебя этого.

— Я спрашиваю, не что она, а что ты обо мне думаешь.

Вайс поудобнее уселся в кресле, закурил.

— Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца представляют ценность, тебе следовало самому взять их

у профессора. Отвези их в Германию и там предложишь какой-нибудь фирме.

— О! Ты, я вижу, стал рационально мыслить. И не желаешь замечать, что я вел себя как подлец.

— Я уже говорил, что ты следовал наставлениям Функа, а твой отец его не уважал. Вот и все. Кроме того, я еще не проникся сознанием своего арийского превосходства, чтобы говорить так, как ты с Бертой.

— Ты любишь евреев?

— Влюблен в Берту не я, а ты.

— Мне надоело слушать, что она талантливая, знаменитость! А я...

— Что ты?

— Обыкновенная посредственность.

— Ну, ерунда. Если ты пойдешь по стопам отца, ты займешь надлежащее место в жизни. И в этом тебе мог бы помочь профессор Гольдблат.

— Каким образом?

— Тебе ничего не советовал по этому поводу дядя Вилли?

— Да, он писал... что, если Гольдблат согласится уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея и он сможет в полной безопасности продолжать свою работу. Но под руководством отца.

— Значит, твой дядя будет огорчен, когда узнает, что ты поссорился с дочерью профессора.

— А какое ему дело?

— Ну как же! Ты мог бы содействовать приезду в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя Вилли был бы в восторге от своего племянника.

— Ты что, действительно считаешь меня негодяем?

— Нет, почему же? Если рейху нужен ценный еврей, надо делать то, что нужно рейху.

— Ты как-то странно изменился, Иоганн. Почему?

— Ты тоже. И, возможно, оттого, что мы оба начинаем думать так, как полагается думать наци.

— Но это отвратительно — то, что ты мне сейчас говорил.

Вайс пожал плечами.

Генрих задумался. Потом спросил:

— Значит, ты советуешь мне не уезжать отсюда и стать если не зятем, то хотя бы учеником Гольдבלата?

— А что тебе говорил Функ?

— Он требует, чтобы я не медлил с отъездом.

— Тогда что ж, тогда у меня к тебе одна просьба: скажи Функу, что берешь меня с собой.

— Я и не мыслю иначе. Какие могут быть препятствия?

— Но ты ему так скажешь?

— Без тебя я не поеду, — твердо заявил Генрих, — ты сейчас единственный близкий мне человек. — Улыбнувшись, он проговорил: — Я даже не могу понять: ведь знакомы мы всего несколько месяцев, а у меня такое ощущение, будто ты мой лучший друг.

— Благодарю тебя, Генрих, — сказал Иоганн.

Генрих пожал протянутую руку, помедлил и обнял Вайса...

Рано утром, как всегда точно, минута в минуту, Иоганн Вайс подал машину к подъезду.

Функ приказал ехать в гавань.

Последние переселенцы должны были отправиться по железной дороге. Несмотря на это, Функ, пользуясь ранее выданным ему пропуском, каждый день посещал Рижский порт, обходил причалы и просил Вайса фотографировать его на фоне портовых сооружений.

Развалившись на сиденье, Функ заметил одобрительно:

— Аккуратность и точность — отличительная черта немца. Ты был вчера вечером у Генриха Шварцкопфа?

— Да, господин крейслейтер.

— Кто еще там был?

— Дочь профессора.

— Как провели время?

— Берта и Генрих поссорились.

— Причина?

— Генрих дал ей почувствовать свое расовое превосходство.

— Мальчик становится мужчиной. При тебе звонил профессор?

— Да, господин крейслейтер.

— У Генриха испортилось настроение после разговора с профессором?

— Нет, господин крейслейтер, я этого не заметил. Но он был взволнован.

— Чем?

— Разрешите высказать предположение?

Функ кивнул.

— Рудольф Шварцкопф работал под руководством

профессора. И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, чтобы некоторые, особо важные работы его отца, выполненные совместно с профессором, не были потеряны для рейха.

— Генрих растет на глазах,— одобрил Функ.— Не только его, но и нас это тоже беспокоит. Но дочь Гольдблата привела в дом латышей, которые представляют советскую власть, и они не разрешили взять бумаги — описали их и опечатали. Мы обратились с протестом к своему консулу.

— Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги Шварцкопфа были возвращены наследнику.

— Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть Генриху и то, что не полностью принадлежало его отцу.

— И теперь ничего нельзя сделать?

— Мы думаем,— со вздохом произнес Функ,— что потеряли эту возможность.— Он взглянул на своего шофера.— Ты мне будешь рассказывать про Генриха все, как сейчас?

— Я это делаю охотно, господин крейслейтер.

— И будешь делать впредь, даже если тебе не захочется.— Он помолчал.— Ты выедешь в Германию вместе с Генрихом. Так мы решили. Ты доволен?

— Да, господин крейслейтер. Я рассчитываю на Генриха, его дядя может помочь мне попасть в тыловую часть. Не очень хотелось бы сразу на фронт.

Функ усмехнулся:

— Ты со мной откровенен. Это хорошо! А то я не мог понять, почему ты так бескорыстно дружишь с Генрихом. Это подозрительно.

В гавани Функ приветствовал служащих порта, поднимая сжатый кулак и произнося при этом:

— Рот фронт!

Но никто не отвечал ему тем же. Рижские портовики хорошо знали, кто такой Функ.

Несколько десятков тысяч немцев, живших в Латвии, имели свое самоуправление: «Дойчбалтише фольксгемейншафт» — «Немецко-балтийское народное объединение», которое расчленилось на отделы: статистический, школьный, спортивный, сельскохозяйственный и другие.

Статистический отдел занимался регистрацией всех немцев по месту жительства. Для этого страна была разделена на районы — «дойчбалтише нахбаршафтен».

В провинции, где жило сравнительно мало немцев, главным образом фермеры, нахбаршафт соответствовала области, а в городах Риге, Либаве и других — району.

Начальник района именовался нахбарифюрер. Пять-шесть районов составляли зону — крейс, во главе которой стоял крейслейтер. Каждый, кто принадлежал к организации, платил в нее членские взносы. Когда в сентябре 1939 года началось переселение желающих вернуться на родину немцев, «Немецко-балтийское народное объединение» возглавило всю работу с переселенцами. Был составлен план. Назначены для каждой зоны день и час выезда.

За несколько дней до отъезда к переселенцам направлялись плотники, доставлялись упаковочные материалы. Все имущество, включая мебель, укладывали в ящики и на машинах отвозили в гавань.

Пароходы были германские. Пассажирские суда предоставила немецкая туристская компания общества «Крафт дурх фрейде» — «Сила через радость».

В назначенный час переселенцы на автобусах приезжали в гавань и садились на пароходы, которые следовали в Данциг, Штеттин, Гамбург.

К лету 1940 года переселение в основном закончилось — в Латвии осталась лишь небольшая группа немцев. Это были люди, не пожелавшие уехать, главным образом из-за смешанных браков, и те, кто не хотел жить в Германии по политическим мотивам. Но нашлись латыши, которые, тоже по политическим причинам, стремились уехать в Германию, и им удалось за весьма крупные денежные суммы оформиться членами «Немецко-балтийского народного объединения».

Изучая деятельность «объединения», работники советских следственных органов установили: некоторые активисты — тайные члены национал-социалистической партии — почему-то не репатриировались с первыми группами. И для того, чтобы их дальнейшее пребывание в Латвии не так бросалось в глаза, они искусственно задерживали отъезд многих лояльно настроенных немцев.

Но когда несколько активистов были уличены в шпионаже, из Берлина крейслейтерам общества пришло распоряжение немедленно завершить репатриацию. Очевидно, Берлин счел, что целесообразнее убрать свою явную агентуру, чем обострять и без того достаточно обоснованное недоверие правительства социалистической Латвии.

Но за это время небольшая, правда, группа лояльно настроенных немцев — к ним принадлежал и инженер Рудольф Шварцкопф — решила остаться в Латвии. Надо полагать, что руководители общества после провала своих аген-

тов понимали, что в рейхе их за это не похвалят, а тут еще несколько немцев не пожелали возвращаться на родину!

Террористический акт был возмездием ослушнику и предупреждением колеблющимся.

Это хорошо понимали работники следственных органов. Но задержать сейчас подозреваемых виновников преступления не представлялось возможным. По межгосударственному соглашению, немецкое население должно было беспрепятственно покинуть Латвию. Нарушение договора грозило дипломатическими осложнениями. А прямых улик против Функа и его ближайших помощников пока не было.

3

Когда Иоганн Вайс пришел в автомастерскую, где он жил в отгороженной фанерой каморке, он застал у себя нахбарнфюрера Папке, который вместе с рабочим-упаковщиком приехал за его вещами. Вайс улыбнулся, поздоровался, вежливо поблагодарил Папке за любезность.

На полу высилась стопка книг, и среди них «Майн кампф» Гитлера, из которой во множестве торчали бумажные закладки.

Папке сказал, беря эту книгу в свои толстые руки с короткими пальцами:

— Это приятно свидетельствует о том, что у тебя на плечах неплохая голова. Но имеется еще одна книга, которая также должна сопутствовать немцу на всем пути его жизни. Я ее не вижу.

Вайс достал из-под матраца Библию и молча протянул Папке.

Папке перелистал страницы, заметил:

— Но я не вижу, чтобы ты так же старательно читал эту священную книгу.

Вайс пожал плечами:

— Извините, господин нахбарнфюрер, но для нас, молодых немцев, учение фюрера так же свято, как и Священное писание. Вы как будто этого не одобряете?

Папке нахмурился.

— Не собираешься ли ты сообщить об этом первому же гестаповцу, как только переедешь границу?

И хотя всем немцам в Риге, а значит и Вайсу, было известно, что нахбарнфюрер Папке — давний сотрудник гестапо, чего тот, в сущности, и не скрывал, Иоганн обидчиво возразил ему:

— Вы напрасно, господин Папке, пытаетесь внушить мне странное представление о деятельности гестапо. Но если мне будет предоставлена честь быть чем-нибудь полезным рейху, я оправдаю это высокое доверие всеми доступными для меня способами.

Папке рассеянно слушал. Потом, будто это его не очень интересовало, спросил безразличным голосом:

— Кстати, как там дела у Генриха Шварцкопфа? Удалось ему получить все бумаги отца?

— Вас интересуют бумаги, принадлежащие лично Шварцкопфу, или вообще *все*? *Все*, — подчеркнул он, — какие можно было взять у профессора Гольдблата?

— Допустим, так, — сказал Папке.

Вайс вздохнул, развел руками:

— К сожалению, здесь возникли чисто юридические затруднения — так я слышал от Генриха.

— И как он предполагает поступить в дальнейшем?

— Мне кажется, Генриха сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли Шварцкопфом. Всему остальному он не придает никакого значения.

— Очень жаль, — недовольно покачал головой Папке. — Очень! — Но тут же добавил: — Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приходится считаться с его дядей.

Вайс заметил не совсем уверенно:

— Мне думается, что штурмбанфюрер вначале желал, чтобы Генрих остался тут.

— Зачем?

Вайс улыбнулся.

— Я полагаю, чтоб чем-то быть полезным рейху.

— Ну, для такой роли Генрих совсем не пригоден, — сердито буркнул Папке. — Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие делу люди. — Произнес обиженно: — Неужели штурмбанфюрер не удовлетворен нашими кандидатурами?

— Этого я не могу знать, — сказал Вайс и спросил с хитрецей в голосе: — А что, если попросить Генриха узнать у Вилли Шварцкопфа, какого он мнения о тех лицах, которых вы отобрали? — Пояснил поспешно: — Я это предлагаю потому, что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не очень-то к вам расположен, и, если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен.

— Я это знаю, — угрюмо согласился Папке и, внезапно

улыбнувшись, с располагающей откровенностью сказал: — Ты видишь, мальчик, мы еще не вступили в рейх, не исполнили своего долга перед рейхом, а уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? Каждому хочется откусить кусок побольше, хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов. — Улыбка Папке стала еще более доверительной. — Сказать по правде, сначала я не слишком хорошо относился к тебе. Для этого имелись некоторые основания. Но сейчас ты меня убедил, что мои опасения были излишними.

— Я очень сожалею, господин нахбарнфюрер.

— О чем?

— О том, что вы только сейчас убедились, что ваше недоверие ко мне было необоснованным.

— В этом виноват ты сам.

— Но, господин Папке, в чем моя вина?

— Ты долго колебался, прежде чем принял решение репатриироваться.

— Но, господин Папке, я не хотел терять заработка у Рудольфа Шварцкопфа. Он всегда щедро платил.

— Да, мы проверили твои счета Шварцкопфу. Ты неплохо у него зарабатывал. И мы поняли, почему ты ставил свой отъезд в зависимость от отъезда Шварцкопфов.

— Это правда — мне хотелось накопить побольше. Зачем же на родине мне быть нищим?

Папке сощурился:

— Мы проверили твою сберегательную книжку. Все свои деньги ты взял из кассы накануне того, как подал заявление о репатриации. И правильно реализовал свои сбережения. Это мне тоже известно. Ты человек практичный. Это хорошо. Я рад, что мы с пользой поговорили. Но не исключено, что в день отъезда я пожелаю с тобой еще о чем-нибудь побеседовать.

— К вашим услугам, господин нахбарнфюрер. — Вайс щелкнул каблуками.

Папке уехал в коляске мотоцикла, за рулем которого сидел упаковщик, человек с замкнутым выражением лица и явно военной выправкой.

Вайс устало опустился на койку и потер ладонями лицо, будто стирая с него то выражение подобострастия, с каким он проводил нахбарнфюрера до ворот мастерской. Когда он отнял ладони, лицо его выглядело бесконечно утомленным, тоскливым, мучительно озабоченным.

Небрежно отодвинув ногой стопку книг, в том числе

«Майн кампф» и Библию, он сел к сколоченному из досок столу. Включил стоящую на нем электрическую плитку, хотя в каморке было тепло. Из мастерской слышались шаги. Вайс быстро поднялся и вышел в мастерскую. Там его уже ожидал пожилой человек в черном дождевике — владеец велосипеда, недавно отданного в ремонт.

Вайс сказал, что машину можно будет получить завтра.

Но человек не уходил. Внимательно разглядывая Иоганна, он сказал:

— Я знал вашего отца, он медик?

— Да, фельдшер.

— Где он сейчас?

— Умер.

— Давно?

— В тысяча девятьсот двадцатом году.

— Где же его похоронили?

— Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших.

— Но, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца?

— Да, конечно.

— Я помню его довольно хорошо, — сказал человек раздумчиво. — Он был страстный курильщик. Вот только забыл: он курил трубку или сигары? — Попросил: — Напомните, пожалуйста, что курил ваш отец.

Иоганн замялся, припоминая все виденные им фотографии фельдшера Макса Вайса, — ни на одной из них он не был изображен ни с трубкой, ни с сигарой во рту.

Человек сказал строго:

— Но я отлично помню, он курил большую трубку. У вас в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой.

— Вы ошибаетесь, мой отец был медик и внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья, — твердо отрезал Иоганн.

— Очевидно, вы правы, — согласился человек. — Извините.

Вайс проводил его до двери, запер мастерскую и вышел на улицу. Было сумрачно, шел мелкий, невидимый в темноте дождь. Он направился в сторону порта, но, не доходя до него, свернул в переулок и спустился по грязным ступеням в подвал пивного зала «Марина».

Усевшись за столик, он попросил у кельнера порцию черного пива, картофельный салат, свиную ножку с капустой.

Трое латышей — портовых рабочих, увидев свободные места, подсели к Вайсу. Они были заметно навеселе, но потребовали еще по порции водки и по бокалу пива. Не обращая внимания на Вайса, они продолжали спор, который, видимо, их очень волновал.

Разговор шел о пакте ненападения, заключенном между Советским Союзом и Германией. Рабочие говорили, что, хотя советские войска стоят сейчас на новой границе, следовало бы создать латышское рабочее ополчение, чтобы оно могло оказать помощь Красной Армии, если Гитлер обманет Сталина. Как о вполне допустимом, говорили они, что Гитлер может напасть на Латвию, и хотя еще не все латыши на стороне советской власти, большинство будут драться с немцами, потому что в буржуазной Латвии немцы вели себя, как в своей колонии. И уже по одному этому следовало дать оружие народу, для которого немцы — давние отъявленные враги-захватчики. Сухонький, малорослый латыш в бобриковой куртке возражал товарищам, утверждая, что надо прежде всего произвести проверку даже в партийных рядах, выявить тех, кто колебался во времена фашистского режима Ульманиса, выбросить их из партии. Охватить проверкой всех, включая и рабочих, и только тогда можно будет решать, кто заслуживает доверия.

Остановив взгляд в поисках союзника на Вайсе, латыш в бобриковой куртке спросил:

— Ну, а ты, парень, что думаешь?

Вайс помедлил, потом произнес раздельно, с наглой смелостью глядя в глаза напряженно ожидающим его ответа рабочим:

— Ты правильно говоришь, — кивнул он в сторону латыша в бобриковой куртке. — Зачем легкомысленно доверять рабочему классу? Надо его сначала проверить. Но пока вы, латыши, будете друг друга проверять, мы, немцы, придем и установим здесь свой новый порядок.

Положил деньги на стол, поднялся и пошел к выходу.

Человек в бобриковой куртке хотел броситься на Вайса с кулаками, но приятели удержали его. Один из них сказал:

— Он правильно тебя понял. Выходит, то, о чем ты говорил, устраивает сейчас немцев, а не нас, латышей. Что получается: этот немец, наверное, гитлеровец, хотя и был полностью на твоей стороне, но поддержал не тебя, а нас против тебя.

Выйдя из пивной, Вайс зашагал к гавани. Дождь усилился. Казалось, кто-то шлепает по асфальту босыми

ногами. Черная вода тяжело плюхалась о бетонные сваи причалов. Рыбаки в желтых проолифленных зюйдвестках при свете бензиновых ламп выгружали улов в большие плоские корзины.

На причале толпились торговцы, приехавшие сюда на пароконных телегах. Вайс укрылся от дождя под навесом, где был сложен различного рода груз.

К нему подошел невысокий человек в старенькой тирольской шляпе, вежливо приподнял ее, обнажив при этом лысую голову, и осведомился, который теперь час. Вайс, не взглянув на часы, ответил:

— Без семи минут.

Человек, тоже не посмотрев на свои часы, почему-то удивился:

— Представьте, на моих то же самое. Какая точность! — Взяв под руку Вайса и шагая с ним в сторону от причала, пожаловался: — Типичная гриппозная погода. Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцекса. Можете называть меня просто Бруно. — Искоса глянул на Вайса. — Я весь к вашим услугам. — Спросил строго: — Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней и я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии за неблаговидное...

— Вы собираетесь учинить мне здесь экзамен? — недружелюбно спросил Вайс. — Один я уже как будто бы выдержал.

— Отнюдь! — запротестовал Бруно. Но тут же сам возразил себе: — А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня — нисколько. — Спросил: — Хотите конфетку? Сладкое удивительно благотворно действует на нервную систему.

Вайс спросил хмуро:

— Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?

Бруно опустил глаза и, не отвечая на вопрос, осведомился:

— Вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? — Поднял глаза, неодобрительно поглядел на низко нависшие тучи, произнес скучным голосом: — Я бы на вашем месте не проявлял столько поспешного желания ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.

— Я же хотел... — попытался оправдаться Вайс.

— Все, все понятно, голубчик, чего вы хотели, — добродушно прервал Бруно, — и вы были почти на верном пути, когда порекомендовали Папке выяснить через Генриха у Вилли Шварцкопфа список резидентов. И вы правы, Папке — тупой солдафон. Но недостатки его интеллекта полностью искупаются чрезвычайно развитой подозрительностью. Это его сильная сторона, которую вы недоучли, как недоучли и то, что Папке — мелкий гестаповец, а только самая крупная фигура в гестапо может быть осведомлена о таком важном списке. Ни Папке, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть и другие лица, совсем другие... — Бруно ласково улыбнулся Вайсу. — Но вы не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и возрасту. — Помолчав, добавил: — Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности — это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что люди, направляющие вас, достаточно осведомлены о неизвестных вам многих обстоятельствах. И всегда бывает так, что лучше отказаться от чего-то, лежащего на пути к цели, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?

— Да, — согласился Вайс. — Вы правы, я увлекся, нарушил инструкцию, принимаю ваш выговор.

— Ну что вы! — усмехнулся Бруно. — Когда дело доходит до выговора, человек уходит и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом — несколько дружеских советов. — Зевнул, пожаловался: — А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей. Плохо себя чувствую. Свинина мне противопоказана.

— Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?

— Ну что вы, Иоганн! — укоризненно заметил Бруно. — Мы же должны только на вокзале обрадоваться встрече после нескольких месяцев разлуки. Кстати, — с довольным видом сообщил Бруно, — я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии — по крайней мере, наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней не пригоден. Это — очень счастливое для меня обстоятельство. В худшем случае — служба в тыловой армейской канцелярии, против чего я бы отнюдь не возражал. И если вы напомним о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило. — Улыбнулся. — Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью... — И многозначительно подчеркнул: — Эльзой.

— Ну да, Эльзой,— уныло подтвердил Вайс.— У нее были белокурые волосы, голубые глаза, она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.

— Стандартный портрет. Но что делать, если таков был и оригинал? — пожал плечами Бруно. Потом сказал деловито: — Ну, вы, конечно, догадались, визит неизвестного и диалог о вашем отце носили чисто тренировочный характер, как, впрочем, и наша сегодняшняя встреча.— Подал руку, приподнял тирольскую шляпу с обвисшим перышком, церемонно простился: — Еще раз свидетельствую свое почтение.— И ушел в темноту, тяжело шлепая по лужам.

Во втором часу ночи, когда Вайс проходил мимо дома профессора Гольдблата, весь город был погружен в темноту, светилось только одно из окон этого дома. И оттуда доносились звуки рояля. Вайс остановился у железной решетки, окружавшей дом профессора, закурил.

Странно скорбные и гневные, особенно внятные в тишине, звуки реяли в сыром тумане улицы.

Вайс вспомнил, как Берта однажды сказала Генриху:

— Музыка — это язык человеческих чувств. Она недоступна только животным.

Генрих усмехнулся:

— Вагнер — великий музыкант. Но под его марши колонны штурмовиков отправляются громить еврейские кварталы...

Берта, побледнев, проговорила сквозь зубы:

— Звери в цирке тоже выступают под музыку.

— Ты считаешь наци презренными людьми и удивляешься, почему они...

Берта перебила:

— Я считаю, что они позорят людей немецкой национальности.

— Однако,— упрямо возразил Генрих,— не кто-нибудь, а Гитлер сейчас диктует свою волю Европе.

— Европа — это и Советский Союз?

— Но ведь Сталин подписал пакт с Гитлером.

— И в подтверждение своего миролюбия Красная Армия встала на новых границах?

— Это был ловкий фокус.

— Советский народ ненавидит фашистов!

Генрих презрительно пожал плечами.

Берта произнесла гордо:

— Я советская гражданка!

— Поздравляю! — Генрих насмешливо поклонился.

— Да, — сказала Берта. — Я принимаю твои поздравления. Германия вызывает сейчас страх и отвращение у честных людей. А у меня есть теперь отечество, и оно — гордость и надежда всех честных людей мира. И мне просто жаль тебя, Генрих. Я должна еще очень высоко подняться, чтобы стать настоящим советским человеком. А ты должен очень низко опуститься, чтобы стать настоящим наци, что ты, кстати, и делаешь не без успеха.

Вайс вынужден был тогда уйти вместе с Генрихом. Не мог же он оставаться, когда его друг демонстративно поднялся и направился к двери, высказав сожаление, что Берта сегодня слишком нервно настроена.

Но когда они вышли на улицу, Генрих воскликнул с отчаянием:

— Ну зачем я вел себя как последний негодяй?

— Да, ты точно определил свое поведение.

— Но ведь она мне нравится!

— Но почему же ты избрал такой странный способ выражать свою симпатию?

Генрих нервно дернул плечом.

— Я думаю, что было бы бесчестно скрывать от нее мои убеждения.

— А то, что ты говорил, — это твои подлинные убеждения?

— Нет, совсем нет, — вздохнул Генрих. — Меня мучают сомнения. Но если допустить, что я такой, каким был сегодня, сможет ли Берта примириться с моими взглядами ради любви ко мне?

— Нет, не сможет, — с тайной радостью сказал Вайс. — И на это тебе нельзя рассчитывать. Ты сегодня сжег то, что тебе следовало сжечь только перед отъездом. Я так думаю.

— Возможно, ты и прав, — покорно согласился Генрих. — Я что-то сжигаю в себе и теряю это безвозвратно.

Всю дорогу они молчали. И только возле своего дома Генрих спросил:

— А ты, Иоганн, тебе нечего сжигать?

Вайс помедлил, потом ответил осторожно:

— Знаешь, мне кажется, что мне скорее следовало бы подражать тебе такому, каким ты стал, чем тому Генриху, которого я знал раньше. Но я не буду этого делать.

— Почему?
— Я боюсь, что стану неприятен тебе и потеряю друга.
— Ты хороший человек, Иоганн,— сказал Генрих.—
Я очень рад, что нашел в тебе такого искреннего товарища! — И долго не выпускал руку Вайса из своей.

Дождь иссякал, опорожненное от влаги небо светлело, а музыка звучала все более гневно и страстно. Иоганн никогда не слышал в исполнении Берты эту странно волнующую мелодию. Он силился вспомнить, что это, и не мог. Встал, бросил окурок и зашагал к авторемонтной мастерской.

4

Утро было сухое, чистое.

Парки, скверы, бульвары, улицы Риги, казалось, освещались жарким цветом яркой листвы деревьев. Силуэты домов отчетливо вырисовывались в синем просторном небе с пушистыми облаками, плывущими в сторону залива.

На перроне вокзала выстроилась с вещами последняя группа немцев-репатриантов. И у всех на лицах было общее выражение озабоченности, послушания, готовности выполнить любое приказание, от кого бы оно ни исходило. На губах блуждали любезные улыбки, неведь кому предназначенные. Дети стояли, держась за руки, ожидая поглядывая на родителей. Родители в который уже раз тревожными взглядами пересчитывали чемоданы, узлы, сумки. Исподтишка косились по сторонам, ожидая начальства, приказаний, проверки. Женщины не выпускали из рук саквояжей, в которых, очевидно, хранились документы и особо ценные вещи.

Крейслейтеры и нахбарнфюреры, на которых вопросительно и робко поглядывали переселенцы, к чьей повелительной всевластности они уже давно привыкли, держали себя здесь так же скромно, как и рядовые репатрианты, и ничем от них не отличались. Когда кто-нибудь из отъезжающих, осмелев, подходил к одному из руководителей «Немецко-балтийского народного объединения» с вопросом, тот вежливо выслушивал, снимал шляпу, пожимал плечами и, по-видимому, уклонялся от того, чтобы вести себя здесь как начальственное и в чем-либо осведомленное лицо.

И так же, как все переселенцы, крейслейтеры и нахбарнфюреры с готовностью начинали искательно улыбаться, стоило появиться любому латышу в служебной форме.

Но, кроме двух-трех железнодорожных служащих, на перроне не было никого, перед кем следовало бы продемонстрировать угодливую готовность подчиняться и быть любезным.

Подошел состав. В дверях вагонов появились проводники, раскрыли клеенчатые портфельчики с множеством отделений для билетов.

Но никто из репатриантов не решался войти ни в один из трех предназначенных для них вагонов. Все ждали какого-то указания, а от кого должно было исходить это указание, никому из них ведомо не было. Стоял состав, стояли проводники возле дверей вагонов, стояли пассажиры. И только длинная, как копьё, секундная стрелка вокзальных часов, похожих на бочку из-под горючего, совершала в этой странной общей неподвижности судорожные шажки по циферблату.

Но стоило проходящему мимо железнодорожному рабочему с изумлением спросить: «Вы что стоите, граждане? Через пятнадцать минут отправление», — как все пассажиры, словно по грозной команде, толпясь, ринулись к вагонам.

Послышались раздраженные возгласы, треск сталкивающихся в проходе чемоданов.

Начальствующие руководители «объединения» и рядовые его члены одинаково демократично боролись за право проникнуть в вагон первыми. И здесь торжествовал тот, кто обладал большей силой, ловкостью и ожесточенной напористостью.

И если еще можно было понять подобное поведение людей, пытающихся первыми занять места в бесплaцкартном вагоне, то яростная ожесточенность пассажиров первого класса была просто непостижима... Между тем среди пассажиров первого класса борьба за право войти в вагон раньше других была наиболее ожесточенной. Но стоило репатриантам энергично и шумно ввалиться в вагоны и захватить в них принадлежащее им, так сказать, жизненное пространство, как почти мгновенно наступила благопристойная тишина. Всеобщее возбуждение затихло, на физиономиях вновь появилось выражение покорной готовности подчиняться любому распоряжению. И, обретя в лице проводников начальство, пассажиры улыбались им лю-

безно, застенчиво, в напряженном ожидании каких-либо указаний.

По-прежнему они — теперь через окна вагонов — бросали искоса тревожные взгляды на перрон, ожидая появления кого-то самого главного, кто мог еще все изменить по своей всевластной воле.

Но вот на перроне появился латыш в военной форме, сотни глаз устремились на него тревожно и испуганно. И, когда он шел вдоль состава, пассажиры, провожая его пытливыми взглядами, даже привставали с сидений.

Военный подошел к газетному киоску, где сидела хорошенькая продавщица, оперся локтями о прилавок и принял такую прочную, устойчивую позу, что сразу стало понятно: этот человек явился всерьез и надолго.

Как только висящие на чугунном кронштейне часы показали узорными, искусно выкованными железными стрелками время отправления, поезд тронулся. И у репатриантов началась та обычная вагонная жизнь, которая ничем не отличалась от вагонной жизни всех прочих пассажиров этого поезда дальнего следования.

Станным казалось только то, что они ни с кем не прощались. Не было перед этими тремя вагонами обычной вокзальной суматохи, возгласов, пожеланий, объятий. И когда поезд отошел, пассажиры не высовывались из окон, не махали платками, не посылали воздушных поцелуев. Этих отъезжающих никто не провожал. Они навсегда покидали Латвию. Для многих она была родиной, и не у одного поколения здесь, на этой земле, прошла жизнь, и каждый из них обрел в этой жизни место, положение, уверенность в своем устойчивом будущем. В Латвии их не коснулись те лишения, которые испытал весь немецкий народ после первой мировой войны. Их связывала с отчизной только сентиментальная романтическая любовь и преклонение перед старонемецкими традициями, которые они свято блюли. За многие годы они привыкли пребывать в приятном сознании, что здесь, на латышской земле, они благоденствуют, живут гораздо лучше, чем их сородичи на земле отчизны. И радовались, что судьба их не зависит от тех политических бурь, какие клокотали в Германии.

Долгое время для рядовых трудящихся немцев «Немецко-балтийское народное объединение» было просто культурнической организацией, в которой они находили удовлетворение, отдавая дань своим душевным привязанностям ко всему, что в их представлении являлось истинно

немецким. Но в последние годы дух гитлеровской Германии утвердился и в «объединении». Его руководители стали фюрерами, осуществлявшими в Латвии свою диктаторскую власть с не меньшей жестокостью и коварством, чем их сородичи в самой Германии.

За небольшим исключением, — речь идет о тех, кто открыто и мужественно вступал в борьбу с фашистами и в период ульманисовского террора был казнен, или находился в тюрьме, или ушел в подполье, — большинство латвийских немцев уступило политическому и духовному насилию своих фюреров. С истеричной готовностью стремились они выразить преданность Третьему рейху, всеми явными и тайными способами, сколь бы ни были эти способы противны естественной природе человека.

Дух лицемерия, страха, рабской покорности, иступленной жажды обрести господство над людьми не только здесь, но и там, где фашистская Германия распространяла свое владычество над поработоченными народами захваченных европейских государств, дух этот вошел в плоть и кровь членов «объединения», и наружу вышло все то низменное, потаенное, что на первый взгляд казалось давно изжитым, по крайней мере у тех, кто, подчеркивая свою добропорядочность, придерживался здесь, в Латвии, строгих рамок мещанско-бюргерской морали.

И хотя пассажиры этих трех вагонов вновь обрели внешнее спокойствие, с их добродушно улыбающихся лиц не сходило выражение напряженной тревоги.

Одних терзало мучительное беспокойство, что сулит им отчизна, будут ли они там благоденствовать, как в Латвии, нет ли на них «пятен», способных помешать им утвердиться в качестве новых благонадежных граждан рейха. Других, кто не сомневался, что их особые заслуги перед рейхом будут оценены по достоинству, беспокоило, смогут ли они беспрепятственно пересечь границу. Третьи — их было меньшинство — тайно предавались простосердечной скорби о покидаемой латвийской земле, которая была для них родиной, жизнью, со всеми привязанностями, какие отсечь без душевной боли было невозможно.

Но страх каждого перед каждым, боязнь обнаружить свои истинные чувства и этим повредить себе в будущем и настоящем — все это скрывалось под давно уже привычной маской лицемерия. Поэтому репатрианты старались вести себя в поезде с той обычной беспечной независимостью, которая присуща любому вагонному пассажиру.

...Иоганн Вайс не спешил занять место в бесплацкартном вагоне, он стоял на перроне, поставив на асфальт брезентовый саквояж, терпеливо ожидая, когда сможет подняться на подножку, не причинив при этом беспокойства своим попутчикам.

Неожиданно подошел Папке и рядом с брезентовым саквояжем Вайса поставил фибровый чемодан; другой, кожаный, он продолжал держать в руке.

Не здороваясь с Вайсом и подчеркнуто не узнавая его, Папке внимательно наблюдал за посадкой. И вдруг, выбрав момент, схватил саквояж Вайса и устремился к мягкому вагону.

Вайс, решив, что Папке по ошибке взял его саквояж, побежал за ним с чемоданом. Но Папке злобно прикрикнул на него:

— Зачем вы мне суете ваш чемодан? Ищите для этого носильщика.

И Вайсу пришлось проследовать в свой вагон, где он занял верхнюю полку, положив в изголовье фибровый чемодан Папке.

Вся эта история ставила Вайса в довольно затруднительное положение. Вначале он предположил, что Папке разыграл комедию для того, чтобы ознакомиться с содержимым саквояжа, и скоро вернет его, возможно, даже извинившись за «ошибку». Но потом более тягостные соображения стали беспокоить Вайса. На границе чемодан вскрыют таможенники, и в нем они могут обнаружить нечто такое, что помешает его владельцу пересечь границу, а владельцем чемодана стал сейчас Вайс.

Выбросить чемодан или, воспользовавшись подходящим моментом, подсунуть его под скамейку кому-нибудь из пассажиров — значит лишить Папке его имущества. А ведь Вайсу, после того как Функ уехал в рейх и связь с ним была потеряна, важно пользоваться и впредь расположением Папке, и он не имеет права подвергать себя риску утратить это расположение.

Напряженно ища способ распутать петлю, накинутую на него Папке, Вайс свесил с полки ноги и, мотая головой, стал наигрывать на губной гармонике тирольскую песенку, слова которой отлично знали все мужчины, однако произносить их в присутствии дам было не принято. Тем не менее женщины, слушая мелодию этой песенки, обещающе улыбались молодому озорнику, столь откровенно выражавшему свою радость по поводу отъезда на родину.

Тощий молодой немец налил в пластмассовый стаканчик водки и протянул Вайсу.

— За здоровье нашего фюрера! — Он молитвенно закрыл глаза. — Ему нужны такие молодцы, как мы.

— Хайль! — Иоганн простер руку.

Немец строго предупредил:

— Мы еще не дома. — Ухмыльнувшись, заметил: — Но мы с тобой не родственники. И если ты забудешь потом налить мне столько же из своего запаса, это будет с твоей стороны неприлично.

Пожилой пассажир со свежевыбритым жирным затылком пробормотал:

— Ты прав, мы могли быть мотами в Латвии, но не должны вести себя легкомысленно у себя дома.

Тощий спросил вызывающе:

— Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в рейхе ее нет? Ты на это намекаешь?

Пожилой пассажир, такой солидный и медлительный, вдруг начал жалко моргать, лицо его покрылось потом, и он поспешно стал уверять тощего юнца, что тот неправильно его понял. Он хотел только сказать, что надо было больше есть, чтоб меньше продуктов доставалось латышам, а в Германии он будет меньше есть, чтобы больше продуктов доставалось доблестным рыцарям вермахта.

— Ладно, — сказал тощий. — Считаю, что ты выкрутился, но только после того, как угостишь меня и этого парня, — кивнул он на Вайса. — Нам с ним нужна хорошая жратва. Такие, как ты, вислобрюхие, должны считать для себя честью угостить будущих солдат вермахта.

Когда Бруно заглянул в отделение вагона, где устроился Вайс, он застал там веселое пиршество. И только один хозяин корзины со съестным понуро жался к самому краю скамьи, уступив место у столика молодым людям.

Бруно приподнял тирольскую шляпу, пожелал всем приятного аппетита. Увидев среди пассажиров Вайса, он кинулся к нему с объятиями, весь сияя от этой неожиданной и столь счастливой встречи. И он начал с таким страстным нетерпением выпрашивать Вайса об их общих знакомых и так неудержимо стремился сообщить ему подобные же сведения, что Вайс из чувства благовоспитанности был вынужден попросить Бруно выйти с ним в тамбур, так как не всем пассажирам доставляет удовольствие слушать его громкий и визгливый голос.

Бруно, извиняясь, снова приподнял над белой лысиной

шляпу с игривым петушиным перышком и, поднеся обе ладони к ушам, объяснил, что он говорит так громко оттого, что недавно у него было воспаление среднего уха и он совсем плохо слышал даже свой собственный голос, а теперь, когда его вылечили, никак не может привыкнуть говорить нормально: то орет, как фельдфебель на плацу, то шепчет так тихо, что на него обижаются даже самые близкие люди. Кланяясь и расшаркиваясь, Бруно долго извинялся за свое вторжение и удалился с Вайсом, дружески поддерживая его под локоть.

Они вышли из тамбура на площадку между вагонами, где бренчали вафельные железные плиты и сквозь сложенные гармоникой брезентовые стенки с воем дул ветер.

Вайс, наклонившись к уху Бруно, рассказал ему о чемодане Папке. Бруно кивнул и сейчас же ушел в соседний вагон с таким видом, будто после всего услышанного потерял охоту иметь что-либо общее с Иоганном, попавшим в беду.

Но через некоторое время Бруно вновь появился в вагоне, где ехал Вайс. Поставив на полку Вайса рядом с фибровым чемоданом Папке небольшую плетеную корзину, он объявил, что ушел со своего места, но пусть никто не беспокоится, он вовсе не намерен кого-нибудь здесь стеснять, просто он веселый человек и хочет развлечь уважаемых соотечественников несколькими забавными фокусами.

Вытащив из кармана колоду карт, он стал показывать фокусы, и хотя фокусы были незамысловатые и проделывал их Бруно не очень-то ловко, он требовал, чтобы присутствующие честно закрывали глаза перед тем, как загадать карту, и с таким неподдельным отчаянием конфузился, когда загаданную карту не удавалось назвать, что расположил к себе всех. А потом, небрежно подхватив фибровый чемодан, ушел, заявив, что найдет себе уютное место.

После ухода Бруно Вайс полез на свою верхнюю полку, лег, положив под голову руки, и закрыл глаза, будто заснул.

Время приближалось к обеду, когда вновь появился Бруно с чемоданом. Снова бесконечно извиняясь, забросив его на полку Вайсу, вынул из кармана бутерброд, аккуратно завернутый в промасленную бумагу, и сказал, что сейчас будет наслаждаться обедом.

Но когда пожилой немец протянул Бруно куриную ножку, тот вежливо отказался, сославшись на нежелание полнеть, поскольку твердо надеется, что родина не отка-

жется от него как от солдата. Этим Бруно вызвал к себе еще большую симпатию. И, чтобы не мешать пассажирам обедать, он залез на верхнюю полку, уселся рядом со своей корзиной и обнял ее. Но тут же, с присущей ему природной живостью, спустился на пол и с корзиной в руках удалился, сказав на прощание, что постарается найти себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше ста и не моложе тринадцати лет. Погладил свою лысину и похвастал:

— Если я и утратил красоту своей прически, то только потому, что, как истинный мужчина, всегда преклонялся перед женской красотой.

Пассажиры вагона провожали шутника снисходительными взглядами. Вайс тоже улыбался, а когда он полез на полку, то больно стукнулся коленом о чемодан Папке, снова стоявший в изголовье. Вайс положил на его жесткое ребро голову с таким наслаждением, словно это был не чемодан, а пуховая подушка.

После миновавшей тревоги он обрел спокойствие, — видимо, в чемодане Папке ничего опасного для него, Вайса, не содержалось. Только сейчас Иоганн понял, как невозможно тяжело носить ему ту личину, которую он на себя надел. Несколько минут избавления от нее принесли ему чувство, сходное с тем, которое испытывает человек, на ощупь ползший во мраке по нехоженной горной тропе над бездной. Трона обрывается, кажется — впереди гибель, и вдруг под погой опора, он перешагнул через провал и снова оказался на тропе.

За последние месяцы у Иоганна выработалась почти автоматическая способность к холодному, четкому самонаблюдению. Он приобрел привычку хвалить или осуждать себя, как постороннего, правиться себе или не нравиться, презирать себя или восхищаться собой. Он отделял от себя свою новую личину и с внимательным, придирчивым любопытством исследовал ее жизнеспособность. Он испытывал своего рода наслаждение, когда власть его над этой личиной была полной.

Он понимал, что в минуту опасности присвоенная ему личина могла быть сдернута с него по его вине; он был в полной зависимости от того, насколько она прочна, ибо только она одна могла спасти его такого, каков он есть на самом деле.

Эта зависимость от того себя, к которому он не мог преодолеть чувства враждебности и презрения, иногда настолько изнуряла духовные силы, что для восстановле-

ния их было необходимо, хотя бы на самое короткое время, исцеляющее одиночество.

Но когда он наконец мог остаться наедине с собой, приходила ничем не преоборимая тоска от утраты мира, который составлял сущность его «я». И этот мир был живым, прекрасным, настоящим, а тот, в котором он жил сейчас, казался вымышленным, смутным, тяжелым, как бредовый сон.

Никогда он не предполагал, что самым трудным, мучительным в той миссии, которую он избрал, будет это опасное раздвоение сознания.

Вначале его даже увлекала игра: влезть в шкуру другого человека, сочинять его мысли и радоваться, когда они точно совпадали с тем представлением, которое должно возникать об этом человеке у других людей.

Но потом он понял, ощутил, что чем успешней он сливается со своей новой личиной, тем сильнее потом, в мгновения короткого одиночества, жжет его тоска по утрате того мира, который все дальше и дальше уходил от него, по утрате себя такого, каким он был и уже не мог, не имел права быть.

В минуты усталости его охватывало мучительное ощущение, будто он весь составлен из никогда не снимаемых протезов и никогда не почувствует себя настоящим, живым человеком, никогда уже не сможет воспринимать жизнь и людей такими, какие они есть на самом деле.

Один из наставников когда-то говорил ему, что момент этого тяжелого кризиса обязательно наступит и преодолевать его будет мучительно, непросто. Да, теперь он понимал, насколько непросто. Понимал, что переезд через советскую границу будет означать не только исполнение части задания. Переезд означает необратимое отсечение от той жизни, за пределами которой его личина должна получить еще большее господство над его подлинной сущностью, и чем покорней он будет служить этой личине, тем полнее и успешнее выполнит свой долг.

Он неохотно расставался с чувством короткого отдохновения после миновавшей опасности, от которой его избавил Бруно.

В Белостоке Вайс не вышел на вокзал, куда устремились все пассажиры скупать кур, яйца, сдобные булки, колбасы.

В опустевшем вагоне он продолжал партию в шахматы

с Бруно. Задумчиво поглаживая свою лысину, Бруно бормотал:

— Хорош гусь этот твой Папке: полчемодана банок с черной икрой, меха и контрабандная дребедень. Хозяинственный мужичок! Чемодан отдашь ему, когда пересечете границу, досматривать тебя не будут. Мне придется задержаться на границе. В остальном все остается, как договорились. Главное — не проявляй резвой инициативы. Нам нужен Иоганн Вайс. И не нужен и еще долго будет не нужен Александр Белов. Понятно?

В вагоне появился пассажир, с трудом поддерживающий подбородком гору свертков. Бруно торжествующе объявил, двигая фигуру на шахматной доске:

— Вот вам вечный шах. — И, потирая руки, заметил ехидно: — Это моя любезность, я не сделал мата вашему королю исключительно из соображений такта. — Снисходительно глядя на Иоганна, посоветовал: — Учитесь, молодой человек, выигрывать, не оскорбляя самолюбия противника, тогда вы не утратите расположения партнера. — Покосясь на пассажира с пакетами: — Вы, господин, заботитесь о своем животе столь ревностно, что забываете о престиже рейха. Неужели вы не понимаете, что поработали сейчас на красных, внушая им мысль о том, будто бы в Германии народ испытывает трудности? Нехорошо! — Он встал и, презрительно вздернув плечи, отправился в свой вагон.

Пассажир стал растерянно убеждать Вайса, что он очень хороший немец, настоящий немец и член национал-социалистской партии, что он готов принять все замечания и чем угодно искупить свою вину, даже выбросить покупки, это только ошибка, и ничего более. Он так волновался, так сильно переживал обвинение, брошенное ему Бруно, что Иоганн, сжалившись, посоветовал толстяку не придавать особо большого значения сделанному ему замечанию: ведь он не исключение, все пассажиры поступали так же, но, если он потом обратит внимание немецких властей на недостойное поведение репатриантов, это снимет обвинение с него самого.

Толстяк горячо поблагодарил Вайса за ценный совет. И потом всю дорогу посматривал на него преданно, с благодарностью.

На пограничной станции пассажирам предложили проследовать в таможенный зал для прохождения необходимых формальностей. Таможенники осматривали вещи бег-

ло, иногда только спрашивали, что лежит в чемоданах. И все же пассажиры нервничали, это выражалось в их чрезмерной предупредительности, ненужной готовности показать все, что у них было, и даже в никчемных попытках объяснить, что уезжают они в Германию не по мотивам политическим, а из желания навестить родственников, с которыми давно не видались.

Папке, несмотря на возражения таможенника, вывалил на обитую линолеумом стойку все вещи из саквояжа Вайса и объявил, что везет только самое необходимое, потому что не уверен в том, что Германия станет его родиной: ведь настоящая его родина — Латвия, где у него много друзей — латышей и евреев, которые дороги его сердцу.

Таможенник, не притрагиваясь к вещам и глядя поверх головы Папке, попросил сложить все обратно в саквояж. Папке поджал губы, будто ему нанесли обиду, но лицо его вытянулось, когда таможенник попросил открыть кожаный чемодан.

Рядом с Папке стоял Бруно. Корзину его вывалили на стойку, и таможенник тщательно просматривал каждую вещь, откладывая в сторону бумаги и фотопленку, уложенную в аптекарские фарфоровые баночки.

Бруно, увидев в руках пограничника книгу, на переплете которой значилось «Учебник истории», хотя в действительности под переплетом было нечто совсем другое, сказал громко, вызываясь:

— Если б я пытался привезти книгу фюрера, но я ее увожу, увожу туда, где слова фюрера живут в сердце каждого. — И, обратившись к Папке, спросил его, в надежде на поддержку: — Это же нелепо — полагать, что подобная литература может считаться запрещенной?

Папке неприязненно отодвинулся от Бруно.

— Оставьте меня в покое с вашим фюрером. — И посоветовал таможеннику: — Взгляните, что у него в карманах. Это публика любит оружие. Я не удивлюсь, если у него на поясе висит кинжал с девизом на лезвии: «Кровь и честь». Таких молодчиков не следует пускать в Германию.

— Ах, так! — яростно воскликнул Бруно. — Это вас не следует пускать в Германию! И если пускать, то только для того, чтобы посадить там за решетку.

— Граждане! — строго произнес таможенник. — Прошу соблюдать тишину и не мешать работе.

Иоганн поставил чемодан на стойку, вынул сигарету и, подойдя к Папке, вежливо попросил:

— Позвольте...

Папке протянул свою папиросу. Наклоняясь, чтобы прикурить, Вайс прошептал:

— Ключ от вашего чемодана?

Папке отстранился, лицо его на мгновение потемнело. Но тут же приняло приветливое выражение. Он громко проговорил:

— Молодой человек, я вам сделаю маленький подарок, нельзя же курильщику путешествовать без спичек.— Полез в карман и положил в руку Вайсу связку ключей в замшевом мешочке.

— Благодарю вас,— сказал Иоганн.— Вы очень любезны.

Открыв чемодан, Иоганн опустил глаза, глядя, как руки таможенника небрежно перебирают лежащие там вещи.

Таможенник спросил, не везет ли он что-либо недозволенное.

Вайс отрицательно покачал головой. Таможенник перешел к другому пассажиру, сказав Вайсу:

— Можете взять ваш чемодан.

После досмотра репатрианты перешли на другой перрон, где их ждал состав из немецких вагонов. Пограничники раздавали пассажирам их документы, взятые ранее для проверки. Вручая документы, офицер-пограничник механически вежливо говорил каждому по-немецки: «Приятного путешествия!» — и брал под козырек.

Офицер-пограничник был ровесником Иоганна и чем-то даже походил на него — сероглазый, с прямым носом, чистым высоким лбом и строгой линией рта, статный, подобранный, с небольшими кистями рук. Бросив на Иоганна безразличный взгляд и сверив таким образом с оригиналом фотографию на документе рейха, пограничник, аккуратно сложив, протянул Вайсу бумаги, козырнул, пожелал ему, как и другим, приятного путешествия и перешел к следующему пассажиру. На лице его сохранялось все то же выражение служебной любезности, за которой чувствовалось, однако, как чужды ему все эти люди, и вместе с тем было видно, что он знает о них такое, что положено знать ему одному.

В мягком купейном вагоне этот офицер-пограничник подошел к Папке и, тщательно и четко выговаривая немецкие слова, попросил извинения за беспокойство, но он вынужден просить Папке пройти вместе с ним в здание вокзала для выяснения некоторых формальностей, кото-

рые, видимо, из-за канцелярской ошибки не были полностью соблюдены в документах Папке.

И Папке встал и покорно пошел впереди пограничника на перрон.

Из другого вагона вышел Бруно, так же, как и Папке, в сопровождении военных. Он возбужденно спорил и пытался взять из рук пограничника свою корзину.

Когда Бруно поравнялся с Папке, он почтительно раскланялся, приподняв свою тирольскую шляпу с игристым перышком, и воскликнул патетически:

— Это же насилие над личностью! Я буду протестовать!.. — Обратился к офицеру-пограничнику, простирая длани в сторону Папке: — Уважаемый общественный деятель, известное лицо! И вдруг... — Он в отчаянии развел руками.

— Не надо шуметь, — серьезно предупредил пограничник.

— А я буду шуметь, буду! — не унимался Бруно. Улыбаясь Папке, попросил: — Я рассчитываю, вы не откажете подтвердить здешним властям, что я человек лояльный, и если в моих вещах нашли предметы, не рекомендованные для вывоза за границу, то только потому, что я просто не был осведомлен. Не знал, что можно вывозить, а что нельзя.

Через некоторое время Папке с расстроенным лицом вернулся в вагон, в руке он держал кожаный чемодан.

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону и остановился. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась, уходя за горизонт, черная полоса вспаханной земли. Эта темная бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого.

Пограничники с электрическими фонарями, пристегнутыми кожаными петельками к бортовым пуговицам шинелей, проводили тщательный внешний досмотр состава, спускались даже в путевую канаву, чтобы оттуда обследовать нижнюю часть вагонов.

Казалось бы естественным, если бы каждый пассажир в эти последние минуты перед переездом границы испытывал волнение. Однако ничего подобного не наблюдалось, почти никто из них ничем не выражал своих чувств. Это убеждало Иоганна в том, что большинство переселяется в Германию не по приказу и не под давлением обстоятельств, а руководствуясь своими особыми, дальновидными целями.

И чем больше равнодушия, покидая Латвию, выказывал тот или иной пассажир, тем глубже проникало в сознание Иоганна тревожное ощущение опасности, которая таится для него здесь в каждом из этих людей, обладающих способностью повелевать своими чувствами, маскировать их.

В этой последней партии репатриантов только незначительное число семейств неохотно оставляло Латвию, подчиняясь зловещей воле «Немецко-балтийского народного объединения». Немногие здесь горевали о своих обжитых гнездах, о людях, с которыми их связывали долгие годы труда и жизни.

Преобладали здесь те, кто до последних дней в Латвии вел двойную жизнь, накапливая то, что могло быть зачтено им в Германии как особые заслуги перед рейхом. И только слишком показное равнодушие и наигранное выражение скуки на лице выдавали тех, кто ничем не хотел выдать себя перед решающими минутами пересечения границы.

Вайс мысленно отмечал шаблонный способ маскировки, принятый мгновенно, словно по приказу, неслышно отданному кем-то, кто невидимо командовал здесь всем. И он и для себя принял к исполнению этот безмолвный приказ. И тоже с унылой скукой и равнодушным безразличием, бросая изредка беглые взгляды в вагонное окно, предавался ожиданию.

Поезд медленно тронулся. Колеса начали отстукивать стыки рельсов с ритмичностью часового механизма.

Но как Иоганн ни пытался владеть собой, этот стальной ритмичный отстук грозного времени, неумолимого и необратимого, наполнил его ощущением бесконечного падения куда-то в неведомые глубины. И чтобы вырваться из состояния мучительной скорбной утраты всего для него дорогого и скорее броситься навстречу тому неведомому, что невыносимой болью пронзало все его существо, Иоганн вскинул голову, сощурился и бодро объявил пассажирам:

— Господа, осмелюсь приветствовать вас, кажется, уже на земле рейха.— Он встал, вытянулся. Лицо его обрело благоговейно-восторженное выражение.

При общем почтительном молчании Вайс достал из кармана завернутый в бумажку значок со свастикой и приколот к лацкану пиджака. Это послужило как бы сигналом: все принялись распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться.

Через полчаса пассажиры выглядели так, словно все они собирались идти в гости или ожидали гостей. Каждый

заранее тщательно продумал свой костюм, чтобы внешний вид свидетельствовал о солидности, респектабельности. А некоторая подчеркнутая старомодность одежды должна была говорить о приверженности к старонемецкому консерватизму, неизменности вкусов и убеждений. На столиках появились вынутые из чемоданов Библии, черные, не первой свежести, котелки, перчатки. Запахло духами.

Внезапно поезд судорожно лязгнул тормозами, как бы споткнувшись, остановился. По проходу протопали немецкие солдаты в касках, на груди у каждого висел черный автомат. Лица солдат были грубы, неподвижны, движения резкие, механические. Вошел офицер — серый, сухой, чопорный, с презрительно сощуренными глазами.

Пассажиры, как по команде, вскочили с мест.

Офицер поднял палец, произнес негромко, еле раздвигая узкие губы:

— Тишина, порядок, документы.

Брезгливо брал бумаги затянутой в перчатку рукой и, не оборачиваясь, протягивал через плечо ефрейтору. Ефрейтор в свою очередь передавал документы человеку в штатском, а тот точным и пронзительно-внимательным взглядом сличал фотографию на документе с личностью его владельца. И не у одного пассажира возникло ощущение, что этот взгляд пронизывает его насквозь и на стене вагона, как на экране, в эти мгновения возникает если не его силуэт, то трепещущий абрис его мыслей.

Забрав документы у последнего пассажира, офицер теми же тяжелыми, оловянными словами объявил:

— Порядок, спокойствие, неподвижность.

И ушел.

Солдаты остались у дверей. Они смотрели на пассажиров, будто не видя их. Стояли в низко опущенных на брови стальных касках, широко расставив ноги, сжав челюсти.

Странное чувство охватило Вайса. Ему показалось, что он где-то уже видел этого офицера и этих солдат, видел такими, какие они есть, и такими, какими они хотели казаться. И от совпадения умозрительного представления с тем, что он увидел своими глазами, он почувствовал облегчение. Дружелюбно и почтительно, с оттенком зависти поглядывал он на солдат — так, как и следовало смотреть на них штатскому юноше-немцу.

Когда офицер вернулся в вагон в сопровождении сержанта и человека в штатском и начал раздавать пассажи-

рам документы, Вайс встал, вытянулся, опустил руки по швам, восторженно и весело глядя в глаза офицеру.

Тот снисходительно улыбнулся.

— Сядьте.

Но Вайс, будто не слыша, продолжал стоять в той же позе.

— Вы еще не солдат. Сядьте, — повторил офицер.

Вайс вздернул подбородок, произнес твердо:

— Родина не откажет мне в чести принять меня в славные ряды вермахта.

Офицер добродушно хлопнул его перчаткой по плечу. Человек в штатском сделал у себя в книжке какую-то пометку. И когда офицер проследовал в другой вагон, спутники Иоганна шумно поздравили его: несомненно, он с первого же своего шага на земле рейха произвел наилучшее впечатление на представителя немецкого оккупационного командования.

Поезд катился по земле Польши, которая теперь стала территорией Третьей империи, ее военной добычей.

Пассажиры неотрывно смотрели в окна вагонов, бесцеремонно, как хозяева, обменивались различными соображениями насчет новых германских земель, щеголяя друг перед другом деловитостью и презрением к славянщине. Мелькали развалины селений, подвергшихся бомбардировкам.

Под конвоем немецких солдат пленные поляки ремонтировали поврежденные мосты. На станциях повсюду были видны новенькие аккуратные таблицы с немецкими названиями или надписями на немецком языке.

И чем больше попадалось на пути следов недавнего сражения, тем непринужденнее и горделивее держали себя пассажиры. Вайс так же, как и все, неотрывно смотрел в окно и так же, как и все, восхищался вслух мощью молниеносного немецкого удара, и глаза его возбужденно блестели. Возбуждение охватывало его все больше и больше, но причины этого возбуждения были особого порядка: он уже давно четко и точно успевал запечатлевать в своей памяти места, где сооружались крупные хранилища для горючего, склады, расширялись дороги, чинились мосты, где на лесных полянах ползали тяжелые катки, уплотняя землю для будущих аэродромов.

И все это, наблюденное и запомнившееся, он почти автоматически размещал на незримой, но хорошо видимой мысленным взором карте. Так выдающиеся шахматисты наизусть играют сложную партию без шахматной доски.

В этой напряженной работе памяти сказывалась тренировка, доведенная до степени механической реакции, но, увы, деловой необходимости во всем этом не было... Ибо Вайс отлично знал, что пройдет немалый срок, пока он сможет передать сведения своим, но тогда эти сведения уже успеют устареть, хотя во всей неприкосновенности и будут сохраняться в его памяти.

Шумно восхищаясь лежавшей у подножия дерева со срезанной от удара вершиной грудой металла — всем, что осталось от разбитого польского самолета, пассажиры шутиливо подзадоривали Вайса, советуя ему попытаться вступить в воздушные силы рейха, чтобы стать знаменитым асом. И Вайс, сконфуженно улыбаясь, говорил, что он считает высшей честью для себя закреплять победы славных асов на земле, но не смеет даже и мечтать о крыльях, которых достойны только лучшие сыны рейха. И, разговаривая так с пассажирами, он в то же время лихорадочно решал, как ему поступить. Да, все, что он увидел и запомнил, лежит в запретной для него зоне, но он сделал открытие, которое потрясло его, и это открытие сейчас важнее всего на свете. Накладывая на незримую карту отдельные возводимые немцами в Польше сооружения, мимо которых они ехали, он вдруг отчетливо понял их грозную нацеленность на страну, от которой все больше и больше удалялся. Все в нем кричало о страшной опасности, нависшей над его родиной. Смятение овладело им.

И если все возможные обстоятельства, при которых человек может утратить власть над собой, включая пытки и угрозу казни, были обсуждены с наставниками и тщательное самонаблюдение дало ему твердую уверенность, что любую опасность он встретит с достоинством, не утратив воли, самоконтроля и решимости, то это испытание оказалось выше его сил, он чувствовал это.

А колеса все так же ритмично постукивали по шпалам, поезд все шел и шел. Вот он замедлил ход, остановился. Небольшая станция. К перрону подъехал грузовик с солдатами. Из него сбросили на землю два каких то тяжелых, мокрых мешка, но тут же Иоганн с ужасом увидел, что это не мешки, а люди. Два окровавленных человека со связанными на спине руками медленно поднялись и теперь стояли, опираясь друг о друга, чтобы не упасть, смотрели запухшими глазами на уставившихся на них пассажиров. На шее у них на белых чистеньких веревках висели одинаковые таблички: «Польский шпион». Надписи были сдела-

ны мастерски: каллиграфическим готическим шрифтом по-немецки и так же ясно, разборчиво по-польски.

— Но! Но! — прикрикнул обер-лейтенант. — Вперед! — Конвойный толкнул одного из арестованных прикладом.

Тот, покачиваясь на окровавленных ступнях, медленно двинулся вдоль платформы, товарищ его плелся следом.

— Быстрее! — снова крикнул обер-лейтенант. — Быстрее!

И, обернувшись к пассажирам, с испуганными лицами наблюдавшим за происходящим, приказал раздраженно:

— По вагонам, по местам, живо!

И все пассажиры ринулись в вагон, толкаясь в проходах так, будто промедление угрожало им смертью.

Захлопнулась дверца тюремного вагона. Поезд отошел без сигнала, покатился дальше, на запад. И опять отстукивали свое колесо...

Их мерный, ритмичный, обычно успокаивающий стук вызывал сейчас у Иоганна тревогу.

И, вглядываясь в пассажиров, тщетно пытавшихся сохранить прежнее выражение спокойствия и уверенности, он на лицах многих из них тоже заметил тревогу. Было очевидно, что репатрианты из своего безмятежного далека несколько в ином свете представляли себе «новый порядок», устанавливаемый их соотечественниками, и рассчитывали, что возвращение на родину будет обставлено совсем по-иному. И как ни был потрясен Иоганн увиденным, как ни сострадал польским героям, он с радостью и успокоением понял: нацеленность Германии на границы его отчизны не может оставаться тайной и польские патриоты любой ценой — даже ценой своей жизни — известят об этом командование советских войск. Эта мысль возвратила Иоганну хладнокровие, которое он было утратил.

Немного успокоившись, Иоганн решил навестить Генриха, ехавшего в мягком вагоне, напомнить ему о себе, ведь они перед отъездом не ладили.

Были обстоятельства, неизвестные Вайсу.

Когда Генрих Шварцкопф вместе с Папке приехал на вокзал, здесь его ждал Гольдблат.

Профессор выглядел плохо. Лицо опухшее, в отеках, он тяжело опирался на трость с черным резиновым наконечником.

Генрих смутился, увидев Гольдבלата. Но профессор истолковал его смущение по-своему, в выгодном для Генриха смысле. Он сказал:

— Я понимаю тебя, Генрих. Но Берта вспыльчива. Я уверен, что она испытывает в эти минуты горестное чувство от разлуки с тобой. — Профессор был прав: Берта действительно испытывала горестное чувство, но не потому, что уезжал Генрих, — с ним, она считала, уже все кончено, — ей было больно за отца, который, вопреки всему происшедшему, решился в память дружбы со старым Шварцкопфом на ничем не оправданный поступок.

Профессор явился на вокзал с толстой папкой. В этой папке были работы Гольдблата, которые Функ пытался недавно забрать из квартиры профессора. (Это темное дело Функу не удалось довести до конца: своевременно вмешался угрозыск.) И вот профессор решил несколько своих особенно ценных работ подарить сыну покойного друга.

Протягивая Генриху папку чертежей, профессор сказал:

— Возьми, Генрих. Ты можешь продать мои чертежи какой-нибудь фирме. Если тебе там будет трудно и ты захочешь вернуться домой...

Генрих побледнел и сказал:

— Я у вас ничего не возьму.

— Напрасно, — сказал профессор и, внимательно взглянув в глаза Генриху, добавил: — Ты ведь хотел получить их. Но почему-то иным способом, минуя меня.

Папке шагнул к Гольдблату.

— Разрешите, профессор. — И, кивнув на Генриха, произнес, как бы извиняясь за него: — Он просто не понимает, какой вы ему делаете ценнейший подарок.

— Нет, — сказал профессор, — вам я этого не даю. — И прижал папку к груди.

— Пошли, — приказал Генрих и толкнул Папке так, что тот едва устоял на месте.

— Бедный Генрих, — сказал профессор. И повторил: — Бедный мальчик.

Берта застала только конец этой сцены, — не выдержав, она приехала вслед за отцом на вокзал.

Не взглянув на Генриха, она взяла у отца папку и, поддерживая его под руку, вывела на вокзальную площадь.

В такси профессору стало плохо. Ему не следовало после сердечного приступа сразу выходить из дому. Но он крепился, говорил дочери, утешая ее:

— Поверь мне, Берта, если бы Генрих взял мою папку, я бы с легким сердцем вычеркнул этого человека из своей памяти и постарался бы сделать все, чтобы и ты поступила

так же. Но он не взял ее. Значит, в нем осталась капля честности. И теперь я жалею этого мальчика.

— Папа,— с горечью сказала Берта,— в Берлине он наденет на рукав повязку со свастикой и будет гораздо больше гордиться своим дядей штурмбанфюрером Вилли Шварцкопфом, чем своим отцом — инженером Рудольфом Шварцкопфом, который называл тебя своим другом.

Профессор сказал упрямо:

— Нет, Берта, нет. Все-таки он не решился взять у меня папку.

Всего этого Иоганн Вайс не знал.

Пройдя через весь состав, Вайс осторожно постучал в дверь купе мягкого вагона.

Генрих сдержанно улыбнулся Вайсу, небрежно представил его пожилой женщине с желтым, заплывшим жиром лицом, предложил кофе из термоса, спросил:

— Ну, как путешествуешь? — И, не выслушав ответа, почтительно обратился к своей попутнице: — Если вы, баронесса, будете нуждаться в приличном шофере... — повел глазами на Вайса, — мой отец был им доволен.

Хотя у Шварцкопфов не было своей машины и, следовательно, Вайс не мог служить у них шофером, он вежливо склонил голову перед женщиной, выражая свою готовность к услугам. Она сказала со вздохом, обращаясь к Генриху:

— К сожалению, он молод, и ему придется идти в солдаты. А у меня нет достаточных связей среди наци, чтобы освободить нужного человека от армии.

— А фельдмаршал? — напомнил Генрих.

Баронесса ответила с достоинством:

— У меня есть родственники среди аристократических семей Германии, но я не осведомлена, в каких они отношениях с этим нашим фюрером. — Усмехнулась: — Кайзер не отличался большим умом, но все-таки у него хватало ума высоко ценить аристократию.

— Уверяю вас, — живо сказал Генрих, — фюрер неизменно опирается на поддержку родовитых семей Германии.

— Да, я об этом читала, — согласилась баронесса. — Но особо он благоволит к промышленникам.

— Так же, как и те к нему, — заметил Генрих.

— Но зачем же тогда он называет свою партию национал-социалистской? Не благоразумней ли было ограни-

читься формулой национального единства? «Социалистская» — это звучит тревожно.

Вайс позволил себе деликатно вмешаться:

— Смею заверить вас, госпожа баронесса, что наш фюрер поступил с коммунистами более решительно, чем кайзер.

Баронесса недоверчиво посмотрела на Иоганна, сказала строго:

— Если бы я взяла вас к себе в шоферы, то только при том условии, чтобы вы не смели рассуждать о политике. Даже с горничными, — добавила она, подняв густые темные брови.

— Прошу простить его, баронесса, — заступился за Иоганна Генрих. — Но он хотел сказать вам только приятное. — И, давая понять, что пребывание Вайса здесь не обязательно, пообещал ему: — Мы еще увидимся.

Раскланявшись с баронессой, Иоганн вышел в коридор, отыскал купе Папке и без стука открыл дверь. Папке лежал на диване в полном одиночестве.

Вайс спросил:

— Принести ваш чемодан?

— Да, конечно. — Приподнимаясь на локте, Папке осведомился: — Ничего не изъяли?

— Все в целости.

— А меня здорово выпотрошили, — пожаловался Папке.

— Что-нибудь ценное?

— А ты как думал! — Вдруг рассердился и произнес со стоном: — Я полагаю, у них на тайники особый нюх. — Заявил с торжеством: — Но я их все-таки провел. Этот, в тирольской шляпе, оказался настоящим другом. Перед тем как меня стали детально обследовать, я попросил его поддержать мой карманный молитвенник. Сказал, что не желаю, чтобы священной книги касались руки атеистов.

— Ну что за щепетильность!

Папке хитро сощурился и объявил:

— Эта книжица для меня дороже всякого Священного писания. — И, вынув маленькую книгу в черном кожаном переплете, нежно погладил ее.

— В таком случае, — осуждающе объявил Вайс, — вы поступили неосмотрительно, оставляя ее незнакомому лицу.

— Правильно, — согласился Папке. — Что же, если не было другого выхода... Но мой расчет был чрезвычайно

тонким, и этот, в тирольской шляпе, мгновенно разделил мои чувства.

«Ну еще бы! — подумал Вайс. — Бруно давно тебя понял. И можешь быть спокойным, твой молитвенник он не оставил без внимания».

— Я благодарен тебе за услугу, — сказал Папке.

— Я сейчас принесу чемодан.

— Возьми свой саквояж.

— Надеюсь, там все в порядке? — спросил Вайс.

— А у тебя в нем что-нибудь такое?

— Возможно, — сказал Вайс и, улынувшись, объяснил: — Кое-какие сувениры для будущих друзей.

Видно было, Папке тревожил этот вопрос, и Вайс понял, что тот не обследовал его саквояжа, значит, Вайс не вызывает у него никаких подозрений. И это было, пожалуй, самым сейчас приятным для Иоганна.

Вернувшись в свой вагон, Вайс забрался на верхнюю полку, устроился поудобнее, закрыл глаза и притворился спящим. Он думал о Бруно. Вот так Бруно! Как жаль, что он сопровождал Иоганна только до границы. С таким человеком всегда можно чувствовать себя уверенно, быть спокойным, когда он рядом, даже там, в фашистской Германии. Вайс не мог знать, что когда-то Бруно немало лет прожил в этой стране. И некоторые видные деятели Третьей империи хорошо знали знаменитого тренера Бруно Мотце, обучившего немало значительных особ искусству верховой езды. Им не было известно только, что искусство это он в совершенстве постиг еще в годы гражданской войны в Первой Конной армии. Мотце был также маклером по продаже скаковых лошадей и благодаря этому имел возможность как-то общаться с офицерами немецкого генерального штаба, слушать их разговоры. Покинул он Германию в начале тридцатых годов по целому ряду причин, но вовсе не потому, что ему угрожал провал.

Бруно сделал то, что умел и мог сделать: обеспечил своему молодому соратнику так называемую «прочность» на первых шагах его пути в неведомое.

И Вайс снова почувствовал, что он здесь не один. И это осознание себя как частицы целого — сильного, мудрого, зоркого — принесло успокоение, освободило от нескончаемого напряжения каждой нервной клеточки, подающей сигналы опасности, которые надо было мгновенно гасить новым сверхнапряжением воли, чтобы твою реакцию на эти сигналы не заметил ни один человек.

И еще было приятно в эти минуты душевного отдыха похвастаться себе, что ты уже свыкаешься с собой теперешним, с Иоганном Вайсом, и постепенно исчезает необходимость придумывать, как в том или ином случае должен поступить Иоганн Вайс. Он — Вайс, созданный тобой, — повелевает каждым твоим движением, каждым помыслом, и ты доверился ему, как испытанному духовному наставнику.

Но тут же Иоганн вспомнил своего подлинного наставника-инструктора, его любимое изречение, которое раньше казалось скучной догмой: «Самое опасное — привыкнуть к опасности».

Инструктор-наставник жирно подчеркивал синим карандашом в информационных бюллетенях описание случаев, когда многоопытные разведчики проваливались из-за того, что в какие-то моменты, казалось, полной своей безопасности, устав от постоянного напряжения, позволяли себе короткий роздых. Он терпеливо и подробно останавливался на каждой ошибке, но успешные, талантливые операции, какими бы выдающимися они ни были, комментировал странно.

— Это уже отработанный пар, — говорил наставник с сожалением. — Вошло в анналы... Действенно лишь то, что неповторимо. В нашем деле изобретательность столь же обязательна, как и необходима. Повторять пройденное — значит совершать ошибку. Учитесь работать воображением, но не злоупотребляйте им. Правда — одна лишь действительность, сверяйте с ней каждый свой помысел, поступок. Самый надежный ваш союзник — правда естественности. Она высшая школа. Высший наставник. Она дает главные руководящие указания. Уклоняться от них — значит сойти с правильного пути, приблизиться к провалу.

Вспоминая уроки инструктора, Вайс внутренне благодарно улыбнулся этому уже пожилому человеку, отдавшему свою жизнь профессии, о которой не пишут в анкетах. Таким, как он, не присваивают профессорских званий. Их труды размножают всего в десятке экземпляров и хранят не на библиотечных полках, а в стальной неприступности сейфов.

Память инструктора берегла имена всех его учеников. Не называя их, инструктор обучал своих новых учеников на примере подвигов тех, кто, не рассчитывая ни на памятники, ни на лавры, поднялся ради отчизны на вершины человеческого духа.

Терпение, выдержка, организованность, дисциплина, последовательность, неуклонность в осуществлении цели — эти девизы, не однажды повторенные, прежде казались Иоганну педагогическими догмами. А как трудно руководствоваться ими, когда перед тобой внезапно возникает какая-то дилемма и ты должен решить, действительно ли то, что стоит на твоём пути, есть самое главное, или это нечто побочное, второстепенное, мимо чего нужно пройти не задерживаясь.

Что такое, к примеру, на его пути Папке — побочное или главное?

Если постараться быть в дальнейшем полезным Папке, заслужить его расположение, может, откроется лазейка в гестапо? Стать сотрудником гестапо — разве это мало?

Проявить инициативу, рискнуть. Чем? С собой? Но тем самым он подвергнет риску задание, конечная цель которого ему неизвестна. Запросить Центр? Но у него нет разрешения на это и долго еще не будет. Значит, надо ждать, вживаться в ту жизнь, которая станет его жизнью, быть только Иоганном Вайсом, практичным и осмотрительным, который предпочитает всему скромную, хорошо оплачиваемую работу по своей специальности, уподобиться господину Фридриху Кунцу, его бывшему хозяину в Риге, стать владельцем собственной авторемонтной мастерской.

Небо было пасмурным, холодным, тусклым. Падал серый дождь, временами со снегом. Невспаханые поля походили на бесконечные болота. Казалось, поезд шел по пустыне. Позже Иоганн узнал, что населению запрещалось появляться в зоне железной дороги. Патрули с дрезины на ходу расстреливали нарушителей оккупационных порядков.

В Варшаву прибыли ночью, город был черным, безлюдным. Пассажирам не разрешили выйти из вагонов. По перрону и путям метались огни ручных фонарей. Слышались отрывистые слова команды, топот солдатских сапог. Вдруг раздался взрыв гранаты, треск автоматных очередей. Потом все стихло.

Через некоторое время по перрону, стуча коваными сапогами, протопал конвой. В середине его согбенно плелся солдат, зажав под мышками ноги человека, которого он волок за собой по асфальту. Человек был мертв, широко распахнутые руки его мотались по сторонам. Потом появились полицейские с носилками — они несли трупы солдат, прикрытые бумажными мешками.

Пассажиры теперь уже смиренно сидели в вагонах, сохраняя на лицах выражение терпеливого спокойствия. Казалось, все увиденное не произвело на них никакого впечатления.

Но за беспечным равнодушием, с каким они переговаривались о посторонних предметах, проглядывала судорожная боязнь обмолвиться невзначай каким-нибудь словом, которое потом могло повредить им. Было ясно: эти люди боятся сейчас друг друга больше, чем даже возможного нападения на поезд польских партизан.

Иоганн, внимательно наблюдая за своими спутниками, сделал для себя важный вывод: скрытность, осторожность, вдумчивое лицемерие, способность к мимикрии и постоянное ощущение неведомой опасности — вот общий дух рейха. И спутники Иоганна, заглазно проникшиеся этим духом, казалось, давали ему, Вайсу, наглядный урок бдительности и лицемерия как основных черт, типичных для благонадежных граждан Третьей империи.

Иоганн сделал и другое ценное психологическое открытие.

Когда полицейские несли трупы немецких солдат, убитых польским диверсантом-одиночкой, тощий паренек — сосед Иоганна — вскочил, поднял руку и крикнул истуупленно:

— Слава нашим доблестным героям, не пожалевшим жизни во имя фюрера!

Хотя нелепость этого возгласа была очевидна: один убитый польский партизан и трое немецких солдат, погибших от взрыва его гранаты, не повод, чтобы предаваться ликованию, — пассажиры с восторгом подхватили этот возглас и стали громко и возбужденно воздавать хвалу вермахту.

Казалось, в сердцах репатриантов мгновенно вспыхнуло пламя фанатического патриотизма, и потом долго никто не решался первым погасить в себе бурю восторженных переживаний, хотя уже иссякли эмоции, израсходованы были подходящие для такого случая слова и мускулы лица утомились от судорожного выражения восторга и благоговения.

Виновник этого высокого переживания уже успел забыть о своем патриотическом порыве. Он лежал на полке, елозя по губам гармошкой, и выдувал игривую песенку.

А когда гневная рука вырвала из его рук гармошку и пожилой пассажир яростно закричал: «Встать, негодяй!

Как ты смеешь пикировать в такие высокие минуты!» — паренек, побледнев, вскочил и дрожащими губами виновато, испуганно стал просить у всех прощения и клялся, что это он нечаянно.

И все пассажиры, забыв, что именно этот тощий парень вызвал у них взрыв патриотических чувств, бросали на него подозрительные и негодующие взгляды. И когда пожилой пассажир заявил, что за такое оскорбление патриотических чувств надо призвать юнца к ответственности и что он сообщит обо всем нахбарнфюреру, пассажиры одобрили такое решение.

Молчаливо наблюдая за своими спутниками, Вайс понял, что существует некая психологическая взрывчатка, и если ее подбросить вовремя, можно найти выход даже из очень сложной ситуации, когда сила ума уже бесполезна. Сочетание дисциплинированной благопристойности и бурно выражаемых эмоций — вот духовный облик современного прусского обывателя, и это тоже следует принять на вооружение. За духовной модой необходимо следить так же тщательно, как за покроем одежды, которая должна выражать не вкусы ее владельца, а указывать его место в обществе.

И еще Иоганн подметил, что у его спутников все явственнее сквозь оболочку страха, подавленности, подозрительности пробиваются черточки «фюреризма» — жажды любым способом утвердить свое господство над другими, воспользоваться любой оплошностью окружающих, чтобы возвыситься над ними, и потом всякого, кто попытается противиться этой самозваной власти, жестоко и коварно обвинить в политической неблагонадежности. Но если поверженный покорно и беспрекословно подчинится, сулить ему за это покровительство в дальнейшем и некоторое возвышение над другими.

Так случилось с тощим малым. Пожилой пассажир, внезапно ставший главной персоной в вагоне, милостиво принял робкое заискивание неудачливого музыканта, снисходительно простил его. И затем долго со значительным видом внушал ему, что теперь каждый истинный немец должен воспитывать в себе черты, сочетающие послушание с умением повелевать. Ибо каждый немец на новых землях — представитель всевластной Германии, но перед фюрером каждый немец — песчинка. Одна из песчинок, которые в целом и составляют гранит нации.

Слушая эти рассуждения, Вайс испытывал острое чувство азарта, жажду проверить на практике свое новое открытие. Не удержавшись, он свесился с полки и небрежно заметил:

— А вы, оказывается, социалист!

Пожилой пассажир побагровел и стал тяжело дышать. Вайс упрямо повторил:

— Не национал-социалист, а именно социалист.

Пожилой встревоженно поднялся и, осторожно касаясь плеча Вайса, сказал робко:

— Вы ошиблись...

Вайс сухо произнес:

— Мне жаль вас, — и отвернулся к стене.

В вагоне наступила тишина, пожилой пассажир, нервно покашливая, искал взглядом сочувствия, он жаждал поскорее разъяснить всю нелепость обвинения, но все от него отворачивались. А тощий юноша, мотая головой, уже извлекал из губной гармошки бойкие, игривые звуки.

5

На рассвете приехали в Лодзь.

Древнейшие польские земли, колыбель польского государства — Познанское воеводство, Силезия, Кувия и часть Мазовии — были включены гитлеровцами в состав Третьей империи. Лодзь фашисты причислили к городам Германии.

На остальных землях Польши была создана временная резервация для поляков, так называемое генерал-губернаторство, которое должно было поставлять Германии сельскохозяйственные продукты и рабочую силу.

Лодзь — Лицманштадт — Фатерланд.

Это должен был понять каждый немецкий репатриант. Это рейх...

И все славянское приговорено здесь к изгнанию, к уничтожению.

В сыром, сизом тумане, как тени, двигались силуэты людей. На перроне выстроились носильщики. Позади каждого из них стоял человек в штатской одежде. Репатриантов сопровождали в общежитие близ вокзальной площади и приказали не выходить. На следующий день их поочередно стали вызывать в центральный пункт переселения немцев — Айнвандерерцентральштелле. Эта организация,

кроме политической проверки и оформления новой документации репатриированных, занималась также распределением репатриантов на работу по заявкам ведомств. Поэтому до прохождения всех стадий учета и проверки приезжие должны были находиться в специально отведенных помещениях — как бы в карантине. Для многих немцев это была и биржа труда.

От чиновников центрального пункта переселения зависела судьба репатриантов: кого на фермы, кого на заводы в промышленные районы Германии. Здесь же представители тайных фашистских служб встречали своих давних агентов, вроде Папке, и вербовали новых — тех, кто мог бы оказаться подходящим для этого рода службы.

Тщательно одеваясь перед визитом в центральный пункт, Вайс почти механически воспроизводил в памяти:

«Чиршский Карл, оберштурмбанфюрер СС, бывший сотрудник Дрезденского СД, заместитель начальника переселенческого отдела Главного управления имперской безопасности (РСХА). В Лодзи возглавляет переселение немцев из прибалтийских и других государств. Приметы: тридцать шесть лет, высокого роста, худощав.

Зандбергер, тридцать восемь лет, штандартенфюрер СС, начальник переселенческого отдела Главного управления имперской безопасности, постоянно проживает в Берлине, в Лодзи бывает наездами.

Редер Рольф, тридцать пять лет, оберштурмбанфюрер СС, среднего роста, блондин, нормального телосложения, лицо круглое, сотрудник СД по проверке немцев, переселяющихся в Германию из других стран...»

В этом мысленном путешествии по досье едва ли была сейчас практическая необходимость, но такая гимнастика памяти равнялась утренней умственной зарядке и освобождала голову от всяких побочных мыслей, не только утомительных, но и бесполезных в данной обстановке.

Предполагая, что допрос может превратиться в опасный поединок, Иоганн заставил себя, пока позволяло время, предаться полному умственному отдыху.

И он снова с улыбкой вспомнил своего наставника, который утверждал, что даже когда утром чистишь зубы, то и эти минуты следует использовать плодотворно — для размышлений. Наставник тщательно избегал служебного лексикона. Слова «подвиг», «героизм» он не употреблял, заменяя их другими: «работа», «сообразительность». Высшей похвалой в его устах звучало слово «разумно».

Доктор Редер Рольф сидел, развалившись в кресле. Черный эсэсовский китель расстегнут. Белая крахмальная рубашка туго обтягивает выпуклое брюшко. Рассматривая свои только что отполированные маникюршей ногти, не глядя на Вайса, сделал ленивый жест рукой.

Иоганн сел.

— Ну, что скажете?

— Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера. Редер неохотно поднял руку.

— Хайль! — Придвинул стопку анкет, приказал: — Пройдите в другую комнату и заполните.

Вайс взял анкеты, встал и, когда повернулся, внезапно почувствовал спиной, затылком прицельный, острый взгляд Редера. Томительно хотелось обернуться, чтобы встретить этот пронизывающий взгляд. Иоганн знал, что Гитлер верил в гипнотическую силу своего взгляда. И соратники Гитлера, перенимая манеру фюрера, тоже внушали себе, что обладают гипнотической силой. Иоганну хотелось испытать, может ли он глубоким спокойствием своего взгляда погасить настойчивое намерение Редера читать чужие мысли. Но он тут же подавил в себе это ненужное желание, осторожно вышел и тихонько притворил за собой дверь.

Анкеты содержали вопросы, на которые он уже множество раз отвечал на занятиях: чем подтверждается немецкое происхождение, мотивы, побудившие к отъезду в Германию, — все это было давно, четко отработано.

И сейчас он стремился только к тому, чтобы заполнить анкету за то время, в каком нуждается человек, не подготовленный к вопросам, обдумывающий ответы. Сдав анкету чиновнику, Вайс ждал в приемной, предполагая, что теперь Редер займется им более основательно. Ждать пришлось долго. И когда наконец его вызвали, Иоганн был удивлен вопросом Редера:

— А, вы еще тут?

— Господин штурмбанфюрер, — твердо сказал Вайс, — я был бы счастлив, если б вы уделите мне несколько минут.

Редер нахмурился, лицо его приняло подозрительное выражение.

— Я хотел бы просить у вас совета, — коротко пояснил Вайс. — О вашем высоком положении в рейхе мне говорил господин крейслейтер Функ, у которого я работал шофером.

Крупное лицо Редера расплылось в самодовольной улыбке.

Иоганн продолжал, скромно опустив глаза:

— Как вам известно из моей анкеты...

— Да, там все в порядке, — небрежно бросил Редер.

— Господин Функ был доволен моей работой. Но я холост. И господин Функ говорил, что это не солидно — быть холостяком в моем возрасте. Не помешает ли это найти мне здесь хорошее место?

Редер, откинувшись в кресле, хохотал. Тугой живот его подскакивал.

— Ну и простак же ты! — захлебываясь от смеха, твердил Редер. — Ему, видите ли, нужно благословение штурмбанфюрера!

Вошел чиновник. Редер кивнул на Вайса:

— Он просит меня найти ему деву, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера, а самому уклониться от военной службы. Ну и шельмец! — И махнул рукой в сторону двери.

Вайс с виноватым и растерянным видом откланялся и вышел.

Несколько минут спустя чиновник, усмехаясь, выдал ему документы, внушительно заметив при этом:

— Ты не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Достаточно хорошей рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже. Моя фамилия Шульц.

— Слушаюсь, господин Шульц! Очень вам признателен.

Вернувшись в общежитие, Вайс с радостью узнал, что посыльный принес ему записку от Генриха. После прохождения проверки репатриантам разрешили выходить в город. Вайс направился по адресу, указанному в записке...

Генрих занимал апартаменты в одном из лучших отелей. Он был не один: оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф, как и обещал, встретил племянника и в этот же день собирался выехать с ним на машине в Берлин.

Генрих представил Вайса своему дяде. Тот, не подав Иоганну руки, небрежно кивнул головой с черной, зачесанной на бровь, как у Гитлера, прядью. Над толстой губой его торчали гитлеровские же усики. Был он тучен, лицо потасканное, под глазами мешки, одна щека нервно подергивалась.

На круглом столике, кроме обычного гостиничного телефона, стояли в кожаных ящиках два армейских телефонных аппарата, толстые провода их змеились по полу.

Генрих сообщил Вайсу, что уезжает в Берлин и, возможно, больше они не увидятся. Потом сказал покровительно:

— Памятуй твои услуги моему отцу... Если ты в чем-нибудь нуждаешься... — И вопросительно посмотрел на дядю.

— Да, — сказал оберштурмбанфюрер, доставая какие-то бумаги из портфеля, на замке которого была цепочка со стальным браслетом, — можно дать ему денег.

Иоганна больно уколол пренебрежительно-снисходительный тон Генриха, та легкость, с которой его недавний друг расстается с ним. Он понял, что необратимо рушатся надежды, возлагавшиеся на дружбу с Генрихом, на возможность использовать Вилли Шварцкопфа, а ведь он на это рассчитывал, и не он один...

Вайс просиял и сказал с искренней благодарностью:

— Я очень признателен вам, господин Шварцкопф, и вам, господин оберштурмбанфюрер. Но если вы так добры, у меня маленькая просьба, — целкнул каблуками и склонил голову перед Вилли Шварцкопфом. Произнес с просительной улыбкой: — У меня есть возможность получить место в гараже Айнвандерсерцентральштелле. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для моей карьеры значение.

Вилли Шварцкопф поднял брови, туповато осведомился:

— Ты хочешь служить там шофером?

Вайс еще раз почтительно наклонил голову.

Вилли Шварцкопф взял телефонную трубку, назвал номер, сказал:

— Говорит оберштурмбанфюрер Шварцкопф. — Вопросительно взглянул на племянника: — Как его зовут? — Повторил в трубку: — Иоганн Вайс. Он будет работать у вас шофером... Да... Нет. Только шофером. — Бросил трубку, взглянул на часы.

Вайс понял, поблагодарил и дядю и племянника. У двери Генрих сунул ему в карман конверт с деньгами, пожал вяло руку, пожелал успеха. Дверь захлопнулась.

Вот и кончено с Генрихом, и все оказалось бесплодным — все, на что истрачено столько душевных сил, с чем связывалось столько далеко идущих планов. Есть ли здесь

вина самого Вайса? И в чем она? Не разгадал душевной черствости Генриха? Был недостаточно напорист, недостаточно настойчив, чтобы занять место его наперсника? Недооценил влияния Функа, а потом и Вилли Шварцкопфа? Полагал, что пробуждающиеся симпатии Генриха к фашизму не столь быстро погасят его юношескую пылкость, его, казалось бы, искреннюю привязанность к товарищу?

Вайс понимал, что допустил не только служебную ошибку, которая, возможно, отразится на всей операции, но ошибся в человеке, и эта ошибка оставит след в его душе. Как бы там ни было, а Генрих ему нравился своей искренностью, доверчивым отношением к людям, хотя эта доверчивость легко подчинялась любой грубой воле извне. Подъем чувств легко сменялся у него подавленностью, кротость переходила в наглость, он раскаивался, мучился, искренне презирал себя за дурные поступки, метался в поисках цели жизни. Вот эта порывистость, смятенность, недовольство собой и казались Иоганну человечески ценными в Генрихе, и он радовался, когда видел, что его осторожное влияние иногда сказывается в поступках и мыслях Генриха. Это привязывало Иоганна к молодому Шварцкопфу, и из объекта, на которого Вайс делал ставку, Генрих как-то постепенно превращался в его спутника. Если с ним и нельзя было делиться сокровенными мыслями, то, во всяком случае, можно было не испытывать чувства одиночества.

И вот все, что так медленно, терпеливо подготавливал Иоганн, что составляло главное в разработке его замысла, оборвалось.

На другое утро Иоганн снова отправился на Центральный переселенческий пункт.

Шульц встретил его одобрительным смешком.

— А ты не такой уж простофиля, каким тебя посчитал господин оберштурмбанфюрер, — сказал он, похлопывая Иоганна по плечу. — Оказывается, ты знаком с оберштурмбанфюрером Шварцкопфом?

— Что вы, — удивился Вайс, — откуда я могу быть знаком с таким лицом! Но я работал у его брата, Рудольфа Шварцкопфа, и сын господина Шварцкопфа рекомендовал меня господину оберштурмбанфюреру.

— Хорошо, — благосклонно сказал Шульц. — Я прикажу взять тебя в наш гараж. Но кому ты этим обязан? Надеюсь, всегда будешь помнить?

— Весь в вашем распоряжении. — Вайс вскочил, щелкнул каблуками, вытянув руки по швам.

В этот день Вайс прошел процедуру оформления на службу в Айнвандерерцентральштелле.

Комнату Иоганн получил в квартире фрау Дитмар, и не дорого. Вероятно, хозяйку подкупила кротость, с какой он принял ее неукоснительное требование:

— Никаких женщин!

Иоганн потупился и так целомудренно смутился, что хозяйка, фрау Дитмар, сжалившись, милостиво разъяснила:

— Во всяком случае, не в моем доме.

Иоганн пробормотал сконфуженно:

— Я молод, мадам, и не собираюсь жениться.

— Убирать свою комнату вы должны сами!

— Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботы по дому, и, право... вы убедитесь...

— Почему тетя?

— Я сирота, мадам.

— О! — воскликнула сочувственно фрау Дитмар. — Бедный мальчик! — И, расчувствовавшись, предложила Иоганну кофе в крохотной кухне, блистающей такой чистотой, какая бывает только в операционной.

Невысокая, полная, круглолицая, с увядшими голубыми глазами навывкате и скорбными морщинками в углах рта, фрау Дитмар сохранила, несмотря на свой возраст, черты былой миловидности. Но по ее одежде, по манерам, по выражению лица можно было заключить, что она давно примирилась с тем, что ее женский век кончился.

За кофе в порыве внезапной симпатии, свойственной одиноким людям, уставшим от своего одиночества, она разоткровенничалась и стала рассказывать о себе.

Фрау Аннель Дитмар принадлежала к старинному немецкому роду, отпрыски которого со временем разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Покойные родители ее прожили всю жизнь в Польше. Шестнадцати лет Аннель вышла замуж за инженера Иоахима Дитмара, который был старше ее на пятнадцать лет. Инженер был не из ловких и удачливых людей. Недостатки эти усугублялись его чрезмерной щепетильной честностью, за которую ему приходилось не однажды подвергаться обвинениям в нечестности со стороны вла-

дельцев фирмы. Умер он от сердечного припадка после очередного оскорбления, нанесенного ему инспектором фирмы, — тот назвал его тупицей и глупцом.

Инженер Дитмар, в соответствии с технологией, дал указание использовать для изготовления деталей станков, экспортируемых за границу, высоколегированную сталь. Но это не отвечало политическим целям Германии и экономическим интересам фирмы.

Откуда господину Дитмару было знать, например, что с благословения Геринга начальник абвера Канарис через третьи страны наладил тайную продажу оружия испанским республиканцам с целью ослабить их боеспособность? Для этого в Чехословакии, в балканских и других государствах были куплены старые винтовки, карабины, боеприпасы, гранаты. Все это привозили в Германию. Эсэсовские оружейники отпиливали ударники, портили патроны, уменьшали пороховые заряды в гранатах или же вставляли в них взрыватели мгновенного действия. После переделки непригодное оружие направляли в Польшу, Финляндию, Чехословакию, Голландию и перепродавали за золото испанскому республиканскому правительству.

Нечто подобное решили предпринять по своей инициативе владельцы фирмы, где служил Дитмар: они начали вырабатывать отдельные детали станков, предназначенных на экспорт, не из высоколегированной, как того требовала технология, а из низкокачественной стали. Жертвой своей честности сделался Дитмар, а фрау Дитмар стала вдовой. Сын ее, Фридрих, поступил в Берлинский университет, где обнаружили его блестящие способности к математике.

Но если отец чуждался политики, то сын предавался ей со страстью. Он преклонялся перед Гитлером, вступил в «гитлерюгенд», стал функционером организации.

Фрау Дитмар, давно осудив никчемность супруга, мечтала, что ее Фридрих поддержит честь семьи, займет достойное место в обществе и будет преданно покоить старость матери. Она отказывала себе во всем, чтобы дать ему возможность получить образование. И вот... За весь год Фридрих прислал ей только две поздравительные открытки: одну — на пасху, другую — на рождество.

Почти все это фрау Дитмар поведала Иоганну в первый же вечер, почувствовав расположение к одинокому и скромному юноше, чем-то напоминавшему ей сына, когда тот был еще мальчиком, ходил в школу и нежно любил свою мать, предпочитая ее общество компании сверстников.

Иоганн быстро понял: фрау Дитмар, по натуре мягкая, добрая, отзывчивая женщина, втайне жаждет играть при нем роль матери и таким образом в какой-то мере утолить тоску о сыне. Она сказала, что была бы счастлива, если бы Иоганн согласился сопровождать ее по воскресеньям в кирху, на утренние богослужения, как это некогда делал ее Фридрих.

Если бы даже столь выдающийся и опытный специалист, как Бруно, заранее готовил для Вайса наиболее удобное жилище, едва ли он мог бы подыскать лучшее, чем дом фрау Дитмар.

В лице фрау Дитмар Иоганн нашел квартирную хозяйку, какую трудно предугадать даже в самых дальновидных планах. Ее душевное расположение к нему послужит защитой от одиночества, а ее жизненный опыт и осведомленность о жизни города помогут избежать поверхностного суждения об окружающих его здесь людях.

В гараже, куда на следующий день пришел Иоганн за полчаса до начала работы, его встретили с явной неприязнью. Вскоре он догадался о ее причинах.

Нахбарнфюрер Папке выполнил свое обещание. В эссовском мундире он явился к начальнику гаража ефрейтору Келлеру, и хотя тот уже получил от Шульца распоряжение зачислить Вайса в штат, Папке, со своей стороны, дал подобное же приказание.

Шоферы, механики, слесари, мойщики машин сторонились Иоганна, но вели себя при этом с почтительной настороженностью — так как, по их мнению, следовало вести себя с протеже сотрудника гестапо, который здесь в гараже, несомненно, будет выполнять функции осведомителя.

Вайс решил, что заблуждение сослуживцев ему на руку: изоляция избавит его от излишних расспросов и навязчивой дружбы — вряд ли кто захочет общаться с таким сомнительным типом, каким он был в их представлении.

Имелись преимущества и в независимости его положения. Если он вначале скажет или сделает что-нибудь не так, это сочтут естественным для агента гестапо, и он может смело осведомляться о том, о чем профессиональному немецкому шоферу спрашивать было бы небезопасно.

Ну, и, конечно, если понадобится, можно сразу попробовать получить кое-какие поблажки. Келлер, этот пожилой и строптивый человек, полный чувства собственного достоинства, несмотря на иронические улыбки шоферов, первый

протянул руку Иоганну и так горячо пожал, будто встретил долгожданного друга.

Вайс получил новенькую высокоосную чехословацкую «татру» с мотором воздушного охлаждения — машину, приспособленную к армейским нуждам, со специальными креплениями в передней и задней части корпуса для установки пулемета.

Несмотря на то, что машина была уже освобождена от заводской смазки, Вайс заново вычистил детали. В свое время он прошел курс обучения на всех марках машин, выпускаемых в Германии, но никто тогда не предполагал, что Германия захватит Чехословакию и ему придется работать на чехословацких машинах; поэтому Иоганну пришлось напрямь всю свою техническую смекалку, чтобы после пробного выезда с честью овладеть «татрой». И, конечно, он допустил вначале кое-какие оплошности.

В гараже существовали свои неписанные правила.

Никто из немецких шоферов не садился за руль в той же спецовке, в которой готовил машину к выезду.

Никто, находясь в гараже, не пользовался своим комплектом инструментов — брали гаражный, хотя он был значительно хуже. В туалетной комнате висело на деревянных роликах полотенце. Все вытирались им в течение рабочего дня, но, собираясь домой, каждый вынимал из шкафчика свое собственное полотенце.

Если обращаешься к кому-нибудь за советом или помощью, надо тут же угостить сигаретой, а если занял много времени — отдать всю пачку.

Кое-кто из шоферов не считал для себя зазорным воровать бензин, цена которого была баснословна, и торговать им на «черном» рынке, но если забудешь в гараже зажигалку или что-нибудь другое, на следующий день потерянное будет лежать на прилавке проходной.

Первым нужно здороваться только с ефрейтором Келлером и механиком гаража, с шоферами — по выбору, но слесари и мойщики машин обязаны первыми приветствовать шоферов, особенно тех, кто возит начальников.

Вильгельм Брудер, шофер штурмбанфюрера Редера, был фигурой более значительной, чем Келлер, и с ним почтительно раскланивались все без исключения, а он не всегда находил нужным отвечать.

Иоганн, несмотря на то, что все это еще более упрочило неприязнь к нему сослуживцев, успевал прежде других

щелкнуть своей зажигалкой, когда Брудер еще только вынимал из кармана сигареты.

Хотя Иоганн не был личным шофером кого-либо из начальства и, значит, не имел покровителя, тень Папке служила ему прикрытием от возможных столкновений с сослуживцами.

Поездки Вайса пока ограничивались только районами города, и возил он главным образом незначительных служащих Центрального пункта переселения немцев, очевидно уведомленных Келлером, что при этом шофере болтать лишнего не следует. Иоганн и перед этими людьми старался зарекомендовать себя с лучшей стороны: почтиительно открывал дверцу, помогал нести чемоданы, осведомлялся о желаемой пассажиру скорости. Но когда какой-нибудь словоохотливый пассажир пытался вступить с ним в беседу, даже на патриотические темы, Иоганн от разговоров уклонялся, вежливо ссылаясь на уставные правила. Получив первое жалованье, он пригласил в ресторан Брудера, Келлера и водителя полугрузовой бронированной машины Карла Циммермана, занимавшего особое положение в гараже, так как никому не было известно, в каком ведомстве он служит.

Иоганн заметил, что китель Циммермана на животе с обеих сторон оттопырен двумя пистолетами, а в кабине его машины на специальной держалке укреплен граната и с потолка свешиваются кожаные петли, в которых лежит автомат. Никто в гараже не имел права касаться машины Циммермана — он готовил ее сам, и вызов ему привозил обычно мотоциклист. Каждый раз, получив вызов, Циммерман расписывался в приказе и возвращал его мотоциклисту.

Иоганн решил: самым правильным будет, если он не станет ничего заказывать в ресторане, а скромно предложит гостям сделать выбор по собственному их вкусу.

Циммерман, подчеркивая, что здесь он считает себя самым главным, и для того, чтобы дать другим почувствовать это, громко объявил, самодовольно поглядывая на Келлера:

— Не бойся, если даже тебя пьяного задержит патруль, я скажу им такое, что они отсалютуют тебе, как генералу. — И подмигнул Иоганну.

Циммерман, Келлер и Брудер оказались мастаками по части даровой выпивки. Пиво со шнапсом — это был только первый заход. Иоганн понимал, что три таких разных

человека, впервые собравшиеся вместе, как бы они ни были пьяны, не станут откровенничать друг с другом. Наивно было бы полагать, что шнапс развяжет им языки. И не на это рассчитывал Вайс. Он знал: новичку положено угостить сослуживцев — он просто следовал традиции.

Иоганн никогда еще не напивался, а в тех случаях, когда приходилось это делать, умел себя контролировать. И сейчас он как бы со стороны с любопытством следил за всеми стадиями собственного опьянения. Вместе с опьянением к нему пришла какая-то удивительная легкость. Он наговорил столько приятного своим собутыльникам, что к концу вечера те искренне стали испытывать к нему дружеские чувства.

Фрау Дитмар очень огорчилась, открыв Иоганну дверь и почувствовав запах спиртного. Говорила, что считает себя как бы матерью Иоганна и не может себе простить, почему не предложила ему пригласить гостей домой: ведь в ее доме она никогда не позволила бы ему пить шнапс. Она была так взволнована, так огорчена всем происшедшим, что всю ночь держала на голове холодный компресс, пила сердечные капли. Наутро Иоганн просил у нее прощения с той искренностью и тем чистосердечием, с какими уже многие месяцы ни к кому не обращался.

6

Однажды в пасмурный, дождливый день, случайно проходя мимо бюро по найму прислуги, Вайс встретил баронессу, соседку Генриха по купе. Она приехала в пароконной коляске из замка, ранее принадлежавшего знаменитому польскому роду и отданного теперь ей в собственность генерал-губернаторством взамен оставленного в Латвии небольшого имения.

Баронесса была чем-то расстроена, похудела, морщины на ее лице углубились, кожа повисла складками. Одета она была в меха и небрежно ступала по лужам в своих замшевых туфлях с перламутровыми пряжками.

Баронесса разоткровенничалась с первых же слов. Должно быть, она чувствовала себя одинокой здесь и рада была увидеть знакомое лицо.

Узнав, что теперь Вайс был не просто шофером Шварцкопфа, а как бы военным чином, и что хозяин его — важная персона, она окончательно прониклась к нему доверием. Среди прочей болтовни она поведала Вайсу

о своих тревогах. Она подозревает, что у бывших владельцев замка есть родственная ветвь в Англии, и это может повредить ей впоследствии. В сущности, она не одобряет конфискации имущества у польской аристократии, и хотя славянство — низшая раса, к древним родам расовый принцип не применим. И если некоторые польские аристократы фрондируют сейчас своим патриотизмом, то это не представляет опасности для рейха. Это вполне благоразумный патриотизм. А вот надежды польских мужиков на Россию — это опасно...

На прощание баронесса милостиво пригласила Иоганна в замок и пообещала, что управляющий угостит его хорошим обедом.

После пирушки в ресторане Вайс заметил, что его дружеские отношения с Келлером, Брудером и Циммерманом затруднили общение с рядовыми работниками гаража. И это было ему очень горько.

Вначале они чуждались Вайса и говорили только то, что было необходимо по ходу работы.

Но потом, как это всегда бывает, труд сблизил их с Вайсом. Люди труда проникаются доверием к человеку, если видят в его рабочих повадках подлинное мастерство.

Многому Белов научился на заводе, где работал и его отец, но большую часть своего умения он обрел в институтской лаборатории, где занимался в студенческом научном кружке под руководством академика Линева.

Он знал термитную и газовую сварку, умел определить марку стали по излому, с точностью лекальщика отшлифовать деталь, и эти универсальные знания удивляли немецких рабочих, восхищали их, хотя вначале они не подавали виду.

Сначала из немногословных реплик Вайс узнал, что Венер — участник первой мировой войны, был тяжело ранен на Восточном фронте и какой-то русский солдат, тоже раненный, полегче, взял его в плен, повел, а потом, после того как покурили сидя в осыпавшемся окопе, махнул рукой и ушел, забрав только винтовку Венера.

Вайс сказал:

— Значит, среди русских попадают хорошие люди. Но этот, паверное, не был большевиком.

Венер долго не отвечал, будто увлеченный работой, потом спросил:

— Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?

— Кажется, большевики.

— Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?

Вольф Винц, низкорослый, широкоплечий, сутулый, со сломанным носом, долго не шел на откровенные разговоры.

Но однажды вечером, когда они вдвоем остались в гараже, Винц спросил Иоганна:

— Вот ты, молодой и ловкий малый, почему работаешь, как мы, а не в СС, не в гестапо, — вот где такому парню лестница вверх.

— А ты почему по ней не лезешь?

— Я рабочий.

— И тебе это нравится — быть рабочим?

— Да, — сказал Винц. — Нравится.

— А где нос перешиб, на работе?

— Да, — сказал Винц, — на работе. Неаккуратно вправляли мозги, вот и поломали.

— Кто?

— Да уж кому положено.

— Понятно, — сказал Вайс.

— Что именно?

— Смелый ты парень.

— Это потому, что такое говорю? — Винц усмехнулся. — Не видел ты, значит, настоящих смелых ребят.

— Да, я не был на фронте, — нарочно снисвничал Иоганн.

— Они не на фронте.

— А где?

— В гестапо!

— Да, ребята там крепкие, — сказал Иоганн, внимательно глядя на Винца, и добавил с улыбкой: — Ты ведь это хотел сказать.

Винц тоже улыбнулся и похвалил:

— А ты действительно ловкий парень, не из тех, кто плюет товарищу под ноги.

— И ты не из таких.

— Правильно, — согласился Винц. — Угадал в самую точку.

Иногда Вайс после работы заходил со своими напарниками в пивнушку, где они чинно, неторопливо отхлебывали пиво из больших кружек и вели разговоры о своих семьях, вспоминали о доме, читали полученные письма.

Однажды Иоганн спросил, будет ли война с Россией. Венер ответил загадочно:

— Бисмарк, во всяком случае, не советовал.

Винц сказал:

— А он плевать хотел на твоего Бисмарка. Возьмет и прикажет, сегодня или завтра прикажет.

— Но будет еще послезавтра, — уклончиво сказал Венер.

— И что тогда? — допытывался Винц. — Что будет послезавтра?

— Может, ты хочешь, чтобы я встал и начал орать о том, что будет, на всю пивную, — рассердился Венер.

Винц, внимательно глядя на Иоганна, поднял кружку:

— Будь здоров! — И выпил до дна.

Иоганн тоже выпил до дна, но счел нужным заявить на всякий случай:

— За тебя и за нашего фюрера.

— Ох и ловкий ты парень, — сказал Винц. — Тебе бы в цирке работать.

Особое уважение рабочих гаража Вайс приобрел благодаря своему умению спокойно, без лишних разговоров выполнять сложную техническую работу по ремонту машин. Вместе с Винцем и Венером он восстановил разбитую передвижную электростанцию, смонтированную на кузове грузовика с мощным дизельным двигателем.

Сдавая отремонтированную электростанцию военному инженеру, Вайс удостоился не только похвалы, но и денежной награды.

Вечером в той же пивной он разделил деньги между своими напарниками.

Венер и Винц заказали свои обычные большие кружки пива и, как всегда, чинно, протяжно отхлебывали маленькими глотками, заглатывая напиток вместе с горьким дымом сигарет. Но когда вышли на улицу — оба они, явно не сговариваясь заранее, запротестовали, требуя, чтобы Иоганн взял себе большую долю из полученных денег.

— Но почему? — спросил Вайс.

— Знаешь, парень, — строго сказал Венер, — ты у себя в Прибалтике нанюхался социализма. А у нас здесь совсем другой запах.

— Дерьмом воняет, — объяснил Винц. — И ты еще к нему не принялся.

— Ну, вот что, — сказал Иоганн. — Мой нос сам мне скажет, где чем пахнет, а вы катитесь.

— Значит, не возьмешь свои деньги?

— Вот что, — сказал Иоганн, — ничего я вам не давал.

А только заплатил. Заплатил, понятно?

— Так много?

— Это — мое дело. Я хозяин, я плачу.

— Значит, ты из этих, кто хозяева?

— Да, — сказал Иоганн, — именно из этих.

— Значит, не возьмешь?

— Нет.

Они долго молча шли по темной, с погасшими фонарями улице. И вдруг Винц с силой хлопнул Вайса по спине и сказал:

— А ты, Иоганн, настоящий немецкий рабочий парень, таких у нас в Руре было когда-то немало.

— В Гамбурге тоже, — добавил Венер.

И впервые за все это время Иоганн испытал искреннюю радость оттого, что его признали немцем...

Постепенно Иоганн убедился, что чем выше положение того или иного лица, тем меньше оно расположено к открытости. Пропорционально занимаемой должности увеличивается тайный контроль за ним. Чем значительнее персона, тем длиннее хвост агентуры. И этот хвост может захлестнуть Иоганна петлей, если он, еще недостаточно защищенный, будет в нее соваться.

Наблюдая и размышляя, Вайс установил для себя любопытную и очень полезную истину: чем выше занимаемая должность, тем выше комерней обладатель ее относится к подчиненным и тем строже требует соблюдения тайны различного рода информации. Но высокомерие, проявляемое к ближайшим подчиненным, в отношении мелких служащих приобретает зачастую характер пренебрежения к ним. И подобно тому, как немецкий генерал никогда не позволит себе выйти к офицеру без кителя, а перед солдатом не считает неприличным расхаживать в нижнем белье, так и высшие чины в присутствии низших служащих не слишком строго соблюдают правила сохранения служебной тайны.

В служебной системе, где старшие зачастую передовывают младшим свою работу, в тщательно продуманной и безукоризненной схеме имелись точечные организмы, которые, будучи по своему положению низшими чинами, выполняли ответственную работу.

Эти «организмы» готовили отчеты, донесения, сводки, доклады. Все они были людьми большей частью образо-

ванными, готовыми безотказно трудиться в тылу, считая высшим благом уже одно то, что их не посылали на фронт.

Вот с такими служащими-солдатами Вайс стремился сблизиться. Но пока не знал как.

И еще. В оккупированной Польше немецкие офицеры не только унивались сознанием своего всевластия, но и стремились обставить пребывание здесь с наибольшим комфортом. Даже недавние кадеты из бюргерских семей, приученные с детства к скудному домашнему обиходу, обзавелись тут прислугой и превращали своих денщиков в лакеев. И чем выше занимал должность офицер, тем больше людей его обслуживало.

Повара, лакеи-денщики, горничные пользовались большим расположением старших офицеров, чем младшие офицеры. И эта публика была осведомлена о своих хозяевах лучше, чем самые приближенные лица.

То была настоящая каста. Строевики презирали ее, и только штабные чиновники понимали особое влияние этой касты, которой опасно было пренебрегать.

В эту специфическую среду Вайс тоже хотел проникнуть, но, понимая свое особое положение, люди этой среды держали себя с кастовой замкнутостью.

И Вайс с усмешкой думал, что, если бы баронесса вдруг решила принять его как равного и представила своим знакомым, он знал бы, как держать себя с немецкой аристократией, — книги, фильмы, тренировки служили для этого надежной основой. А вот о немецкой прислуге он был совсем не осведомлен.

Жизненный опыт Вайса вообще не давал ничего полезного в познании людей этого рода. Если у некоторых его знакомых и были домработницы, то они находились скорей в положении члена семьи, от которого зависят все остальные, пребывающие, кроме того, в непрестанном тревожном ожидании, что вот-вот домработница объявит: с такого-то дня она студентка, или продавщица, или уезжает на новостройку. Теперь Иоганну предстояло на практике изучить эту новую для него социальную прослойку. Попытки найти ключ к тайнам этой среды с помощью фрау Дитмар окончились безуспешно. Фрау Дитмар заявила с негодованием:

— Прислуга — это враг в доме. Я стала обходиться без прислуги с тех пор, как моя кухарка сделала мне замечание. Она посмела сказать, что, если я не буду к возвращению мужа с работы красиво причесываться, он оставит меня. Это наглецы, соглядатаи в семье!

Сотни машин съезжались каждую субботу вечером к продовольственному цейхгаузу за пайками, размеры и ассортимент которых соответствовали званию и должности того или иного лица. Пайки для своих хозяев получали кухарки, денщики, повара. Но им не полагался транспорт, и предлагать кому-либо из них свою машину было неосторожно.

Как-то Иоганну посчастливилось навязаться в помощники ефрейтору, выдающему на складе обеденные сервизы из трофейного фонда. Но завязать знакомства не удалось. Слуги с такой жадностью расхватывали сервизы, так спорили, кто из их хозяев чего достоин, что, кроме унижения, это общение ничего не дало Вайсу. Правда, кое-что в процессе этого короткого знакомства его заинтересовало. Когда адъютант гаулейтера Польши захотел взять старинный французский сервиз на сто персон, ефрейтор не разрешил и грубо сказал адъютанту, что у того руки короткие.

— Этот сервиз предназначен... — и многозначительно закатил глаза под лоб.

И адъютант, так же многозначительно кивнув, послушно согласился взять сервиз попроще.

Значит, в Польшу должен прибыть если не Гитлер, то кто-то из его приближенных. Но кто? Куда? Когда?

Все вечера Иоганн проводил дома, в обществе фрау Дитмар. Беседы с ней обогащали его сведениями о том образе жизни, который вели здесь немцы, так же, как и в Латвии, державшиеся в Польше замкнутой колонией, сохраняя традиции старонемецкого обихода.

Фрау Дитмар рассказывала, как напугал вначале многих местных немцев приход фашистов к власти. Но расправы с коммунистами, рабочим движением в Германии успокоили даже тех, кто считал Гитлера авантюристом. Потом снова началась полоса страха, боязнь, что агрессивный захват Гитлером Чехословакии и Польши вызовет вступление в войну Англии, Франции и России. И тогда неизбежно новое поражение Германии. Но теперь, когда Англия и Франция без всякого сопротивления уступили Польшу, даже старинные прусские потомственные семьи военных не только стали сторонниками Гитлера, но провозгласили, что гений Фридриха Великого воплощен в фюрере. И, возможно, это так, заключила фрау Дитмар, потому что астрологи, приезжавшие сюда из Берлина, подтвердили, что приход Гитлера к власти предсказан свыше.

— А вы верите в астрологию? — спросил Вайс.

Фрау Дитмар заявила с достоинством:

— Я христианка. Верю в бога. Но почему Гитлер не может быть посланцем бога? Новым Иисусом? Так назвал проповедник нашего фюрера.

— И вы тоже считаете его сыном божьим?

— Господи милосердный! — сердито сказала фрау Дитмар. — Но откуда он мог еще взяться? Все мы дети Иисуса!

Из этого Иоганн сделал вывод, что даже милейшая и добрейшая фрау Дитмар, обещавшая заменить ему мать, с материнской заботой относящаяся к нему, — даже она не решается быть искренней, когда разговор заходит о политике. И она, считая себя матерью Иоганна, боится, что названный сын предаст ее.

Да, не так легко пробить этот панцирь недоверия каждого к каждому. Все, словно черепахи, таскают на себе его костяную, твердую скорлупу, чтобы прятаться под ней, как пресмыкающиеся, и выжить, выжить, выжить...

И все-таки не кто другой, как фрау Дитмар, помогла Иоганну проникнуть в среду, куда он до сих пор тщетно пытался попасть.

Когда однажды он после окончания богослужения подъехал к кирхе, похожей на гигантскую ледяную сосульку или на сталагмит, из ее высоких арочных дверей вышла фрау Дитмар под руку с дамой в накидке из беличьего меха. Фрау Дитмар представила Иоганна даме, сказала, что та служит экономкой у полковника фон Зальца и что она знакома с фрау Марией Бюхер очень давно — еще с детства.

Сначала Иоганн доставил домой фрау Дитмар, а потом повез Марию Бюхер в центр города, в особняк полковника фон Зальца.

В ответ на вежливый, заданный безразличным тоном вопрос «Как вам здесь живется?» Вайс словоохотливо изложил свое жизненное кредо. Знакомых у него нет никого, сослуживцы — плохо воспитанные люди. Все вечера он проводит с фрау Дитмар. Пользуясь книгами ее сына, немного занимается. После военной службы хотел бы открыть свое дело; у него есть опыт механика, и он мог бы неплохо зарабатывать, если бы удалось приобрести небольшой гараж, чтобы оборудовать там авторемонтную мастерскую.

Мария Бюхер слушала его рассеянно, казалось, ее совершенно не интересуют жизненные планы молодого

человека. Но когда они приехали, фрау Бюхер вдруг спросила весьма заинтересованно:

— У вас есть средства, чтобы купить такую мастерскую?

— У меня есть голова, — хвастливо сказал Вайс.

— О, этого, к сожалению, недостаточно, — снисходительно заметила фрау Бюхер. Но тут же добавила: — Но голова у вас, несомненно, есть, и очень неплохая, если в ней такие солидные мысли. — Помедлив, сказала решительно: — Вы сейчас выпьете со мной чашечку кофе.

Она вышла из машины, открыла ключом железную калитку в сад, поднялась с черного хода в свою комнату, обставленную хорошей мебелью, но некрасиво загроможденную чемоданами и ящиками, аккуратно обитыми железными полосами.

Сняв беличью накидку, фрау Бюхер предстала перед Вайсом в голубом платье из тонкого джерси, наглядно демонстрирующем все выпуклости ее могучей фигуры.

Угощая Вайса кофе, домоправительница так кокетничала с ним, вела разговоры на столь игривые темы, что Вайс затосковал, поскольку ни за что не решился бы проложить дорогу в недоступную ему среду ценой такого самоотверженного подвига.

Но, к счастью, мадам Бюхер столь же стремительно перешла от фривольной болтовни к делу. Уже совсем другим тоном она сказала, что ее дочь — очень милая девушка, окончившая гимназию, работает переводчицей у полковника, она тоже, как Вайс, военная. Полковник занимает важный пост в абвере и по роду своей деятельности часто уезжает надолго, поэтому у дочери бывает свободное время, которое она могла бы проводить с приятным юношей, конечно, в обществе матери. В заключение мадам Бюхер пообещала сообщить через фрау Дитмар, когда Вайс сможет снова навестить ее.

7

Профессиональных шоферов в гараже было всего двое-трое. Остальные устроились в тыловой части с помощью различных махинаций и восполняли недостаток опыта униженной угодливостью перед начальством и ревностным щегольством друг перед другом в преданности фюреру.

Бывшие лавочники, сынки фермеров, владельцы

кустарных мастерских, хозяева пивных заведений и дешевых гостиниц, лакеи и официанты, комиссионеры и маклеры безвестных фирм — люди подозрительных профессий — все они имели надежные социальные, политические и бытовые преимущества перед рабочими, слесарями и механиками, жившими на казарменном положении в гараже.

Однажды старший писарь штаба транспортной части Фогт приказал Иоганну найти специалиста по ремонту пишущих машинок, Иоганн предложил свои услуги. И не только наладил и вычистил машинку Фогта, но приятно поразил его грамотностью и той скоростью печатания, какую продемонстрировал, проверяя отлаженность машинки. И Фогт решил взвалить на рядового солдата часть той работы, которая была ему поручена в эти дни. Эксплуатация старшим младшего считалась здесь в порядке вещей и понижала все сверху донизу. Фогт приказал Вайсу явиться вечером в канцелярию, но предупредил, чтобы об этом никто не знал.

Фогт устроился на диване, подложив под голову свернутую шинель, и стал диктовать Вайсу списки солдат, отчисленных из различных транспортных подразделений для укомплектования ударных частей. Строго предупредил, что все это абсолютно секретные материалы.

Печатая, Иоганн быстро усваивал и запоминал наиболее важные сведения: помогла длительная тренировка, которую он проходил, чтобы почти автоматически, с первого чтения, запоминать до десятка страниц. И как же он в эти часы мысленно благодарил своего наставника, который утверждал, что чем больше у разведчика самых неожиданных профессиональных познаний, тем больше открывается перед ним возможностей для маневра и тем меньше его зависимость от посредников. В свое время, когда Иоганн хорошо овладел пишущей машинкой, наставник оценил это достижение выше его успехов по освоению оружия иностранных марок.

Ночью Иоганн сделал записи, зашифровал их, перенес шифровки на страницы одной из книг сына фрау Дитмар, поставил книгу на самую верхнюю полку шкафа и лег спать с понятным чувством удовлетворения: работа была начата удачно.

К сожалению, в остальном Иоганну не слишком везло. Келлер, охладев к Вайсу, так как не получал новых подтверждений связи шофера с гестаповцем Папке, пересадил его на грузовую машину.

И Вайс был вынужден возить на вокзал ящики и тюки с различными вещами, захваченными начальствующим составом в городе, грабеж которого осуществлялся тщательно и аккуратно, по заранее разработанному плану. Специальные лица ведали учетом всего, что представляло хоть какую-нибудь ценность.

Распределение этих ценностей производилось в точном соответствии с положением, званием, должностью тех, кто был достоин пожинать плоды побед вермахта.

Старшие военные офицеры, получив от знакомых гестаповцев или контрразведчиков абвера сведения о том, кто из поляков подлежит репрессии, спешили посетить их под предлогом вселения к ним в квартиру кого-нибудь из своих подчиненных. И после пытливового обследования картин, фарфора, старинной мебели, бронзы делали отметки у себя в записных книжках. Не стеснялись открывать шкафы с одеждой, осведомляться, представляют ли ценность дамские меховые шубы, накидки. А после произведенной репрессии приходили снова и давали указание родственникам, как следует упаковать отобранные ими вещи, чтобы они не были повреждены при транспортировке в Германию.

И эти рыцари вермахта — потомки прусских чванных юнкеров, кичившихся тем, что воинская служба — дорога чести, со следами шрамов на лице от дуэлей, поводом для которых служил малейший намек, якобы задевающий их личную честь, — сидя посреди чужой гостиной на стуле, поставив между ног, туго обтянутых галифе, дедовскую саблю, настороженно следили за тем, как родственники людей, быть может уведенных на казнь, дрожащими руками заворачивали в солому, в бумагу, в вату различные фамильные ценности.

Наиболее дотошные заставляли этих несчастных людей не только составлять опись изъятых предметов, но и пространно подтверждать их старинное происхождение и скреплять данные ими сведения своими подписями.

Иоганн не имел права останавливаться на всем маршруте до вокзала. После выгрузки машину тщательно осматривали, поднимали сиденье в шоферской кабине, раскрывали ящики с инструментом. Солдат мог оказаться вором. Офицер — никогда.

И когда Иоганн стоял с грузовиком у дома, из которого выносили имущество, он ощущал взгляды одиноких прохожих, падающие на лицо, как плевки. В такие минуты он старался думать только о своем первоначальном и длитель-

ном задании: он должен, должен упорно, настойчиво и покорно вживаться в эту жизнь и, сохраняя при этом полную пассивность, стать Иоганном Вайсом, искать расположения окружающих, научиться быть дружески иска-тельным по отношению к ним, даже в наци находить человеческие струнки, чтобы играть на них...

Вайс давно не встречался с Папке. Неожиданно тот явился в гараж и, странно, конфузливо улыбаясь, сказал, что в Лодзи теперь уже почти никого из рижан не осталось, а он соскучился по землякам. Не проведет ли Иоганн с ним вечер?

Все вечера Вайса были заняты штабной канцелярией. Фогт эксплуатировал его, как мог. Но разве не укрепитя доверие старшего писаря к шоферу, если унтерштурмбан-фюрер гестапо прикажет освободить ему вечерок?

Зима началась ранними сумерками, мокрым, каким-то гнилым снегом, растекавшимся скользкой слизью по тротуарам. Не так давно на электростанции была обнаружена организация Сопротивления. Участников ее расстреляли. Новые работники, проверенные гестапо, очевидно, отличались благонадежностью, но не техническими знаниями. Свет в уличных фонарях то начинал набирать такую ослепительную силу, что казалось, лампы, не выдержав напряжения, вот-вот начнут взрываться, словно ручные гранаты, то увядающе блекли, то игриво подмигивали, то испуганно мелко и часто трепетали, и по улицам, как призраки, метались тени.

Внушительно, ритмично бухали каблуки патрулей. Гулкое их звучание было схоже со звуком, какой издает молоток, забивающий крышку гроба. Торжествующий марш тупого, бесчеловечного, словно вытесанного из камня символа грубого насилия.

На лица прохожих внезапно падал белый диск, как бы выстреленный из ручного фонаря патрульного, из темноты выскакивало искаженное страхом человеческое лицо, еще более, чем страхом, изуродованное попыткой воспроизвести конвульсию улыбки. Ослепленные глаза моргали, как у смертника. Бесшумно, почти мгновенно возникнув, лица так же бесшумно и мгновенно исчезали, чтобы снова возникнуть и исчезнуть, их ритмически-последовательное появление почти совпадало с тяжелой поступью патрулей.

Казалось, эти лица исчезали не оттого, что гас фонарь патрульного, а от одного тупого звука каблуков, втаптыва-

ющих в землю самую душу польского народа, распластанную, распятую. И не по земле — по живому телу народа шествовали наци.

Предавшись горестному созерцанию порабощенного города, Иоганн рассеянно слушал ворчливое бормотание Папке и несколько раз ответил невпопад. Поймав себя на этом, он с усилием освободился от наваждения и, снова становясь Вайсом, спросил бодро:

— Как ваши успехи, господин унтерштурмбанфюрер? Надеюсь, все хорошо?

Папке загадочно усмехнулся и вдруг сказал добродушно:

— Когда мы наедине, можешь называть меня Оскаром. У меня было два-три приятеля, которые называли меня так.

— О, благодарю вас, господин унтерштурмбанфюрер!

— Оскар! — напомнил Папке и произнес уныло: — Один из них стал штурмшарфюрером и теперь не снисходит до того, чтобы назвать меня Оскаром, а я не осмеливаюсь назвать его Паулем. Другой попал в штрафную часть, и если б даже довелось встретиться с ним, я не позволил бы ему обратиться ко мне по имени.

— А третий?

Папке сказал угрюмо:

— Я предупреждал его — не говори мне лишнего, а он все-таки говорил. Я выполнил свой долг.

— Понятно. А если я позволю себе в разговоре с вами лишнее?

Папке задумался, потом сказал, вздохнув:

— В конце концов, я могу прожить и без того, чтобы кто-нибудь звал меня Оскаром. Хотя мне бы очень хотелось иметь приятеля, который бы меня так называл.

Вглядываясь в физиономию Папке, Вайс заметил новое, ранее не свойственное ей выражение печали, разочарования. Маленький сморщенный подбородок был уныло поджат к обиженно отвисшей толстой нижней губе, на низком лбу сильнее обозначились складки морщин, веки опухли, глаза в красных, воспаленных жилках. Папке шел, волоча ноги, не приветствуя даже старших по званию, — очевидно, знал, что с гестаповцами ни у кого нет охоты связываться. Зябнувшие руки глубоко засунул в карманы шинели, низко надвинутая фуражка с высокой тульей сильно оттопыривала большие волосатые уши.

Папке сказал, что ему не хочется идти в солдатскую пивную, а в офицерское казино Вайса не пустят, и вообще

лучше посидеть где-нибудь в укромном местечке, чтобы свободно поговорить о прошлом, — ведь, право, в Риге они жили не так уж плохо.

Не долго думая, Вайс пригласил его к себе.

Папке понравилась фрау Дитмар, даже ее явную неприязнь к нему он считал признаком аристократизма. В комнатке Иоганна он поставил на стол добытую из кармана бриджей бутылку шнапса и, прикладывая зябнувшие руки к кафельным плиткам голландской печи, в ожидании, пока Иоганн приготовит закуску, жаловался, что здесь его недостаточно оценили. Он рассчитывал на большее — и по званию и по должности. Сказал, что Функ — мошенник.

Папке предполагал, что Функ был двойным агентом — гестапо и абвера, но, по-видимому, ставку делал на абвер. И наиболее ценные сведения по неизвестным каналам связи сплавлял абверу, где Канарису удалось собрать все старые агентурные кадры рейхсвера — техников, специалистов с опытом первой мировой войны. Канарис мечтает стать главным доверенным лицом фюрера и жаждет прибрать к рукам все разведывательные органы — гестапо, партии, министерства иностранных дел. Но фюрер никогда не позволит сосредоточить такую силу в руках одного человека. Гестапо — это партия, и ущемить гестапо — все равно что покушаться на всесилие самой национал-социалистской партии. И Папке как бы вскользь напомнил, что он нацист с 1934 года, но выскочки заняли все высокие посты, пока он честно служил рейху в Латвии. Его подбородок снова сморщился в комочек, а нижняя влажная губа обиженно отвисла.

Жадно выпив подряд несколько рюмок водки, Папке раскис, ослабел и, глядя на Вайса осоловелыми, помутневшими от слез глазами, рассказал, как его, старого наци, исполнительного служаку, недавно унизили.

Бывший его приятель теперь штурмшарфюрер, приказал Папке взять на улице человека и отвезти туда, куда прикажут двое штатских, которых Папке принял за агентов гестапо. За городом штатские стали избивать этого человека резиновыми шлангами, для веса набитыми песком. Они требовали, чтобы человек подписал какую-то бумагу, а тот не соглашался.

Самому Папке никогда не приходилось никого пытаться. Но он видел, как пытали коммунистов в подвалах ульманисовского Центрального политического управления. Он за-

помнил квалифицированные способы пыток и предложил применить к упрямцу один из них.

Это помогло, и человек подписал бумагу. Тогда штатские приказали Папке отвезти его туда, куда тот захочет, а сами ушли пешком.

Придя в себя после избияния и пыток, пассажир, подопечный Папке, стал яростно ругаться. И Папке понял, что имеет дело не с политическим преступником, а с коммерсантом — компаньоном тех двоих. И бумага, которую требовалось подписать, была просто коммерческим документом, и теперь, хотя этот человек вложил больше капитала в отобранный у поляков кожевенный завод, доля его прибыли будет меньшей. И он говорил, что донесет на Папке в гестапо за участие в шантаже.

Но когда Папке сказал штурмшарфюреру, что те двое штатских — авантюристы и обманули его, штурмшарфюрер притворился, что даже не понимает, о чем речь. А потом сделал вид, будто понял, и сказал, что Папке злоупотреблял своим положением в гестапо, польстившись на взятку, а за это полагается расстрел. Помня былую дружбу, штурмшарфюрер сам доносить на него не станет, но если коммерсант доберется до высших лиц, пусть Папке пеняет на себя.

Рассказывая, Папке не стесняясь плакал тяжелыми серыми слезами, губы его дрожали. Он твердил исступленно:

— Мне, старому наци, плюнули в душу. И я должен молча сносить это!

— А почему вам не сообщить в партию о поступке штурмшарфюрера?

Слезы Папке мгновенно высохли.

— Я же тебе говорил: гестапо — это партия. Партия — гестапо. Честь наци не позволит мне это сделать.

— Но штурмшарфюрер — плохой член партии, раз он берет взятки.

— Нет, Вайс, ты не прав, — покачал головой Папке. — Он просто умнее, чем я о нем думал. В конце концов, это одно из проявлений нашей способности возвышаться над моралью простодушных дураков, чтобы утвердить господство сильной личности. И, если хочешь знать, я готов преклониться перед штурмшарфюрером и горжусь, что он был когда-то моим другом.

Иоганн внимательно следил за выражением лица Папке, проверяя, появится ли на нем хотя бы тень притворства. Нет, унтерштурмбанфюрер был искренен в своем преклонении перед удачливостью бывшего приятеля.

«Какой же ты раб и мерзавец!» — подумал Иоганн и сказал:

— Вы, господин унтерштурмбанфюрер, для меня образец наци и преданности идеям.

— Оскар! Называй меня, пожалуйста, Оскар. Мне приятно, когда меня называют по имени, — жалобно попросил Папке. И чистосердечно признался: — В Латвии я чувствовал себя как-то увереннее. А здесь мне каждый шаг дается с трудом, как по льду хожу. — Вдохнул. — В Риге я знал не только, что у каждого немца в голове, но и что у него в тарелке. А здесь... — И сокрушенно развел руками. — Поляки — коварный народ: подсунули мне донос, — оказалось, наш агент. Такие сволочи! — Выпрямился, коричневые глазки блеснули. — Но ты не думай, что старый Оскар скис. Он еще себя покажет. У меня есть надежда выдвинуться на евреях. С ними проще. Предстоит крупная операция. Из уважения к моему партийному стажу обещали зачислить в группу... Но! — Папке угрожающе поднял палец.

— Будьте спокойны, — сказал Вайс и сделал такое движение, будто откусывает себе язык.

— Ну, а ты как?

Вайс уныло пожал плечами.

— Работаю на грузовой — и ничего больше.

— Возишь трофеи?

— Да.

— И нечем поживиться?

— Господин унтерштурмбанфюрер, я честный человек.

— Оскар, Оскар, — сердито напомнил Папке.

— Дорогой Оскар, — не очень уверенно произнося имя Папке, робко попросил Иоганн, — может, вашей группе понадобится хороший шофер — так я к вашим услугам.

— Хочешь заработать? — понимающе подмигнул Папке. — Им будет приказано явиться на пункт сбора только с ручной поклажей — не тряпье же они возьмут!

— Это естественно, — поддакнул Вайс. — Но я хлопочу не о том, у меня другая цель. Просто мое положение в гараже улучшится, если меня выделят для специальной операции. Знаете, на легковой машине легче работать: у каждого свой шеф. После того как я поработаю в вашей группе, Келлер, пожалуй, поощрит, выдвинет меня. Он ведь тоже наци.

— Ладно, — пообещал Папке и протянул руку. Вайс признательно пожал ее. Потом Папке вынул из бумажника

фотографию супруги и детей, прислонил к бутылке с вином и попросил Вайса подойти ближе. Указывая на фотографию, сказал: — Это мой рейх. И ради них старый Оскар готов на все, что прикажет ему фюрер. Давай выпьем за этих немцев, для которых Германией будет весь мир.

Он сильно перебрал в этот вечер, и Иоганн уговорил его остаться ночевать. Помогая Папке раздеться, он слушал его бессвязный лепет о том, что молодость безвозвратно прошла и в свои пятьдесят лет он посит чин, который сейчас имеют юнцы, что рано или поздно на службе он в чем-нибудь сорвется — и тогда фронт, смерть. И Папке снова плакал. И, уже раздетый, опустился на колени, обращаясь с молитвой к всевышнему, чтобы тот не покидал его и не ставлял в минуты сомнений и горестей.

Наутро одежда Папке была выглажена, вычищена, китель аккуратно висел на спинке стула.

Иоганн сказал, что все это сделала его хозяйка. Как он и предполагал, Папке постеснялся зайти попрощаться и поблагодарить фрау Дитмар за эту любезность. Улыбаясь, Иоганн рассказал Папке, что тот заснул не сразу: пытался спеть солдатскую песню, не очень пристойную.

Папке ушел на цыпочках. Когда он был уже в дверях, Иоганн напомнил о вчерашнем обещании.

Ночью ему пришлось как следует поработать утюгом и щеткой, чтобы с женской тщательностью вычистить костюм своего гостя. Но возиться стоило: на хлебном мякише Иоганн сделал оттиск гестаповского жетона с шифром и личным номером Папке. Записная книжка и обработка других документов заняли время почти до рассвета. Кое-что пригодится, и Иоганн был искренне благодарен Папке за то, что тот вспомнил о нем, навестил. Хороший парень Оскар, побольше бы таких! А вот фрау Дитмар была другого мнения и твердо заявила Вайсу, чтобы он не смел приводить в ее дом подобных невоспитанных господ, которые, уходя, не считают нужным даже попрощаться с хозяйкой дома.

К началу зимы в Лодзи усилились патрули военной полиции. Стало больше контрольных пунктов. Дороги часто перекрывались на несколько суток, и проезд по ним без специальных пропусков был запрещен.

Если несколько месяцев назад различные воинские части состояли из людей старших возрастов, недавно мобилизованных, то не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить теперь не только полное омоложение солдатского состава, но и то, что в Польшу прибыли матерые фронтовики, за плечами у которых было победоносное шествие по Дании, Норвегии, Франции, разгром английского экспедиционного корпуса — об этом свидетельствовали их значки, медали, ордена. Численное преобладание военнослужащих из моторизованных, танковых и авиационных подразделений также было совсем не трудно установить по петлицам, окантовкам, значкам на мундирах. Ежедневные прогулки по одной из центральных улиц для подсчета встречных военнослужащих и классификации их по роду войск дали Иоганну возможность прийти к несомненному выводу: на территории Польши немцы сосредоточивают мощную ударную группировку.

Расформирование Центрального пункта по репатриации немецкого населения вызвало у личного состава автобазы тревогу и уныние. Многих уже отправили в строевые части, это же угрожало и Вайсу.

Система сугубой секретности передислокации войск действовала неотвратно и повсеместно.

Начальствующий состав специальных служб пребывал в штатском.

Танковые части передвигались только ночными маршами по запрещенным для всех видов транспорта дорогам. Над ними пролетали четырехмоторные транспортные самолеты «люфтганзы» устаревших типов, чтобы своим шумом заглушить шум танков.

Во многих районах был объявлен якобы санитарный карантин, и эсэсовские патрули никого в них не впускали без пропусков, форма которых менялась каждые три дня. Нижние чины военной полиции, контрразведчики абвера, агенты гестапо после комендантского часа бесцеремонно проверяли документы у прохожих, даже у старших офицеров. Номерные знаки всех видов автотранспорта были заменены новыми. За любые внеслужебные разговоры, пусть даже касающиеся только личных взаимоотношений, военнослужащие беспощадно карались. В этих условиях старший писарь транспортной части решительно отказался от услуг Вайса.

Что касается Келлера, так тот настолько боялся попасть во фронтовую часть, что с ненавистью смотрел на каждого еще не отчисленного из гаража шофера.

На Папке тоже нельзя было рассчитывать. Получив назначение в особую группу гестапо по приему еврейского населения, прибывающего в специальных эшелонах из оккупированных европейских государств, Папке с первых же шагов допустил ошибку. Он простодушно полагал, что раз евреев отправляют в концентрационные лагеря, так надо сразу дать им почувствовать, кто они такие и что их ждет.

Он не обратил внимания на то, как любезно гестаповцы на первых порах обходились с евреями: не гнушались брать под руки престарелых, чтобы помочь подняться по лесенке в кузов грузовика, ласково трепали по щекам детишек, желали всем доброго пути.

А Папке вел себя грубо, стремясь подчеркнуть перед сослуживцами свою ревностную приверженность идеологии наци.

И что же? После того как последняя машина с евреями ушла, гауптштурмфюрер подозвал Папке и, презрительно глядя холодными глазами в его потное лицо, крикнул:

— Дурак, свинцовая башка! — И приказал: — Повторить!

Папке отчислили из особой группы. И теперь он уже не в гестаповской форме и не в звании унтерштурмбанфюрера, а в обычной армейской, в чине унтер-офицера, шляется по дешевым пивным и заводит дружбу с солдатами. Но ведь на этом карьеры не сделаешь!

Папке был настолько удручен, что, забыв об осторожности, сказал Вайсу:

— Да, я грубый человек. Но я правдивый человек. И когда людей везут на смерть, я не могу притворяться, будто верю, что их везут на курорт. — И добавил сердито: — Твой дурак Циммерман возит в лагеря банки с хорошеньким товаром...

— Что именно? — словно для того только, чтобы продолжить разговор, осведомился Вайс.

— Изделия «Фарбениндустри» — газ «циклон Б», роскошное средство для истребления мышей, тараканов и людей, — буркнул Папке.

Вайс заметил предостерегающе:

— Вы совершенно напрасно мне об этом сказали.

— Но ты же мой приятель.

— Все равно этого не следовало делать. — И Вайс повторил отчетливо: — Вы мне сказали, что газом «циклон Б» мы будем умерщвлять заключенных в концентрационных лагерях. Верно?

— Ну что ты! — испуганно прошептал Папке. — Зачем уж так?

— Нехорошо, — укоризненно сказал Вайс. — Нехорошо быть болтливым. — И попрощался с Папке, хотя тот хотел еще что-то объяснить, просить, чтобы Вайс забыл его слова. Но Вайс безжалостно покинул Папке, зная, что тот будет теперь стремиться быстрее встретиться с ним вновь. И если положение Папке сейчас такое, что он не сможет помочь Вайсу избежать службы во фронтовой части, то, во всяком случае, теперь он на крючке, и Вайс так, за какой-нибудь пустяк, не отцепит его с этого крючка. И вместе с тем нельзя чересчур пугать Папке: напуганный, он донесет что-нибудь на Вайса или, еще проще, — пристрелит. Трусы от страха бывают способны на смелость. А вот если долго, осторожно, исподволь изводить Папке, может получиться что-нибудь полезное. Но где взять время для этого?

Сразу после того, как удалось устроиться здесь шофером, Иоганн послал во Львов открытку, купленную в армейской лавке: толстый карапуз сидит на горшке и пухлыми пальчиками зажимает себе нос.

«Дорогая Лизхен, — писал ночью на этой открытке Иоганн. — Я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребывает над вашей семьей божье благословение. Твой Михель».

А потом в рюмке с чистой водой осторожно и бережно выполоскал кончик носового платка и, макая в эту воду оструганную спичку, мягко, чтобы не поцарапать поверхности бумаги, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач.

Фрау Дитмар часто страдала от мигрени и во время приступов не выносила шума. Поэтому она попросила Иоганна забрать к себе в комнату ее старенький двухламповый радиоприемник, с тем чтобы постоялец рассказывал ей по утрам за завтраком политические новости.

Через неделю после отправки открытки Вайс, блуждая настройкой по эфиру, услышал адресованные ему лично позывные — тоненькие, едва различимые и такие родные! После этого он систематически стал получать сообщения из Центра.

Искусство составлять максимально короткие, предельно четкие сообщения, помимо литературных способностей их автора, как и всякое искусство, зависит от качества добытых сведений. Чем ценнее, значительнее содержание сообщения, тем легче оно укладывается в минимум слов.

Некоторые великие открытия знаменитых разведчиков, добытые ценой терпеливого бесстрашного труда, на который ушли годы, отнятые у собственной жизни, укладывались в короткие строки цифровых знаков.

Подобно научному открытию, путь к которому — безустанный многолетний труд, подвиг, завершающийся краткой формулой — ее можно записать на папиросной коробке, хотя она несет революцию в целую область человеческого познания, — подобно ему открытие разведчика, сообщение о котором иногда умещается на спичечном коробке, порой влияет на судьбы государств и народов.

Но как для всякой научной работы требуется бесчисленное множество фактов, их изучение, классификация, так и в разведывательном деле факты — материал, постепенный, сложный анализ которого приводит к синтезу — обобщению, равному открытию.

Период акклиматизации Вайса был подобен состоянию студента-практиканта, твердо зазубрившего формулы, но только на производстве увидевшего их воплощение в гигантские, могучие механизмы, многосложное действие которых очень далеко от умозрительного представления о них, полученного из учебников.

Можно потратить месяцы жизни на последовательное изучение предприятия, чтобы установить его мощности.

Но можно по бросовой стружке из заводской лаборатории определить, на что нацелены эти мощности.

Анализ капли нового горючего или машинного масла может многое сказать о направлении научных изысканий, ведущихся в стране.

Но для того, чтобы установить ценность факта, его достоверность, отличить случайное от закономерного, для этого требуется ледяное спокойствие аналитического ума, разносторонние познания, полное отсутствие тщеславной самоуверенности и отважная способность в малом разглядеть большое, значительное, каким бы это малое на первый взгляд ни казалось незначительным, пустячным, не стоящим внимания.

Система охраны военной тайны была скрупулезно разработана отделами штаба вермахта и действовала всеобъемлюще. Она вобрала в себя все ценное из опыта первой мировой войны. Рейхсвер отшлифовал ее до совершенства.

В свое время державы-победительницы раскинули в Германии высококвалифицированную шпионскую сеть, возглавляемую резидентами, обладающими мировой сла-

вой. И все же рейхсверу удалось многое скрыть от их недреманного ока. Этому он был обязан блистательной системе сохранения военной тайны и отлично вымуштрованному личному составу, умеющему держать язык за зубами; каждый памятовал, что любая оплошность карается беспощадным приговором военного суда, мгновенно приводимым в исполнение.

Молниеносный разгром европейских армий и вершина немецкой стратегии — внезапный удар по всей линии Польша — Франция, — все это было не только упоительным торжеством гитлеровской военной машины, ее мощи, но и подтверждением несравненной способности армии, ее личного состава сохранять в тайне боевые приказы, подготовку к их осуществлению.

Каждая разбойничья победа над очередной страной-жертвой внушала гитлеровскому солдату сознание превосходства немецкой нации над европейскими народами, фанатическую веру в сверхчеловеческую способность Гитлера управлять судьбами мира, менять по своей воле течение истории. И даже матерые генштабисты, считавшие себя особой кастой, элитой, кичащиеся своим военным родовым аристократизмом, в конце концов склонились перед «гением» Гитлера, не однажды грубо и презрительно отвергавшего то, что казалось им неопровержимым. Гитлер угадал нетерпеливую жажду великих держав сделать Германию слепым орудием в их руках, нацелить ее для удара по Советскому Союзу. Он ловко эксплуатировал это положение вещей, шантажировал великие державы, шантажировал, как наемный убийца, выговаривая все большую цену. И он получил в качестве аванса страны Европы. А потом пырнул ножом в живот своих хозяев: сначала ранил Францию — почти смертельно, а потом Англию. Коварная политика фашистского государства, воплощенная в стратегии и тактике немецкой армии, требовала сохранения военных тайн, ибо на этом зиждились многие ее успехи.

Вермахт можно было уподобить хищному пресмыкающемуся, которое долго отлеживалось, казалось, охваченное сонным оцепенением, в кровавой жиже, оставшейся после первой мировой войны, но при этом прожорливо пожирало и жизненные ресурсы страны, и души людей. Постепенно оно покрывалось тяжелой металлической броней, ошетинилось оружием, а каждая клеточка его военного организма обрастала хорошо пригнанной чешуей, назначенной охранять, скрывать то, что нужно было скрыть.

Эта совершенная защита обеспечивалась гигантской контрразведывательной сетью и строжайшей, безотказно действующей дисциплиной всего личного состава. Дисциплина, в свою очередь, поддерживалась страхом жестокого наказания за малейшее нарушение уставных правил, до тошноты предусматривающих любые возможности, щели, сквозь которые могут просочиться тщательно охраняемые сведения.

Все попытки Вайса завязать беседы с армейскими нижними чинами, проникнуть в расположение частей оканчивались неудачей. Шоферы автобазы в соответствии с приказом Келлера не имели права сообщать друг другу маршруты своих поездок. Помимо всего, машины, за исключением броневика Циммермана, использовались лишь в пределах города. Но Циммерман никогда не говорил о своей работе, и Иоганн ничего не знал о ней, кроме того, что машина Циммермана за сутки проходила иногда больше трехсот километров, — это легко можно было проверить по спидометру. Но как бы ни была непроницаема броня, скрывающая передислокацию немецких частей, Иоганн обязан был сквозь нее проникнуть. И проник. Как и все великие открытия, это осуществилось до чрезвычайности просто.

Келлер в последнее время стал настолько пренебрегать Вайсом, что поручил ему вывозить на специальную мусоросжигалку за городом бумажный мусор из различных учреждений, подлежащий уничтожению.

Первые же поездки Вайса на мусоросжигалку дали ему то, что он так долго и тщетно искал. Он рассматривал обрывки иностранных газет, иллюстрированных журналов, старые накладные, внимательно изучал и классифицировал их. Они говорили о том, что из оккупированных немцами стран в Польшу прибыли немецкие штабные части.

Не пренебрегал Вайс и немецкой прессой. По клочкам газет можно было установить, из каких районов Германии прибыли в Лодзь немецкие воинские части.

Он изучал макулатуру не менее увлеченно и вдохновенно, чем археолог свои находки.

Но скоро он утратил источник такой информации и очень сожалел об этом, сколь мало привлекательным он ни был: Келлер освободил его от перевозки мусора. Об этом Иоганн сообщил в конце очередного письма-шифровки, где излагал свои наблюдения о передислокации немецких частей, предварительно, с присущей ему тщательностью,

проверив достоверность добытых сведений путем наблюдений за номерами появляющихся в городе новых армейских машин.

Когда Иоганн ехал на машине один, он никогда не отказывал в любезности подвезти кого-нибудь из армейских. За это с ним расплачивались болтовней.

Разве можно не оказать внимания своему парню, такому приветливому и услужливому, к тому же со дня на день собирающемуся уходить с маршевой ротой. Правда, он еще не нюхал фронта, но как он почтительно относится к фронтовикам, советуясь, в какую часть лучше пойти служить.

Танкистам Иоганн расхваливал авиацию, летчикам — танковые части.

В этих кратких, но пылких дискуссиях о преимуществах того или иного вида оружия Вайс черпал немало существенных сведений.

Однажды во время очередной облавы в городе Иоганн увидел стоящего в нише ворот парня с бледным, как брында, лицом. Парень озирался, держа правую руку в кармане.

Вайс остановил машину, снял запасное колесо, спустил воздух, поманил парня и, подавая ему насос, показал знаком, что он приказывает ему накачать скат. Парень послушался.

Подошел патруль. Вайс показал свои документы.

Патрульный спросил, кивая на парня:

— А этот с тобой?

Вайс, уклоняясь от прямого ответа, сказал неопределенно:

— Полковник вызвал машину, а мы вот опаздываем.

Патруль ушел.

Кончив накачивать воздух в камеру, парень вопросительно поглядел на Вайса, спросил по-немецки:

— Я могу уходить?

— Может, подвезти за твой труд?

Юноша заколебался, потом, будто решившись на что-то отчаянное, уселся рядом с Вайсом.

Долго ехали молча.

Наконец юноша не выдержал, спросил:

— Ты почему меня выручил?

— Это ты меня выручил, — сказал Иоганн, — накачал колесо.

— Странный немец.

— Чем?

— Да вот выручил, — упрямо повторил парень, — и везешь. Я же поляк.

— Вижу.

— Ты что, хороший немец?

— Что значит «хороший»?

— А вот из таких. — Парень поднял руку со сжатым кулаком.

Вайс пожал плечами.

— Рот фронт! Не знаешь?

— Нет, — сказал Вайс.

— Так какого же черта ты меня выручил? — рассердился поляк.

— А где это ты видел таких немцев?

Лицо парня снова побелело:

— А ты, выходит, из гестаповцев, да? Притворялся, да? Поймал, да? — И поспешно сунул руку в правый карман.

Вайс, не оборачиваясь, посоветовал:

— Не горячись. Посчитай до десяти и подумай.

Дальше ехали снова молча.

— Я здесь сойду, — сказал парень. Открыл дверцу и вылез спиной к выходу.

Вайс наклонился.

— А деньги?

— Какие? — удивился парень.

— За проезд.

Парень вынул измятые злотые, сказал:

— Здесь на пачку сигарет тебе не хватит.

— Все равно давай, — строго сказал Вайс. Пряча деньги, сказал, усмехаясь: — А ты думал, немец тебя даром повезет?

Развернул машину. Мелькнуло растерянное, удивленное лицо парня. Он робко помахал рукой. Вайс не ответил.

И хотя Иоганн здорово это придумал, взяв с парня деньги за проезд, все равно выручать его было вольностью, на которую он не имел права.

«Плохо, товарищ Белов, — мысленно сказал себе Иоганн. Но тут же невольно подумал: — А ловко это получилось с камерой. Все немецкие шоферы так делают: заставляют любого польского прохожего качать ручку насоса. Вот и я заставил тоже...»

Но когда через несколько дней пьяный немецкий солдат бил на улице по щекам какую-то накрашенную женщину и та бросилась к Вайсу, умоляя защитить, Иоганн молча отстранил ее и прошел мимо. Вайс прошел мимо так равно-

душно, будто это все происходило в потустороннем мире. После случая с парнем он еще долго относился к себе критически, «прорабатывал» себя. Он понимал: приметы советского человека, его нравственные особенности здесь столь же опасны и вредны, как жалость для хирурга. И он равнодушно прошел мимо избиваемой женщины, твердо зная, что его долг выше этих чувств.

Несколько дней Иоганн возил местного немца, фермера Ключе — члена фрейкора, «пятой колонны» в Польше, функционеры которой совершали диверсии накануне гитлеровского вторжения, а потом выполняли роль гестаповских подручных.

Тяжеловесный, коротконогий, с мясистым лицом, страдающий одышкой, Ключе, узнав, что Вайс из Прибалтики, сказал с упрёком:

— Таких парней следовало там держать до поры, до времени, чтобы вы потом по нашему опыту устроили там хорошенькую пороссячью резню.

Вайс спросил:

— Вы считаете, у нас была бы такая возможность?

— Я думаю так.

— Зачем же мы тогда оттуда уехали?

— Вот именно, зачем? — угрюмо сказал Ключе. И вдруг, ухмыльнувшись, утешил: — Ничего, парень, все еще впереди.

У Ключе на ферме работало несколько десятков военнопленных поляков и французов, но он взял подряд на доставку щебня для дорожного строительства и всех пленных загнал в каменоломню, в качестве надсмотрщиков приставив к ним сына и зятя. Теперь Ключе хлопотал о новых военнопленных для фермы, уверяя, что все его прежние поумирали от дизентерии.

Вайс спросил:

— А что вы будете делать зимой с таким количеством военнопленных?

Ключе сказал:

— Главным конкурентом человека в потреблении основных пищевых продуктов является свинья. А у меня одних производителей больше десятка, и четыре из них медалисты. — Спросил: — Понял?

— Нет, — сказал Иоганн.

— Ну, так понимай, что моим подопечным не выдержать такой конкуренции. Будет падеж — и все.

— Свиней?

— Ладно, не притворяйся, — усмехнулся Ключе и деловито добавил: — Другие получше устраиваются, у кого хозяйство ближе к лагерям. На работу их к ним гоняют, а кормежка в лагере. Будешь хозяином, сынок, учись. — Добавил, помолчав: — В первую мировую у моего отца русские пленные работали. Тощие, сухие, но жилистые, — опасаться их приходилось, — у отца ухо один лопатой так и срубил.

— Одно только ухо? — спросил Вайс.

— Одно.

— Значит, промахнулся, — сказал Вайс.

— Правильно, — сказал Ключе. — Промахнулся. — Задумался, произнес, поеживаясь: — Если русские у меня будут, без пистолета даже к лежащему подходить нельзя. Может за ногу схватить. Это я знаю.

— Вы что же, и на русских пленных рассчитываете?

— Раз война, — значит, и пленные.

— А будет?

Ключе пожал плечами и в свою очередь спросил:

— А почему, по-твоему, в генерал-губернаторстве столько новых войск?..

Келлер сказал Вайсу, чтобы тот завтра в два часа прекратил обслуживать Ключе.

На следующее утро Иоганн возил Ключе по разным учреждениям. Потом Ключе приказал везти его в поместье. Ровно до двух часов Иоганн вел машину по раскисшей от дождя проселочной дороге. В два часа остановил машину, распахнул дверцу, объявил:

— Господин Ключе, время вашего пользования машиной кончилось.

Вайс открыл багажник, вынул из него чемодан Ключе, поставил на землю. То же самое проделал с вещами, находившимися в кабине.

Ключе сказал жалобно:

— Мне же еще пятьдесят два километра ехать, я заплачу. Разве можно бросать посреди дороги почтенного человека?!

Вайс повторил:

— Выходите.

— Я не выйду.

Вайс развернул машину и погнал ее в обратном направлении.

— Но у меня там на дороге остались вещи!

Вайс молчал.

— Остановись!

Вайс затормозил машину.

Клюге копался у себя в бумажнике, потом стал совать Иоганну деньги.

Иоганн оттолкнул его руку.

— Ну хорошо,— сказал Клюге,— хорошо! Тебе это даром не пройдет.

Он вылез из машины и побрел, увязая в грязи, обратно к вещам.

Вернувшись в гараж, Вайс доложил Келлеру, что Клюге хотел задержать машину.

Келлер сказал:

— Приказ есть приказ. Ты должен был его высадить в два ноль-ноль, даже если бы это было посередине лужи.

— Я так и сделал,— сказал Вайс.

У него было ощущение, будто все эти дни он возил в машине какое-то грязное животное.

Вайс вытряхнул чехлы с сидений. Ему казалось, что в машине воняет.

Непрерывная десяти-, а то и двенадцатичасовая работа изнуряла даже самых крепких шоферов. А Иоганн должен был обладать таким запасом физических и нервных сил, чтобы, закончив работу в гараже, отдать их главному своему делу, требующему величайшей сосредоточенности, сообразительности, самообладания.

Человек порой не замечает, как, отравленный усталостью, он утрачивает какую-то дозу чуткости, теряет ничтожные мгновения, необходимые для того, чтобы молниеносно найти решение в непредвиденной ситуации. Можно силой воли преодолеть усталость, но как узнать, не затормаживает ли утомление твое сознание, вынужденное беспрестанно воздействовать на твое подлинное «я» и на твое второе «я», принявшее облик шофера Иоганна Вайса? Тем более что из сочетания этого двойного мышления требовалось выработать то единственное, которое отвечает твоим целям, твоему долгу.

В последние дни усталость, нервная, душевная, физическая, то вытесняла из Белова Иоганна Вайса, то — и это приносило большое удовлетворение — он полностью ощущал себя Иоганном Вайсом, у которого ничего нет позади,

кроме воспоминаний о другом мире, где он некогда обитал. Вместе с тем чрезмерная нагрузка и вызванная ею усталость помогли ему перебарывать тоску по Родине, спать без сновидений, не предаваться воспоминаниям, обжигающим душу. Лишь однажды он поймал себя на том, что плакал ночью, когда ему приснились руки отца, пахнущие железными опилками.

За эти месяцы Белов добыл, впитал в себя то, чего не могли дать самое изощренное, придирчивое обучение, тренировка воли, наблюдательности, переимчивости: с него как бы свалилось то неимоверное напряжение, в котором он неотступно держал себя все время, чтобы быть таким, как окружающие его люди, на чьи повадки, привычки, взгляды, особенности наложила отпечаток целая историческая полоса существования нации, ее бытовой социальный уклад.

Свершилось облегчающее перевоплощение — то, которое предсказывал ему инструктор-наставник. Оно пришло как благотворный результат гигантской работы ума, воли, памяти.

Это было уже не притворство, а прочное ощущение себя тем, кем он должен был стать. Отрабатывая каждую предполагаемую черту Иоганна Вайса, чтобы она стала душевной собственностью, нужно было вместе с тем не утратить ничего от себя самого. Ничего своего не уступить Вайсу. Ибо Иоганн Вайс должен быть не только жизнеспособен, как самостоятельная личность, но полностью подчиниться тому, кто надел на себя его личину.

9

Фрау Дитмар торжественно сообщила Иоганну, что Мария Бюхер в воскресенье празднует день своего рождения и пригласила их обоих к себе.

— Это очень приятная новость, — обрадовался Иоганн.

— Но ваш мундир...

— Я надену штатский костюм.

— Но он же светлый, это же не для вечернего визита! — воскликнула фрау Дитмар и упрекнула Вайса: — Нельзя быть таким легкомысленным. Тем более — у Марии взрослая дочь, что она о вас подумает? — Но тут же успокоила его: — Не огорчайтесь, Иоганн, — и принесла из своей комнаты завернутый в простыню костюм сына. — Примерь-

те, — приказала она. — Я уверена, вы будете в нем, как принц.

Действительно, костюм Фридриха очень шел Иоганну. Задумчиво глядя на него, фрау Дитмар сказала грустно:

— Последний раз, когда я видела Фридриха, он был в форме штурмовика. Это ужасная одежда... — Спohватившись, тут же поправилась: — Для юноши... Присядьте, — предложила фрау Дитмар и сказала очень серьезно: — Я должна предупредить вас, Иоганн: Мария — умная женщина. Мы все ее очень уважаем, но есть обстоятельства, которые вы должны знать. Ее дочь Ангелика, — вы увидите, прелестная особа, — но дело в том, что, когда она была еще совсем юной, отец полковника Иоахима фон Зальца, генерал-лейтенант фон Зальц, находясь уже в более чем зрелом возрасте... Ну, словом, мог быть большой скандал, уголовный суд. Девочка пыталась покончить с собой. И если б не ум ее матери, могло бы произойти несчастье. На семейном совете фон Зальцев, в котором участвовала и Мария, было решено, что она — тогда только старшая горничная в имении генерала — станет домоправительницей, а на имя ее дочери фон Зальцы напишут дарственную на шесть гектаров земли и, кроме того, до ее совершеннолетия будут выплачивать ежегодно некую сумму. Мария настояла также, чтобы генерал передал ей документ, в котором признавал, что Ангелика — его побочная дочь. Этот документ давал Марии гарантию, что фон Зальцы, когда все утихнет, не откажутся от своих обязательств. А считать Ангелику своей побочной дочерью для генерала было приличнее, чем признать то, что случилось на самом деле.

Когда сын генерала Иоахим фон Зальц вернулся из военного училища, отец сообщил ему, что у него есть сестра. Конечно, Иоахиму все это было чрезвычайно неприятно, но такие истории часто случаются и в более именитых семьях. Пришлось примириться, но встречаться с «сестрой» Иоахим не желал.

И тут Мария проявила столько женской мудрости и такта, что Иоахим вскоре убедился: она вовсе не покушается на фамильную честь фон Зальцев и не претендует на родственные связи.

Не так давно он согласился познакомиться со своей «сестрой» и после этого взял ее к себе переводчицей. Полковник относился к Ангелике строго официально, но это вовсе не означает, что он не испытывает к ней своего рода симпатии. Иоахим фон Зальц занимает значительную долж-

ность при абвере не только потому, что принадлежит к знатному роду, — он показал себя с лучшей стороны на дипломатической службе в Англии и Франции.

Помедлив, фрау Дитмар сказала доверительно:

— Мария Бюхер — моя подруга, и я могла бы не рассказывать вам всего этого. Кроме того, здесь имеется еще одно обстоятельство. В свое время Фридрих и Ангелика... Мне кажется, лучше вам это знать и, конечно, забыть, если... — фрау Дитмар улыбнулась, — если у вас появятся какие-нибудь серьезные намерения. Вы сами убедитесь. Я искренне люблю Ангелику — она чудесная девушка, хотя не лишена некоторых странностей.

Откровенный рассказ фрау Дитмар об этой маленькой семейной истории не с лучшей стороны рекомендовал Марию Бюхер и ее дочь, а слова о «серьезных намерениях» довольно цинично раскрывали причину приглашения на семейный праздник. Не слишком обрадовал Иоганн и откровенный материнский эгоизм фрау Дитмар (ее Фридриху не нужна была *такая* жена), и все же Вайсу было приятно, что выбор фрау Бюхер пал именно на него. Значит, он сумел внушить ей такое о себе представление, какого добивался, когда вез ее из кирхи. «Неплохая работа», — похвалил себя Иоганн и тут же отметил, что мысленно произнес эти слова в той интонации, в которой говорил их инструктор-наставник. Случилось это после того, как Иоганн, выполняя урок, доказал ему, почему именно немцы — высшая раса, и подтверждал свои суждения цитатами из выступлений Альфреда Розенберга — теоретика германского фашизма. Докладывал он в двух вариантах: первый принадлежал рядовому солдату, второй — офицеру вермахта.

— Хотя и сверхглупо, — усмехаясь, сказал наставник, — но в общем... — И произнес с одобрением: — Неплохая работа.

И когда Иоганн пожаловался, что у него сейчас такое ощущение, будто он наелся дерьма, инструктор-наставник сказал укоризненно:

— Неправильно реагируешь, Белов. Это же их идеология. Презирать — пожалуйста, но знать и понимать — твоя обязанность. Без этого ты среди них будешь казаться неполноценным, и тогда ты там никаких перспектив на продвижение не получишь. И не забывай: Иоганн Вайс — парень скромный, но себе на уме. За офицерский погон может и на подлость пойти.

У фрау Марии Бюхер собрались, очевидно, самые близкие ее друзья — двое мужчин и три женщины. Они называли друг друга только по именам, но при этом были подчеркнуто вежливы и предупредительны. По их одежде и манерам трудно было определить, что они собой представляют.

Пожилой человек по имени Герберт был в солидном двубортном пиджаке. На вязаном жилете — цепочка. Он был преисполнен чувства собственного достоинства, и мясистое лицо его выражало глубочайшее равнодушие ко всему на свете. Он говорил какому-то хилому господину в смокинге, что англичанам после Дюнкерка благоразумней всего заключить с фюрером мирный договор, с тем чтобы совместно решить восточную проблему. За это фюрер может позволить им оставить себе некоторые северные территории России, которые они оккупировали в свое время и потом потеряли. Взамен Англия, разумеется, должна поделиться с Германией некоторыми своими колониальными владениями.

Но хилый господин в смокинге по имени Пауль осторожно возражал, утверждая, что фюрер сделает то, что не удалось Бонапарту. И немецкие солдаты будут так же победоносно маршировать по улицам Лондона, как они маршируют сейчас по Парижу.

Дама в парчовом платье, с короткими, толстыми, как окорока, обнаженными руками, перебивая этих двух собеседников, заявила очень авторитетным тоном, что фюрер, хотя и ненавидит англичан, знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один, и господин Мосли обещал фюреру содействовать тому, чтобы общественное мнение Англии склонилось в пользу исторических целей фюрера.

— Вильма — наш Риббентроп, — кивая на полную даму, сказала хорошенькая блондинка в голубом куцем платье, открывающем колени.

Вильма с лстивой улыбкой ответила блондинке:

— Ты, Ева, как и наша прародительница, всегда выглядишь соблазнительно. Очевидно, у господина бригаденфюрера появляется желание съесть яблоко, когда он видит тебя.

Ева, польщенная, загадочно улыбнулась.

— Не стала бы отрицать.

Господин в смокинге обернулся, лениво поаплодировал.

— Браво, Ева!

Фрау Бюхер провозгласила, восхищенно глядя на Еву:

— О, Ева — самая обольстительная из валькирий! И, хотя я женщина, я понимаю бригаденфюрера.

На Вайса никто из гостей не обратил внимания, но фрау Дитмар встретили очень почтительно. И искренне обрадовались ее приходу. И когда Ева, перед которой все заискивали, крикнула: «К черту политику! В конце концов, мы женщины», — фрау Дитмар строго поправила ее:

— Немецкие женщины, милая. — И, сев рядом с мужчинами, спросила: — Ну как, Герберт, с кем мы будем воевать еще?

Пауль не дал Герберту ответить:

— Вы хотите спросить, фрау Дитмар, какие еще страны станут частью великой Германии?

— Ах, оставьте! — недовольно оборвала его фрау Дитмар. — Вы тут не со своим хозяином. Мы можем не валять дурака.

— Как жаль, что среди нас нет вашего Фридриха, — сказала блондинка. — Он оказался таким серьезным юношей.

— Да, Фридрих, — похвалила Вильма, — он, конечно, серьезный юноша, но если бы ты, Ева, укоротила юбку еще на пять сантиметров...

— Юный штурмовик не выдержал бы штурма, — закончил с хохотом Пауль.

Из последующих разговоров Вайс понял, что господин Герберт служит экспертом-оценщиком в конторе «Пакет-аукцион», на склады которой доставляют имущество репрессированных жителей из оккупированных областей. Эта же контора выдает конфискованное имущество различным должностным лицам. Наиболее значительные ценности вручаются как личный подарок фюрера за особые заслуги, а также в дни праздников или военных побед, даты которых приравнены по своему значению к пасхальным и рождественским дням. Имперская канцелярия составляет специальные списки лиц, заслуживающих того или иного подарка. И вот господин Герберт, как эксперт, определяет ценность предметов, предназначенных для подарков. И может оценить вещь в сто марок, когда в действительности она стоит тысячу.

Самые высокопоставленные лица заинтересованы в расположении Герберта. Ведь если он захочет или сочтет для себя выгодным, он подберет такие вещи для подарков

в тысячу марок, истинная стоимость которых — целое состояние.

Но Герберт вынужден был сообщать личному представителю Гиммлера обо всех особо ценных предметах, поступающих на склады конторы, откладывать их и передавать в фонды гестапо. И вот почему: никто из собравшихся здесь не знал, что в годы послевоенного кризиса Герберт был приговорен к пожизненному заключению за аферу с маргарином. Его изготавливали из сырья, вредного для здоровья людей, и многие, главным образом дети, тяжело заболели, отравились.

Бывший начальник прусской тайной полиции, а ныне начальник службы безопасности группенфюрер СС Рейнгард Гейдрих — высокий, костлявый, с безжизненными, холодными глазами, тонкими губами и сухим крючковатым носом — приказал выпустить Герберта из заключения и направить в контору «Пакет-аукциона». Гейдрих был уверен, что этот человек, обязанный ему жизнью, будет безгранично предан и исполнителен, поскольку знает, что за любую оплошность его мгновенно бросят в тюрьму и осудят, как отравителя немецкого народа.

Вот почему Герберт был безукоризненно честен в своем сложном деле.

Внимательно слушая, о чем беседуют гости фрау Бюхер, Вайс довольно скоро понял, что они, очевидно, повторяют рассуждения своих хозяев, которым всячески стремятся подражать и в словах и в повадках. Он слушал все эти претенциозные разговоры с любопытством, хотя ничего нового для себя не почерпнул: обо всех маневрах гитлеровской клики, о заигрывании с Англией Центру уже было известно из других, более достоверных, источников. Но все же было приятно сознавать, что он непринужденно чувствует себя в этой необычной компании. Вайс вовремя подал Еве пепельницу, чтобы она не уронила пепел на платье, и Ева живо поблагодарила его.

Когда Герберт, обругав поляков, которые спрятали ценнейшие гобелены из замка Вавель, говорил, что найдутся средства заставить их указать заветный тайник, Иоганн осведомился, не знает ли господин Герберт, какова судьба «Мадонны со щеглом» Рафаэля. И Герберт, уважительно взглянув на Вайса, объяснил ему, какое сокровище эта картина. Потом он сказал, что если бы такие образованные молодые люди, как Иоганн, служили в органах разведки, то для германской империи на оккупированных

землях не были бы потеряны многие произведения искусства, хотя, конечно, специальным подразделениям СС поручено немедленно брать под свою охрану музеи и частные коллекции, находить их прежних хранителей и, применяя соответствующие методы допроса, добиваться того, чтобы ни одна картина, скульптура или какая-нибудь иная вещь, представляющая художественную ценность, не была утрачена для рейха.

Фрау Вильму Иоганн спросил, не полагает ли она, что фюрер наградит вождя английских фашистов Освальда Мосли рыцарским крестом за деятельность в пользу Германии. На это Вильма ответила, что господин Мосли, несомненно, достоин такой высокой награды, но, по ее мнению, наградить его следует тогда, когда войска вермахта высадятся на побережье Англии, или тогда, когда Мосли, как он обещал Риббентропу, совершит в Англии фашистский переворот.

В разговор вмешался Пауль — спросил Иоганна, в какой стране он хотел бы воевать. Иоганн сказал шутливо:

— Там, где амазонки.

Все рассмеялись.

Пауль предложил:

— Не забудьте тогда пригласить меня с собой. Я научу их сбивать коктейли.

Герберт спросил Еву:

— Ну как, толстушка, твой генерал все еще ревнует тебя к каждому встречному солдату? И не без оснований?

— Ах, Герберт, — вздохнула Ева, — какой вы все-таки циник! — Но так победно улыбнулась, глядя в тусклые глаза Герберта, что можно было не сомневаться — Герберт попал в точку.

Фрейлейн Ангелика, девушка с болезненно бледным лицом, сохранила нескладную долговязость подростка. Казалось, худые, тонкие ноги и длинные вялые руки чем-то мешают ей. Маленькое личико с тугой, прозрачной, будто покрытой парафином кожей застыло в неподвижности. Большие синие глаза с чуть голубоватыми белками и туманным взглядом придавали ее лицу такое выражение, словно говорит она не о том, о чем думает.

За столом Иоганн оказался рядом с Ангеликой. Она равнодушно улыбнулась ему и сказала, лениво растягивая слова:

— Вам приятно сидеть рядом со мной?

Иоганн, озабоченно разворачивая салфетку и кладя ее себе на колени, воскликнул:

— О фрейлейн, я в восторге! — Осведомился: — Что можно вам предложить?

Тем же ленивым тоном она протянула:

— Я почти ничего не ем.

— Несколько листиков салата позволите?

— Только чтобы доставить вам удовольствие. Налейте, пожалуйста, вина. — И впервые внимательно взглянула на него. Спросила: — Вы фронтовик?

Иоганн отрицательно качнул головой.

— Ничего, вы им будете, — твердо пообещала Ангелика. Подняла глаза, сказала значительно: — Но учтите, робких и неумелых убивают в первую очередь.

— Ну к чему такие мрачные мысли за веселым столом! — автоматически заметил Иоганн.

— А мне таких не жалко. Никогда! Я не могу жалеть тех, кто не хочет или не умеет драться.

Вначале такая откровенность показалась Иоганну подозрительной. И он сказал елейно:

— Все мы смертны, фрейлейн, но души наши бессмертны. И там, наверху, — он закатил глаза, — ждет нас всевышний...

— Ерунда! — брезгливо бросила девушка. — Никто нигде нас не ждет.

— Ангелика! — ласково напомнила с противоположного конца стола фрау Бюхер. — Положи, пожалуйста, господину Вайсу вот этот кусочек. — И робко взглянула на дочь.

Ангелика даже головы не повернула в ее сторону. С усилием раздвигая бледные губы, спросила:

— О, я могу еще кокетничать с мужчиной, не правда ли? — Помедлив, сказала серьезно: — Мы с вами принадлежим к одному поколению. У наших родителей поражение в той войне убило душу. Это у одних. У других — отняло жизнь... — Добавила с усмешкой: — Мне еще повезло: мама говорила, что в те годы рождались младенцы без ногтей и волос — уроды. И у матерей не было молока, детей выкармливали искусственно. Этакie вагнеровские гомункулы. И мы имеем право мстить за это. Да, мстить, — жестко повторила она. — И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все.

— Кому? — осведомился Вайс.

— Всем. Всем.

— Вы член Союза немецких девушек?

— Да,— решительно ответила Ангелика и так мотнула при этом головой, что пышные, цвета осенней травы волосы рассыпались по плечам. Поправляя прическу, она сказала: — Но я не люблю слушать радио. Не выношу кричащих дикторов. Мы имеем право говорить со всем миром даже шепотом, но весь мир должен с благоговением слушать нас.

— Простите, фрейлейн, но я будущий солдат и считаю: команда должна быть громкой.

— Значит, я тоже должна кричать? — усмехнулась Ангелика.

— Если захотите мной командовать..

— А вы любите, чтобы вами повелевали? — спросила девушка.

Фрау Бюхер громогласно поинтересовалась:

— О чем беседует молодежь?

Иоганн улыбнулся и так же громко спросил:

— Разрешите, фрау Бюхер, поднять этот бокал за здоровье вашей дочери?

Гости зааплодировали.

Ангелика бросила недовольный взгляд на Иоганна и, опуская глаза, прошептала:

— Вы чересчур любезны.

Девушка демонстративно повернулась к соседке и больше уже не разговаривала с Вайсом, не обращала на него внимания.

Фрау Бюхер, зорко наблюдавшая за всеми, сразу увидела, что между ее дочерью и Вайсом что-то произошло: на лице гостя появилось виноватое выражение. Она громко спросила:

— Господин Вайс, вы, кажется, хотели приобрести гараж или авторемонтную мастерскую?

Иоганн понял, что фрау Бюхер хочет подать его гостям как юношу с солидными деловыми намерениями. И, чтобы зарекомендовать себя перед этими людьми с лучшей стороны и доставить удовольствие мадам Бюхер, он с воодушевлением стал делиться своими жизненными планами.

Однако его слова произвели на гостей впечатление, противоположное тому, на какое он рассчитывал.

Пришлось признаться себе, что он сильно промахнулся: недооценил богатого опыта собравшихся в лицемерии. Ведь эти люди не только сами постоянно лицемерили, но изо дня в день пытливо подмечали малейшее проявление лицемерия у других — тех, с кем они постоянно соприкасались. Видя низости, уловки, ложь своих хозяев, зная их гряз-

ленькие тайны, мелочное тщеславие, эти люди, с человеческим достоинством которых господа никогда не считались, выработали в себе чуткую способность к притворству и умение молчаливо, с глубоко скрытым презрением обличать его у других.

Вайс быстро уловил смысл того иронического молчания, с каким гости слушали его рассуждения. Да, он совершил ошибку и понял это, еще продолжая говорить о своих жизненных планах.

Искренность для этих людей — признак глупости. И если его не посчитают глупцом, то лицемером, скрывающим истинные свои намерения, уж наверно. А это еще хуже, чем прослыть наивным дурачком. Никто здесь, кроме него, не пытался привлечь внимание к своей особе рассуждениями о чем-нибудь личном. А Вайс сделал это с непродуманной поспешностью и, пожалуй, бесцельно. Только для того, чтобы проверить, примут ли его в этой среде за своего. И просчитался. Переиграл. То есть сделал ошибку, о которой не однажды предупреждал его инструктор-наставник: забыл о самоконтроле, допустил распущенность воображения, утратил беспощадную, но единственно надежную опору — понимание реальной обстановки.

И, продолжая говорить, Вайс напряженно искал лазейку, чтобы выскользнуть из созданного им самим опасного положения. Вайс вдруг мило улыбнулся и спросил:

— Как вам нравятся мечты эдакого «Михеля»? — И серьезно добавил: — Что касается меня, то я буду там, где мне прикажут интересы рейха.

— Браво, — сказала фрау Бюхер, — вы ловко над нами подшутили, господин Вайс!

— Этот юноша знает, за какой конец надо держать винтовку, — одобрительно заметил Пауль.

— Господин Вайс, — воскликнула фрейлейн Ева, — вы будете отлично выглядеть в офицерском мундире!

Пауль предупредил:

— Берегитесь, она захочет его вам отутюжить утром!

— Вы циник, Пауль, — томно сказала Ева.

После этого интерес к Вайсу иссяк, никто больше не обращал на него внимания.

Предоставленный самому себе, Иоганн сел за столик в углу и стал перелистывать альбом с цветными видовыми открытками. На одной из них он увидел изображение столь хорошо знакомого ему Рижского порта... Мысли его невольно перенеслись в этот город, который он так недавно

покинул. Ему вспомнилась Лина Иорд, дочь судового механика, студентка Политехнического института, с кукольным, гладким, будто эмалированным, лицом, миниатюрная, с крохотной фуражкой на светлых волосах, с вдумчивыми темно-серыми строгими глазами.

Она упрекала Иоганна за его приверженность ко всем мероприятиям «Немецко-балтийского народного объединения».

— Мне кажется, — говорила она насмешливо, — вы хотите уподобиться типам, которые из всех сил стараются походить на коричневых парней из рейха.

— Но мне просто приятно бывать в кругу своих соотечественников.

— Странно! — произнесла она недоверчиво. — Вы такой серьезный и, мне кажется, думающий человек — и вдруг с благоговейным вниманием слушаете глупейшие рассуждения об исключительности немецкой натуры и эти ужасные доклады, полные зловещих намеков.

— Но вы тоже их слушаете.

— Ради папы.

— Он вас заставляет ходить на эти доклады?

— Напротив. Я это делаю для того, чтобы избавить нашу семью от опасных сплетен.

Однажды она пригласила Иоганна к себе домой.

Гуго Иорд, отец Лины, недавно вернулся из плавания. Это был типичный моряк. Медлительный, спокойный, с выцветшими, прищуренными глазами. Он был невысокого роста, как и дочь, но коренастый, широкоплечий, с тяжелыми руками. В углах маленького, плотно сжатого рта две глубокие продольные морщины. Судно, на котором он плавал, принадлежало немцу, и экипаж состоял сплошь из немцев. Они ходили в Мурманск за лесом. На обратном пути сдвинулись льды. Судно зажало. От давления ледяного поля лопнула обшивка, гребной винт был сломан.

Но капитан не хотел вызывать советское спасательное судно. Они дрейфовали вместе с ледяным полем, пытаясь собственными силами осуществить ремонт.

А потом начался шторм с пургой, ледяные поля разошлись, и все окончилось бы плохо, если б не подошла советская зверобойная шхуна.

Гуго Иорд сказал Вайсу хмуро:

— Эти советские парни со зверобойной шхуны чинили нашу посудину так, будто не нам угрожала опасность, а им. Потом, когда мы снова оказались на своем ходу, наш

капитан пригласил к себе в каюту их шкипера и боцмана на выпивку. И сказал:

«А мы ведь немцы...»

«Ну и что? — ответил шкипер. Потом он увидел на столе капитана вымпел со свастикой, спросил: — Вы — фашист?»

«Да, — ответил капитан, — именно».

Тогда оба они — и шкипер и боцман — молча надели бушлаты и шапки.

Капитан спросил:

«Жалеете, что нас выручили?..»

Шкипер сказал:

«У вас горючего дойти не хватит, могу дать полторы тонны, как терпящим бедствие. У вас в кубрике лед, команде даже обогреться нечем».

Потом, когда мы пошли своим ходом, на шхуне подняли паруса. Выходит, русские моряки отдали нам свое последнее горючее.

Все это Гуго говорил отрывисто, угрюмо, будто обиженный чем-то.

Иоганн спросил:

— Но ведь на море всегда полагается так поступать?

— А на земле? — спросил Гуго.

Иоганну очень понравился Гуго, но встречаться с ним он избегал. Немцы из «Народного объединения» говорили о Гуго как о человеке чуждом. Общение с ним могло повредить Вайсу.

По этим же причинам он вынужден был настороженно держать себя и с Линой. Она вначале приписывала это застенчивости Иоганна. Сама просила после вечеров в «Немецко-балтийском объединении» провожать ее до дому. Брала под руку, чуть ли не становясь на цыпочки, заглядывала в его озабоченное лицо.

У нее был живой и свободный ум.

Испытывая скрытую нежность к этой девушке, он томился тем, что, встречаясь с ней, вынужден был притворяться, мямлить, скрывать свои убеждения, и мысли, и чувства, и знания... Он не имел на это права и потому хмуро отмалчивался, спешил поскорее довести ее до дому. Она едва поспевала за ним, семеня своими маленькими ножками. Мило сердилась. Говорила, что ей вовсе не надо спешить домой и что ей нравится шагать вот так рядом с Иоганном куда угодно. Смеялась, запрокидывая лицо с темно-серыми серьезными, ждущими глазами.

И, только возвращаясь домой один, Иоганн давал волю мечтам и мысленно говорил то, что хотел бы сказать девушке. Но почти сейчас же он резко одергивал себя, потому что даже в мыслях не имел права отличаться от Иоганна Вайса. Нет у него такого права, даже если это необходимо для душевного отдыха. Да и не смеет он наслаждаться душевным отдыхом, если при этом может быть введена в заблуждение эта девушка, если это послужит причиной ее горя.

Он перестал встречаться с Линой.

А через некоторое время Гуго Иорд нанялся на норвежский танкер, и его семья переехала в Осло.

Иоганн пришел в порт только тогда, когда пассажирское судно, на котором находилась Лина, уже уходил с рейда.

С палубы большого белого парохода доносилась музыка. Базальтового цвета волны тяжело стучали о сваи причалов.

Стоя на холодном, мокром ветру, обдуваемый горькой водяной пылью, Иоганн с тоской и волнением думал о том, что, должно быть, ему уже никогда не доведется увидеть Лину. Кем же останется он в ее памяти?..

Сейчас, сидя в этой комнате и глядя на Ангелику, не испытывая ни малейшего волнения, он спокойно и тщательно продумывал то, как ему следует дальше вести себя с этой девушкой, чтобы привлечь ее внимание и вызвать у нее желание оказать ему покровительство. Это было бы так полезно сейчас! Конечно, фрау Дитмар расписала здесь все мыслимые и немыслимые достоинства Вайса: опекая его, она искренне гордилась им. Но что именно может вызвать симпатии у Ангелики?

Вайс заметил подчеркнутую почтительность, которую проявляли к этой девушке все гости. Даже ее мать, эта властная женщина, заискивала перед ней. И та принимала все это как должное.

Между тем подали десерт. Вайс снова очутился рядом с Ангеликой.

— Как вы находите Лицманштадт? — небрежно спросила Ангелика, как бы только сейчас заметив своего соседа.

— Если вам он нравится, я готов согласиться, что это замечательный город.

— А он мне не нравится.

— В таком случае — и мне тоже.

Ангелика подняла брови:

— У вас нет своего мнения?

Иоганн, смело глядя в лицо Ангелике, сказал:

— Мне кажется, фрейлейн, что вы привыкли к тому, чтобы у вас в доме все разделяли ваше мнение.

— Вы так обо мне думаете?

— Мне так показалось.

— Вы, очевидно, из тех, кто считает, что женщина обязана только аккомпанировать голосу мужчины.

— Но вы не из таких.

— Да, вы правы. Я даже перед самой собой не люблю признаваться в своих ошибках.

— Бисмарк утверждал: «Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте, я предпочитаю учиться на опыте других».

— Однако вы начитанный!

Вайс пожал плечами.

— Книги — хорошие советчики. Но даже тысяча советов не заменяет тысячи пфеннигов.

— Здравая мысль. Вам нравится у нас?

— Я бы мог сказать, что больше всего мне здесь нравиться вы. Но я этого не скажу.

— Почему?

— Вы оказали мне гостеприимство, и я должен быть благодарен за это ффрау Дитмар. Очевидно, она вам говорила обо мне и просила о чем-нибудь для меня.

— Возможно.

— Значит, если бы я вам сказал, что здесь вы мне милее всех других, вы сочли бы это за лицемерие.

— А вы, оказывается, довольно прямодушный человек.

— Я рад, если вы это поняли.

— Вы полагали, я способна такое оценить?

— Именно на это я и рассчитывал.

— Но вы видите меня первый раз, откуда эта уверенность?

— Интуиция, — сказал Иоганн.

— А вдруг вы ошибаетесь?

Иоганн развел руками:

— В таком случае, если у меня будут когда-нибудь дети, папа у них — шофер. Только и всего.

— А вам хотелось бы, чтобы их отец был генералом?

— Как прикажете, фрейлейн, — пошутил Вайс.

— Хорошо, — сказала Ангелика, — мы это еще обсудим. — Потом несколько минут спустя произнесла серьезно: — Откровенность за откровенность. Я очень уважаю

фрау Дитмар. Есть обстоятельства, из-за которых я была бы вынуждена выполнить ее просьбу о вас. Вы о них знаете?

Вайс поколебался, потом решился: фрау Дитмар ведь не скрывала это.

— Вас любит Фридрих?

— Теперь? Не думаю. Но фрау Дитмар я люблю, как вторую мать.

— Извините, — сказал Вайс, — но мне бы не хотелось пользоваться...

— Молчите! — приказала Ангелика. — Словом, я, конечно, выполнила ее просьбу. И вот, видите, даже не зная вас, разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом не жалею. Мне так надоели эти нагло лезущие вверх...

— Но я бы тоже хотел получше устроиться, — сказал Вайс.

— Устроиться... — презрительно повторила Ангелика. — Именно устроиться. — Наклоняясь к Вайсу, глядя на него широко открытыми глазами, зрачки которых сузились в черные, угольные жесткие точки, она спросила глухо: — Вы думаете, Фридрих — человек, у которого развита воля к власти? Вздор. Я думаю, он полез в наци только ради того, чтобы спасти своих ученых стариков, вышибленных из университета. По-моему, Фридрих — раб науки, человек, испортивший себе будущее.

— А вы? — спросил Вайс.

Ангелика откинулась на стуле, сказала твердо:

— Хотя я не такая красивая, как Ева Браун, я хочу и буду шагать по головам к своей цели.

— Тем более фюрер сказал, что он освобождает нас от химеры совести, — напомнил Иоганн.

— Да, конечно, — машинально согласилась Ангелика. Добавила насмешливо: — Но я девушка, и вы можете воздействовать на меня менее опасным способом — дайте яблоко!

— Вы действительно такая решительная, как вы о себе говорите?

Ангелика опустила веки.

— Нет, не всегда. Но всегда убеждаю себя, что надо быть решительной во всем.

Когда гости встали из-за стола и расселись в кресла с чашечками кофе в руках, Ангелика увела Вайса на кухню и здесь стала заботливо ухаживать за ним: положила в его тарелку несколько кусков штруделя, а кофе налила в боль-

шую фаянсовую кружку, а не в крохотную фарфоровую чашечку, какие были поданы гостям.

Вайс завел разговор о своих сослуживцах. Говорил о грубых нравах в этой среде. Пожаловался, что из зависти к нему — ведь он не просто шофер, а шофер-механик — его сняли с легковой машины, посадили на грузовую. И лучше фронт, лучше погибнуть с честью, чем подобная жизнь среди завистливых, невоспитанных людей, готовых на любую подлость, лишь бы не быть отчисленными в строевую часть.

Ангелика внимательно слушала, и по тем вопросам, какие она задавала, можно было судить, что Иоганн, несомненно, поднялся во мнении фрейлейн Бюхер, которая неспроста с таким заинтересованным видом осведомляется о подробностях его биографии. Нужно ли говорить, что ответы Иоганна полностью совпадали с анкетами, которые ему пришлось заполнять.

Задание Центра искать любые возможности для общения с сотрудниками абвера, найти себе место в его системе Иоганн пока не мог выполнить. Мало того — ему угрожало отчисление в строевую часть, что, по существу, граничило с провалом. И если даже он сумеет со временем удрать из строевой части, его будут искать как дезертира, и он окажется непригодным для той работы, на какую был нацелен. Значит, вся его подготовка — сложная, долготерпеливая — окажется напрасной, рухнут надежды, которые на него возлагались. Но сейчас открывалась заманчивая возможность.

Ангелика спросила, есть ли у него друзья.

Вайс сказал печально:

— Был у меня настоящий друг — Генрих Шварцкопф, но он сейчас в Берлине живет, у своего дяди, штурмбан-фюрера Вилли Шварцкопфа. — И добавил осторожно: — Если бы Генрих был рядом, мне жилось бы не так трудно. Кстати, Вилли Шварцкопф однажды позаботился обо мне: по его рекомендации меня взяли в гараж.

— И он снова мог бы дать вам рекомендацию? — поинтересовалась Ангелика.

— Не знаю... Возможно, и дал бы, — с сомнением в голосе сказал Иоганн. — Я ведь человек маленький. Но если Генрих обо мне напомнит, я полагаю, штурмбанфюрер не откажет ему.

Гости уже расходились, и фрау Дитмар зашла на кухню за Вайсом. Застав молодых людей за дружеской беседой и поняв, что Ангелика готова принять участие в судьбе

Вайса, фрау Дитмар положила руку на его плечо и сказала с гордостью:

— Вы, Иоганн, произвели на всех сегодня очень хорошее впечатление. — Обратилась к Ангелике, попросила: — Ты знаешь, я с материнской нежностью отношусь к этому одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить. Ведь у тебя такие возможности!

Застенчивая улыбка блуждала на лице Вайса. Он опустил голову и потупил глаза, чтобы скрыть их напряженное, выжидающее выражение.

— Я попробую. — Ангелика поцеловала в лоб фрау Дитмар и подала Вайсу руку — тонкую, белую, влажную.

Через несколько дней фрау Дитмар с радостью сообщила, что по просьбе Ангелики полковник Зальц говорил с Шварцкопфами по телефону и те дали благосклонный отзыв о Вайсе. Все его бумаги переданы из Центрального переселенческого пункта в службу абвера. И, если со стороны гестапо не будет возражений, Вайса зачислят шофером в штаб абвера. Но должно пройти еще некоторое время, пока гестапо даст на это разрешение.

Потянулись недели тревожного ожидания.

Иоганн отчетливо сознавал, что добровольно сунул голову в пасть гестапо и малейшая неточность в документах или какая-либо оплошность, допущенная им здесь, может стать для него смертным приговором, предваряемым тщательными допросами, пытками...

Обо всем этом он сообщил в Центр.

Но все обошлось благополучно. В этот день Иоганн, как всегда, на рассвете пришел в гараж, чтобы подготовить грузовик к выезду. К нему подошел Келлер и проворчал сердито:

— Ну и ловкий же ты парень! Недурно устроился! — Показал глазами на новенький, только что с завода, «БМВ» мышинного цвета, с двумя запасными баллонами над багажником и завистливо сказал: — Хозяин у тебя, надо думать, тыловой чиновник...

Но Келлер ошибся.

Майор Аксель Штейнглиц начал карьеру разведчика еще до первой мировой войны. Сын небогатого крестьянина, он стыдился своего низкого происхождения и поэтому с особой настойчивостью стремился занять достойное место

в офицерском корпусе, где профессия шпиона тогда еще не считалась почетной, несмотря на особое благоволение генерального штаба к представителям этого рода службы.

Однажды Штейнглица оскорбили в офицерском клубе, и он вызвал обидчика на дуэль, но тот отказался принять вызов, объяснив, что для чести прусского офицера унижительно драться с человеком, никогда открыто не обнажавшим оружия.

Война и особенно послевоенные годы изменили положение. Профессия шпиона оказалась расцвеченной всеми романтическими цветами героизма. О «черных рыцарях» много писали, ими восхищались, создавали о них легенды, стремились увлечь представителей «потерянного поколения» подвигами тайной войны.

Штейнглиц не попал в тот список рассекреченных шпионов, которым правительство рейха предоставило широкую возможность для безудержной рекламы. Он проявил себя с лучшей стороны, выполняя различные тайные поручения. Но, находясь в рядах специальной службы, на многие годы был вынужден расстаться с офицерским мундиром. Только теперь, когда Гитлер начал поход на Европу, Штейнглиц вновь надел мундир, получил повышение в звании и должность, которая давала ему некоторую независимость, значительные средства и открывала самые соблазнительные перспективы в будущем.

Канарис, начальник абвера, хорошо знал Штейнглица, его слабости и его сильные стороны.

Слабостью Штейнглица была тщеславная жажда добиться признания высшего офицерского корпуса. Сильной стороной — готовность на любую низость ради этого. Сюда следовало добавить огромный опыт и дерзкое умение добиваться цели любыми способами, коллекция которых была у него уникальной и проверенной на многих людях, ушедших в небытие при обстоятельствах весьма загадочных.

Став шофером майора, Иоганн в первые же дни усвоил одно: этот вылощенный человек с редко мигающими, совиными глазами и сухим, почти безгубым лицом, не разрешающий себе ни одного лишнего движения, — сейчас для него и самая большая опасность, и самая большая надежда.

Подражая Канарису, Штейнглиц говорил мягко, тихо, вкрадчиво, стремясь следовать любимому изречению своего шефа: «Человек примет вашу точку зрения, если вы не

будете раздражать его, только тогда он может оказаться благоразумным». Сам Штейнглиц был не способен самостоятельно выработать точку зрения на что-либо. Сила его убежденности заключалась в отсутствии каких-либо убеждений. Его жизненный опыт профессионального шпиона подтверждал, что во все времена истории Германии люди его профессии составляют особую касту, и какие бы политические изменения ни происходили в стране, кто бы ею ни управлял — Гогенцоллерны, Гинденбург, Гитлер, — военный генералитет и кадры профессиональных разведчиков сохраняются в священной неприкосновенности.

Полученные им задания Штейнглиц разрабатывал с педантичной скрупулезностью, применяя системы планирования, которые он тщательно изучил в архивах уголовной полиции. Методику и приемы операций он заимствовал из практики наиболее выдающихся профессиональных преступников.

За спиной у Акселя Штейнглица было несколько мастерски совершенных убийств. Но он не знал ни цели этих убийств, ни того, кто были его жертвы. Да и не интересовался этим. Он занимал тогда незначительную должность и, по указанию тех, кто занимал высшие должности, дисциплинированно выполнял задания. Он работал, чтобы завоевать такое положение, которое позволило бы ему давать указания другим. И он достиг такого положения, правда в довольно зрелом возрасте. Но карьера его была омрачена обстоятельствами, свидетельствующими, что одного профессионального усердия для успешной шпионской деятельности все-таки недостаточно.

Угрюмое четырехэтажное здание № 74/76 по улице Тирпицуфер в Берлине, где размещался абвер, Аксель Штейнглиц почитал храмом всевышнего, храмом властелина всего шпионажа империи, каким не без основания считал Канариса, тайного покровителя убийц Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В годы первой мировой войны, когда Канариса арестовали в Италии как немецкого шпиона, он ловко задушил тюремного священника и в его одежде совершил побег. Седовласый, краснощекий крепыш, демократически общительный, болтливый, с манерами избалованного барина, афиширующего свои чудачества и трогательную любовь к домашним животным, коллекционирующий произведения искусства, любитель музыки, нежный семьянин, он отечески и с полным знанием дела наставлял своих агентов в искусстве умерщвления людей. Он ценил

в агентах профессиональную вышколенность и недолюбливал тех, кто был склонен к самостоятельным решениям, чем бы они ни диктовались.

Но, кроме абвера, иностранным шпионажем усиленно занимались еще и гестапо, служба безопасности, так называемая СД, и агентура Риббентропа.

Гитлер поощрял существовавшую между ними конкуренцию, но особо покровительствовал гестапо.

Аксель Штейнглиц получил однажды от Канариса задание отправиться в Англию и похитить портфель с документами у курьера английского министерства иностранных дел. Сделать это было нужно, когда курьер покинет машину с охраной и войдет в здание министерства. Портфель будет на стальном браслете закреплен на левой руке курьера.

Изучая обстановку, где предстояло совершить операцию, Штейнглиц заметил, что этим же занимается человек, лицо которого ему показалось знакомым. Небольшое усилие памяти — и он вспомнил, кто этот человек: видел его фотографию в картотеке тайной уголовной полиции. Это Шерман — мелкий мошенник, шумно прославившийся зверским убийством своей любовницы.

Штейнглица глубоко оскорбило такое недоверие шефа, направившего в качестве его дублера это ничтожество.

В Британской публичной библиотеке он вырвал из старого комплекта «Фелькишер бсобахтер» страницу с репортажем о суде над Шерманом и его портретом. Вложил в конверт вместе с запиской, из которой можно было узнать, что в Лондоне скрывается этот немецкий уголовный преступник, и отправил по почте в Скотленд-ярд.

Задание Штейнглиц выполнил.

В вестибюле министерства иностранных дел он дождался курьера и вскочил вслед за ним в служебный лифт, успев захлопнуть дверь перед носом сопровождающего. И здесь, в кабине лифта, убил курьера ударом кастета в висок, разрезал специально изготовленными клещами-кусачками цепочку, которой портфель был прикреплен к стальному браслету на запястье курьера, а затем благополучно вышел из министерства.

В тот же день он вернулся в Берлин, на Тирпицуфер, № 74/76.

Аксель Штейнглиц рассчитывал, что получит повышение по службе, надеялся и на крупное денежное вознаграждение, но все обернулось иначе: победа оказалась его самым крупным поражением.

Еще возглавляя прусскую тайную полицию, Рейнгард Гейдрих завязал надежные связи с английской полицией; став начальником службы безопасности — СД, он не только не утратил этих связей, но и развил их на новой основе.

Оказывается, Шерман был доверенным агентом гестапо и задание получил от самого Гиммлера. Англичане сообщили Гейдриху о провале Шермана, и тот догадался, чья это работа.

Гейдрих торжествовал: ну, теперь Канарис у него в руках! Ведь если всемогущий Гиммлер узнает, что направленного им в Англию агента ликвидировал агент Канариса, тому несдобровать. За свое молчание Гейдрих мог потребовать от Канариса любой, даже самой значительной, услуги. Но это еще не все: теперь Канарис не решится доложить Гитлеру об операции, успешно проведенной абвером в Лондоне, и не получит за нее награды. Не получит ее и Гиммлер, который, если бы его агент не провалился, не преминул бы похвастаться перед Гитлером успехом гестапо. Выгода для Гейдриха явная: его конкуренты остались ни с чем.

Канарис и Гейдрих жили рядом — в пригороде Берлина, на Долленштрассе, и Гейдрих по воскресеньям частенько навещал соседа, играл в крокет с его супругой и двумя дочерьми.

И когда Гейдрих во время очередного визита сообщил Канарису о поступке Штейнглица, начальник абвера сразу понял, чем этот поступок ему грозит. И решил действовать.

Он мог расправиться со Штейнглицем, ликвидировать его без излишнего шума — для этого у него было достаточно возможностей. Но он сохранил своему агенту жизнь. Отнюдь не из жалости к Штейнглицу и не из уважения к его заслугам. Канарис был связан с английской полицией еще теснее, чем Гейдрих. Используя свои связи, Канарис добился того, что Шерман, не выдержав методов допроса английской уголовной полиции, дал согласие Интеллиженс сервис на сотрудничество с ней. Соответствующие доказательства Интеллиженс сервис любезно предоставила Канарису, и он предъявил их сначала Гейдриху, чтобы освободиться от зависимости от него по данному делу, а потом Гиммлеру, заверив, что о предательстве агента гестапо знают только два человека: Гиммлер и Канарис. Третьего нет и не будет. И этим Канарис даже несколько расположил к себе Гиммлера.

Что касается Штейнглица, то Канарис повысил его в звании, подчеркивая перед Гейдрихом безупречность своего подопечного. Но отныне Штейнглиц лишился доверия шефа и, оставаясь майором абвера, мог рассчитывать только на черновую работу.

Миссия его в оккупированной Польше была крайне незначительной — разве поручат серьезное дело опальному сотруднику, жизненное существование которого продлено только потому, что Канарису понадобилось сохранить его как пешку в опасной игре с Гиммлером и Гейдрихом.

Но сам Аксель Штейнглиц не собирался так просто расставаться с тем, к чему стремился всю жизнь. Второй отдел абвера — диверсии и террористические акты — еще запишет в своих анналах имя Штейнглица. Майор самоуверенно полагался на свой профессиональный опыт, ценность которого он привык определять в долларах — самой устойчивой валюте в период покорения Европы гитлеровским вермахтом.

Безжизненный, деланно тусклый взгляд, лениво жеванные слова о том, куда ехать, толчок стеклом в шею шофера, когда нужно остановиться, — все это лишь в малой степени предвещало те трудности, какие стояли перед Иоганном Вайсом, и ясно было, что ему понадобится не только самоотверженное терпение и искусство водителя, но и самое высокое мастерство — мастерство советского разведчика, — чтобы благополучно удержаться в своей должности при майоре. О том, что Штейнглиц — матерый германский разведчик, Иоганна уведомили из Центра, как только он сообщил о месте своей новой работы.

Майор Штейнглиц немало поработал в Польше в сентябрьские дни 1939 года, создавая диверсионные террористические группы из местного немецкого населения. Но его заслуги не были отмечены. Тогда, воспользовавшись легким ранением в ногу, случайно полученным при обучении террористов, Штейнглиц надолго удалился в горный санаторий. Однако расчеты его не оправдались: о нем никто не вспоминал. Тогда он напомнил о себе сам и получил сомнительную должность инспектора диверсионно-разведывательных школ, нацеленных на Советский Союз и расположенных на территории бывшей Польши. Но майор был специалистом по западным странам. Русским языком он не владел, о Советском Союзе имел самое смутное представление. И понимал, что в этой ситуации при первом же упущении его ждет разжалование, фронт.

Штейнглиц воспользовался возможностью задержаться на некоторое время в Лодзи и стал навязчиво наносить визиты различным высокопоставленным лицам, надеясь с помощью протекции занять более определенное и устойчивое положение.

Приходил он не с пустыми руками, прибегая для этого к услугам эксперта конторы «Пакет-аукцион» господина Герберта, маргариновая афера которого была известна ему еще по картотеке уголовной полиции.

Но Герберт, зная о невежестве майора и полном отсутствии у него вкуса, отделявался аляповатыми имитациями художественных произведений.

Иоганну доводилось возить на склады «Пакет-аукциона» законсервированные в музеях и личных коллекциях уникальные полотна. И он подметил систему распределения конфиската на складе.

Сопровождая майора на склад, чтобы отнести в машину то, что тот выберет, Иоганн сразу же догадался о махинациях Герберта, беззастенчиво подсовывающего майору дешевые подделки. А у того жадно разгорались глаза, когда Герберт называл их якобы баснословную цену.

И вот Иоганн сделал первый решительный шаг на пути к тому, чтобы Штейнглиц наконец-то обратил на него внимание. До этого мертвый, сонный взгляд майора означал только, что, если вместо Вайса за рулем окажется любой другой солдат, он этого не заметит.

Вайс решительно направился в темный закоулок склада, осветил фонарем стеллажи, на которых лежали прикрытые тряпьем, нарочито небрежно сваленные картины старых мастеров, древние кубки, редкостные меха, и сказал громко и значительно:

— Господин майор, вот предмет, достойный вашего внимания!

За те несколько дней, которые служил у него этот шофер, Штейнглиц впервые услышал его голос. Кстати, он считал это естественным.

Вайс знал, что подобная смелость может не понравиться.

Майор приблизился только для того, чтобы, не повышая голоса, сделать Вайсу внушение за неуместное вмешательство. Но солдат, держа в одной руке какую-то картину в массивной раме, а другой освещая ее фонарем, произнес отчетливо:

— Жан Этьен Лиотар, восемнадцатый век, подлинник!

Герберт побледнел.

— Господин майор! Это невозможно. Предполагается — для личной коллекции фельдмаршала...

Вайс, заворачивая картину в бумагу, небрежно бросил через плечо:

— Только в том случае, если от нее откажется господин группенфюрер СС,— и, зажав картину под мышкой, вытянулся перед майором.

Тот махнул перчаткой: «Пшел». И медленно, задумчивой поступью направился к выходу.

Иоганн, грубо оттеснив плечом Герберта, успел распахнуть ворота перед майором. Потом забежал вперед, открыл дверцу машины, положил картину на заднее сиденье и снова вытянулся, прижав правую руку к пилотке, а левой придерживая дверцу.

Два следующих дня Штейнглиц по-прежнему мертвыми, слепыми глазами скользил по лицу Вайса, казалось, не видя его. И все приказания Вайс выполнял молча.

На третий день утром Штейнглиц промямлил сонно:

— Имя?

— Рядовой Иоганн Вайс, господин майор!

И больше ни слова.

И лишь ночью, когда Вайс вез майора из загородной резиденции оберфюрера СС в гостиницу, Штейнглиц так же вяло и сонно осведомился:

— Кто твой начальник?

— Господин майор Аксель Штейнглиц!

— Хорошо, пусть так.

И снова несколько дней только едва различимое короткое бормотание майора, приказывающего, куда ехать.

И вдруг однажды Вайс услышал странные хлюпающие звуки. Он испуганно обернулся. Майор смотрел на него неподвижными, будто стеклянными, как у чучела, глазами, но губы его кривились от смеха.

— Послушай, ты! Если у тебя голова всегда так работает, я буду тобой доволен.

Оберфюрер СС, которому Штейнглиц, смертельно боясь попасть впросак, преподнес картину, пришел от нее в восторг. И в благодарность за столь ценное подношение счел возможным не только поделиться чрезвычайно секретной информацией, но и обещал майору поддержку в его деятельности, имеющей, по словам оберфюрера, особо важное значение для будущего Германии на Востоке.

Способность к рисованию приносила Иоганну в его

счастливым и, казалось бы, недавнем прошлом, когда он был еще Сашей Беловым, две общественные нагрузки: оформление стенной газеты и художественное оформление здания к праздникам, а также неприятности, когда он рисовал карикатуры. Обиды приятелей он старался искупить самокритичными автошаржами. Любовь к краскам, к цвету, стремление передать на бумаге все многообразие окружающего владели им с детства.

Отец мечтал, что сын пойдет по его стопам на завод, и, разглядывая рисунки, бормотал сокрушенно:

— Ну что ж, давай, кому-то надо быть художником!..

Но сын знал, что отец в душе гордится его дарованием, восхищается им.

Академик Линеv успокаивал Сашу Белова, когда тот делился с ним своими сомнениями:

— Да вы не расстраивайтесь, это не раздвоение личности, а очевидная способность воспринимать цвет и форму. В научной работе эмоциональное восприятие разнообразных явлений природы столь же естественно, как в любом другом творческом процессе, а творчество — всегда исследование со множеством неизвестных.

Инструктор-наставник сказал как-то:

— Из тебя, Белов, возможно, Репин получился бы, если бы ты по этой линии пошел. — И, вздохнув, пожалел: — Скорей бы канитель с империализмом кончилась! Не будет войн — каждый человек на земле сможет в полной мере развить свои способности.

Когда Белов очень удачно написал портрет одного замечательного советского разведчика, начальник отдела товарищ Барышев, внимательно посмотрев на портрет, потом на Белова, заявил:

— Какие у нас люди талантливые, а? — И добавил для ясности: — И он и ты. — И еще уточнил: — Но тебе, Саша, до него, — кивнул на портрет, — еще много тянуться надо. — Спыхватился: — Но ты сильно нарисовал. — Сказал виновато: — Извини, друг, но даже в нашем клубе на стену повесить — не разрешат. Товарищ снова на задании. — И постарался утешить: — Будь уверен: придет время — пожалуйста, хоть в Третьяковку.

— Это что ж, при коммунизме?

Барышев задумался.

— Не обязательно. Но где-то на подходе...

Александра Белова знали букинисты. В день получения стипендии — сначала на рабфаке, потом в институте — он

отправлялся на поиски редких репродукций. Воскресенья проводил в Третьяковке, в Музее изобразительных искусств. На каникулы уезжал в Ленинград, ежедневно к открытию приходил в Эрмитаж, уходил почти последним.

То, что он теперь был лишен возможности рисовать, наполняло его томительной тоской, он ощущал почти физическое недомогание, которое объяснял тем, что ему пока почти ничего не удалось здесь сделать. А между тем информации, поступавшие от Иоганна Вайса, в совокупности с другими данными, точно и достоверно свидетельствовали: над Советским Союзом нависла грозная опасность.

— Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картинами? — как всегда неожиданно, проскрипел Штейнглиц.

Вайс разгадал эту провокационную манеру: самой конструкцией вопроса коварно поставить человека в такое положение, будто о нем все уже известно, интересуют только частности, — вот как сейчас. Много ли он зарабатывал! А то, что он торговал картинами, — это, мол, для майора несомненно.

— Нет, — сказал Иоганн. — Я никогда не торговал картинами. Инженер Рудольф Шварцкопф, брат штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа, был коллекционером, и по его заказу я делал плафоны для специального освещения картин, а когда я их устанавливал, господин Рудольф находил время, чтобы объяснять мне достоинства принадлежащих ему полотен.

После длительной паузы Штейнглиц произнес, не разжимая губ:

— Эта картина из «Пакет-аукциона» оказалась подделкой. Пришлось ее выбросить!

— Виноват, господин майор! — с облегчением согласился Вайс, понимая, что Штейнглиц подготовил эту версию на случай, если полотно Лиотара действительно предназначалось кому-то из высокопоставленных лиц.

Все эти дни вместе с майором в машину садился человек в штатском; держал он себя со Штейнглицем весьма независимо. Дважды они посетили лодзинскую тюрьму, потом, прихватив с собой какого-то поляка — тоже в штатском, но с военной выправкой, — приказали ехать в Модлин. По пути останавливались в городах, где располагались тюрьмы или старые крепостные здания, превращенные в места заключения. Из немногих разговоров Иоганн понял, что они ищут офицера польской разведки, который похитил в германском военном министерстве много секретных доку-

ментов и даже в свое время добыл набросок плана нападения на Польшу. Но польский генеральный штаб отказался верить своему разведчику, и после возвращения на родину его заточили в тюрьму.

А поляк, который ехал с ними, тоже был агент польской разведки в Германии, но, судя по всему, провокатор, двойник, работал на фашистов. И он убеждал Штейнглица, что надо немедленно ликвидировать того офицера, которого они искали, если, конечно, удастся его найти в одной из тюрем.

Майор молчал, молчал и немец в штатском. А когда поляк попросил остановить машину в пустынном месте и пошел в кусты, немец в штатском сказал:

— Если тот согласится на нас работать, пусть сообщит какой-нибудь польской организации, что этот служил нам, — они пристукнут. Дурак, который привык, чтобы за него составляли дезинформации! А потом мы тому поможем перебраться через Ла-Манш, и англичане сами снова забросят его сюда. Будет сколачивать патриотов в кучу. Не бегать же за каждым в отдельности!..

У ворот Модлинской крепостной тюрьмы Вайс простоял больше суток. Приметы провокатора-поляка он запомнил твердо и даже мысленно уложил их в шифровку.

На рассвете к машине подошли майор и немец в штатском. Вайс вопросительно взглянул на Штейнглица.

— Лодзь, — приказал майор. Лица у него и у его спутника были сердитыми, утомленными.

Всю дорогу оба пассажира угрюмо молчали. Когда подъехали к Лодзи, штатский сказал отрывисто:

— Если б он после всего выжил, можно было бы, пожалуй, согласиться на его просьбу.

— Да, — сказал Штейнглиц. — Расстрел — это почетно.

Немец в штатском усмехнулся, очевидно вспоминая о чем-то забавном, спросил хвастливо:

— Ты заметил, на него сначала произвело благоприятное впечатление, — и сделал такое движение согнутым указательным пальцем, будто нажал на спусковой крючок, — когда я в его присутствии того прохвоста, который его предал?.. — Вздохнул. — Было хорошо продумано. Но мы сделали все, что могли.

Майор кивнул, соглашаясь.

Иоганн сначала машинально прибавлял скорость, но потом поймал себя на том, что стремится вмазать машину вместе с пассажирами в первый встречный грузовик, и да-

же прикинул, как ловчее из нее выскочить. Но это не было бы возмездием. Это было бы преступной слабостью перед лицом дела, которому он служил. Он заставил себя постепенно сбавить скорость. Руки его стали влажными. Перед глазами поплыл туман. Он почувствовал, как вдруг сразу ослабел от голода, от бессонной ночи в машине, от всего того, что ему пришлось сейчас пережить...

Но, остановив машину у подъезда гостиницы, распахнул дверцу, вытянулся, придерживая ее локтем, козырнул и, преданно глядя в лицо Штейнглицу, осведомился:

— Какие будут дальнейшие приказания, господин майор?

Не получив ответа, столь же поспешно забежал вперед, толкнул входную дверь, взял у портье ключ, следуя в почтительном отдалении от Штейнглица, поднялся по лестнице, снова забежал вперед и открыл дверь номера.

В номере встал у вешалки, всем своим видом выражая ожидание.

Майор устало опустился в кресло, снял сначала один сапог, потом другой. Вайс подал ему туфли, забрал сапоги и пошел к машине.

Из багажника достал сапожную мазь, щетку и с такой яростью начистил сапоги, будто хотел искупить свою минутную слабость в машине, будто эта работа была добровольным наказанием за слабовольное, на мгновение, отступничество от чекистского долга, повелительно требующего от него постоянной, неотступной мобилизации всех душевных сил.

Когда Вайс принес сверкающие сапоги в номер, его пассажиры спали: Штейнглиц — на диване, человек в штатском — на постели майора.

Вайс взял ботинки и одежду человека в штатском, вышел в тамбур и до тех пор искал на вешалке обувную и одежную щетки, пока не ознакомился с содержанием карманов пальто, брюк, пиджака. Потом положил одежду так, как она была брошена на стуле. Спустился вниз, отвел машину в гараж, вымыл, отлакировал замшей, заправил горючим.

Проснулся, как и приказал себе, в три часа ночи и в четыре часа двадцать семь минут закончил шифровку телеграммы, нанеся ее тайнописным составом на обыкновенную почтовую открытку.

«Полковник Курт Шнитке, Курт Шнитке», — дважды написал Иоганн, чтобы быть уверенным, что имя одного из

руководителей Кенигсбергского разведывательного отделения абвера, специализированного для действий против Советского Союза, будет расшифровано правильно. Он передал также, что Шнитке получил секретный приказ о немедленном формировании штата руководителей для диверсионных школ на территории Польши, и сообщил шифр-адрес разведывательного отделения абвера в Кенигсберге и то, что это отделение затребовало двадцать комплектов летнего обмундирования командного состава Красной Армии.

Наутро, когда Иоганн подал машину к подъезду гостиницы, майор приказал отвезти его на аэродром.

Уже выходя из машины, Штейнглиц, как всегда, небрежно процедил чуть слышно сквозь зубы, не выговаривая окончаний слов:

— Два дня. Здесь. Час раньше, — и ушел, щеголяя выправкой истукана.

Ну что ж, значит, два дня свободы — хороший подарок майора Акселя Штейнглица советскому разведчику Александру Белову!

На Гитлерштрассе Вайс остановил машину у роскошного кондитерского магазина «Союз сердец». Надписи «Только для немцев» на дверях и витринах не было: вся эта улица особняков, из которых выселили поляков, стала центром чисто немецкого района.

Военные, полицейские патрули и агенты в штатском бдительно охраняли национальную неприкосновенность этой части города. Вечерами по Гитлерштрассе чинно прогуливалась разряженная толпа немцев, и если бы эксперт конторы «Пакет-аукцион» господин Герберт нашел время побывать здесь, он увидел бы на плечах, на головах и даже ногах гуляющих многое из того, что было привезено на склады «Пакет-аукциона» после конфискации у польских граждан.

Почти ко всем немецким чиновникам, военным из специальных служб, гестаповцам, нацистским функционерам, коммерческим и промышленным агентам — уполномоченным самых различных германских концернов, осваивающих новые территории рейха, приехали из Германии бесчисленные родственники. Одни, энергичные, — в надежде на поживу, другие, ленивые, — просто чтобы отожраться, выпивать на даровщину, наслаждаться властью над любым неарийцем.

Сюда волокли стариков и старух, подростков, младенцев, не забывали о собаках, кошках, канарейках, попу-

гаях, так как трезво соображали, что дешевого и хорошего корма здесь хватит на всех. Ну, а о поляках беспокоиться нечего: все равно они обречены на истребление.

По вечерам на Гитлерштрассе происходил своеобразный омерзительный парад победителей-мародеров, ползущих вслед за вермахтом разряженной толпой по черной от пожаров и сырой от крови земле.

В кондитерской специально подобранные продавщицы — свеженькие, хорошенькие, в голубых платьицах, белоснежных кружевных передниках и наколках на высоких прическах, — щеголяя берлинским произношением, умело и предупредительно обслуживали посетителей.

Все они находились под наблюдением специальной службы Крепса, озабоченной здоровьем высших чиновников и офицеров, которые из-за скупости и неосмотрительности часто попадали в армейские госпитали по причинам, далеким от военных подвигов.

Здесь торговали не только кондитерскими изделиями. Но прусский дух чинной благопристойности неуклонно соблюдался и тут. И продавщица без тени кокетства, серьезно и почтительно выслушивала внушающего доверие и надежды покупателя и записывала адрес, по которому ей самой следовало доставить покупку. Конверт с некоей суммой «на транспортные расходы» она небрежно совала в кармашек кружевного передника и, кивнув клиенту, подходила к следующему с выражением сдержанной любезности и готовности, если, конечно, он того заслуживал.

Вайс купил большую коробку пончиков с яблочной начинкой, которые любила фрау Дитмар, и направился к выходу. Но тут из примыкавшего к магазину кафе его окликнула хорошенькая блондинка, он тотчас же узнал Еву — гостью фрау Бюхер. Ева сидела за столиком одна. Убрав свертки с покупками, она предложила Иоганну сесть рядом.

Сдобное, миловидное лицо ее, обрамленное искусно уложенными локонами, сияло добродушием. На ней был пушистый норвежский жакет, широкие мягкие брюки — происхождения их Вайс не смог определить — и французские туфли-танкетки. В ушах, на шее и на груди блестела чехословацкая бижутерия.

— Вы кого-нибудь ждете? — спросил Иоганн.

— Я — никогда. Меня — всегда, — кокетливо ответила Ева.

Вайс приподнялся, давая понять, что не хочет мешать ей. Ева остановила его движением пухлой ручки.

— О, я пришла сюда только полакомиться. Обожаю сладкое! Это — для меня высшее наслаждение. — Упрекнула: — Господин Иоганн, у вас сложилось обо мне представление как о легкомысленной женщине. Но, право, я не такая. Я люблю...

— Детей, кухню, церковь, — подсказал Иоганн, предполагая, что Ева обидится и у него появится повод покинуть ее.

Но Ева простодушно согласилась:

— Это правда, я такая. Вы довольны своим новым местом, господин Вайс? — вдруг спросила она.

— Да, и я очень признателен фрейлейн Ангелике за ее заботу обо мне.

— Но почему Ангелике? — удивилась Ева. — Это я для вас постаралась. — Помедлила: — Правда, по просьбе Ангелики. Но если б я не захотела... Неужели она вам ничего не сказала?..

И Ева, непринужденно болтая, будто между прочим, с женским ехидством рассказала Вайсу кое-что для него любопытное. Оказывается, сын фрау Дитмар был помолвлен с Ангеликой (об этом Иоганн, впрочем, догадывался) и, хотя историю ее падения удалось поначалу от него скрыть, в гневе вернул ей слово, когда узнал обо всем происшедшем. И университет бросил совсем не потому, что искренне увлекся фашизмом. В карьере нацистского функционера он увидел больше возможностей возвыситься над аристократами Зальцами. Но, увы, ошибся. Гитлер предпочел штурмовикам прусское родовое офицерство. Зальцы снова вошли в силу. Полковник Иоахим фон Зальц даже вступил в национал-социалистскую партию. И, очевидно, следуя своему родителю, теперь испытывает к Ангелике не только «родственные» чувства. Поэтому фрау Мария Бюхер очень беспокоится, как бы отец полковника, узнав об этом, не отнял у Ангелики дарственную. Но если б Ангелика вышла сейчас замуж, ее отношения с Иоахимом Зальцем не представляли бы никакой опасности ни для кого. Фрау Дитмар тоже очень волнуется, боится, что если Фридрих узнает о связи Ангелики сначала с генералом фон Зальцем, а потом с его сыном, то он может решиться на какой-нибудь необдуманный поступок. Ведь он такой пылкий и самолюбивый! Вот обе дамы и решили, что в лице Иоганна они обрели выход из сложного положения, создавшегося в этих двух очень приличных семьях. Что думает обо всем этом Ангелика, неизвестно. Спросить бояться. Но, во всяком

случае, пока что она сочла излишним беспокоить полковника фон Зальца, а попросила Еву заняться устройством Байса — та любит дразнить своего генерала ревностью. И Ева попросила генерала о Вайсе — просто для того, чтобы лишний раз проверить свою женскую неотразимость.

Все это Ева поведала Вайсу, не переставая поглощать пирожные.

— А если придет Фридрих и все узнает? — спросил Вайс.

Ева, облизывая липкие пальцы, сказала твердо:

— Он не придет. И ничего не узнает.

— Почему?

— Ах, разве вы не знаете? Он в Пенемюнде: там изобретают какое-то страшное оружие. И работают не только наши ученые, привлечены даже неарийцы. Они все там как в концентрационном лагере, конечно комфортабельном. Фридриха направили туда потому, что он почти инженер и к тому же наци. Он прямо-таки находка для гестапо: образованный человек и их тайный агент. Это редкость. Я убеждена, что он теперь не меньше чем гауптштурмфюрер. Наконец-то фрау Дитмар может считать себя счастливой матерью.

— А разве раньше не считала?

— Конечно, нет. Она не верила в политическую карьеру Фридриха. Она верила в другие его способности.

— Ухаживать за девицами?

— Ну что вы! — Ева даже обиделась за Фридриха. — Он такой умный молодой человек! Как-то принес на рождественский бал в мэрии Санта-Клауса из папье-маше, и этот Санта-Клаус двигался по велению Фридриха и раскланивался с самыми уважаемыми гостями.

— Волшебник!

— Ну конечно. Все так думали, особенно дети. Но потом Фридрих объяснил, что сделал все это с помощью радио. Во всяком случае, мой группенфюрер говорил, что опыты с этой игрушкой пригодятся Фридриху в Пенемюнде. И если он не будет таким простофилей, каким был его отец, он сможет многого добиться.

— Я очень рад за фрау Дитмар! — искренне воскликнул Иоганн. Он и впрямь был обрадован значительно больше, чем могла предполагать Ева. Пенемюнде... Пенемюнде — это новость!

Проявлять дальнейший интерес к этой теме было бы

неосторожно, и Иоганн тут же переменял тон и предмет разговора.

— Фрейлейн, вы как цветущая яблоня! — сказал он тихо и коснулся рукой сдобного локотка Евы.

Но она отдернула руку и сказала серьезно:

— Оставьте, Иоганн. Мне эти штучки смертельно надоели. Я хотела с вами поговорить по душам, как со своим парнем, — ведь я тоже из деревни. И, как только накоплю достаточно сбережений, вернусь к отцу, уплачу за восточных рабочих, и, уверяю вас, я знаю дорогу к счастью... Ведь я, в сущности, очень добропорядочная девушка. — Она пожала полными плечами. — Не какая-нибудь берлинская потаскушка с Александерплац. Видите, не курю, не люблю крепких напитков, слабость у меня только одна — сладкое. — Спросила многозначительно: — Вы поняли меня, господин Вайс?

— Да, — рассеянно согласился Иоганн и озабоченно осведомился: — Но кто вам сказал, что я работал на ферме?

— Бог мой! — Ева даже руками всплеснула. — Неужели вы полагаете, что мой шеф без ознакомления со всеми вашими бумагами согласился бы посоветовать майору Штейнглицу взять вас шофером? — Сказала гордо: — Я бы тоже не могла занимать той должности у обергруппенфюрера, какую занимаю, если бы меня не рекомендовало гестапо и, конечно, пастор, которому я исповедуюсь во всех своих прегрешениях. — И Ева улыбнулась Вайсу и теперь сама протянула ему руку.

Особняк обергруппенфюрера, куда Вайс привез Еву, охраняли эсэсовцы с черными автоматами на груди. И если бы не их слишком пристальное любопытство, Ева, возможно, пригласила бы Иоганна зайти к ней выпить чашку кофе. Приглашать же солдата в присутствии охраны обергруппенфюрера Ева считала ниже своего достоинства и поэтому сдержанно простилась с Вайсом.

12

Все молодое поколение фашистской Германии с самых юных лет подвергалось нацистской обработке: «юнг-фольк», затем «гитлерюгенд», обязательные трудовые лагеря, двухлетнее пребывание в охранных или штурмовых отрядах и, наконец, «школы Адольфа Гитлера» для особо достойных, которых специально готовили к службе в фашистском партийном и государственном аппарате.

Надо полагать, Фридрих Дитмар, пройдя такой путь, едва ли мог сохранить те черты своего характера, о которых с нежностью и восхищением рассказывала Иоганну фрау Дитмар.

Но вместе с тем у Иоганна возникали смутные надежды на Фридриха, когда фрау Дитмар говорила, что в своих письмах к сыну рассказывает, как заботлив, как внимателен к ней квартирант. Иоганн стремился, чтобы Фридрих запомнил его имя, и просил фрау Дитмар в каждом письме писать сыну, что солдат Вайс шлет ему почтительный поклон.

Иоганн был несказанно рад, когда сияющая фрау Дитмар попросила его однажды выполнить поручение Фридриха. Записку от сына, где были перечислены книги и конспекты университетских лекций, которые он хотел получить из дома, привез ей ротенфюрер СС, по-общевойсковому — старший ефрейтор.

Пока фрау Дитмар угощала ротенфюрера и расспрашивала о сыне, Иоганн отобрал по этому списку книги и рукописи Фридриха, сложил, аккуратно упаковал и вручил посланцу.

Понимая, что матери дорога каждая бумажка, полученная от сына, он быстро сделал копию списка и, отдав письмо Фридриха фрау Дитмар, отвез ротенфюрера на военный аэродром. Но как ни пытался Вайс узнать хоть что-нибудь о том, как поживает господин Дитмар, ротенфюрер молчал. Поймать его на ценном признании удалось только на прощание, когда Иоганн, подавая ротенфюреру прорезиненный плащ, заметил: «У вас там сейчас дожди, ветра, погода в Пенемюнде в такое время всегда дрянь». Ротенфюрер кивнул, соглашаясь.

Но и этого было достаточно, чтобы убедиться в достоверности сведений, полученных от Евы.

Изучение списка книг и тематика лекций подтвердили, что Фридриха совсем не случайно интересуют сейчас электронная техника, системы дистанционного радиорелейного управления, навигационная автоматика.

Размышляя над всем тем, что удалось узнать от фрейлейн Евы, Иоганн счел наиболее целесообразным всю заботу о своем устройстве приписать исключительно Ангелике Бюхер. И решил поблагодарить свою благодетельницу, посоветовавшись предварительно с фрау Дитмар о том, как это лучше сделать.

Фрейлейн Ангелика согласилась принять Вайса утром, предупредив через фрау Дитмар, что располагает очень ограниченным временем, так как полковник фон Зальц поручил ей чрезвычайно важную и срочную работу.

Первые же дни общения с майором Штейнглицем принесли Вайсу много поучительного, полезного.

Майор по внешности являл собой идеал пруссака — чопорного, чистоплотного щеголя. И вот, получая новое обмундирование, Вайс щедро совал кому следует марки, и ему выдали все, что полагалось, не только точно по фигуре, но и лучшего качества. Кроме того, за приличную сумму он приобрел здесь же, в цейхгаузе, кожаный мундир эсэсовского самокатчика.

В парикмахерской Вайс потребовал, чтобы мастер сделал ему такую же прическу, как у майора Штейнглица.

И когда он, преображенный, предстал перед майором, тот сделал вид, будто ничего не заметил, однако тут же приказал Иоганну сопровождать его в те учреждения, которые он посещал, словно Вайс был его адъютантом, хотя майору и не полагалось иметь адъютанта. Вид и поведение Иоганна были вполне адъютантскими, и это придавало Штейнглицу особый вес.

Расшаркиваясь и рассыпаясь в благодарностях, Вайс преподнес Ангелике коробку шоколада, купленную в кондитерской «Союз сердец» на Гитлерштрассе, и отметил при этом, что его новая внешность и следствие ее — новые, самоуверенные манеры — произвели на девушку самое лучшее впечатление.

Искусству вызывать людей на откровенность посвящены целые тома глубоких и тонких теоретических исследований германских психологов, профессоров шпионажа. В архивах соответствующих служб хранятся отчеты агентов, компилированные и систематизированные в картотеках по разделам. И все это, продуманное, выверенное, досконально изученное, выжатое до степени квинтэссенции, обрело высшую ступень системы, тайну которой дано было постигнуть, затвердить, вызубрить только черным рыцарям, посвященным в орден германского шпионажа.

Но дух прусской дисциплины, которая чванливо провозглашалась отличительной национальной чертой, тяготел беспощадно и над деятелями тайных служб, над их умами, волей, требуя строгого, неотступного следования шаблонным приемам, выработанным «гениями разведки». Если

считать шпионаж «искусством», то даже лучшие его образцы, многократно повторенные, утрачивали свою первоначальную ценность и часто были подобны жалкой репродукции с картины большого художника, бесконечно повторенной на упаковке дешевого мыла.

Гитлер внес большой вклад в науку подлости. Его наставление: «Я провожу политику насилия, используя все средства, не заботясь о нравственности и «кодексе чести»... В политике я не признаю никаких законов. Политика — это такая игра, в которой допустимы все хитрости и правила которой меняются в зависимости от искусства игроков... Когда нужно, не остановимся перед подлогом или шулерством», — это его наставление воодушевило все фашистские тайные службы на бесчеловечные акции, помогло им превысить меру всех мерзостей, какие когда-либо знала история. Но ничто не помогло фашистам постичь характер советского народа, сломить его.

Абвер испытывал серьезные затруднения при попытке сформировать группы «пятой колонны» на территории СССР в канун своего коварного нападения. А ведь до сих пор ему удавалось блистательно осуществить это при захвате многих европейских государств.

Полковник Иоахим фон Зальц действительно в последнее время нуждался не только в интимных, но и в чисто деловых услугах своей секретарши: представленные ему списки лиц, отобранных в диверсионно-террористические группы, предназначенные для забрасывания на территорию СССР, оказались неудовлетворительными.

Фрейлейн Ангелика была приятно удивлена, увидев Вайса в его новом, более привлекательном обличье. Она не скрывала этого от Иоганна, а, напротив, подчеркивала. Ангелика расчетливо решила воспользоваться этим визитом для того, чтобы навести Иоганна на разговор, который был ей сейчас полезен. Ведь Вайс — прибалтийский немец, он жил в Латвии при советской власти и, пожалуй, сможет дать какие-нибудь рекомендации, а Ангелика предложит их от своего имени фон Зальцу, расположением которого она в последнее время очень дорожила, связывая с полковником свои далеко идущие планы на будущее.

Иоганн тоже хотел поболтать с Ангеликой, чтобы, если удастся, выведать у нее что-либо. Он знал до известной степени приемы немецкого шпионажа; допустим, так: достаточно прибегнуть к шантажу: «Фрейлейн Ангелика, мне кое-что известно о вас и о папаше Зальце и о нынешних

ваших отношениях с его сыном», — и, конечно, фрейлейн Ангелика раскиснет.

Прием хотя и шаблонный, но вполне в духе методики, признанной всеми империалистическими разведками.

Но вместо этого испытанного, бьющего наверняка и такого простого способа Вайс встал на путь более сложный, так как справедливо полагал, что на подобный шаблонный прием отвечают не менее шаблонно: сначала он будет некоторое время получать незначительные материалы, а потом последует донос в гестапо.

Ангелика достаточно умна и сумеет выступить в роли разоблачителя своего шантажиста. В конце концов ее совратил не кто-нибудь, а немецкий барон. Так ли уж это унижительно в глазах того общества, к которому принадлежит Ангелика?

Все это с молниеносной быстротой промелькнуло в голове Иоганна, но даже тенью не отразилось на его лице, выражавшем одно только восхищение хорошенькой и деловой девицей.

И в ответ на небрежный, заданный будто бы из одного вежливого любопытства к прошлому Вайса вопрос Ангелики о его знакомых и друзьях в Риге он с воодушевлением рассказал, как ловил ночью рыбу в заливе вместе со своим другом Генрихом Шварцкопфом.

— И с девушками, — так нервно и насмешливо добавила Ангелика, что Иоганн решил перейти к другой теме. Она была несколько опасна, но зато давала возможность понять, чем вызван интерес к нему Ангелики.

Грустно вздохнув, Вайс сказал:

— Извините, фрейлейн, но для каждого прибалтийского немца тяжела безвозвратная потеря — как бы там ни было — родины.

— Почему вы говорите — безвозвратная? — строго осведомилась Ангелика и многозначительно добавила: — Я несколько иначе, чем вы, представляю будущие границы рейха.

Вайс возразил живо:

— О, я тоже думал иначе. Но пакт, заключенный с Москвой, мы, немцы, там, в Латвии, расценили как крушение наших надежд. — Шепнул смущенно: — Надеюсь, эти слова останутся между нами?..

— О, конечно, — уверила Ангелика. И посоветовала: — Будьте со мной предельно откровенны, так же, как и я с вами. — Положив руку на колено Вайса, посочувствовала: —

Я понимаю ваши переживания. — Помедлила и вдруг сказала решительно: — Иоганн, я могу вам обещать: если вы — и очень скоро — предложите мне покататься на лодке по вашему Рижскому заливу, я охотно приму приглашение.

— Фрейлейн, вы сулите мне соблазнительные сны...

— Больше я пока ничего не могу вам сказать, — оборвала Ангелика эту галантную фразу. И серьезно взглянула на Вайса.

Иоганн подумал, не слишком ли он поспешно дал понять Ангелике, как воспринял ее слова, и промямлил:

— Да, если б не этот пакт... — И сказал как бы про себя: — Но ведь у нас с Польшей тоже был договор!..

Ангелика снисходительно улыбнулась.

— Наконец-то. Как вы все-таки медленно соображаете. — Откинувшись на спинку стула, поправляя прическу, спросила с любопытством: — Ну, а эти большевики вас сильно притесняли в Латвии?

Вайс опустил глаза.

— Если вести себя с ними осмотрительно... — Быстро поднял глаза и, поймав на лице Ангелики выражение жадного внимания, снова потупился, пробормотал неохотно, — то можно было избежать неприятностей. — Встал. — Извините, фрейлейн, мне пора...

Ангелика вскочила, положила обе руки ему на плечи.

— О, прошу вас... — И пообещала многозначительно: — Оставайтесь, вы не пожалеете.

Иоганн сделал вид, что воспринял это как призыв, и решительно обнял девушку. Как он и рассчитывал, она сердито вырвалась из его рук.

— У вас солдатские манеры!

— Но я солдат, фрейлейн.

— Если вы хотите завоевать меня, то надо действовать не так...

— А как? — притворился смущенным Вайс.

— Будьте умницей, Иоганн. Сядьте и расскажите мне все, что вы знаете. — Добавила ласково: — Пожалуйста! — И снова положила руку на его колено.

Перебирая ее тонкие, холодные, чуть влажные пальцы, Иоганн сказал как бы нехотя:

— Если вам так хочется, фрейлейн, ну что ж, я готов.

— О! — удовлетворенно вздохнула Ангелика и ближе придвинулась к нему.

Иоганн толково, точно и обстоятельно рассказал то, что было ему рекомендовано в случае нужды передать немец-

кой разведке в качестве своего личного патриотического дара.

Это был хитроумный набор мнимозначительных фактов, за некоторыми скрывалась ловушка, а другие были столь обнаженно правдивы, что не могли не ввести в соблазн...

Ангелика слушала внимательно и напряженно, потом спросила:

— Откуда вам известны эти подробности, Иоганн?

— Вы знаете, я работал в автомастерской, и мне приходилось ремонтировать им машины. И после ремонта сопровождать в пробных выездах. Это очень недоверчивые люди.

— Они называют это бдительностью?

— Бдительность — это несколько иное. Это обычай проверять документы. И чем больше у тебя документов, тем больше ты внушаешь доверия...

Ангелика встала, видно было, что ее живо интересовал разговор с Иоганном.

— Одну минутку. — И вышла из комнаты.

Вскоре она вернулась и объявила торжественно:

— Иоганн, полковник Иоахим фон Зальц ждет вас у себя в кабинете.

Переступив порог, Вайс увидел бледного, сутулого человека, с впалой грудью и такими же запавшими висками и щеками на костистом, длинном, унылом лице. Стекла пенсне сильно увеличивали глаза навывкате, выражающие усталость, глубокое равнодушие ко всему. Полковник небрежно, чуть склонив плешивую голову, одновременно ответил на приветствие Вайса и показал ему на кожаное кресло с пневматической подушкой в изголовье. Когда Вайс сел, он уставился на него прозрачными, бесцветными, неморгающими глазами в красноватых жилах. Потом сложил перед собой кисти рук так, что палец касался пальца, и, устремив взгляд на свои ногти, стал сосредоточенно рассматривать их, совершенно углубившись в это занятие.

Вайс тоже молчал.

— Да? — вдруг обронил полковник, не поднимая глаз и не меняя позы.

— Ну, повторите, повторите! — нетерпеливо потребовала Ангелика.

Вайс встал, как для доклада, и сжато, но еще более твердым голосом повторил то, что он рассказывал Ангелике.

Полковник сидел все в той же позе, прикрыв глаза тонкими сизыми веками. Ни разу он не прервал Вайса, ни разу не обратился с вопросом.

Пытливо вглядываясь в фон Зальца, Иоганн силился определить, какое впечатление на того производят его слова, но лицо полковника оставалось непроницаемым. И когда Вайс закончил, полковник продолжал глубоко-мысленно созерцать собственные ногти.

Молчание становилось тягостным. Даже Ангелика начала испытывать неловкость, не зная, как воспринята ее настойчивая просьба выслушать Вайса.

И вдруг полковник спросил сильным, несколько дребезжащим голосом:

— Кто из ваших земляков, находящихся здесь, может выполнить долг чести перед рейхом и фюрером?

— Господин полковник, мы все, как истинные немцы...

— Сядьте! — последовал приказ. — Это лишнее. Назовите имя.

— Надо уметь обращаться с парашютом? — решительно осведомился Вайс.

— Имя?

— Папке, господин полковник. — И, снова вытянувшись, преданно глядя в глаза фон Зальцу, Вайс отрапортовал: — Бывший нахбарифюрер, средних лет, отменного здоровья, решительный, умный, отлично знает обстановку, владеет оружием, часто выезжал в пограничные районы, имеет там связи.

Полковник помедлил, взял телефонную трубку, назвал номер, проговорил с томительной скукой в голосе:

— Дайте срочно справку о Папке, прибывшем из Риги. — Положил трубку и снова погрузился в молчаливое созерцание своих холеных ногтей.

В последнее время Папке избегал встреч с Иоганном, но осведомлялся о нем у сослуживцев и даже наведывался в его отсутствие к фрау Дитмар, пытаясь узнать, как проводит время ее жилец. Поэтому не удивительно, что Иоганн постарался при первой же возможности отделаться от Папке, тем более что, если в Советскую Латвию зашлют именно Папке, обезвредить его не представит особого труда. Для этого достаточно сообщить в шифровке его имя — приметы и так известны.

Полковник по-прежнему сидел недвижимо, как изваяние, изредка подымая пустые, невидящие глаза.

Иоганн оглянулся на Ангелику, как бы вопрошая, что ему делать дальше.

Ангелика ответила строгим взглядом.

Здорово ее выдрессировал полковник, если она в его присутствии боится даже слово произнести. Интересно, наедине они столь же бессловесны?

Зазвонил телефон.

Полковник приложил трубку к бледному, широкому, оттопыривающемуся уху и, изредка кивая, сказал несколько раз, будто прокаркал: «Да, да». Положил¹ трубку и вопросительно посмотрел на Вайса, словно удивляясь, зачем он здесь. Ангелика поспешно поднялась и, оглянувшись на Вайса, пошла к двери. Он понял, встал, щелкнул каблуками, повернулся и, бодро чеканя шаг, вышел в сопровождении Ангелики.

Как только они оказались одни, раздался звонок.

— Одну минутку, — извинилась Ангелика и исчезла за дверьми кабинета.

Вернулась она не скоро. Но когда вышла, улыбалась и держала в руке незажженную сигарету. Протянула ее Вайсу.

— Это вам от полковника.

— Значит, все хорошо? — осведомился Вайс.

Ангелика снисходительно похлопала его по спине и проводила до внутренней лестницы.

По дороге домой Вайс весь был поглощен сложной работой мысли. Как бы получше уложить в минимум знаков все, что ему удалось сегодня узнать, как избежать слов, выражающих его переживания, и вместе с тем найти такие слова, которые передали бы все значение того, что было не досказано?

Когда Вайс встретил на аэродроме майора Штейнглица, он так горячо приветствовал его, что даже при всей своей черствости и надменности майор не мог не испытать в душе приятного чувства и великодушно простил Иоганна, когда тот, суетясь с вещами, чуть было не уронил термос. Вайс подготовился к встрече — засунул в багажную сетку за передней спинкой букет.

Майор, конечно, увидел цветы, но по привычке к скрытности сделал вид, будто ничего не заметил.

За долгое свое пребывание на специальной службе Штейнглиц выработал правило выискивать в каждом слабости и, будучи большим знатоком всяческих мерзостей,

чувствовал себя уверенно только с теми людьми, которые сами были готовы на любую мерзость. А если исследование личности в этом направлении не увенчивалось успехом, то он считал эту личность недалекой и ни на что не способной.

Вместе с тем Штейнглиц любил с гордостью повторять фашистские сентенции, вроде: «Нордическое крестьянство — элита элит», «Мелкие крестьяне и юнкеры соединены общностью судеб, они — спинной хребет военной мощи страны и являются потенциальным новым дворянством земли и крови».

Сын крестьянина, он немало страдал в догитлеровские времена от пренебрежения титулованных офицеров рейхсвера. И наивно рассчитывал, что теперь крестьянское происхождение откроет ему дорогу в армейскую элиту. А то, что Вайс работал когда-то на ферме и был племянником фермерши, заставило майора отказаться от привычной подозрительности. Штейнглиц даже проникся некоторой симпатией к своему шоферу, полагая, что именно в таких, как он, и сохраняются первородная простота, покорность и доверчивость — черты, свойственные крестьянским детям, не утратившим благотворной родственной связи с землей.

Придя к этому умозаключению, майор уверовал в него как в неопровержимую истину, так же как он навсегда уверовал в выработанную его специальной службой систему, где все — вплоть до способов возмездия тем, кто посмеет отступить в чем-либо от этой системы, — было предусмотрено заранее.

Искреннюю радость Вайса майор посчитал подтверждением того, что крестьянин — кем бы он ни был — испытывает врожденное благоговение перед своим барином и это благоговение — свидетельство расовой чистоты немецкого крестьянства.

А Иоганн действительно очень обрадовался возвращению майора. И не собирался скрывать своих чувств по этому поводу. Радость его объяснялась тем, что ему удалось кое-что узнать о своем хозяине, и он готов был служить ему с воодушевлением, самоотверженностью и героизмом — неотъемлемыми слагаемыми, необходимыми для выполнения задания, возложенного на советского разведчика.

Помимо всего прочего, Иоганн не прочь был почерпнуть кое-что из опыта майора Штейнглица, который, хоть и внал в немилость, был одним из лучших знатоков тайной канцелярии гитлеровского генерального штаба. Им еще предсто-

яло схватиться в будущем, и Иоганн хотел быть во всеоружии, чтобы выйти из этой схватки победителем.

Иоганн думал обо всем этом, когда бережно вел машину, искоса наблюдая в зеркало за майором. Но лицо его пассажира сохраняло обычное холодно-замкнутое выражение.

У входа в гостиницу Штейнглиц, как всегда, небрежно, сквозь зубы, не договаривая окончания слов, процедил:

— Час ноль-ноль. С полным запасом горючего. Свои вещи — тоже.

Иоганн понял, что покидает Лодзь, и, возможно, навсегда.

13

Бедная фрау Дитмар! Как засуетилась, как горестно заметалась она, когда узнала об отъезде Вайса. Казалось, это известие расстроило ее не меньше, чем разлука с Фридрихом. Глаза ее были влажны от слез.

Иоганн невольно вспомнил, как суетилась, металась, провожая сына, мать Саши Белова, укладывала в чемодан теплое белье, шерстяные носки, уговаривала взять чуть ли не две дюжины носовых платков, совала авоську с продуктами. И сын не мог сказать ей, что должен все свои вещи оставить в специальной комнате на аэродроме, где ему предстоит переодеться и получить на дорогу совсем другой чемодан.

Иоганн вспомнил, как держался при расставании со своей матерью, которую нельзя было волновать. Она и без того была донельзя встревожена таинственной разлукой. И он бодрился, шутил, уверял ее, что теперь будет работать на засекреченном предприятии. Но мать знала, что он обманывает ее, хотя и делала вид, будто верит каждому слову сына.

Отец не мог скрыть от нее, какую гордую дорогу избрал их Саша. И она поклялась молчать, у нее хватило сил притворяться перед сыном в час разлуки. И он знал, что она будет даже лгать, уверять всех, что ее Шурику живется хорошо, рассказывать, как он там работает на своем засекреченном оборонном заводе, придумывать письма от него. И что она будет плакать тайком от мужа, в который раз разглядывая фотографии сына...

А отец? Казалось, в тот вечер навсегда залегли у него на лице глубокие морщины. И хотя он бодрился, бормотал о том, как воевал в гражданскую войну, о том, что он тоже

был парень хват, глаза у него стали тоскливыми, и сразу сделалось понятно: не умеет старик лицемерить, притворяться для него всего страшнее. И он не верит, что его Саша, его мальчик, такой чистый, правдивый, беспредельно искренний, сможет обманывать, притворяться...

Днем Иоганн успел заскочить в контору «Пакет-аукцион» и, памятуя слова майора о маргарине, которые еще тогда подействовали на Герберта угнетающе, развязно заявил, что он приехал не за маргариновыми изделиями, а за хорошей дамской вязаной кофтой. Но тут же, успокаивая Герберта, показал бумажник.

Можно ли при отчете отнести эту сумму в рубрику «специальные расходы». Вайс твердо не знал. Но он решил на это, полагая, что в крайнем случае, ну что ж, бухгалтер вычтет из заработной платы в десятикратном размере за неоправданный перерасход иностранной валюты.

Но не отблагодарить фрау Дитмар за все ее заботы он не мог. Она была искренне внимательна и добра к нему. Кроме того, знакомство с ней принесло ему немало пользы, и кто знает, что еще понадобится от нее впоследствии.

И когда фрау Дитмар примеряла теплую вязаную кофту и говорила, что не решается принять такой ценный подарок, по румянцу на щеках и красным пятнам на шее видно было, как она счастлива.

Но как бы ни были трогательны эти минуты прощания, Иоганн не забыл спросить у фрау Дитмар позволения написать письмо Фридриху и поблагодарить его за гостеприимство. И фрау Дитмар дала Иоганну номер полевой почты сына, предупредив, что Фридрих не очень-то любит сам писать письма. И пообещала, что она снова напишет Фридриху, какой хороший человек жил в его комнате...

В точно назначенное время Вайс подъехал к гостинице. Вынес чемоданы майора, уложил в багажник.

— Варшава, — процедил Штейнглиц, откинулся на спинку сиденья, вытянул ноги, закрыл глаза и приказал себе заснуть. Он был горд тем, что может заставить себя спать: ведь на это способна только волевая сверхличность, каковой самонадеянно и считал себя майор.

Падал мокрый снег, земля обнажилась на проталинах, в низинах стоял туман. Холодно, зябко, уныло. Бесконечно тянулась дорога, изъязвленная воронками от авиабомб. Гулко гудели под колесами настилы недавно восстановленных мостов. В канун разбойничьего нападения на Польшу 1 сентября 1939 года большинство мостов было взорвано

германскими диверсионными группами. Мелькали черные развалины зданий в уездных городишках. Через определенные промежутки времени машина останавливалась у контрольных пунктов. Штейнглиц просыпался, небрежно предъявлял свои документы, а чаще металлический жетон на цепочке, который производил на начальников патрулей весьма сильное впечатление.

Порой надписи указывали, что нужно ехать в объезд, так как дорога закрыта для всех видов транспорта. Вайс, как будто не замечая этих указаний, вскоре догонял моторизованную колонну или проезжал мимо армейского расположения, аэродрома, строительства складских сооружений. И хотя по всему шоссе имелись дорожные знаки, обозначающие путь на Варшаву, Вайс почему-то находил повод часто сверяться с картой, особенно когда встречались объекты, привлекавшие его внимание.

Но каждый раз, прежде чем достать карту, он поглядывал в зеркало над ветровым стеклом, в котором отражалась физиономия спящего Штейнглица. Никаких пометок на карте Вайс не делал, полагаясь на свою память.

Когда подъехали к лесистой местности, патруль задержал машину. Майор показал свои документы, вытащил жетон — не помогло. Унтер-офицер почтительно доложил, что проезд одиночным машинам запрещен, так как в лесу укрылись польские террористы.

— Позор! — проворчал Штейнглиц.

Вышел из машины на обочину и потом, застегиваясь, сказал унтер-офицеру:

— Их надо вешать на деревьях, как собак. Сколько у них деревьев, столько их и вешать.

— Вы правы, господин майор. Надо вешать.

— Так что же вы стоите? Идите в лес и вешайте! — Тут он заметил, что обрызгал сапог, и приказал патрульному солдату: — Вытереть! — А когда тот склонился, сказал брезгливо: — Трус! У тебя даже руки дрожат — так ты боишься этих лесных свиней.

Но сам Штейнглиц только тогда разрешил патрульному офицеру открыть шлагбаум, когда собралось больше десятка армейских машин. И свою машину приказал Вайсу вести в середине колонны, позади бронетранспортера, и положил себе на колени пистолет. И выругал Вайса за то, что тот не сразу вынул из брезентовой сумки гранату.

Черные деревья вплотную подступили к дороге. Пахло сыростью, хвоей, и лес казался Иоганну родным. Такие же

леса были у него на родине, а в этом притаились польские партизаны, не побоявшиеся вступить в мужественное единоборство с железными лавинами гитлеровских полчищ.

Как хотел Вайс услышать сейчас выстрелы, разрывы гранат, трескотню ручных пулеметов — он ждал их, как голоса друзей. Но лес молчал. Непроницаемый, темный и такой плотный, будто деревья срослись ветвями. И когда машина вновь выехала на голую равнину, Иоганну показалось, что здесь темнее, чем в лесу. Наверное, потому, что задние колеса транспортера забрызгали грязью ветровое стекло. Он хотел остановиться, чтобы вытереть грязь, но майор не позволил: боялся оторваться от бронетранспортера.

Глубокой ночью, когда до Варшавы оставалось не больше тридцати километров, Штейнглиц приказал Иоганну свернуть с шоссе. Подъехали к каким-то зданиям, — очевидно, раньше это было поместье, — обнесенным высоким забором и двойным рядом колючей проволоки. Проекторы на сторожевых вышках, установленных по углам забора, заливали все вокруг ослепительным мертвенным светом. У ворот их задержали. Охрана очень тщательно проверила документы майора и пропустила машину только после того, как караульный офицер по телефону получил на это разрешение. Во дворе Штейнглица встретили люди в штатском. Он почтительно откозырял, и они все вместе ушли. Иоганну отвели койку в общежитии недалеко от гаража, где стояло множество новых машин лучших немецких марок.

Это расположение, загадочное, уединенное, внешне напоминавшее и тюрьму и лагерь, не было ни тюрьмой, ни концлагерем. Но здесь были сконцентрированы самые совершенные технические средства охраны; ток высокого напряжения, включенный в ограду из колючей проволоки, трубчатые спирали Бруно, система металлических мачт с прожекторами, позволяющая в любое мгновение залить беспощадным светом всю бывшую помещичью усадьбу или осветить любой ее уголок, незримые лучевые барьеры, отмечающие с помощью вспышек сигнальных ламп каждого, кто входил в здание или выходил из него, — все собранное здесь достижения человеческой мысли точно и слаженно служили одной цели: намертво отрезать этот кусок земли от внешнего мира.

Только солдаты охранного подразделения носили военную форму. Те, кому они подчинялись, кто властвовал здесь, были в штатском, и только по степени почтительно-

сти, проявляемой к этим штатским, можно было определить, как высока должность, которую они занимают. Ни один из них не скрывал своей военной выправки и права командовать другими, такими же штатскими, отличавшимися лишь более щегольской выправкой. Подчиненные штатские напоминали узников, добровольно заточивших себя в каменных флигелях. Они были заняты весь день и лишь после обеда, а некоторые только после ужина прогуливались по каменным плитам внутреннего дворика, отделяющего эти флигели от хозяйственных зданий.

Те же из штатских, кто имел право общаться с внешним миром, подвергались при выездах проверке нескольких патрульных постов. Эти посты обслуживало специальное подразделение СС, которому, по-видимому, и была поручена внешняя охрана.

Очевидно, эсэсовцы не подчинялись властям расположения, так как бесцеремонно освещали фонарями лица пассажиров любой выезжающей или въезжающей машины, забирали документы, уносили в комендатуру для проверки и не торопились их вернуть. А когда возвращали, даже если проверенный оказывался весьма высокопоставленным лицом, козыряли небрежно и независимо.

Свободное передвижение Вайса по территории было крайне ограничено: хозяйственные постройки, плац, вымощенный булыжником, — и все. Он не имел права переступить за пределы этой черты. Незримые границы сторожила внутренняя охрана; у каждого пистолет, граната в брезентовом мешочке, автомат.

Все тут держались нелюдимо. Иоганну казалось, что его окружают глухонемые. Даже общаясь между собой, эти люди, приученные к молчанию, охотнее прибегали к мимике и жестикуляции, чем к простым человеческим словам.

В гараже лежала целая стопа железных номерных знаков — после каждого длительного выезда номер на машине меняли. Несколько раз Иоганн видел, как перекрашивали почти новые машины. У трех легковых стекла были пуленепроницаемые, у двух — такие, что сквозь них не рассмотришь внутренность кузова, за исключением, конечно, ветрового стекла.

Ел Вайс в столовой, вместе с теми, кто, как и он, не имел права выходить за пределы незримой границы. Система питания построена была на самообслуживании. Ели подолгу и много, молча, не проявляя никакого интереса друг к другу. Несколько девиц с мужскими повадками из под-

разделения вспомогательной службы, такие же вымуштрованные, как и все здесь, с сытыми, равнодушными лицами не оживляли общей унылой картины. Когда какую-нибудь из них тискали за столом, девица, не меняясь в лице, спокойно, как лошадь в стойле, продолжала есть. А если это мешало поглощать пищу, она так же молча, с силой отталкивала ухажера.

За ужином давали шнапс, иногда пиво, и можно было сыграть в кости на свою порцию. И если кто-нибудь уступал выпивку девице и та принимала ее, вокруг начинали хихикать и поздравлять расщедрившегося со свадебным удовольствием.

Но и этого развлечения хватало на минуту, не больше, а потом все снова смолкали и не обращали уже никакого внимания на пару, которую только что грубо вышучивали.

Прошло много дней, а майор Штейнглиц не давал о себе знать. Жизнь в этом странном заточении изнуряла Иоганна своим тупым, бессмысленным однообразием. Он даже не мог выяснить, что это за соединение, кто его обслуживает, чем здесь занимаются люди.

Как-то в кухне испортился электромотор, вращающий мясорубку. Иоганн вызвался починить его и починил. Повар лишь кивнул головой. Ни единого слова ни от одного из окружавших не услышал Иоганн, хотя работал на кухне больше трех часов, а народу здесь было достаточно. И когда он помогал механику гаража, тот охотно принимал его услуги, но благодарил тем же молчаливым кивком.

Одиночество, бездеятельность, бессмысленность пребывания тут делали его жизнь все невыносимей.

А Штейнглиц то ли забыл о существовании Вайса, то ли навечно сдал его в эту часть...

Каждое утро в отгороженный колючей проволокой загон приходил дрессировщик собак со своим подручным.

Толстый, коротконогий, с мясистыми плечами, дрессировщик в одной руке держал плетль, а в другой — палку с кожаной петлей на конце. Одет он был в белый свитер, кожаную коричневую жилетку, замшевые залоснившиеся шорты, толстые шерстяные носки, бутсы на шипах и тирольскую шляпу со множеством значков. Лицо холеное, профессорское, всегда чисто выбрито.

Что за человек подручный, понять было трудно. Настоящее живое чучело. Стеганный брезентовый комбинезон с проволочной маской фехтовальщика на лице. Шея, словно колбасными кругами, обмотана брезентовым шлангом,

набитым опилками. Низ живота защищен фартуком, выкроенным из автомобильного баллона, поверх фартука — брезентовый плоский мешок.

Дрессировка была незамысловатой. Пока подручный шел по ровной линии, собаки покорно сидели у ног дрессировщика. Стоило подручному сделать резкое движение в сторону, как собаки бросались на это живое чучело и начинали рвать круги шланга, набитые опилками, и висящий на фартуке, защищающий низ живота, брезентовый мешок.

Если собаки сбивали подручного с ног и, не обращая внимания на команду, продолжали рвать, дрессировщик разгонял их ударами плети, а самому свирепому псу накидывал на голову кожаную петлю, прикрепленную к палке, и оттаскивал в сторону.

Дрессировщик и его подручный никогда не разговаривали. Команда подавалась собакам не словами, а свистком.

Однажды, когда подручный завизжал от боли, дрессировщик, против обыкновения, не сразу разогнал озверевших псов, а выждал некоторое время и, после того как они разбежались, ударил, тщательно примерившись, поваленного на землю окровавленного человека тупым носком бута.

Заметив, что Вайс наблюдает за ним, дрессировщик начал вежливо здороваться и всегда первый говорил: «Доброе утро» или «Добрый день».

Как-то он подошел к проволочному забору, спросил:

— Красиво? — Похвастал: — Эти животные послушны, как дети. Нужно только иметь талант, волю к власти. — Пожаловался: — Сейчас стало трудно доставать хорошие экземпляры. Во всех ведомствах по делам военнопленных при ОКВ и штабах округов завели теперь собственные питомники. И это похвально. Хороший пес может так же нести службу, как хороший солдат.

Вайс показал глазами на собак:

— В таких шубах им русский мороз не страшен! Как вы думаете?

— Конечно, — согласился дрессировщик. Осведомился: — Вы не любите холода? — Утешил: — Фюрер обещал молниеносно разделаться с Россией. Надо полагать, рождество там будут праздновать только наши гарнизоны...

— О да, безусловно, — поддакнул Вайс.

Вот еще одно подтверждение опасности, нависшей над его страной. Что ж, можно было бы информировать Центр и о том, что военное министерство Германии даже собак уже мобилизовало для Восточного фронта.

Инструктор-наставник как-то сказал Александру Белову:

— Ну что ж, если начнется война, — долг чекиста спасти армию, народ от подлых ударов в спину. А для того, чтобы предотвратить такие удары, нужна всеведущая зоркость наших людей, работающих на той стороне. Вот тебе вся твоя долговременно действующая директива. Простая и ясная как день. А приложение к ней — разумная инициатива, смекалка и твердое сознание того, что за каждую каплю крови, пролитую советскими людьми, мы несем особую ответственность — каждый из нас лично, где бы он ни находился...

14

К хозяйственным постройкам примыкал двухэтажный каменный флигель, надежно укрытый высоким забором со свисающим карнизом, оплетенным колючей проволокой. Три раза в день открывались ворота в этом заборе, чтобы пропустить термосы с горячей пищей, которую возили из кухни. По субботам к термосам прибавлялся ящик с бутылками пива и водки. И только один-единственный раз в день — в шесть часов утра, когда было еще сумеречно, — из этих ворот выходили строем восемь человек в трусах и, какая бы ни была погода, проделывали на плацу гимнастические упражнения. Потом снова строились и скрывались за воротами.

Это повторялось шесть дней. А на седьмой, в воскресенье, они приходили после обеда на грязный, мощный булыжниками плац и усаживались на брошенные возле гаража старые автомобильные покрышки с таким видом, будто выползли сюда отдохнуть после тяжелой работы. Одеты они были в трофейные мундиры разгромленных гитлеровцами европейских армий — кто во французский, кто в датский, кто в норвежский. У некоторых одежда была смешанной, — скажем, брюки от французской формы, а китель английский.

Кто были эти люди? По приказу они не должны были ничего знать друг о друге, не имели права знать, а за попытку узнать им грозило жестокое наказание.

Люди без родины. Нет у них имен — только клички. Нет прошлого. И не будет будущего. Они знали, что народ, имя которого было записано в их анкетах, хранимых специ-

альной службой, не простит им преступлений против его чести и свободы. Впереди одно: к репутации негодяев предстояло прибавить славу палачей.

Их хорошо знали берлинская, мюнхенская, гамбургская криминалки. Некоторым из них понадобилась бы вторая жизнь, чтобы отбыть наказание за все черные дела, которые за ними числились.

Не было закона, который охранял бы их права, и не было страны, где они не нарушили бы закона.

И чтобы оказаться вблизи этих людей и понять, кто они, Вайс придумал себе на воскресенье работу в гараже.

Он оставил ворота распахнутыми. И услышал русскую речь, русские слова, не видя еще, кто их произносит.

Приглушенный баритон, заглатывая букву «р», лениво мямлил:

— В сущности, имеются четыре защитных механизма, маскирующих страх смерти: секс, наркотики, крайний рационализм и агрессия.

— Фрейд, — вставил кто-то небрежно.

— Возможно. И поскольку концепция «каждый человек — мой враг» — главный фокус мышления, убийство ближнего и дальнего не только современно, но и необходимо для сохранения общества.

— Научился креститься обеими руками. Ты бы лучше о бабах, — посоветовал кто-то сиплым голосом.

— Извольте, — согласился баритон. — Тут я видел пожилую фею с развитыми до неприличия, ну прямо как галифе, бедрами. Представьте, отвергла в силу моей расовой неполноценности.

— Ты бы за свои дела попросил звание арийца.

— Я напомнил шефу о своих заслугах, но он в крайне нелюбезных выражениях обещал меня повесить, если я еще хоть раз попробую заикнуться.

— Только правда убивает надежды, — высокопарно заметил баритон. — Оставьте Зубу его заблуждения о себе самом. Пусть живет на благо Германии — нашего великого союзника. Что касается меня, то я никогда не испытывал потребности в высокоморальных поступках и, надеюсь, не испытаю.

— А суд божий?

— Я рассчитываю, что всевышний разделяет мою концепцию.

— Ты бы не ножом, а пером зарабатывал. Почему бросил?

— Не бросил, а выгнали. Неосмотрительно осуществил молниеносный способ обогащения. Слишком шумный процесс получился. Возможно, если б отправил в небытие соотечественницу, а не немку, все б и обошлось.

— Сколько тебе дали?

— Смягчили. Я утверждал на суде, что любил старуху бескорыстно. А убийство совершил в состоянии аффекта, вызванного ревностью.

— И долго ты с ней путался?

— Познакомился в цирке, когда выступал в труппе наездников под предводительством Шкуро, а раззнакомился через год-полтора.

— Побатрачил...

— Что ж, постигла судьба Германна из «Пиковой дамы»: ни денег, ни старушки.

Сиплый проговорил задумчиво:

— А все-таки есть в этом какое-то мистическое совпадение... Николая сослали в Тобольск, в нескольких верстах от него село Покровское — родина Гришки Распутина. — Вздыхнул: — Эх, Россия!

— Я попрошу! — визгливо вступил тенор. — О государе императоре...

— Брось, — спокойно отпарировал сиплый. — Да не махай кулачишками. Дам по харе так, что потом, как после пластической операции, ни один мужик не узнает бывшего своего барипа.

— Узнают! — зловеще пообещал тенор. — Узнают...

— Так тебе немцы и отдадут усадьбу, держи карман шире!

— Господа, — баритон звучал барственно, — вы слишком далеко зашли, вы не имеете права обсуждать планы Германии в отношении бывшей территории России.

— А кто накапает?

— А хоть я, — ответил баритон. — Я. Если, конечно, ты не доложишь раньше.

— Сволочь!

— Именно...

Кто-то рассказал:

— Когда я отбывал срок в Бремене, нас гоняли на работы в оружейные мастерские, а потом, прежде чем пропустить обратно в камеры, просвечивали каждый раз рентгеном: проверяли, не спер ли кто-нибудь инструмент из цеха. А говорят, будто облучение отрицательно отражается на способностях.

— А на черта тебе эти способности?

— Ну, все-таки...

— А я, господа, первое, что сделаю, — закажу щип и расстегай. Ну такой, знаете...

— Ты лучше жри поменьше. Не набирай лишнего веса. Будут кидать с парашютом — ноги переломишь. Со мной был такой один субчик — сразу ногу себе вывернул. Пришлось исцелить — из пистолета.

— Ну и дурак!

— А что? На себе тащить в советскую больницу?

— А ты бы как хирург — ножичком!

— Эх ты, мясник!

— Будь спокоен, если попаду к тебе в напарники, облегчу бесшумно.

— Если я тебя раньше на стропе не вздерну.

— Ну зачем опять грубости? — умиротворяюще проговорил баритон. — Весна, скоро пасхальные дни.

— А где ты их праздновать будешь?

— Где же еще, как не в российских Рязанях?

— Вот и отволокут тебя в Чека. Будет тебе там пасха!

— НКВД, — строго поправил тенорок. — Не надо быть такими отсталыми.

— Вызубрил...

— А что ж, с двадцатого года дома не был.

— Ничего, не плачь. Скоро обратно кинут.

Вайс вышел из гаража с надутым баллоном в руках, сел невдалеке от этих людей и внимательно осмотрел баллон, будто искал на нем прокол. Потом прижал баллон к уху и стал сосредоточенно слушать, не утекает ли воздух.

Высокий, тощий, с хрящеватым носом, не оборачиваясь, спросил по-русски:

— Эй, солдат, закурить есть?

Вайс сосредоточенно вертел в руках баллон.

— Хочешь, я сам дам тебе сигарету? — снова спросил шепелявым баритоном долговязый.

Вайс не прерывал своего занятия.

— Да не бойся, ни черта он по-русски не понимает, — сказал коренастый. И спросил по-немецки: — Эй, солдат, сколько времени?

Вайс ответил:

— Нет часов. — И обвел твердым, запоминающим взглядом лица этих людей.

Улыбаясь Иоганну, плешистый блондин проблеял тенорком по-русски:

— А у самого на руке часы. Немецкая свинья, тоже, воображает! — Любезно протянул сигарету и сказал уже по-немецки: — Пожалуйста, возьмите, сделайте мне удовольствие.

Вайс покачал головой и вытащил свой портсигар.

Блондин засунул себе за ухо отвергнутую Вайсом сигарету, вздохнул, пожаловался по-русски:

— Вот и проливай кровь за них. — Обернулся к Вайсу, сказал по-немецки: — Молодец, солдат! Знаешь службу. — Поднял руку. — Хайль Гитлер!

Вайс сходил в гараж, оставил там баллон и, вернувшись обратно, положил себе на колени дощечку, а поверх нее лист почтовой бумаги.

Склонившись над бумагой, Вайс глубокомысленно водил по ней карандашом. Изредка и внешне безразлично поглядывал он на этих людей в разномастных иностранных мундирах, которые владели немецким языком, а возможно, и другими языками, так же, как и русским. Они давно утратили свой естественный облик, свои индивидуальные черты. И хотя приметы у них были разные, на их лицах запечатлелось одинаковое выражение жестокости, равнодушия, скуки.

Чем дольше Иоганн вглядывался в эти лица, тем отчетливее понимал, что невозможно удержать их в памяти.

В следующее воскресенье он снова занял позицию возле гаража и, шаркая напильником, положил заплату на автомобильную камеру. Покончив с ней, неторопливо разобрал, промыл и снова собрал карбюратор. Вытер руки ветошью и, как в прошлый раз, занялся письмом.

А эти люди, очевидно, привыкнув к молчаливому, дисциплинированному немецкому солдату, свободно болтали между собой.

Вайс безразличным взглядом обводил их лица, потом переводил глаза на какой-либо сторонний предмет и снова писал, будто вспомнив нужные ему для письма слова.

Солдат, сочиняющий письмо домой, — настолько привычное зрелище, что никто из этих людей уже больше не обращал на него внимания, не замечал его. Тем более что убедились — по-русски он не смыслит ни бельмеса.

Главенствовал у них, по-видимому, тот, сухощавый, бритоголовый, с правильными чертами лица, с серыми холодными глазами и вытянутыми в ниточку бровями на сильно скошенном лбу. Когда он бросал короткие реплики, все смолкали, даже тот, с барски картавым баритоном,

любитель афоризмов: «Для того чтобы убить, не обязательно знать анатомию», «Среди негодяев я мог бы быть новатором», «Дороже всего приходится платить за бескорыстную любовь».

Как-то он сказал томно:

— Кажется, я когда-то был женат на худенькой женщине с большими глазами.

Бритоголовый усмехнулся.

— И загнал ее в Бейруте ливанскому еврею.

— Ну, зачем оскорблять, — арабу, и даже, возможно, шейху.

Бритоголовый угрожающе свел брови, процедил сквозь зубы:

— Ты что мне тут лопочешь?

Обладатель баритона мгновенно сник:

— Ну ладно, Хрящ, ты прав, прав.

Сухонький, напоминавший подростка, жилистый старик с маленьким, сжатым морщинами, горбоносым лицом спросил с кавказским акцентом:

— Шейх? Что такое шейх? Я сам шейх. Почем продал, не помнишь?

Человек с обвисшим лицом и чахлыми волосами, зализанными на лысину, только пожал плечами.

Бритоголовый сказал:

— Нам, господа, следовало бы и здесь навести порядок.

— У немцев?

— Я имею в виду русскую эмиграцию. Одних Гитлер воодушевил, вселил надежды, а другие — из этих, опролетарившихся, — начали беспокоиться о судьбе отчизны.

— Резать надо, — посоветовал старик.

— Не лишено, — согласился бритоголовый. — Я кое-кого назвал шефу, предложил наши услуги — устранить собственноручно. Это имело бы показательное значение, мы бы публично продемонстрировали нашу готовность казнить отступников. Но, увы, шеф отказал. Пообещал, что этим займется гестапо. А жаль, — грустно заключил бритоголовый.

Человек с обвисшим лицом протянул мечтательно:

— А в России сейчас тоже весна-а!

— Будешь прыгать, не забудь надеть галоши, чтоб ноги не промочить.

— Я полагаю, уже подсохнет...

— Польшу они в три недели на обе лопатки.

— Ну, Россия — не Польша.

— Это какая тебе Россия? Большевистская?
— Ну, все-таки...
— И этот тоже! Заскулил, как пес.
— В каждом из нас есть что-то от животного...
— Ты помни номер на своем ошейнике, а все остальное забудь...

Сухие, пахнувшие пылью лучи солнца падали на эту закованную в булыжник землю, на зарешеченные окна зданий, на это отребье, на предателей, донашивающих трофейные мундиры поверженных европейских армий. От высокого забора с нависшим дощатым карнизом, оплетенным колючей проволокой, падали широкие темные тени, и казалось, будто двор опоясывают черные рвы. Бухали по настилам сторожевых вышек тяжелые сапоги часовых. Ссутулясь, сидел Иоганн, держа на коленях дощечку с листком бумаги, и что-то старательно выводил на ней карандашом. Он тоже был тут узником, узником, подчиненным размеренной и строго, как в тюрьме, регламентированной жизни.

И все-таки он был здесь единственным свободным и даже счастливым человеком и с каждым днем в этом страшном мире все больше убеждался, что он тут единственный обладатель счастья. Счастья быть человеком, использующим каждую минуту своей жизни для дела, для блага своего народа.

Вот и сейчас, сидя на солнце, Иоганн терпеливо и старательно работал. Да, работал. Рисовал на тонких листках бумаги хорошо очиненным карандашом портреты этих людей. Каждого он хотел изобразить дважды — в фас и в профиль. Он рисовал с тщательностью миниатюриста.

Никогда раньше Саша Белов не испытывал такого трепетного волнения, такой жажды утвердить свое дарование художника, как в эти часы.

И если в искусстве ему было глубоко чужд бесстрастный, ремесленный объективизм, то сейчас только этот метод изображения мог заменить ему отсутствие фотообъектива. Он должен был воспроизвести на бумаге эти лица с такой точностью, словно это не рисунки, а сделанные с фотографий копии.

Рисуя, он должен был сохранять на лице сонное, задумчивое выражение человека, с трудом подбирающего слова для письма. А между тем от успеха его теперешней работы, возможно, будут зависеть судьбы и жизни многих советских людей.

В столовую приходила чета глухонемых. Он — плотный, плечистый, черноволосый, с крупными чертами неподвижного лица. Глаза настороженно-внимательные, с нелюдимо-враждебным, немигающим взглядом. Она — пушистая блондинка, тонкая, высокая, нервная, чуткая к малейшему проявлению к ней внимания или, напротив, невнимания. На лице ее непроизвольно мгновенно отражалось то, что ее сейчас взволновало. Это была какая-то необычайно выразительная мимика обнаженной чувствительности, отражавшей малейший оттенок переживания.

Эта пара не принадлежала к числу обслуживающего персонала. Они занимали здесь особое положение, если судить по тому, что глухонемой вел себя так, словно не замечал никого из сидящих за столом, а те не решались в его присутствии, пользуясь глухотой этих двух людей, говорить о них что-нибудь обидное.

Однажды в столовой обедал приезжий унтер-офицер — огромный упитанный баварец. Бросив исподтишка взгляд на глухонемую, он сказал соседу:

— Занятная бабенка, я бы не прочь с ней поизъясняться на ощупь.

Глухонемой встал, медленно подошел к унтер-офицеру, коротко ударил в шею ребром ладони. Поднял, держа под мышки. Снова посадил на стул и вернулся к жене. Никто из присутствующих даже не сделал протестующего движения. Продолжали обедать, будто ничего не случилось.

Иоганн знал этот способ нанесения удара, вызывающий краткий паралич от болевого шока.

Унтер-офицер с белым, мокрым от пота лицом раскрытым ртом ловил воздух. Ему было плохо, он сползал со стула.

Иоганн вывел его во двор, потом привел к себе в комнату, уложил на койку. Почувствовав себя лучше, унтер-офицер встал и объявил зловеще, что глухонемому это будет стоить веселенького знакомства с гестапо. И ушел в штаб расположения. Но скоро вернулся обратно сконфуженный, удрученный.

Постепенно приходя в ярость, он рассказал Вайсу, почему рапорт начальству по поводу нанесенного ему оскорбления был решительно отклонен. Иоганн и сам начал догадываться, что представляет собой эта странная супружеская чета.

Канарис считал себя новатором, привлекая к агентурной работе глухонемых. Он использовал их для того, чтобы

в определенных условиях иметь возможность узнавать, о чем говорят интересующие его лица.

Находясь в отдалении от объектов слежки, глухонемые агенты, наблюдая за артикуляцией губ беседующих, могли точно установить, о чем идет речь. Если расстояние было значительным, применяли бинокль или специальные очки с особыми стеклами, рассчитанными на людей с хорошим зрением.

Но эта пара агентов оказалась штрафниками.

Они скрыли от своего шефа, что ждут ребенка. И, находясь за пределами Германии, рассчитывали, что женщине удастся благополучно разрешиться от бремени.

Но им пришлось вернуться до родов.

Женщину на последнем месяце беременности схватили на улице и, несмотря на то, что она была агентом абвера, привезли в госпиталь, где было произведено кесарево сечение.

Женщине сказали: ребенок мертв. А за ее жизнь боролись лучшие врачи. Абвер не простил бы им потери нужного человека.

И теперь супругов выслали сюда, как злорадно сказал унтер-офицер, «для карантина». Вначале глухонемые «психовали» и даже пытались отравиться газом. Но абвер представил к ним наблюдателей. И все их дальнейшие попытки прибегнуть к другим способам самоубийства кончались ничем, и они их прекратили, когда окончательно убедились, что от службы абвера нельзя тайно уйти даже из жизни.

Иоганн купил у дрессировщика собак выбракованного щенка и подарил его глухонемой. Вначале она колебалась, брать ли его, моляще, растерянно оглядывалась на мужа. Он кивнул. Женщина жадно схватила щенка, прижала к себе. Муж вынул бумажник, вопросительно и строго глядя на Вайса.

— Мне было бы приятно, если бы вы приняли мой подарок.

Глухонемой помедлил, спрятал бумажник, протянул сигареты. Закурили.

Вайс сказал:

— Я работаю у майора Штейнглица. Тоже абвер.

Глухонемой кивнул.

Вайс объяснил:

— Я вынужден был оказать помощь унтер-офицеру — вам могли угрожать неприятности.

Глухонемой презрительно оттопырил губы.

Женщина, держа в одной руке щенка, другую протянула Вайсу и пожала его руку. Лицо ее было нежное и невыразимо печальное.

Она сделала округлый жест над животом, покачала головой. В глазах показались слезы.

Муж сжал губы, лицо его стало жестким. Он постучал кулаком по голове, закрыл глаза, потом развел сокрушенно руками.

Вайс сказал:

— Я понимаю ваше горе. Но жить надо.

Женщина показала пальцем на себя, на мужа, потом на щенка, покачала головой.

— Да, вы правы, — сказал Вайс, — человек не животное. — Вайс помолчал, потом продекламировал: — «Человек — это лишь покрытый тонким слоем лака, прирученный дикий зверь».

Женщина брезгливо от него отшатнулась. Вайс объяснил:

— Так утверждает Эрих Ротакер, наш великий историк.

Глухонемой коснулся своего лба пальцем, потом отрицательно помахал им.

— Я тоже так не думаю, — сказал Вайс. — Но есть много людей, которые не только так думают, но и поступают так.

Глухонемой кивнул головой, соглашаясь.

Каждый вечер супруги выводили щенка на прогулку на пустынном плацу. Завидев Вайса, щенок дружелюбно подбегал к нему, и Вайс как бы невольно становился спутником этой странной пары во время таких прогулок.

Последнее время супруги стали брать с собой маленькие грифельные дощечки, на которых они быстро писали, стирая написанное влажной губкой. Это облегчало общение.

Брошенные своим несчастьем в безмолвие, эти два человека нашли друг друга, еще когда были детьми. Он, шахтер и сын шахтера, она, дочь пастора, бежали из дома, когда родители стали противиться ее дружбе с глухонемым юношей, рабочим.

В одном из подразделений абвера он стал испытателем парашютов. Хорошо зарабатывал. Совершал тренировочные прыжки в самых сложных условиях, в каких могут оказаться при заброске агенты. От нее скрывал не службу в абвере, а то, какой опасности подвергает себя ежедневно.

При неудачном прыжке получил тяжелое увечье. Понял, что, если погибнет, она убьет себя. Потом посчастливилось. Им обоим дали в абвере другую, хорошую работу. Вайс знал, что это за «хорошая» работа. Бывали во многих странах. Всегда мечтали о ребенке. Боялись только одного: чтобы не родился тоже глухонемой.

Вайс спросил:

«А если бы вы не согласились вернуться домой до рождения ребенка?»

Глухонемой быстро написал на грифельной доске: «Невыполнение» — и провел по горлу ребром ладони, закатывая глаза.

Когда Вайс написал, что он из Прибалтики, женщина значительно переглянулась с мужем и быстро набросала на доске:

«Догадывались, вы не из рейха».

«Почему?»

«Некоторые слова вы произносите иначе».

«И много таких слов?»

«Нет, совсем немного. И, возможно, вы произносите их правильно, но артикуляция губ иная, не всегда нам понятная».

Однажды в воскресный день глухонемая пожаловалась Вайсу на то, что муж ее не хочет молиться.

Глухонемой пожал плечами, коснулся ушей, губ и погрозил небу кулаком.

Женщина в свою очередь простерла к небу руку с открытой ладонью, потом показала на мужа, коснулась своей груди и, нежно улыбаясь, склонила голову.

Вайс понял ее.

Проходя мимо греющихся на солнечном припеке уже известных Вайсу диверсантов, глухонемые брезгливо отвернулись.

Когда зашли за здание флигеля, Вайс изобразил, подняв руки и приседая, приземляющегося парашютиста. Глухонемой кивнул, сделал движение, словно вынимает пистолет, и направил руку с вытянутым пальцем, будто стволом пистолета, на жену, на себя.

Вайс показал на свой погон.

Глухонемой, протестуя, закачал головой и снова показал на жену, на себя.

Вайс понял. Глухонемой объясняет, что диверсанты призваны убивать не военных, а штатских людей.

Между булыжниками на плацу росла жалкая сорная

трава, но глухонемая умудрялась находить среди этой чахлой травы растения с крохотными жесткими цветочками величиной чуть больше булавочной головки, составляла из них миниатюрный букетик, вдыхала неслышимый запах, блаженно закрывая глаза. Лицо у мужа при этом становилось печально-виноватым.

Вайс написал на грифельной доске: «Но вы сможете потом купить себе ферму?» Глухонемой изобразил на лице насмешливую улыбку. Написал: «Дрессировщик собак зарабатывает больше нас». Снова вытянул палец, изображая ствол пистолета, сощурился, прицеливаясь, дописал: «Вот за это хорошо платят».

Женщина, прочитав, подняла глаза к небу, потом перевела взгляд на мужа и покачала головой. И, строго смотря в глаза Вайсу, погрозила ему пальцем.

Выходит, супруги решили, что он, как абверовец, человек одной с ними профессии, но они не одобряли тех, кто убивает.

Через неделю Вайс увидел, как глухонемой в сопровождении офицера сажился в машину. Лицо его было темным, угрюмым, глаза болезненно блестели.

А спустя еще несколько дней увезли также глухонемую. Вайс с трудом узнал ее, когда она шла к машине с маленьким чемоданчиком в руке. Она едва волочила ноги, голова ее никла, плечи были опущены, на лоб свисала прядь, нижняя губа закушена, а лицо как у мертвой, серо-землистое, глаза остановившиеся. И когда в поле ее зрения попал Вайс, она, как показалось Иоганну, не поняла, кто это, — взгляд ее был тускл, невидящ.

Значит, супругов разлучили.

Теперь им, верно, предстоит работать каждому в отдельности. В качестве живых запоминающих аппаратов для визуального подслушивания.

Воздух был сырой, тусклый, влажный, из гаража остро пахло бензином, добываемым путем переработки каменного угля. Хороший румынский бензин шел только на нужды авиации.

Вайс неумоимо искал возможности вырваться из заточения. Раз в неделю он посылал фfrau Дитмар почтительно-нежные письма. Ответа не было. Очевидно, номер полевой почты, который ему здесь дали, принадлежит какой-нибудь

части, находящейся далеко отсюда. Наконец ему удалось узнать, что курьер ездит за почтой только раз в месяц. И вот наступил день, когда Иоганн получил сразу целую кучу писем от фрау Дитмар. В последнем она мельком упомянула, что к ней заходил обер-ефрейтор Бруно, справлялся о Вайсе.

Неужели Бруно?! У Иоганна от волнения даже перехватило дыхание, но, отвечая фрау Дитмар, он только, как бы между прочим, попросил сообщить обер-ефрейтору, если, конечно, тот зайдет еще раз, номер своей полевой почты.

Уединиться здесь было почти невозможно, пришлось воспользоваться единственным подходящим для этого местом. И там, накинув крючок на дощатую дверь с отверстием в виде сердечка, Иоганн поболтал в заранее припасенной банке кончик все того же носового платка, пропитанного химическим веществом, и написал раствором симпатических чернил между строк записки свои предполагаемые координаты, начертил схему дорог, ведущих к расположению, и указал возможное место для тайника.

На следующий день он сдал письмо в незаклеенном конверте в окошечко охранный комендатуры.

Обязанности дворника исполнял здесь пожилой угрюмый солдат, назначенный на эту должность благодаря хлопотам дочери, неотлучно находившейся в штабном флигеле.

Солдат был глуховат и потому угрюм. Хотя ему и льстило, что его дочь — старшая в женском вспомогательном подразделении, но то, что она слишком дисциплинированно выполняет любое желание офицеров, — это ему не нравилось. И когда однажды он обозвал ее шлюхой, дочь отправила его на пять суток на гауптвахту, хотя могла бы отдать под военно-полевой суд: ведь панаша был всего лишь рядовым, а она ефрейтором.

Как-то раз эта сложенная, подобно атлету, девица-ефрейтор, после того как Вайс вторично отремонтировал на кухне электромясорубку, поручила ему сменить спирали на специальной жаровне. На жаровне сжигались бумаги из тех, что подлежали после ознакомления уничтожению.

Вайс чинил жаровню вечером в канцелярии под надзором ефрейторши.

Она спросила:

— Хочешь выпить?

— Нет.

— Женат?

— Помолвлен. — Эту версию Иоганн выдвинул из чисто оборонительных соображений. Ефрейторша сидела на стуле, положив ногу на ногу так, что видно было, где кончались у нее чулки.

Закинув обе руки себе на шею, выставив полную грудь, она спросила насмешливо:

— И ты ей так же верен, как и рейху?

— Так же.

Ефрейторша иронически пожала плечами.

— Если она не во вспомогательных частях, то все равно, как и все женщины, призвана и отбывает сейчас где-нибудь трудовую повинность. А когда женщина работает двенадцать часов, а потом идет не домой, а в казарму, в общежитие, где другие пускают к себе ночью под одеяло своих начальников-тыловигов, рано или поздно она все равно пустит кого-нибудь под свое одеяло.

— Она не такая.

— Я тоже была не такая.

— Вы из деревни?

— Да.

— У вас своя ферма?

— Нет. Мы работали с отцом у господина рейхсфюрера Гиммлера, у него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он большой знаток и любитель чистопородных индеек. К рождеству мы их забивали и целыми грузовиками отправляли не только в Мюнхен, но и в другие города.

— У него большие доходы от этой птицефермы?

— Ха! Он теперь один из богатейших людей в империи, ферма — это так, для удовольствия.

— Вы его знали, видели?

— Да, и довольно часто.

— И какой он?

— Знаете, такой заботливый. Заболел индюк из Голландии, так он приказал прислать ему оттуда специального ветеринара-орнитолога. И тот вылечил.

— Вам хорошо платили на ферме?

Ефрейтор сказала задумчиво:

— Отец под рождество унес с фермы несколько горстей орехов, которыми откармливают индюшек. Он хотел их завернуть в серебряную бумагу и повесить на елку.

— И что же?

— Мы встречали рождество без отца. Его избил управляющий и запер в сарае на все дни рождества. — Про-

изнесла с надеждой: — Надеюсь, в генерал-губернаторстве мне дадут землю, и тогда мы с отцом заведем свою птицеферму.

— Вы на это рассчитываете?

— А как же! Я член национал-социалистской партии, вступила еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. Каждый из нас получит свой кусок. — Зевнула, осведомилась лениво: — Так как, угостить шнапсом? — Вайс ничего не ответил. — Если вы стесняетесь, можно пойти ко мне. — Заметила одобрительно: — Вы хороший мастер. — И тут же добавила: — Но сейчас это не имеет значения. Германия располагает таким количеством рабочих рук со всех своих новых территорий, что надо уметь только ими командовать — и все.

— Да,— сказал Иоганн,— мы, немцы,— нация господ. Ваш отец почему-то забыл об этом, когда брал орехи, предназначенные на корм для индюшек.

Ефрейторша возразила простодушно:

— Но скоро он сможет сам так же наказать батрака, когда у нас будет своя птицеферма.

— А если начнется война с Россией?

Ефрейторша задумалась, потом сказала:

— Все-таки я хотела бы получить свой кусок земли не там, а здесь, в генерал-губернаторстве.

— Почему?

— В России суровые зимы, и надо сильно утеплять птичники, это лишние расходы. — Вытянув ноги в блестящих чулках и глядя на них, озабоченно спросила: — Вы не находите, что они у меня красивые и полные, как у настоящей дамы? Так мне многие говорят. — Сказала задумчиво: — А когда я работала на ферме, были, как палки, сухие, ровные снизу доверху.

— Да,— сказал Иоганн,— здесь неплохо кормят.

Расстался он с ефрейторшей почти дружески. На прощание она сказала ему сочувственно:

— Я знала тут еще таких парней, как вы. Они не могут. Говорят, это от сильных нервных переживаний после особых заданий.

— Нет,— усмехнулся Иоганн,— что касается меня, то я не нервный, не замечал за собой ничего такого.

— Это потому,— сказала ефрейторша,— что вам не приходилось быть агентом.

— Да,— согласился Иоганн,— не приходилось. Не всем же быть исключительными храбрецами. Только вот

жаль, что они кое-что теряют после этого и не могут потом обзавестись потомством.

Тема разговора, видимо, сильно занимала ефрейторшу. Она заметно оживилась.

— Мне один эсэсовский офицер по секрету рассказывал, что Герда Борман, супруга рейхслейтера Мартина Бормана, собирается обратиться ко всем женщинам Германии с призывом разрешить своим мужьям многоженство и даже сама написала проект закона. И вручила мужу личную доверенность, разрешающую ему иметь трех жен с обязательством посещать каждую семью раз в неделю.

— Ну, это так, выдумка, — усомнился Вайс.

— Честное слово, это правда, — поклялась ефрейторша и добавила серьезно: — И это было б очень патриотично со стороны немецких женщин. Мы должны помочь фюреру заселить новые территории немцами. И нас должно быть на земле больше, чем всех других народов. Это же ясно.

— Ну ладно, пусть так, — согласился Вайс, укладывая инструмент в брезентовую сумку, и щелкнул выключателем. Спираль в жаровне, накаляясь, источала сухой жар, пахнувший горячим металлом.

Иногда по вечерам Иоганн помогал аккумуляторщику Паулю Рейсу перебирать, мыть, очищать свинцовые пластины от осадков окиси, и тогда они беседовали.

Пауль родом из Баварии, отец его — владелец небольшой бондарной мастерской, где изготовлялись не только бочки, но и резные деревянные раскрашенные кубки для пива.

Пауль толст, весел, добродушен. Он показал Вайсу значки, которые получил, выигрывая не однажды первенство на пивных турнирах. Объяснил:

— Хотя это вредно отражалось потом на здоровье, зато лучшей рекламы для бондарной мастерской не придумаешь.

В 1938 году в дни 9—10 ноября по всей Третьей империи прокатилась кроваво-черная волна еврейских погромов. Пауль в те дни приютил в мастерской семью врача Зальцмана, который некогда спас ему жизнь, сделав смелую и, главное, бесплатную операцию, когда Пауль умирал от заворота кишок. Кто-то донес на Пауля.

Он был членом национал-социалистской партии. Его предали суду чести. Исключили, сослали в трудовые лагеря.

Пауль говорил, обиженно оттопыривая пухлые губы:

— На суде чести я утверждал, что мной руководили

только деловые побуждения. Я считал: мой долг Зальцману не меньше пятисот марок. Это большая сумма. Отказать Зальцману в убежище означало бы, что я решил таким образом отделаться от кредитора. Это могло подорвать доверие к отцовской фирме.

— В самом деле?

— Безусловно. Многие отделялись от своих кредиторов тем, что доносили о них что-нибудь в гестапо.

— Доносили только на евреев?

— Если бы! На всех, кому не хотелось возвращать долги. — Сказал с гордостью: — В нашем роду Рейсов все были бондари, а трое из наших предков — цеховые знаменосцы. И никто из Рейсов никогда не совершал коммерчески бесчестных поступков.

— Значит, если бы вы не были должны врачу деньги, то и не подумали бы его прятать?

Пауль сказал уклончиво:

— Нас двое братьев — я и Густав. Густав старший. Он учитель. Когда отец понял, в какую сторону дует ветер, он приказал одному из нас стать наци. Я младший, холостой. Пришлось подчиниться.

— Это что ж, вроде как в старые времена отдавали в рекруты?

— Не совсем так, — возразил Пауль. — Среди нашей молодежи я пользовался спортивной славой.

— Ты спортсмен?

Пауль напомнил:

— Я же тебе показывал значки. Наше спортивное объединение содержалось на средства богатейших пивоваров. Они с самого начала оказали поддержку фюреру, когда он еще не был фюрером. А ты что думал, только Круппы открывали ему кредит?

— Ну а при чем здесь ты?

— Как при чем? Я же известный спортсмен. Имею кое-какое влияние. И если я наци, значит, выигрывают наци.

— На пивных турнирах?

— Они у нас приобрели после этого характер политических митингов.

— Ах, так?

— А ты что думал? Фюреру нужны преданные люди. Но не в рабочих же пивных их надо было искать, я так полагаю.

— Ты хочешь сказать, что рабочие не поддерживают фюрера?

— Я так не говорил, — забеспокоился Пауль. — Ты сам понимаешь, Германия — это фюрер. — Помедлив, сказал, хитро сощурился: — У нас в мастерской до прихода фюрера к власти работали по девять часов, а потом стали работать по двенадцать за те же деньги. — Закончил назидательно: — Народ обязан нести жертвы во имя исторических целей рейха.

— А твой отец?

Пауль сказал грустно:

— Тоже. Имперское правительство оказывает поддержку только крупным промышленным объединениям. За эти годы многие мелкие владельцы разорились. Маленькие пошли вниз, крупные — вверх. — Произнес с завистливой гордостью: — Вот господин Геринг начал с монопольной фабрикации «почетных кортиков» для СА и СС, а теперь у него концерн: больше сотни заводов, десятки горнопромышленных и металлургических предприятий, а торговых компаний, транспортных и строительных фирм тоже хватает.

— Ты это о маршале Германе Геринге?

— Он больше, чем маршал. Он магнат. И Мартин Борман — тоже, а с чего начал свою политическую карьеру? Вступил в тысяча девятьсот двадцатом году в «Союз против подъема еврейства», и тут заметили его способности.

— А ты, значит, промахнулся?

Пауль пожал рыхлыми плечами, согласился:

— Да, не получилось из меня бритого зверя.

— Это что значит?

— Ну, так мы называли себя в партии.

— А твой брат, он что ж, ради фирмы так и не вступил в наци?

— Он погиб во время нашего прорыва в Арденнах.

— Значит, тебе все-таки повезло, — заключил Вайс.

— Да, — согласился Пауль, — повезло, но это везение мне не даром далось. Я дал обязательство жениться.

— На ком?

— На нашей ефрейторше из вспомогательного женского подразделения. Это она взяла меня сюда из маршевой роты. Я ей многим обязан.

— О, я с ней познакомился.

— А я не из ревнивцев, — поспешил заверить Пауль. — Она женщина с головой и характером — это главное для семейной жизни.

Беседы с Паулем убедили Иоганна в том, что общительность, умение при всех обстоятельствах сохранять хорошее расположение духа, приветливые манеры — все это способно подчас быстрее расположить человека к беспечной откровенности, чем хитроумная изворотливость. Последняя может вызвать у собеседника желание состязаться в уме и скрыть истинные свои мысли, чтобы вывести тайные помыслы собеседника.

Умение заводить знакомства с самыми различными людьми обогащало Иоганна познаниями той сферы, в которой ему приходилось действовать. Изучение топографии душ давало ему возможность увереннее передвигаться от человека к человеку. Он не притворялся, не прибегал к этаким своеобразной мимикрии, чтобы слиться с особенностями личности собеседника: оставаясь до известной степени самим собой, он искренне интересовался жизнью каждого нового знакомого, и эта искренность подкупала больше и была прочнее, проникновеннее, результативнее, чем лживое притворство и уверения в единомыслии. Прибегать к этому последнему способу стоило только в двух случаях: как к средству вынужденной самообороны или нанося удар собеседнику с целью обвинения в недостаточной преданности рейху.

Иоганн убедился в том, что для получения более обширных сведений полезнее ставить себя в положение человека, которого надо еще в чем-то убеждать. Наивное сопротивление разжигает собеседника больше, чем поощрительное поддакивание ему. Кроме того, нельзя утрачивать чисто человеческого интереса к собеседнику. Каждый, кто бы он ни был, инстинктивно стремится нравиться другим. И если другой имеет в его глазах какие-то достоинства, тем больше он старается расположить его к себе.

Значит, при всех обстоятельствах надо уметь показывать товар лицом. Будь то профессиональные знания или осведомленность, касающаяся различных областей познания, нравственная сила убеждения или приверженность к твердым устоям, доброжелательность, если она нелицемерна, умение гибко пользоваться ограниченным правом оставаться самим собой, сохранять порядочность в условиях, когда для этого почти нет никаких условий. Все это как бы составляло духовное вооружение в лагере противника. И чем лучше Иоганн владел таким оружием, тем надежнее защищенным он себя чувствовал.

Избегать общения с низкими, подлыми людьми — это для него здесь было недозволенной роскошью, и чем явственнее проступали в людях эти черты, тем энергичнее он был обязан стараться сблизиться с носителями их, чтобы изучить не только множество вариантов различного рода подлости, но и проследить источники, ее питающие.

В поле зрения попадались не только политические концентраты нацизма, но и растворы его в крови тех, кто даже не называл себя наци. С такими полуотравленными людьми надо было вести себя особо вдумчиво и осторожно, ибо они могли оказаться одновременно полезными и опасными.

Вайс понимал, что каждый человек смотрится как бы в зеркало собственных представлений о самом себе.

Но для его деятельности было насущно необходимо постоянно ощущать, как воспринимается его личность другими, и соответственно этому представлению вырабатывать в себе те черты, которые совпадали бы с образом, который уже существовал в сознании других. Вместе с тем, чтобы подыматься вверх по ступеням, занимать все более выгодное положение, продвигаться вперед, ему нужно дать почувствовать окружающим и свое превосходство, но в такой мере, чтобы оно не пробуждало ревнивой зависти, а выглядело так, будто бы он не умеет проявить свои способности без снисходительной поддержки. Всегда найдутся желающие поддержать человека с головой, осчастливить его такой поддержкой. А если не найдутся сами, то можно их найти.

Иоганн чувствовал, что и Пауль и ефрейторша из вспомогательного женского подразделения, хотя он и не прикидывался их единомышленником, а сохранил в общении с ними самостоятельные позиции, прониклись к нему уважением. А между тем оба они по своему складу не привыкли испытывать уважение к тем, кто не стоял над ними.

И в этом как бы тренировочном своем успехе Вайс видел кое-что обнадеживающее. Период его затянувшегося, длительного фундаментального вживания протекает благополучно, и это ощущение благополучия еще больше разжигало его тоску по активным действиям, тогда как он все еще продолжал совершать подвиг бездействия.

Однажды пожилой солдат, отец невесты Пауля Рейса, не обратил внимания на разворачивающийся во дворе грузовик и попал под колеса. Солдата положили в санитарную часть, находившуюся здесь же, в хозяйственном городке.

Ефрейторша попросила Вайса временно, в порядке

личной любезности, поработать за отца, чтобы сохранить его должность, пока он находится в госпитале. Она сказала:

— Пауль ленив и нечистоплотен. Ему нельзя доверять.

Сначала Вайс только подметал двор, посыпал песком дорожки, белил известью тумбочки на обочинах. В комбинезоне, надетом поверх мундира, и коротком клеенчатом фартуке, взятых из шкафчика со спецодеждой, оставшейся от старика, с метлой и совком в руках, Вайс постепенно стал убирать с унылой, обиженной миной не только двор, но и внутренние помещения комендатур, охраняющих проходы между отдельными секторами расположения.

И скоро охрана привыкла к Вайсу. А когда фрейлейн ефрейтор, с бедрами наподобие галифе и мелкозавитыми волосами, вручила Вайсу пропуск для того, чтобы он мог привозить песок из карьера, находящегося далеко за расположением, Вайс получил возможность перемещаться не только между секторами.

Это дало Вайсу много полезного. Он получил свободу маневра, возможность бывать в различных помещениях.

Заходя во флигель, где жили люди в разномастных мундирах, он нашел подтверждение своей догадке, что этих людей готовят для заброски в Советский Союз. Он установил это по обрывкам черновиков, записей лекций, касающихся топографии. По тем памятным выпискам, которыми, прежде чем заучить наизусть, они пользовались, ему даже удалось определить районы их предполагаемых действий.

Иоганн чувствовал себя человеком, в руки которого неожиданно попал клад.

Отправившись за песком на грузовой машине, Вайс выбрал подходящее место для тайника и на обратном пути у телефонного столба с номерным знаком 74/0012 закопал в консервной банке завернутую в кусок противоипритной непромокаемой накидки, полагающейся к каждому противогазу, первую свою за время пребывания здесь шифровку и несколько портретов диверсантов.

Столб с этим номером был указан потом тайнописью в записке, предназначавшейся Бруно и вложенной в письмо к фрау Дитмар.

Так он наладил связь. Это было счастье. Теперь конец одиночеству, томительному, безысходному безделью. Ведь что бы ни делал Вайс, без надежной связи со своими все его усилия оставались втуне. Но предаваться ощущению счастья Иоганн не мог, не говоря уже о том, что это расслабляющее волю ощущение было теперь ему противопоказано.

И все-таки он допустил оплошность.

Нарисованные им портреты остальных террористов-диверсантов Вайс хранил внутри отдушины кирпичного фундамента гаража, предварительно обернув куском все той же противопожарной накладки. Вечером он просмотрел их в последний раз, собираясь на следующий день положить в тайник у телеграфного столба, и обнаружил, что изображение человека, которого диверсанты называли Хрящом, сильно потерлось на сгибах. Иоганн решил восстановить испорченный кое-где рисунок. Зажег свет в плафоне на потолке машины, сел в нее и принялся за дело. Дверцу машины он оставил открытой, чтобы услышать, если кто-нибудь войдет в гараж. И... попался.

Человек с начальственными манерами вошел в гараж в сопровождении своего шофера и охранника и сразу же увидел солдата в освещенной машине. Он и вырвал у солдата бумагу, на которой тот что-то писал.

Вайс выскочил из машины, вытянулся, замирая.

Человек в штатском удивленно разглядывал рисунок.

— Кто?

Иоганн доложил:

— Иоганн Вайс, шофер господина майора Акселя Штейнглица.

— Это кто?

Иоганн посмотрел на рисунок.

— Не могу знать.

Человек угрюмо, подозрительно уставился в глаза Вайсу.

— Кто? — повторил он.

И вдруг Иоганн ухмыльнулся и, принимая свободную, несолдатскую позу, сказал презрительно:

— Это, осмелюсь вам доложить, жалкая мазня. — Попросил с надеждой в голосе: — Я был бы очень счастлив показать вам мои рисунки.

Человек в штатском еще раз внимательно посмотрел на рисунок, колебался, но все-таки вернул его Вайсу, молча сел в свою машину и уехал.

Вайсу была знакома и машина, и ее шофер. Она обслуживала только одного человека — этого в штатском. Каждый раз после выезда на ней меняли номер, за короткое время дважды перекрашивали. Он понимал, что у этого человека профессиональная память и будет не так просто выкрутиться под его внимательным, как бы обыскивающим душу взглядом.

И когда Вайс остался один, он знал, что и машина, и ее хозяин вернутся.

Можно бежать от опасности, а можно отважно броситься ей навстречу. Вайс предпочел последнее.

Достал плотной оберточной бумаги, поставил перед собой книжку солдатского календаря с портретами фюрера, фюреров, фельдмаршалов, генералов, прусских полководцев и яростно принялся за работу, теперь уже не таясь, не скрываясь ни от кого.

Жестокое опасение за судьбу своего дела и собственную судьбу, жажда искупить непростительную оплошность — вот какие музы вдохновляли Иоганна на творческий подвиг.

Он был достаточно осведомлен о направлении, свойственном искусству гитлеровской Германии.

Прежде всего парадная помпезность. Портретист мог соперничать в мастерстве лишь с гримером из морга, почтительно расписывающим лица покойников под живые, придавая им выражение величия — непременной принадлежности каждого чиновного трупа.

Блеск рыночных олеографий меркнул перед кричащими громоздкими полотнами, заключенными в массивные бронзовые рамы. И все силы художников уходили на фотографически точное воспроизведение мундиров: талант портного был для этого необходим так же, как талант живописца.

Но было и другое направление в портретной живописи. Сторонники первого — чиновничьего, льстивого, бюрократически педантичного — запечатлевали на портретах все внешние атрибуты величия, считая высшим достижением умение воспроизводить оболочку. Приверженцы второго стремились выразить идею личности. Им казалось, что чем иступленнее, истеричнее мазня, чем больше в ней каких-то таинственных, им одним понятных мистических намеков, тем лучше она передает эмоции на лицах тех, кого они пытались изобразить, ибо они создавали не портреты, а идеи портретов, мифы. И если представители первого направления нуждались в ремесленном, но все-таки умении, то тем, кто следовал второму, всякое умение было противопоказано и чем наглее попирались приемы, даже у маляров почитавшиеся за основу основ, тем большей значительности достигал символический эффект полотна.

Отсутствие времени, крайняя взволнованность и столь же крайнее отвращение к объекту — натуре — изображения толкнули Вайса на этот второй путь.

В манере условной, наглой он перерисовал с солдатского календаря портреты имперских высших деятелей и, чтобы не тратить времени на мундиры и регалии, задрапировал торсы в римские тоги, памятуя о стремлении рейхсканцлера и его приближенных подражать повадкам древних императоров.

Закончив первый комплект рисунков, Вайс отнес их в общежитие и сунул под матрац на своей койке. Второй комплект он выполнил уже в иной манере, несколько напоминающей ту, в какой были запечатлены все внешние черты субъекта по кличке «Хрящ» — черты, которые сами по себе уже являлись уликами.

Набросал головы дрессировщика собак, повара, майора Штейнглица, девицы-сфрейтора и все это также положил под матрац, предварительно припорошив каждый лист пылью.

До самого вечера Вайс не появлялся в общежитии. А когда перед сном извлек из-под матраца свои рисунки, с радостью убедился, что его предусмотрительность на этом этапе вполне оправданна. На листах не было и следов пыли. Значит, кто-то интересовался ими. Значит, его предположение о том, что господин в штатском не оставит без внимания встречу с «художником», подтвердилось. А поскольку тем, кто занимается разведывательной деятельностью, художественное дарование весьма полезно и даже необходимо для зарисовки оборонительных объектов и топографических съемок, то у господина в штатском, который, несомненно, был профессионалом, ночная работа Вайса вызвала естественное подозрение, следствием чего был обыск.

Но портреты высших имперских лиц, выполненные в свободной манере, далекой от тех требований, которые предъявляются к мастерам разведки, могли защитить Вайса от подозрений в том, что он способен точно выполнять разведывательные задания топографической съемки.

Зарисовки же, сделанные в иной манере, плохо передавали портретное сходство и потому свидетельствовали, что занятия, которым солдат отдавал часы досуга, вполне безопасны для вермахта.

Все это Вайс успел прикинуть и оценить. Но как бы ни были логичны его рассуждения, он не мог заснуть ночью. И хотя успел спрятать на следующий день нарисованные им портреты террористов-диверсантов в тайнике у дороги, тревога не покидала его.

На второй день Вайса вызвали в штабной флигель, и там

среди людей в штатском он впервые за много дней увидел своего хозяина — майора Штейнглица. Вайсу приказали сходить за рисунками.

Он принес листы и аккуратно разложил на столе. Лица, которые были изображены на этих листах, требовали почтительности. И поэтому присутствующие почтительно рассматривали рисунки Иоганна, не делали никаких замечаний. Зато портреты дрессировщика, повара, девицы-ефрейтора были осмеяны.

Иоганн сам считал портреты халтурными, но все-таки кое-что в них было. И, на мгновение забывшись, он искренне огорчился пренебрежительным отношением к своему мастерству. Его искренность послужила прекрасным свидетельством бескорыстности увлечения солдата рисованием и укрепила пошатнувшееся было доверие к нему. Когда же майор Штейнглиц вспомнил, как ловко Вайс сумел найти картину Лиотара на складе «Пакет-аукциона», подозрения были окончательно рассеяны. И все присутствующие единодушно решили, что Вайс должен написать портрет генерала фон Браухича.

Стали советовать. И Вайс узнал, что генерал фон Браухич назначен командующим крупной группировкой и, возможно, в самые ближайшие дни посетит данное расположение, в услугах которого сейчас нуждается. Правда, непосредственно это расположение подчинено Берлину, но с Браухичем тоже приходится считаться, так как вскоре предстоит передвижение на восток вместе с его группировкой.

Вайс спросил, на каком фоне лучше изобразить Браухича, и предложил силуэт Варшавы. Кто-то из штатских рассмеялся:

— Лучше бы московский Кремль.

Но его одернули: если фюрер узнает, что Браухичу поднесли такой портрет, то это может вызвать ревнивое недовольство.

Вайс все понял и предложил изобразить Браухича на фоне знамен и оружия. С ним согласились. Тогда он напомнил, что понадобятся различные материалы — холст, краски, кисти, и ему разрешили съездить за всем необходимым в Варшаву.

Все складывалось необыкновенно удачно: дело в том, что приближалась дата, когда Иоганн, по договоренности с Центром, должен был выходить к месту встречи в Варшаве.

Через два дня (именно на исходе третьего дня и должна была состояться эта встреча) Иоганн достал велосипед и покатил в Варшаву. Не так просто было уговорить начальника внешней охраны, что ехать нужно именно на велосипеде. Обер-ефрейтор хотел, чтобы Иоганна отвезли на мотоцикле. Но велосипед был единственной возможностью избавиться от сопровождающего, и Иоганн настоял на своем, ссылаясь на то, что нужно беречь горючее, предназначенное для военных целей. И даже, осмелев, обвинил обер-ефрейтора в том, что тот расточительно расходует средства обеспечения дальнейших походов вермахта.

Многие районы Варшавы были превращены карающим налетом авиации в развалины, в подобие каменоломни. Авиабомбы, как палицы, раскроили черепа домов. Этими авиадубинами гитлеровцы жаждали вышибить у поляков память об их славной, многовековой истории. Еще 22 августа 1939 года Гитлер за ужином в кругу своих приближенных обещал:

— Польша будет обезлюжена и населена немцами. А в дальнейшем, господа, с Россией случится то же самое... Мы разгромим Советский Союз. Тогда наступит немецкое мировое господство...

И Геринг, придя в восторг от этих слов, сбросил с себя мундир, вскочил полуголый на стол и, изображая дикаря, плясал на нем, и его оплывшее жиром, рыхлое, бабье тело тряслось.

Польский разведчик, которого гитлеровцы недавно задушили в той самой тюремной камере, куда бросили его правители буржуазной Польши, своевременно информировал этих последних, помимо всего прочего, и об ужине у Гитлера, и о том, что на нем говорилось.

Буржуазные правители Польши предали патриота, как предали весь польский народ.

И когда Иоганн бродил среди трагических развалин, среди торчащих, будто скалы, остроконечных останков стен, он вспоминал, как в свое время вернули ему в военкомате документы. Вернули их с огорченным видом и всем другим студентам, рабочим, служащим, пожелавшим вступить добровольцами в армию. Произошло это после отказа польского буржуазного правительства пропустить через свою территорию части Красной Армии, для того чтобы защитить Польшу от угрозы внезапного нападения гитлеровского вермахта.

Агенты Гитлера довели до сведения правящих кругов Англии о готовящемся нападении на Польшу, чтобы узнать, что в этом случае будет угрожать Германии. И вот что они узнали. Будет формально объявлена война Германии. И она была объявлена. И получила название «странной войны», сидячей войны.

Так Польша была брошена под ноги фашистам в надежде облегчить Гитлеру поход на Восток — на страну социализма.

С заговором империалистов против всего человечества, осуществляющимся тайными службами с помощью самых подлых способов, боролись люди, среди которых был и Александр Белов.

Он, Александр Белов, студент, один из самых обещающих учеников академика Линева, первый интеллигент в рабочей династии Беловых, отказался от научной деятельности, от всего, что ему сулила жизнь, и ушел на фронт, как в годы гражданской войны, повинаясь долгу коммуниста, ушел воевать его отец. Это был иной фронт — фронт тайной войны. Советского разведчика Александра Белова направили сюда, в стан фашистов, для того, чтобы предвосхищать, отводить удары, нацеленные в спину его народа, и самому наносить удары по врагам в их же логове.

Силы были неравны. Иоганн был один среди врагов.

И когда он увидел Бруно, пробирающегося по тропинке, расчищенной среди варшавских развалин, его знакомую хилую фигуру, подвижное лицо с постоянной гримасой иронии над своими телесными недугами, исцелиться от которых у него никогда не хватало времени, Иоганн почувствовал то же, что чувствует выпущенный из тюрьмы узник, когда у ворот его встречает родной человек. И как ни вышколил он себя за эти месяцы, как тщательно ни готовился к этой встрече, совладать с собой он не смог и порывисто бросился к Бруно.

— Эмоции! А без эмоций не можешь? — недовольно сказал Бруно.

Шагая вслед за Иоганном по узкой тропинке в развалинах, Бруно деловито бормотал своим глуховатым голосом:

— У нас там тоже начались эмоции, когда связь с тобой прекратилась. Ты несколько разбрасывался, но в общем ничего, действовал грамотно. Портреты террористов получены, пересняты, розданы опергруппам. Понравились. Талант!

Вайс остановился.

— Иди, — приказал Бруно. — Когда поменяемся местами, я буду слушать, а пока изволь меня слушать. — Проговорил тихо: — Война. Вот-вот. — Повторил строго: — Иди. Иди, не оглядывайся. Теперь о самом для тебя трудном. Война начнется — не рыпаться. Пережить спокойно, с выдержкой. Связь в первые дни будет прервана. — Вздохнул: — Да, брат, перемучайся как хочешь, но чтоб никаких эмоций, кроме преданности рейху. И ничего — понял? — ничего, только вживаться. Что бы ни было — вживаться. — Затем Бруно сообщил Вайсу все то, что ему следовало знать. С удивительной памятью, почти дословно передал содержание писем его родителей. Сказал, что был у них дома. Передал рекомендации руководства, добавил свои советы. Сказал: — На связь с тобой будет направлен другой товарищ. А теперь говори коротко, слушаю.

И Бруно, обойдя Вайса, зашагал чуть впереди.

Иоганн доложил обо всем, что не успел передать через тайник. И когда он, закончив служебное, хотел перейти к тому, что сегодня волновало его больше всего, — к словам Бруно о близкой войне, тропинка вывела их из развалин на площадь.

Здесь два немецких солдата разошлись — один пошел направо, другой налево. Они не знали, что им предстоит встретиться еще один, последний раз...

Вайс купил все, что было ему нужно, сел на велосипед и покатил обратно, в свое тюремное расположение. Писать портрет фон Браухича, вернее, срисовывать его с красочной обложки армейского журнала. Он бодро подкатил к железным воротам, предъявил часовым увольнительную на три часа сорок пять минут по служебному заданию. Портрет фон Браухича Вайс написал. Но фон Браухич не появился здесь. Гитлеровские войска, сосредоточенные на границе СССР, были полностью готовы к нападению. И ждали только команды фюрера.

С того дня и начались испытания Иоганна, которые потребовали от него всей силы духа, выносливости, изворотливости. Это было часто равносильно тому, чтобы самому содрать с себя заживо кожу, вывернуть ее наизнанку, снова натянуть и при этом улыбаться. Делать вид, будто ты не испытываешь мук и все твое существо не содрогается от непреодолимой потребности сейчас же, сию минуту, отомстить. И отомстить не за себя, — до себя ли, когда истекает кровью твой народ!

Но он был обречен на подвиг бездействия. Убивают

советских людей, а ты среди убийц, в их стане, должен послушно выполнять свой долг, ждать. Ждать, чтобы выполнить все точно в то время, которое будет предопределено волей и разумом тех, кто предотвращает тайные удары тайных сил фашизма и своей жизнью отвечает за жизнь каждого.

Иоганн Вайс был назначен под начало майора Штейнглица, в специальное подразделение, которому поручалось, следуя за наступающими частями вермахта, собирать на захваченной территории материалы для разведывательной и контрразведывательной службы абвера.

Подобного рода обязанности входили также в круг деятельности гестапо, и поэтому их нужно было выполнять особенно сноровисто, чтобы превзойти конкурента. Все, кого зачислили в подразделение майора Штейнглица, должны были пройти специальные подготовительные курсы.

На курсах Иоганн Вайс вместе с другими служащими абвера ознакомился с подлинными советскими документами: партийными и комсомольскими билетами, паспортами, орденскими книжками, командировочными предписаниями, служебными удостоверениями, пропусками, различного рода справками. Он также прослушал ряд лекций о структуре советских государственных учреждений, партийных организаций, системе учета, формах составления отчетов и документации.

Одну из лекций прочел по-русски — лекция переводилась на немецкий — неопределенного возраста субъект в синем шевиотовом костюме и нестром джемпере, обтягивающем толстое брюхо, — невозвращенец, бывший сотрудник Наркомвнешторга. Как узнал потом Вайс, немецкая фирма после заключения договора на поставки не только вручила ему ценные подарки, но и устроила на свой счет встречу с некоей дамой. Встреча произошла в загородном ресторане, где этого типа и сфотографировали раздетым и притом в непотребной позе. И поскольку сей тип был отцом семейства и дорожил своей репутацией морально устойчивого человека, он сначала во имя спасения семейной чести пожертвовал некоторой долей ведомых ему служебных тайн, а потом, уже во имя спасения своей шкуры, пожертвовал и родиной.

И коммунист Александр Белов стоял перед этим выродком навтыяжку, как полагается стоять перед учителем, и отвечал на его вопросы, как полагалось отвечать ученику. И когда тот с довольным видом заметил переводчику: «Толковый солдатик», — а переводчик сказал Вайсу: «Гут», — Вайс вежливо, благодарно улыбнулся, душевно маясь, что не может стиснуть пальцами жирную короткую шею этого своего учителя.

Несколько раз Иоганн возил майора Штейнглица в город, и, как ни странно, теперь, после общения с ненавистным ему до судорог изменником, с которым ему приходилось встречаться на занятиях, майор казался Вайсу даже симпатичным. Это был обыкновенный враг, шпион по профессии, кичащийся своим опытом тайных дел мастера, постигший все способы взламывания душ, настолько упоенный собой, что уже давно утратил способность различать тонкие оттенки человеческого поведения. И Вайсу ничего не стоило войти в еще большее доверие к Штейнглицу. Однажды он сказал:

— Господин майор, во время стоянки у резиденции рейхскомиссара ко мне в машину подсел зондерфюрер гестапо — полный блондин лет тридцати, без каких-либо особых примет. Дал сначала пачку сигарет, потом две. Пообещал в следующий раз добавить бутылку шнапса. Разрешите спросить, что ему о вас докладывать?

Все это Вайс произнес деловым, равнодушным тоном, будто ничего тут особенного нет: так полагается по службе — и только.

И хотя майор промолчал, ничего не ответил, словно не расслышал, не понял, не обратил никакого внимания, но по тому, как сощурились его глаза, как присохли к зубам губы, Иоганн установил безошибочно: слова его попали в цель.

Только в конце недели во время очередной поездки Штейнглиц осведомился небрежно:

— Ну как, встречал того парня? — и точно повторил приметы, названные Вайсом.

Иоганн в тон майору ответил небрежно:

— Видел, но уклонился от разговора, так как не получил от вас указания, что следует ему доложить.

— Ты обязан сообщать службе фюрера все, что ее интересует, — коротко заметил майор.

Вайс помедлил, соображая, что кроется за этим ходом, потом вдруг широко и добродушно ухмыльнулся:

— Господин майор, тетя учила меня: «Если твоему хозяину хорошо, то и тебе хорошо, а у того, кто меняет хозяев, пет хозяина в голове».

— У тебя умная тетя.

— Она умерла, — напомнил Вайс.

Майор сказал быстро:

— Встреться, пообещай узнать все, что его интересует. — Полез в карман, достал бумажник, протянул марки. — Это вам с ним на пиво.

— Благодарю, господин майор.

Но эксплуатировать этого вымышленного им гестаповца, чтобы помучить Штейнглица страхом и, главное, кое-что выведать о нем самом, Вайсу не довелось: на следующую ночь специальное подразделение внезапно подняли по тревоге. Вместе с другими Иоганн покинул расположение и выехал к восточной границе. Расквартировались на хуторе в районе, из которого давно уже было изгнано население. Проезжая запретную зону, Иоганн видел войсковые пехотные и моторизованные части второго эшелона: они стояли на исходных позициях. И было это 16 июня 1941 года.

Последние указания, отданные обер-ефрейтором, бывшим чиновником министерства просвещения доктором Зуппе, касались главным образом методов рассортировки документов врага. Их следовало складывать по определенной системе в защитного цвета брезентовые мешки и сундуки: партийные — в одни, государственные — в другие, экономические — в третьи и т. д. Ведра с крышками предназначались для значков, медалей, орденов, печатей, штампов. Каждый солдат получил сумку, наподобие тех, какие носят почтальоны.

Накануне отъезда подразделение пополнилось четырьмя солдатами, снабженными набором воровских инструментов и газовыми резаками для вскрытия несгораемых шкафов. «Новички» были достаточно опытны и не нуждались в особых наставлениях. Вайс убедился в этом, внезапно обнаружив вопиющий пробел в своей языковой подготовке. Оказалось, что его учителя, прекрасно знавшие все немецкие диалекты, понятия не имели о немецком воровском жаргоне, и Вайсу пришлось здесь, на месте, пополнить свое филологическое образование.

Тот же Зуппе рекомендовал, как вести себя с советскими гражданами, если понадобится получить от них сведе-

ния о месте хранения документов и их систематике. В заключение Зуппе процитировал фюрера:

— «Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека». — И добавил от себя: — Величие нашей свободы заключается в том, что мы освободились от таких сковывающих личность понятий, как жалость, великодушные, милосердие к противнику.

Пожилой солдат Курт Рейнхольд пренебрежительно сказал о Зуппе:

— Этот прохвост все пытается замазать свои либеральные речи в период Веймарской республики. Потом он доносил на профессоров и студентов. Это ему зачли, когда взяли в абвер.

— А ты откуда знаешь?

Рейнхольд покосился на Вайса:

— Служил швейцаром в Лейпцигском университете, ходил по его поручениям с пакетами в отделение гестапо. Значит, знаю.

В соседнем хуторе расположилось подразделение зондеркоманды СД. Вайс узнал, что солдаты этого подразделения недавно прошли практический курс обучения в концентрационных лагерях, созданных при каждом полку СС еще в феврале 1933 года.

Лагеря были трех категорий: трудовые, для «больных» и экспериментальные, где эсэсовцы обучались умению руководить и «методике подавления». Человеческий материал в лагеря поставляли чрезвычайные суды, предназначенные для того, чтобы «искоренить противников Третьей империи, главным образом коммунистов и социал-демократов».

Во всех населенных пунктах гестапо имело на каждые пять домов по осведомителю, в функции которого и входило выявление лиц, подлежащих заключению в концлагерь.

Методика соответствующей обработки поставляемого в лагерь человеческого материала была продумана самым тщательным образом. Подробнейшие инструкции предусматривали буквально всё: имелись чертежи лагерных сооружений; статистические данные о том, какие эпидемические заболевания наиболее эффективны по числу смертельных исходов; медицинские советы, какие меры предосторожности следует соблюдать персоналу, чтобы

избежать инфекции; лагерное меню, предназначенное поддерживать силы заключенных во время исполнения ими трудовых обязанностей, и специальный голодный рацион, рассчитанный на контингент, обременительный для рейха и экономики лагерного хозяйства.

Имелось указание, что в специальные лагерные блоки, где ставятся научно-исследовательские медицинские опыты, результаты которых могут оказаться полезными для сохранения здоровья граждан Третьей империи, вход посторонним лицам строжайше запрещен. И всякое оглашение методики этих опытов беспощадно карается.

Имелись схемы рвов с обозначением их отдаленности от мест заключения. Рекомендации о наиболее целесообразной укладке тел для погребения. Таблица емкостей рвов при определенной глубине и профилях. В примечании говорилось, что, поскольку Германия не признает Женевского соглашения, выработка соответствующего режима обращения с военнопленными целиком возлагается на лагерную администрацию.

В разделе «Меры наказания нарушителей лагерного распорядка» обозначено: «Самые эффективные».

Эти наставления никому из солдат не выдавались на руки.

Офицер, командующий подразделением, хранил наставление в планшете за целлулоидной прозрачной крышечкой и давал прочесть каждому солдату, не выпуская планшетки из рук.

Наблюдая в эти дни за своими сослуживцами, Байс отметил, что все они необычайно жизнерадостно настроены и довольны своей судьбой. Еще бы! Ведь они избежали службы в линейных армейских частях, и война для них безопасна: продвижение вслед за ударными частями требует одной только исполнительности и канцелярского рвения.

Некоторые даже говорили, что вообще любят путешествовать и война открыла перед ними возможность задаром повидать многие страны Европы, привезти оттуда сувениры. Что мужчине перестать воевать — все равно что женщине перестать рожать. И охотно вспоминали старую немецкую поговорку: «Король во главе Пруссии, Пруссия во главе Германии, Германия во главе всего мира».

В большинстве это были солидные, степенные люди: мелкие чиновники, лавочники, владельцы мастерских; сменив штатские костюмы на солдатские мундиры, они почувствовали себя в них вполне уютно.

Некоторые питали в свое время иллюзии, что Гитлер, как он это обещал в своих «революционных» речах начала тридцатых годов, создаст условия для процветания мелкой немецкой буржуазии за счет ущемления могущественных концернов.

Он обещал даже конфисковать крупные универмаги, чтобы разместить в них мелких торговцев. Этими обещаниями он сделал мелких торговцев и предпринимателей пылкими и страстными последователями фашизма. Но, став рейхсканцлером с помощью промышленных магнатов Германии, Гитлер так зажал мелкую буржуазию, что не только экономический кризис, но и новое законодательство вызвало тысячи крахов, и мелкие владельцы сочли это возмездием за свои легкомысленные буржуазно-революционные иллюзии. Одни из них, более прыткие, ринулись к наци, чтобы в политической шумихе поправить свои делишки, другие постарались устроиться в армию, в спецподразделения, где их социальная благонадежность служила порукой тому, что и здесь они не пропадут.

Это были бюргеры в солдатских мундирах, озабоченные лишь тем, как бы с меньшими неудобствами и лишениями пройти тот победоносный путь, который предназначил им фюрер. Они давно приучили свое сознание к тому, что фашистская партия — «носительница государственной мысли». И если раньше супруги их вышивали на салфеточках добродетельные сентенции на все случаи жизни, то теперь стены их квартир были украшены затейливо вышитыми изречениями Гитлера, Геббельса, Розенберга.

И если раньше они наставляли своих детей цитатами из Библии, то теперь высшим мерилом нравственности служили высказывания фюрера: «Мы вырастим молодежь резкую, требовательную и жестокую... Я хочу, чтобы она походила на молодых диких зверей».

И многие из этих неофитов, заполняя анкеты, с гордостью писали, что их сыновья выполняют свой долг перед рейхом в частях гестапо, СД, СС, абвера. Это давало отцам множество различных привилегий, в том числе и право на службу в специальном подразделении.

Майор Штейнглиц занял небольшую виллу вместе с капитаном Оскаром фон Дитрихом.

С этим человеком майора связывало давнее знакомство, почти дружба. Почти! Ибо не в его обычае было обременять свою личную жизнь закадычными друзьями, кем бы они ни были; он придерживался правил: каждый сам за себя,

и никто — за всех. Каждый платит за себя и уклоняется от уплаты за тарелки, разбитые другими, — этот девиз определял не только бытовые, но и моральные устои Штейнглица: для него в течение всей его жизни дружба с кем-либо была только приемом, путем к достижению цели.

Дитрих, типичный пруссак, происходил из почтенного юнкерского рода. Пропорции его черепа, носа, ушей могли бы привести в восторг любого исследователя благородных признаков арийской расы.

Он получил не только военное, но и более широкое образование и рисковал попасть под формулу фюрера, оглашенную во время выступления в рейхстаге 30 января 1930 года: «Интеллигенция — это отбросы нации...» Но и с этой стороны ничто не угрожало капитану Оскару фон Дитриху, руководящему сотруднику отдела абвера «3Ц» — контрразведка.

Аксель Штейнглиц служил во втором отделе «Ц» — диверсии, саботаж, террор. Много лет он был исполнителем, трудягой и собственноручно выполнял черную работу. Человек невежественный, Штейнглиц в период выполнения задания мог сойти в некотором роде за образованного, проштудировав те материалы, которые подбирали ему университетские профессора, сотрудничавшие в границах своей специальности в имперской разведке. Но так же, как, вернувшись с задания, он освобождался от костюма, в котором его выполнял, так же легко он расставался и с небольшой толикой познаний, понадобившихся ему лишь для успешного завершения операции.

Для Штейнглица спецслужба была работой, профессией — не более. Высшим для себя достижением он считал такое положение в отделе, при котором он мог бы располагать крупной неподотчетной суммой в иностранной валюте для вознаграждения агентуры, не забывая при этом, конечно, и себя.

Для Оскара фон Дитриха работа в «3Ц» отделе была не просто службой, профессией, даже не карьерой. Это был гармонический комплекс, в котором он нашел воплощение своих надежд, убеждений, идеалов сверхличности, свободной от духовно связывающих обычного человека навязанных законов нравственности и морали. И самое значительное, что он получил, — власть, власть над людьми. Что может быть выше сладострастной игры человеческой жизнью — самой азартной из всех игр!

Аксель Штейнглиц наглотался на своем жизненном

пути немало унижений от тех, кто был старше его по званию, по занимаемой должности, однако это не наложило мрачного отпечатка на его мышление.

Оскар фон Дитрих не знал подобных огорчений, но кое-что ему все же пришлось пережить. В пору юношеской зрелости он испытывал болезненную застенчивость по отношению к женщине, а когда попытался ее преодолеть, оказался бессильным. Девица, с которой он имел дело, разболтала о его недостатке, и Дитриха долго преследовала насмешливая жалость сверстников.

В военном училище он стал последователем древних патрицианских развращенных нравов и обрел покровителя в лице преподавателя фехтования, который заставил кадетов почтительно относиться к Оскару. Впрочем, особого труда это не составляло, потому что дурные наклонности бытовали в закрытых учебных заведениях Германии.

Каким-то образом об интимной дружбе с учителем фехтования узнал отец Оскара, заслуженный офицер рейхсвера, бывший адъютант кайзера. Между отцом и сыном произошел тяжелый разговор, в процессе которого сын посмел намекнуть, что сам кайзер обладал теми же склонностями, какие были у обожаемого им учителя фехтования. Кончилось все тем, что отец отказал сыну в ежемесячном пенсионе.

Чтобы не подвергаться лишениям, Оскар украл у матери кое-какие фамильные драгоценности. И, хотя его поступок не был предан семейством Дитрихов гласности, Оскар, любивший мать, долго переживал свое унижение, видя ее всегда теперь испуганное, грустное лицо.

Был еще один случай в жизни Оскара фон Дитриха, воспоминание о котором и теперь, спустя много лет, заставляло его краснеть. Как-то на открытый лагерный полигон, где занимались юнкера, забрела хорошенькая беленькая козочка. Обрадовавшись развлечению, юнкера открыли по ней беспорядочную пальбу. Израненная коза сначала металась с жалобными воплями, а потом поползла, волоча перебитые задние ноги. Юнкера столпились вокруг и с любопытством следили за ее агонией. И тут Оскар не выдержал — разрыдался.

Это было непристойно.

На офицерском совете училища Оскару пришлось выслушать справедливые упреки в том, что он опозорил училище, что его возмутительное поведение, недостойное будущего офицера, произвело самое тягостное впечатление

на юнкеров. Говорили даже, что его следует отчислить из училища.

Был вызван отец; и если во время обсуждения не очень приличной дружбы с учителем фехтования отец только иронически усмехнулся, а потом лишил Оскара пенсионера, сказав, что юнкер, который не платит девкам на Александерплац, может жить более экономно, то теперь полковник фон Дитрих иступленно орал на сына, судорожно хватал его за лацканы мундира венозными, дряблыми пальцами и даже пытался дать пощечину.

В конце концов Оскар покаялся, и все обошлось.

После окончания училища Оскар фон Дитрих умело использовал протекцию отца для прохождения службы в армии, поступил в абвер и третий отдел избрал вначале потому, что тут была неограниченная возможность унижать других в отместку за некогда пережитые им самым унижения.

Но с годами пришел опыт; фон Дитрих, занимая все более значительные должности, убедился, что эта служба дает ему многое. Она не только избавляет от комплекса неполноценности, о чем он с большим удовлетворением вычитал у Фрейда, но и вооружает философской теорией превосходства сильной личности над прочими. Эту теорию он может применять на практике, отнюдь не злоупотребляя служебным положением, даже напротив: ведь, следуя своим идеалам, он тем самым как бы укрепляет мощь рейха.

И постепенно из Оскара фон Дитриха выработался тот особый тип контрразведчика, который был так чтим руководителем абвера. Мыслитель, интеллектуал, адмирал Канарис полагал, что контрразведка — это не род специальной службы, а система мировоззрения, доступная избранным. Высшей властью над людьми может обладать только тот, кто осведомлен о всех их тайных слабостях, проступках, мерзостях, а если кто-либо не поддастся искушениям, то, значит, эти искушения были недостаточны или не те, какими можно соблазнить человека.

Настоящий контрразведчик, по убеждению Канариса, не должен уличать, — ему следует только копить улики против власть имущих, чтобы иметь возможность привести их в действие в тех случаях, когда кто-либо из этих людей проявит непокорность. И чем больше у него, контрразведчика, такого рода сведений, тем короче будет его путь к личной власти.

Светила генерального штаба вермахта, все ближайшее

окружение Гитлера были представлены в секретной картотеке Канариса энциклопедией крови, грязи, гнусности, каких еще не знала история. И Канарис лелеял мечту предъявить когда-нибудь каждому из этих людей соответствующую запись в своей картотеке, надеясь, что от него откупятся, предоставив ему место на вершине той пирамиды, которую они составляют.

Но вел он себя осторожно, зная, что фюрер, сам когда-то находясь в звании ефрейтора, был армейским шпионом и уже тогда сумел оценить все безграничные возможности этого рода деятельности. И теперь Гитлер, опасаясь, как бы тот, кто возглавит объединенные органы шпионажа, не захватил власть в Третьей империи, не решился сосредоточить эту могучую силу в одних руках и разделил ее между многими органами.

И Канарис совсем не обиделся, только стал действовать еще более осторожно, когда ему передали, что фюрер обозвал его «гиеной в сиропе», — это даже польстило его самолюбию разведчика.

Период тайной войны с европейскими державами давал Канарису больше возможностей сблизиться с Гитлером, чем война явная, да еще с Россией. Труд подручного доставал улик для вынесения смертельных приговоров казался ему малоизящным и столь же малоперспективным, если учесть приоритет в такого рода деятельности и гестапо, и СС, и СД, которым Гитлер оказывал особое доверие, и покровительство, и предпочтение.

Поскольку отец Оскара фон Дитриха был близок с Канарисом, капитан кое-что знал обо всем этом. Его самолюбие тоже часто страдало. Офицеры гестапо, СС, СД грубо и откровенно подчеркивали свое превосходство над сотрудниками абвера, вынужденными ограничивать поле деятельности лишь интересами вермахта, его штабов.

Худощавый до хрупкости, но не лишенный грации, чрезвычайно сдержанный в обращении, Оскар фон Дитрих даже со старшими по должности был так высокомерно, чопорно, тонко и леденяще вежлив, что это давало ему возможность в любых обстоятельствах сохранять достоинство и неумалижимо унижать других. В сущности, он был фантазер, воображал себя гением, поправшим все человеческое, высоко стоящим над теми, компрометирующим материалом о которых он располагал.

И, глядя прозрачными голубыми, почти женскими глазами на старшего и по званию и по должности армейско-

го офицера, беседуя с ним о чем-нибудь отвлеченном, Дитрих наслаждался своей незримой властью, так как обладал информацией, которая могла в любой момент обратить этого офицера в солдата или даже в мишень для упражнений дежурного подразделения гестапо.

Несмотря на то, что майор Штейнглиц был старше по званию, он относился к капитану Дитриху как подчиненный. Это было произвольное преклонение плебея перед аристократом, неимущего — перед имущим. И еще — тайная надежда на протекцию Дитриха.

Никакая нацистская пропаганда не смогла вышибить из трезвых мозгов Штейнглица убеждения, что истинные правители гитлеровской Германии, так же как и Германии всех времен, — промышленные магнаты и высший офицерский корпус: это было вечным, неизменным. А нацисты — что ж, они очистили Германию от коммунистов, социалистов, профсоюзов, либералов, от грозной опасности смыкающегося в единую силу рабочего класса — проделали работу мясников.

И хотя фюрер — вождь фашистов и глава рейха, но если рейх — Третья империя, то Гитлер — император, такой же, как кайзер. И, как у кайзера, его опора — магнаты, богачи, крупные помещики, военная элита.

Так думал своим мужицким умом Штейнглиц и дальновидно служил представителю военной элиты капитану Оскару фон Дитриху. И когда, например, Оскар разбил патефонную пластинку с любимой своей песенкой «Айне нахт ин Монте-Карло», Штейнглиц мгновенно вызвался добыть в отделе пропаганды другую.

17

Была теплая, ясная, июньская ночь. Глянцевитая поверхность прудов отражала и луну, и звезды, и синеву неба. Горько и томительно пахли тополя. А с засеянных полей заросших сурепкой, доносился нежный медовый запах. Иоганн не торопясь вел машину по серой, сухой, с глубоко впрессованными в асфальт следами танков дороге.

Проехали длинную аллею, исполосованную тенями деревьев. Потом снова пошли незапаханные пустыни полей. А дальше начались леса, и стало темно, как в туннеле.

Иоганн включил полный свет, и тут впереди послышалась разрозненная пальба, крики и глухой звук удара, сопровождаемый звоном стекла.

Фары осветили уткнувшийся разбитым радиатором в ствол каштана автомобиль.

Два офицера войск связи — один с пистолетом, другой с автоматом в руках — бледные, окровавленные, вскочили на подножку и потребовали, чтобы Вайс быстрее гнал машину.

Вайс кивком указал на Штейнглица.

Майор приказал небрежно:

— Сядьте. И ваши документы.

— Господин майор, каждая секунда...

— Поехали, — сказал Штейнглиц Вайсу, возвращая документы офицерам. Спросил: — Ну?

Офицеры связи, все так же волнуясь и перебивая друг друга, объяснили, что произошло.

Несколько часов назад какой-то солдат забрался в машину с полковой рацией, оглушил радиста и его помощника, выбросил их из кузова, а потом, угрожая шоферу пистолетом, угнал машину. Дежурные станции вскоре засекали, что где-то в этом районе заработала новая радиостанция, передающая открытым текстом на русском языке: «Всем радиостанциям Советского Союза двадцать второго июня войска фашистской Германии нападут на СССР...»

На поиски станции выехали пеленгационные установки, на одной из них были эти офицеры. Вскоре на шоссе они увидели похищенный грузовик и стали преследовать его, сообщив об обнаружении в эфир, но на повороте их машина по злой воле шофера или по его неопытности врезалась в дерево.

Иоганн вынужден был прибавить скорость. Офицер, который сел с ним рядом, взглядывал то на спидометр, то на дорогу и, видимо, не случайно уперся в бок Иоганну дулом автомата.

Азарт захватил и Штейнглица, и он тоже тыкал в спину Иоганна стволом «вальтера».

Через некоторое время впереди показался грузовик-фургон, в каких обычно размещались полковые радиостанции, и хотя это было пока бессмысленно, связисты и Штейнглиц выставили оружие за борт машины и стали отчаянно палить вслед грузовику.

На подъеме грузовик несколько замедлил скорость. Машина Вайса стала неумолимо настигать его.

И тогда Иоганн решил, что тоже устроит аварию и тоже на повороте, но постарается сделать это более искусно, чем погибший шофер: врежет машину не в дерево, а в камен-

ные тесаные столбики ограждения. Достаточно смять крыло, и уже нужно будет остановиться, чтобы или сорвать его, или исправить вмятину над передним колесом, а грузовик за эти секунды преодолет подъем.

Он уже нацеливался половчее выполнить задуманное, как вдруг их опередил бронетранспортер. Из скошенного стального щита над ветровым стеклом судорожно вырывалось синее пулеметное пламя.

Авария уже не поможет. Иоганн помчался на бешеной скорости, но транспортер не дал обогнать себя: пулеметные очереди веером прошивали дорогу, и Иоганн не решился подставить свою машину под пули. Пулеметная пальба сливалась с ревом мотора.

И вскоре заскрежетали об асфальт металлические диски колес с пробитыми шинами, раздался грохот, и грузовик упал под откос. Все было кончено.

Иоганн затормозил машину на том месте, где потерявший управление грузовик разбил ограждение из толстых каменных тумбочек и рухнул с шоссе в овраг, заросший кустарником.

Теперь он лежал на дне оврага вверх колесами. Дверцы заклинило, и извлечь шофера из кабины не удалось. Штейнглиц воспользовался рацией на транспортере, чтобы сообщить капитану Дитриху о происшествии, касающемся того как контрразведчика.

Иоганн предложил перевернуть грузовик с помощью транспортера. Водитель решительно возразил: сказал, что при такой крутизне спуска это невозможно и он не хочет стать самоубийцей.

Вайс обратился к Штейнглицу:

— Разрешите?

Майор медленно опустил веки.

Приняв этот жест за согласие, Вайс отстранил водителя, влез в транспортер и захлопнул за собой тяжелую стальную дверцу. То ли для того, чтобы избавить от страданий человека, сплющенного в кабине грузовика, то ли для того, чтобы оказаться одному в этой мощной, вооруженной двумя пулеметами машине с тесным, как гроб, кузовом, — он сам не знал, зачем...

Едва он начал спуск, как почувствовал, что эта многотонная махина уходит из повиновения. Вся ее стальная тяжесть как бы перелилась на один борт, словно машину заполняли тонны ртути, и теперь эта ртуть плеснулась в сторону, и ничем не удержать смертельного крена. И ког-

да, включив мотор, Иоганн рванул машину назад, эта жидкая стальная тяжесть тоже перелилась назад. Еще секунда — и машина начнет кувыркаться с торца на торец, как чурбак. А он должен заставить ее сползти медленно и покорно, чуть елозя заторможенными колесами в направлении, обратном спуску. Борясь с машиной, Иоганн проникался все большим и большим презрением к себе. Зачем он вызвался? Чтобы по-дурацки погибнуть, да? Или покалечиться? Он не имел на это права. Если с ним что-либо случится, это будет самая бездарная растрата сил, словно он сам устранил себя от дела, которому предназначен служить. И чем большее презрение к себе охватывало его, тем с большей яростью, иступлением, отчаянием боролся он за свою жизнь.

Иоганн настолько изнемог в этой борьбе, что, когда, казалось, последним усилием все же заставил транспортер покорно сползти на дно оврага, он едва сумел попасть в прыгающие губы сигаретой.

Тем временем к месту происшествия подъехал Дитрих и два полковника в сопровождении охраны. И санитарная машина.

Иоганн и теперь не уступил места водителю транспортера. И когда за грузовик зацепили тросы и мощный транспортер перевернул его, Иоганн подъехал поближе и, не вылезая на землю, стал наблюдать за происходящим.

Солдаты, толкая друг друга, пытались открыть смятую дверцу. Иоганн вышел из транспортера, вскочил на подножку грузовика с другой стороны, забрался на радиатор и с него переполз в кабину, так как лобовое стекло было разбито. Человек, лежащий здесь, не проявлял признаков жизни. Иоганна даже в дрожь бросило, когда он коснулся окровавленного, скрюченного тела. Солдаты, справившись наконец с дверью, помогли отогнуть рулевую колонку и освободить шофера. Изломанное, липкое от крови тело положили на траву. Лоскут содранной со лба кожи закрывал лицо шофера.

Штейнглиц подошел, склонился и аккуратно наложил этот лоскут на лоб искалеченному человеку. И тут Иоганн увидел его лицо. Это было лицо Бруно.

Водитель транспортера направил зажженные фары на распростертое тело.

Санитары принесли носилки, подошел врач с сумкой медикаментов.

Но распоряжались тут не полковники, а представитель

контрразведки капитан Дитрих. Дитрих приказал обследовать раненого здесь же, на месте.

Врач разрезал мундир на теле Бруно. Из груди торчал обломок ребра, пробивший кожу. Одна нога вывернута. Кисть руки разможена, расплющена, похожа на красную варежку.

Врач выпрямился и объявил, что этот человек умирает. И не следует приводить его в сознание, потому что, кроме мучений, это ему ничего не принесет.

— Он должен заговорить, — твердо сказал Дитрих. И, улыбнувшись врачу, добавил: — Я вам очень советую, герр доктор, не терять времени, если, конечно, вы не хотите потерять нечто более важное.

Врач стал поспешно отламывать шейки ампул, наполнял шприц и снова колол Бруно.

Дитрих тут же подбирал брошенные, опорожненные ампулы. Врач оглянулся. Дитрих объяснил:

— Герр доктор, вы позволите потом собрать небольшой консилиум, чтобы установить, насколько добросовестно вы выполнили мою просьбу?

Врач побледнел, но руки его не дрогнули, когда он снова вонзил иглу в грудь Бруно. Иоганну показалось, что колол он в самое сердце.

Бруно с хрипом вздохнул, открыл глаза.

— Отлично, — одобрительно заметил врачу Дитрих. Приказал Штейнглицу: — Лишних — вон... — Но врача попросил: — Останьтесь. — Присел на землю, пощупав предварительно ее ладонью, пожаловался: — Сыровато.

Штейнглиц снял с себя шинель, сложил и подсунул под зад Дитриху. Тот поблагодарил кивком и, склонясь к Бруно, сказал с улыбкой:

— Чье задание и кратко содержание передач. — Погладил Бруно по уцелевшей руке. — Потом доктор вам сделает укол, и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожалуйста...

Вайс шагнул к транспортеру, но один из полковников, подкинув на руке пистолет, приказал шепотом: «Марш!» — и даже проводил его к дорожной насыпи. Уже оттуда он крикнул охранникам:

— Подержите-ка парня в своей компании!

Самокатчики в кожаных комбинезонах спустились за Вайсом, привели на шоссе, усадили в мотоцикл и застегнули брезентовый фартук, чтобы он не мог в случае чего сразу выскочить из коляски.

В ночной тиши был хорошо слышен раздраженный голос Дитриха:

— Какую ногу вы крутите, доктор?! Я же вам сказал — поломанную! Теперь в другом направлении. Да отдерите вы к черту эту тряпку! Пусть видит... Пожалуйста, еще укол. Великолепно. Лучше коньяку. А ну, встаньте ему на лапку. Да не стесняйтесь, доктор! Это тонизирует лучше всяких уколов.

Иоганн весь напрягся, ему чудилось, что все происходит не там, на дне оврага, а здесь, наверху... И казалось, в самые уши, ломая черепную коробку, лезет невыносимо отвратительный голос Дитриха. И не было этому конца.

Вдруг все смолкло. Тьму озарил костер, запахло чем-то ужасным.

Иоганн рванулся, и тут же в грудь ему уперся автомат. Он ухватился было за ствол, но его ударили сзади по голове.

Иоганн очнулся, спросил:

— Да вы что? — И объяснил, почему хочет вылезти из коляски.

Один из охранников сказал:

— Если не можешь терпеть — валяй в штаны! — И захохотал. Но сразу, словно подавился, смолк.

Через некоторое время на шоссе вылезли полковники, Дитрих и Штейнглиц.

Дитрих попрощался:

— Спокойной ночи, господа! — И направился к машине.

Самокатчики освободили Вайса.

— Едем! — приказал Штейнглиц, едва Иоганн сел за руль.

Оба офицера молчали. Тишину нарушил Дитрих — пожаловался капризно, обиженно:

— Я же его так логично убеждал...

Штейнглиц спросил:

— Будешь докладывать?

Дитрих отрицательно качнул головой.

— А если те доложат?

Дитрих рассмеялся.

— Эти армейские тупицы готовы были лизать мне сапоги, когда я предложил свою версию. Что может быть проще: пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию.

— Зачем так? — удивился Штейнглиц.

— А затем, — назидательно пояснил Дитрих, — что, если бы, допустим, советский разведчик дерзко похитил

полевую рацию и передал своим дату начала событий, полковникам не избежать бы следствия.

— Ну и черт с ними, пусть отвечают за ротозейство! Ясно — это советский разведчик.

— Да,— сухо проговорил Дитрих.— Но у меня нет доказательств. И к чему они, собственно?

— Как к чему? — изумился Штейнглиц.— Ведь он же все передал!

— Ну и что ж! Ничего теперь от этого уже не изменится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет отложить его ни на минуту.

— Это так,— согласился Штейнглиц.— А если красные ответят встречным ударом?

— Не ответят. Мы располагаем на этот счет точными сведениями.

— Ну, а если...

— Если кому-нибудь станут известны эти твои идиотские рассуждения,— строго оборвал майора Дитрих,— знай, что у меня в сейфе будет храниться их запись.

— А если я донесу раньше, чем ты?

— Ничего, друг мой, у тебя не выйдет.— Голос Дитриха звучал ласково.

— Почему?

— Твоя информация мной сейчас уже принята. Но не сегодняшним числом, и за ее злоумышленную задержку тебя расстреляют.

— Ловко! Но почему ты придаешь всему этому такое значение?

Дитрих ответил томно:

— Я дорожу честью третьего отдела «Ц». У нас никогда не было никаких промахов в работе, у нас и сейчас нет никаких промахов. И не будет.

Штейнглиц воскликнул горячо, искренне:

— Оскар, можешь быть спокоен — я тебя понял!

— Как утверждает Винкельман, спокойствие есть качество, более всего присущее красоте. А мне нравится быть всегда и при всех обстоятельствах красивым... — И Дитрих снисходительно потрепал Штейнглица по щеке.

Светало. Небо в той стороне, где была родина Иоганна, постепенно все больше и больше озарялось восходящим солнцем. Теплый воздух лучился блеском и чистотой. Через спущенное стекло в машину проникал нежный, томительный запах трав.

Иоганн автоматически вел машину. Его охватило мер-

твящее оцепенение. Все душевные силы были исчерпаны. Сейчас он обернется и запросто застрелит своих пассажиров. Потом придет в подразделение и снова будет стрелять, стрелять, только стрелять! Это — единственное, что он теперь в состоянии сделать, единственное, что ему осталось.

Рука Иоганна потянулась к автомату, и тут он как бы услышал голос Бруно, его последний завет: «Что бы ни было — вживаться. Вживаться — во имя победы и жизни людей, вживаться».

Да и чего Иоганн добьется своим малодушием? Нет, это не малодушие, даже предательство. Бруно не простил бы его.

Если б случилось чудо, и Бруно остался жив, и его бы попросили оценить свой подвиг, самое большее, что он сказал бы: «Хорошая работа», «Хорошая работа советского разведчика, исполнившего свои служебные обязанности в соответствии с обстановкой». Он бы так сказал о себе, этот Бруно.

Но почему Бруно? У этого человека ведь есть имя, отчество, фамилия. Семья в Москве — жена, дети. Они сейчас спят, но скоро проснутся, дети будут собираться в школу, мать приготовит им завтрак, завернет в вощеную бумагу, проводит до дверей, потом и сама уйдет на работу.

Кто ее муж? Служащий. Часто уезжает в длительные командировки. Все знают: должность у него небольшая, скромная. Семья занимает две комнатки в общей квартире. К младшему сыну переходит одежда от старшего, а старшему перешивают костюмы и пальто отца. И когда такие, как Бруно, погибают так, как погиб он, родственников и знакомых оповещают: скоропостижно скончался — сердце подвело. И всё. Даже в «Вечерней Москве» не будет извещения о смерти.

Но на смену этому времени должно же прийти другое время. Пройдет много, очень много лет, прежде чем дети чекиста смогут сказать: «Отец наш...» И рассказ их прозвучит как легенда, странная, маловероятная, невероятная легенда о времени, когда это называлось просто: работа советского разведчика в тылу врага.

Но не потом, а сейчас, сразу же изучат соратники погибшего обстоятельства его смерти. Для них его смерть — рабочий урок, один из примеров. И если все, до последнего вздоха, окажется логичным, целесообразным, запишут: «Коммунист такой-то с честью выполнил свой долг перед партией и народом».

Но этот человек, которого называли Бруно, — советский гражданин. Разве нет у него имени, отчества, фамилии?

Где они, имена тех чекистов-разведчиков, которые отдали жизнь, как отдал ее Бруно, чтобы предупредить Родину об опасности? Где они, их имена? А ведь были люди, которым повезло меньше, чем Бруно. Их смерть была медленной. Хорошо продуманные пытки, которые они выносили, тянулись бесконечно долгие месяцы. А когда гестаповцам случалось иной раз и переусердствовать и приближалась смерть-избавительница, светила медицинской науки снова возвращали этих мучеников к жизни, что было ужаснее самой лютой смерти. И все время, пока тела их терзали опытные палачи, удары затихающего пульса глубокомысленно и сосредоточенно считали гестаповские медики. Сотой доли этих смертных мук не перенес бы и зверь, а они переносили. Переносили и знали, что этот последний их подвиг останется безвестным, никто из своих о нем не узнает. Никто. Гестапо умерщвляло медленно и тайно. И мстило мертвым, устами засланных предателей клеветца на них. И гестаповцы предупреждали свои жертвы об этом — о самой страшной из всех смертей, которая ожидает их после смерти. Не знаю, из какого металла или камня нужно изваять памятники этим людям, ибо нет на земле материала, по твердости равного их духу, их убежденности, их вере в дело своего народа.

Бруно! Иоганн вспоминал, как он подшучивал над своими недомоганиями, болезненностью, хилостью. Да, он был хилый, подверженный простуде, с постоянно красным от насморка носом. В каких же чужеземных казематах была когда-то выстужена кровь этого стойкого чекиста? А постоянные боли в изъязвленном тюремными голодовками желудке?

Плешивый, тощий, вечно простуженный, со слезящимися глазами, с преждевременными морщинами на лице, и в то же время подвижный и жизнерадостный, насмешливый. Как все это не вяжется с представлением о парадно-рыцарском облике героя! А конфетки, которые он всегда сосал, утверждая, что сладкое благотворно действует на нервную систему? Бруно! Но ведь он не Бруно. Может, он Петр Иванович Петухов? И когда он шел к себе на работу по улице Дзержинского, невозможно было отличить его от тысяч таких же, как и он, прохожих.

И он, как другие сотрудники, многосемейные «заграничники», получая задание, рассчитывал на командиро-

вочные, чтобы скопить на зимнее пальто жене, и на прибавление к отпуску выходных дней, не использованных за время выполнения задания. Зарплата-то как у военнослужащего, плюс за выслугу лет, как у шахтеров или у тех, кто работает во вредных для здоровья цехах.

Только в знатные люди страны, как бы он ни работал, какие бы подвиги ни совершил, ему было не попасть: не положено.

Объявят в приказе благодарность. Даже носить награды не принято. Не тот род службы, чтобы афишировать свои доблести, привлекать к себе внимание посторонних.

Уважение товарищей, таких же чекистов, сознание, что ты выполнил свой долг перед партией, перед народом, — вот высшая награда разведчику.

Иоганн знал, что, если представится возможность, он кратко сообщит в Центр: «Посылая радиogramмы о сроках нападения на СССР, погиб Бруно. Противник данными о нем не располагает». И все. Остальное — «беллетристика», на которую разведчику потом указывают, как на растрату отпущенного на связь времени.

Иоганн снова и снова анализировал все, что было связано с подвигом Бруно. Нет, не случайно Бруно оказался поблизости от их расположения. Он, вероятно, предполагал, что Иоганн способен на опрометчивый поступок и, узнав о дате гитлеровского нападения, может себя провалить, если поступит так, как поступил Бруно. Иоганн проник в самое гнездо фашистской разведки. Бруно это не удалось, и поэтому он счел целесообразным выполнить то, что было необходимо выполнить, и погибнуть, а Иоганна сохранить. Бруно, наверное, рассчитывал, что о похищенной рации станет известно Иоганну и тот поймет, что информация передана.

Иоганн не знал, что Бруно хотел взорвать машину, чтобы не попасть в руки фашистов, но не успел: пуля перебила позвоночник, парализовала руки и ноги. Это была не оплошность — стечение обстоятельств. И когда выворачивали его сломанную ногу, топтали раздавленную кисть руки, жгли тело, он почти не ощущал боли. Никто не знал этого. Знал только Бруно. Боль пришла, когда задела его сломанный позвоночник. Она все росла и росла, и он не мог понять, как еще живет с этой болью, почему она бессильна убить его, но ни на секунду не потерял сознания. Мысль его работала четко, ясно, и он боролся с врагом до самого последнего мгновения. Умер он от паралича сердца. Сознание

Бруно все выдержало, не выдержало его усталое, изношенное сердце.

Иоганн снова увидел лицо Бруно с откинутым лоскутом кожи, его внимательный оживший глаз словно беззвучно доложил Иоганну: «Все в порядке. Работа выполнена». Именно «работа». «Долг» он бы не сказал. Он не любил громких слов. «Работа» — вот самое значительное из всех слов, которые употреблял Бруно.

— Эй, ты! — Дитрих ткнул Вайса в спину. — Что скажешь об аварии?

Иоганн пожал плечами и ответил, не оборачиваясь:

— Хватил шнапсу, ошалел. Бывает... — И тут же, преодолевая муку, медленно, отдельно добавил: — Господин капитан, вы добрый человек: вы так старались спасти жизнь этому пьянице.

Да, именно эти слова произнесли губы Иоганна. И это было труднее всего, что выпало на его долю за всю, пусть пока недолгую, жизнь.

— Хорошо, — сказал Дитрих. И в зеркальце Иоганн увидел, как он толкнул локтем Штейнглица. Потом Дитрих повторил еще раз: — Все хорошо. Отлично.

Штейнглиц заметил не без зависти:

— У тебя истинно аналитический ум, ты все учел.

— Ум хорошо, — сказал Дитрих. — А хороший аппетит — еще лучше. — Объявил: — Однако я проголодался.

Они подъехали к хутору. Вайс остановил машину возле виллы и по приказанию Дитриха пошел разыскивать повара.

Наступил день, светило солнце, служащие спецподразделения чистили у колодца зубы, умывались, брились, наклонившись над тазами. В нижнем белье, в трусах, они совсем не походили на солдат. Многие вышли в домашних теплых туфлях из клетчатого сукна, на войлочной подошве. Пахло туалетным мылом, мятной зубной пастой, одеколоном. И нужно было жить, улыбаться, разговаривать. Как будто ничего не произошло и не было этой ночи, никогда не было на свете Бруно...

Фашистская Германия точно рассчитала, умело выбрала момент для разбойничьего нападения на Советский Союз. Мощный сосредоточенный удар потряс страну.

И было бы неверно изображать рейхсканцлера Адольфа Гитлера только бесноватым истериком-психопатом, как это делают теперь, стараясь перещеголять друг друга, его единомышленники по службе в бундесвере. Многие полезные для германского милитаризма стратегические идеи Гитлер заимствовал у выдающихся государственных деятелей таких могучих империалистических держав, как США, Великобритания, Франция.

Они не только поощряли Гитлера в его стремлении нанести главный удар на Восток, но и любезно предоставили ему денежные займы, стратегические материалы, оказывали содействие советами.

Адольф Розенберг на обеде, данном в его честь в Лондоне, куда он прибыл по личному поручению Гитлера, отвечая на любезность любезностью, обещал: «Германия уничтожит большевиков с полного одобрения и по поручению Европы».

И надо думать, что Гитлер не уступал в хитрости многим главам великих империалистических государств, если сумел заставить их авансом, в счет оплаты за будущее уничтожение Страны Советов, заплатить фашистской Германии целыми европейскими странами.

Эта способность совершать международные сделки объясняет то обстоятельство, что не случайно именно на него, а не на кого-нибудь иного, империалистические державы возлагали свои самые сокровенные надежды.

Вначале Гитлер не чуждался скромной роли наемного убийцы, он всячески старался изобразить, что руководствуется якобы одними лишь политическими мотивами и намерен направить свои действия только против одного народа — советского. Но когда великие державы выплатили ему вперед всю европейскую наличность и Франция стыдливо обнажила перед германским империализмом свои государственные границы, Гитлер, ничем уже не удерживаемый от соблазна, за пять недель сломил тщетное сопротивление и овладел и Францией, деликатно оставив правительству Виши прелестный уголок на юге страны для неги и размышлений о превратностях судьбы.

Поражение в Дюнкерке английского экспедиционного корпуса знаменовало закат мощи британских сухопутных армий. И из туманного неба на Лондон беспощадно посыпалась лавина немецких авиабомб.

Отнюдь не из милосердия, а побуждаемый общностью империалистической идеологии и интересов, Гитлер напра-

вил 10 мая 1941 года в Лондон своего заместителя Гесса со снисходительным предложением заключить мир.

Правящие круги Англии вынуждены были тогда уклониться от сговора с фашистской Германией, как ни был он соблазнителен. Ведь взамен военного поражения они понесли бы тяжкое экономическое поражение, и не от кого-нибудь, а от своих главных конкурентов на мировом рынке — германских промышленных магнатов. Кроме того, даже если бы они и пожертвовали рыночными интересами, в те времена уже нельзя было не считаться с английским народом, ненависть к фашизму которого могла обрушиться на голову правительства, капитулировавшего перед Гитлером.

Войну против СССР гитлеровские стратеги рассчитывали провести за шесть — восемь недель и, во всяком случае, при любых обстоятельствах закончить к осени 1941 года.

Генеральный штаб вермахта был непоколебимо уверен в том, что детально разработанный и тайно размноженный всего в девяти экземплярах план нападения на Советский Союз, план «Барбаросса», — высшее достижение германского военного гения.

Германские военные силы, тайно сосредоточенные на границах Советского Союза, в то время были могучими, высокооснащенными и опытными.

Фашистская Германия, упоенная военными победами, после того как гестапо просеяло трудовое население страны сквозь тюремные решетки, а лучших сынов народа бросило в концентрационные лагеря, кладбищенские пространства которых заняли значительные жизненные пространства, — эта Германия была надежным тылом, надежной опорой вермахта.

Уже к лету 1940 года под контролем фашистской Германии и Италии оказались страны с населением около 220 миллионов человек, и все экономические ресурсы этих стран направлялись на усиление мощи германской военной машины.

8 июля 1941 года Гитлер отдал приказ: «Москву и Ленинград сровнять с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов и не кормить его в течение зимы...» «Что касается Москвы, — разъяснял Гитлер, — это название я уничтожу, а там, где находится сегодня Москва, я создам большую свалку». Относительно населения директива его была столь же короткой и ясной: «Славяне должны стать неисчерпаемым резервом рабов в духе Древ-

него Египта или Вавилона. Отсюда должны поступать дешевые сельскохозяйственные и строительные рабочие для германской нации господ».

22 июня 1941 года, около четырех часов утра, на рассвете, гитлеровские полчища напали на СССР.

Началась Великая Отечественная война советского народа. Она длилась 1418 дней и ночей.

Во втором эшелоне вместе со штабом, службами тыла, хозяйственными взводами, ротой пропаганды, медицинскими батальонами, кухнями, трофейными командами продвигалось и подразделение майора Штейнглица.

Жарко, душно, пыльно...

По обе стороны шоссе горели деревни, леса, хлеб на полях, сама земля. И казалось, не от солнца эта жара, а только от пылающих пожарищ.

И когда колонна почему-либо останавливалась и смолкал шум моторов, то сразу наступала глухая, словно на дне пропасти, тишина, и слышно было только сухое потрескивание пламени, шуршание, да глухо рушились горящие бревна...

Небо было чистое, прозрачное, светящееся, и ритмично, через точные промежутки времени, его как бы разрезал вдоль металлический гул низко летящих плотным строем бомбардировщиков, и по земле скользили их серые плавающие тени. Но бомбардировщики пролетали, и снова все вокруг обволакивала вязкая, как расплавленное стекло, тишина.

У переправы колонны остановились. Все вышли из машин, разминались, отряхивались от пыли.

Здесь тянулась оборонительная полоса, по-видимому недостроенная: валялись лопаты, кирки, бочки с цементом, бревна для накатов, пучки арматуры. И трупы. Множество трупов. Траншеи всюду пересечены оттисками танковых гусениц, — значит, исход боя решила моторизованная часть.

Военнослужащие тыловых подразделений с тем пренебрежением к мертвецам, на какое способны лишь люди, сумевшие изворотливо избежать опасностей фронта, жадной толпой бросились смотреть на убитых большевиков.

Пожалуй, только один майор Штейнглиц с опытным видом деловито осматривал трупы и ворочал их, чтобы убедиться в правильности своих умозаключений.

У большинства убитых он обнаружил множественные ранения, даже тяжелораненых перевязывали здесь же, на

поле боя, и по несколько раз. Значит, и раненые не покидали позиций, продолжали бой, не уходили в тыл.

Судя по документам, которые Штейнглиц вынул из карманов убитых, это были солдаты, не прослужившие еще и года.

Возле ручного пулемета лежал на боку солдат, голова его вдавлена в землю, обрубок левой руки толсто перебинтован и у плеча стянут жгутом из телефонного провода в черной резиновой оболочке. А вот еще один, тоже без руки, а в зубах, как сигарета из меди, блестит взрыватель. Между колен — граната, так и склонился над ней...

И все они, настигнутые смертью, замерли, оцепенели, как бы остановив движение времени, запечатлев своими недвижимыми телами самое напряженное мгновение боя.

Женщина, с санитарной сумкой через плечо, с разорванными пачками патронов в судорожно сжатых руках, лежит щекой на винтовке, и кто-то бесстыдно задрал подол ее юбки.

Одни мертвецы в окопах, другие впереди, за бруствером, но нет ни одного позади окопов, в ходах сообщений, в недостроенных блиндажах.

В капонирах, куда, очевидно, сносили обеспамятевших раненых, — груда мертвых тел. Штейнглиц понял: раздраженный потерями немецкий офицер не стал удерживать солдат от расправы...

Вернувшись в машину, майор к своему обычному «поехали» добавил:

— Не нравятся мне эти русские. — И объяснил: — Вести бой с превосходящими силами, не располагая элементарными условиями для обороны, могут только иступленные фанатики.

Через несколько километров они увидели на полуобгорелом пшеничном поле разбитые советские танки «Т-26», вооруженные одними пулеметами. Вести на таких машинах танковый бой — все равно что в древних рыцарских доспехах вступить в поединок с орудийным расчетом.

Но среди этих стальных трупов были и два немецких танка. Видно, не случайно советские танки столкнулись с ними, таранили их, воспламенив горючим из лопнувших баков.

Штейнглиц заметил вскользь:

— Русские не только не умеют делать свои машины, но и водить их. — Долго смотрел в окно на бесконечные поля пшеницы, сказал с одобрением: — О, здесь богатые име-

ния, я таких не видел в Европе. Интересно, где сейчас их владельцы? — Посмотрел на часы: — Время обеденное, у меня разыгрался аппетит. — И приказал Вайсу остановиться в ближайшей деревне, узнать, где ее староста, чтобы умыться, пообедать и отдохнуть у него.

Эта деревня горела, как и все другие деревни, но никто из немногих оставшихся тут жителей не пытался загасить пламя.

Майор вышел из машины, подошел к старику, копавшему яму в палисаднике, и объяснил жестами, что хочет пить. Старик понял, воткнул лопату в землю и так спокойно и медленно вошел в горящую хату, будто это был не огонь, а только огненно-яркий свет.

Он вернулся с ковшом и подал его Штейнглицу. Тот поднес ковш к губам, отпил с наслаждением и тут увидел лежащую на краю ямы мертвую молодую женщину.

Старик поплевал на ладони, продолжая копать землю.

Майора ужаснула мысль, что вода отравлена. Но тут же, по свойственной ему логике мышления, он отогнал эту мысль как вздорную: откуда у старика яд, и потом он так спокойно ведет себя...

Штейнглиц вынул сигареты, предложил старику. Тот взял машинально, тяжело опираясь грудью о ручку лопаты, и, глядя лучистыми, какими-то детски-грустными глазами, показал на яму:

— Вот, внучку хороню. Вы ее убили, значит. Понял? Вы!

Штейнглиц решил, что он просит еще сигарет, и снова вынул из кармана пачку, достал одну сигарету, протянул старику. Тот положил ее про запас за ухо и таким же воркующим голосом сказал:

— Ты, немец, видать, добрый, но все равно я вас резать буду. Я теперь человек немилосердный, не прощающий.

Майор принял эти слова за выражение благодарности и потрепал старика по плечу, а потом повернулся, чтобы идти к машине. И тут старик, как топор, вознес лопату ребром над головой Штейнглица.

Майора спасло только то, что он в этот момент поскользнулся на глине, выброшенной из ямы. Лопата рассекла воздух и вонзилась в доски, приготовленные для могилы.

Засовывая дрожащими руками пистолет обратно в кобур, майор влез в машину и, несмотря на духоту, поднял с обеих сторон стекла, будто защищаясь ими. Он даже не позволил Вайсу счистить глину со своего мундира. Прика-

зал скорее ехать в штаб ближайшей части СС, чтобы потребовать расправы над всеми жителями деревни за покушение на его жизнь.

Но Вайс позволил себе высказать предположение, что старик, наверное, просто обиделся: ведь майор вылил на землю воду, не допив ее до конца, а здешние жители считают это самым страшным оскорблением своему дому.

— Да? — удивился Штейнглиц. — Какая дикость!

Сожалел ли Иоганн о том, что старик не убил Штейнглица? Нет. Если б это случилось, он утратил бы канал для проникновения в службу абвера. И Вайс решил, что будет удерживать майора от небезопасных путешествий. Сейчас Штейнглиц был ему особенно нужен. Только сохранив ему жизнь, сделав его орудием поражения тайной фашистской службы, Иоганн сможет отомстить Штейнглицу за все и за смерть этого старика с глазами ребенка.

И он сказал совершенно искренне:

— Господин майор, за то, что я отпустил вас одного, я считаю, меня нужно повесить.

— О!

— Можете в меня стрелять, но теперь я не отойду от вас ни на шаг.

Штейнглиц, растроганный такой преданностью, счел даже возможным пошутить:

— Хорошо. За исключением, конечно, тех случаев, когда моя дама сочтет твоё присутствие нежелательным. — Майор впервые в жизни разрешил себе такую вольность в разговоре с человеком, стоящим ниже его.

С того момента, как Иоганн увидел родную землю, обожженную, окровавленную, растерзанную фашистами, его охватила спасительная, леденящая ярость, какое-то мстительное спокойствие. Иоганн даже порадовался: он здесь, в безопасности, тащится во втором эшелоне, и за спиной у него развалился, наслаждаясь отдыхом, крупнейший немецкий разведчик. И если Иоганн сочтет нужным, он запросто укокошит его или кучу таких же фашистов из автомата. Может взорвать штаб. Взять за свою жизнь сотни вражеских. Может. Но не должен. Не имеет права.

От него, советского разведчика, сейчас требуется неизмеримо больше — спокойствие. Подвиг бездействия, подвиг выжидания, подвиг молчания, когда все в нем, каждый его нерв кричит...

На шоссе появились дорожные знаки с надписями: «Внимание! Опасность! Объезд!»

Колонна, в которой они ехали, свернула на проселок, и теперь машины тряслись на бревнах настилов, ныряли в ухабы, застревали в низких заболоченных местах, и все время слева, оттуда, где осталось шоссе, доносились частые, но экономно короткие пулеметные очереди, глухие разрывы гранат, мощные залпы орудий.

Скоро Вайс узнал о причине объезда. Оказалось, крохотный гарнизон дота перекрыл пулеметным огнем движение на шоссе и ведет бой с немецкой артиллерией и танками.

Штабной офицер сказал Штейнглицу, что красные цепями приковывают своих солдат к пулеметам и орудиям. Штейнглиц иронически посоветовал офицеру выделить специальные подразделения и снабдить их слесарным инструментом, чтобы они помогли красным освободиться от цепей.

Вайс заметил, что углы сухих губ Штейнглица обиженно отвисли, он раздражен, и зрелище следов победоносного прорыва германской армии не возбуждает, а как-то даже удручает его.

И действительно, Штейнглиц чувствовал себя глубоко обиженным, обойденным человеком.

Восточный фронт был для него своего рода ссылкой. Его специальность — Запад. Но после лондонской истории его лишили привычного поля деятельности. Он не был трусом. Во время войны в Испании он пробрался в республиканские части, сражался в них и давал информацию о том, как эффективно ручные гранаты с взрывателями мгновенного действия взрываются в руках бойцов-республиканцев, снаряды, не разрываясь, падают в окопы франкистов, как неисправимо отказывают пулеметы, как стволы орудий лопаются после первого же выстрела.

Все это вооружение и боеприпасы гитлеровцы продали республиканцам через подставных лиц. И Штейнглиц в боевых условиях проверил, насколько успешно осуществил эту тайную операцию второй отдел «Ц».

Когда Каммхубер, разработавший план убийства германского посла в Праге и доверивший немаловажную роль в этой операции Штейнглицу, предложил ему в 1940 году отправиться во Фрейбург, чтобы во время налета на него гитлеровской эскадрильи «Эдельвейс» сразу же организовать доказательства, что этот немецкий город разбомбили французские самолеты, Штейнглиц отлично справился с поручением. Даже осколки немецких бомб, извлеченные

хирургами из тел людей, пострадавших во время налета, Штейнглиц заменил осколками бомб французского производства; выявил, кто из немцев — жителей Фрейбурга — хорошо разбирается в силуэтах самолетов, и убрал их, как опасных свидетелей. Это была чистая, увлекательная работа, к тому же она принесла награды и повышение по службе.

А что сулил ему Восточный фронт? Весь успех припишут себе армейские полководцы, а молниеносное продвижение механизированных воинских частей не дает возможности раскинуть сеть агентурной разведки для серьезной диверсионно-террористической работы.

Штейнглиц знал, что его коллеги, специализировавшиеся на восточных районах, давно подготовили из буржуазно-националистических элементов диверсионные банды, в задачу которых входило рвать связь, сеять панику, убивать ни о чем не подозревающих людей. Он знал также, что десанты этих бандитов, переодетых в красноармейскую форму, уже сброшены сюда, на русскую землю, с германских самолетов.

Знал он и о сформированном еще в конце 1940 года полке особого назначения «Бранденбург». Полк этот создали для проведения диверсионных актов на Восточном фронте. Он был скомплектован из немцев, хорошо знающих русский язык, и его личный состав обмундировали в советскую военную форму и снабдили советским оружием.

Но все это чужие, а не его, Акселя Штейнглица, достижения. Грубая, примитивная работа, ее может выполнить любой старший офицер вермахта. Фельдмаршал Браухич насовал в этот «Бранденбург» выскочек из своей свиты. Они-то уж получают рыцарские кресты за успешное выполнение особого задания. Ну и пусть получают! Штейнглиц считал ниже своего достоинства руководить безопасными массовыми убийствами доверчивых советских солдат и офицеров и вовсе не хотел, чтобы ему поручили командовать такой диверсионной частью. Это занятие для армейцев. Профессиональная гордость матерого шпиона, опытного диверсанта была ущемлена уже одним тем, что ему, будто он мусорщик, поручили собирать брошенные советские документы.

И победоносное продвижение германских армий по советской земле Штейнглиц воспринимал в эти дни как свое поражение, как крушение своих надежд, как гибель карьеры.

Вначале Вайс не мог понять причины подавленного настроения майора, его хмурой, унылой озабоченности. Но постепенно по брезгливым, ироническим репликам Штейнглица стало ясно, что тот недоволен своим нынешним положением, тяготится возложенным на него поручением, ревнует к успехам армейцев. И после того, как пришлось свернуть с шоссе в объезд, он злорадствовал, что ни артиллерия, ни танки не могут так долго справиться с одиноким советским гарнизоном, засевшим в доте и нарушившим передвижение тыловых колонн.

Он даже одобрительно отозвался о старике, чуть было не убившем его. Сказал, что русские, хотя они и неполноценны в расовом отношении, все же чем-то напоминают ему испанцев, и напрасно капитан Дитрих рассчитывает, что путь в Москву окажется такой же увеселительной прогулкой, какой была для немецкой армии дорога к Парижу.

И Вайс понял, что Штейнглиц расстроен из-за неприятностей по службе, раздражен и в свою очередь готов доставить неприятности кому угодно, лишь бы утолить обиду, причиненную ему начальством.

Населенный пункт, который, согласно дислокации, отводился для расположения ряда спецслужб, оказался местом боевых действий. Отступающий советский гарнизон занял его и превратил в узел обороны.

Это неожиданное обстоятельство внесло суматоху и растерянность в колонны второго эшелона, и офицеры не знали, как им поступить. Приказано было обосноваться в этом населенном пункте, а как обоснуешься, когда он занят противником? Нарушить приказ невозможно. Выполнить — тоже невозможно.

Посоветовавшись, командиры спецслужб отдали распоряжение сойти с дороги и располагаться близ населенного пункта, но в таком месте, где огонь противника не мог нанести урона.

В той, иной жизни, где Иоганн был не Иоганн, а Саша, он в туристских студенческих походах, на охоте с отцом научился с наименьшими неудобствами приспособляться к самым различным условиям, независимо от природы, климата и времени года. Да и служба в армии кое-что дала ему.

И сейчас он в заболоченной местности выбрал местечко посуше, где кочки были с бурым сухим оттенком, наметил

лопатой квадрат, окопал его со всех сторон канавой. Нарубил тальника, выложил квадрат охапками веток, потом торфом, снова ветками и на этом пьедестале растянул палатку. Разложил внутри нее дымный костерчик из гнилушек, выкурил комаров и только после этого затянул полог.

Штейнглиц неподалеку беседовал о чем-то с Дитрихом, при этом они нещадно били себя по лицам ветками, отмахиваясь от комаров.

Вайс доложил, что палатка готова и в ней обеспечена полная гарантия от комаров.

Штейнглиц пригласил Дитриха.

Хотели этого оба офицера или нет, но обойтись без Вайса они не могли, хотя принимали все его услуги как должное. Он приспособил чемодан Дитриха вместо стола, застлал противоприпитной накидкой и даже умудрился прилично сервировать. Быстро приготовил на костре горячий ужи́н и, стоя на коленях — свод-то у палатки низкий, — ухаживал за офицерами. И, беспокоясь о здоровье своего хозяина, настаивал, чтобы тот пил шнапс, а не вино, утверждая, что комары — разносчики малярии и нет лучшего средства избежать заболевания, чем пить спирт.

Дитрих еще более Штейнглица заботился о своем здоровье и потому пил, не переставая.

В палатке было темно. Иоганн попробовал снова разжечь костер, но от едкого дыма запершило в горле и залезли глаза. Пришлось погасить огонь. А Дитрих то и дело беспокойно ощупывал свое распухшее от комариных укусов лицо и непременно хотел посмотреть на себя в зеркало.

Иоганн взял пустую жестянку, набил туда жир от консервированных сосисок, отрезал кусочки от брезентовых тесемок, которыми соединялись полотнища палатки, воткнул в жир, распушил и зажег, как фитили. И получил отличный светильник.

Оба офицера были пьяны, но каждый по-своему.

Штейнглиц считал выпивку турниром, поединком, в котором он должен был выстоять, сохранить память, ясное сознание. Алкоголь — прекрасный способ расслабить волю, притупить настороженность партнера, чтобы вызвать его на безудержную болтливость. И Штейнглиц умело пользовался этим средством, а себя приучил преодолевать опьянение, и чем больше пил, тем сильнее у него болела голова, бледнело лицо, конвульсивно дергалась левая

бровь, но глаза оставались, как обычно, внимательно-тусклыми, и он не терял контроля над собой.

Он никогда не получал удовольствия от опьянения и пил сейчас с Дитрихом только из вежливости.

К Дитриху вместе с опьянением приходило сладостное чувство освобождения от всех условностей и вместе с тем сознание своей полной безнаказанности. Вот и теперь он сказал:

— Слушай, Аксель, я сейчас совсем разденусь — оставлю только фуражку и портупею с пистолетом, — выйду голый, подыму своих людей и буду проводить строевые занятия. И, уверяю тебя, ни одна свинья не посмеет даже удивиться. Будут выполнять все, что я им прикажу. — И начал раздеваться.

Штейнглиц попробовал остановить его:

— Не надо, Оскар, простудишься.

Дитрих с трудом высунул голову за полог палатки, про-
верил.

— Да, сыровато... Туман. — Задумался на секунду и сказал, радуясь, что нашел выход: — Тогда я прикажу всем раздеться и буду командовать голыми солдатами.

Штейнглиц буркнул:

— У нас с тобой разные вкусы.

Дитрих обиделся. Презрительно посмотрел на Штейн-
глица, спросил:

— Как ты считаешь, мы соблюдаем приличия в своих
международных обязательствах?

— А зачем?

— Вот! — обрадовался Дитрих. — Хорошо! Сила и мо-
раль несовместимы. Сила — это свобода духа. Освобожде-
ние от всего. И поэтому я хочу ходить голый. Хочу быть как
наш дикий пращур.

Штейнглиц молча курил, лицо его подергивалось от
головной боли.

Вайс подал кофе. Подставляя пластмассовую чашку,
Дитрих сказал:

— В сущности, все можно сделать совсем просто. Если
предоставить каждому по одному метру земли, то человече-
ство уместится на территории немногим больше пятидеся-
ти квадратных километров. Плацдарм в пятьдесят кило-
метров! Дай бумагу и карандаш, я подсчитаю, сколько
нужно стволов, чтобы накрыть эту площадь, скажем, в тече-
ние часа. Час — и фьюить, никого! — Поднял голову, спро-
сил: — Ты знаешь, кто изобрел версию, будто Советский

Союз разрешил частям вермахта пройти через свою территорию для завоевания Индии? — И сам же ответил с гордостью: — Я! А ведь отличное прикрытие, иначе как объяснить сосредоточение наших войск на советской границе?

— Детский лепет, примитив, никто не поверил.

— Напрасно ты так думаешь. Дезинформация и должна быть чудовищно примитивной, как рисунок дикаря...

— Ерунда! — возразил Штейнглиц.

Дитрих усталился на неровный огонек светильника, сказал убежденно:

— Нам следует собрать их всех в кучу. — И показал руками, как это делать. — Сколько под них надо — десять — двадцать квадратных километров, — и всех... — Он поднял палец. — Всех! Иначе они нас... — И так резко махнул рукой, что от ветра погас светильник.

Вайс снова зажег фитильки и вопросительно взглянул на Дитриха.

Тот, вероятно, приняв Вайса за Штейнглица, взял его за плечи, пригнул к себе и прошептал в самое ухо:

— Аксель, ты осел! Мы влезли в войну, победу в которой принесут не выигранные сражения, а только полное уничтожение большевиков. Полное! Чтобы ни одного свидетеля не осталось на земле. И тогда мы все будем ходить голые, все! И никто не скажет, что это неприлично. — И снова попытался раздеться, но тут же свалился на пол, захрапел.

Вайс вместе со Штейнглицем уложил Дитриха спать.

Вышли из палатки.

Болото дымилось туманом, луна просвечивала на небе сальным пятном, орали лягушки.

Помолчали. Закурив, Штейнглиц счел нужным объяснить поведение Дитриха:

— Вчера капитан понервничал: допрашивал двух раненых советских офицеров, они вели себя как хамы — вызывающе. Оскар ткнул одному из них в глаз сигарету, а тот ему нагло пообещал сделать из Берлина пепельницу. А один пленный ударил головой его в живот. В сущности, ничего от них такого не требовали: вернуться к своим и предложить окруженной части капитулировать. Могли бы, в конце концов, и обмануть. Странное поведение... — Потянулся, зевнул. И вдруг пошатнулся, успел схватиться за плечо Вайса, признался: — Шнапс в ноги ударил. — И полез в палатку спать.

На следующий день подразделение майора Штейнглица приступило наконец к своим прямым обязанностям.

В большой, госпитального типа палатке за раскладным столом четыре солдата, в том числе и Вайс, занимались сортировкой документов. Часто среди них попадались испорченные, залитые кровью. Такие документы бросали в мусорные корзины из разноцветной проволоки.

Нумеровали печати и штампы после того, как с них был сделан оттиск на листе бумаги, и складывали в большой сундук.

Карты, если на них не было никаких пометок, выбрасывали, если же имелись пометки или нанесенные от руки обозначения, — передавали ефрейтору Вольфу. Тот тщательно изучал каждую такую карту и некоторые из них, бережно сложив, прятал в портфель, в обыкновенный гражданский портфель с ремнями и двумя плоскими замками.

Солдаты-канцеляристы работали с чиновничьим усердием, и разговоры они вели мирные: о своем здоровье, о письмах из дому, о ценах на продукты, одежду, обувь. И, сортируя, просматривая бумаги, они периодически вытирали пальцы резиновыми губками, смоченными дезинфицирующей жидкостью, чтобы не подцепить инфекции. И если б не это обстоятельство, не их мундиры да желтый свет в целлулоидовых окошках палатки, все походило бы на обычное канцелярское заведение, и ни на что другое.

Вольф, обнаружив запятнанные кровью бумаги, говорил всем:

— Господа, напоминаю: будьте внимательны и выбрасывайте неопрятные бумаги, не представляющие особой ценности.

За эти несколько суток лагерь на болоте превратился в аккуратный военный городок: всюду проложены дорожки из бревен, стоят столбы с указателями, штабные палатки окопаны траншеями, насосы день и ночь откачивают из траншей воду. Даже комаров стало меньше после того, как в воздухе распылили какую-то едкую жидкость, приспособив для этого ранцевые огнеметы.

И не только офицеры, но и солдаты выглядели подчеркнуто опрятно, будто и не было у них под ногами вонищей, грязной хляби, невылазной топи, трясины.

Мостики с перилами из белых березовых стволов, так

отчетливо видные ночью, настилы для транспорта, линии проводов связи, аккуратно уложенные на торфяные брусья или поднятые на бамбуковых шестах, — все это и многое другое свидетельствовало об опытности, мастерстве, армейском умении, дисциплине штабных команд, об их прекрасной материальной оснащенности. И только одно было нелепым — то, что эти тыловые службы разместились в болоте, а не на сухом пригорке в нескольких километрах за пунктом, предназначенным для дислокации.

Мотомеханизированные соединения германской армии стремительно и глубоко клещами вгрызались в тело страны, безбоязненно оставляя у себя в тылу окруженные, изолированные и искромсанные в неравных сражениях островки советских гарнизонов: их оставляли на растерзание специальным частям, щедро снабженным всеми новейшими средствами уничтожения.

По сведениям немецкой разведки, в населенном пункте Кулички сначала заняли оборону несколько танков и до полуроты пограничников, но постепенно количество советских солдат увеличивалось. Каждую ночь к Куличкам с отчаянными боями прорывались все новые бойцы, хотя каждый раз при прорыве к гарнизону Куличек почти половина их погибала.

Немецкое командование полагало такое истребление противника экономичным. Для уничтожения гарнизона подошла артиллерийская часть, и все было подготовлено. Тщательно рассчитали, сколько нужно боеприпасов на соответствующую площадь, из скольких стволов они должны быть посланы, и орудия уже стояли в надлежащем порядке вокруг плацдарма. И все же, несмотря даже на то, что советский гарнизон не давал своим огнем германским частям продвигаться по шоссе, немцы медлили со штурмом, ожидая подхода танков.

Штейнглиц и Дитрих не сидели сложа руки. Они часто выезжали на огневые позиции, чтобы наблюдать за поведением противника, но так как специальности у них были разные, то и интересовали их разные стороны этого поведения.

Вайсу пришлось прервать труды в канцелярской палатке, чтобы сопровождать Штейнглица в его поездках.

Было известно, что советские танкисты в Куличках, когда у них иссякло горючее, закопали свои машины в землю. И никто не опасался внезапного прорыва танков со стороны окруженного гарнизона.

Но однажды ночью, когда Штейнглиц и Дитрих, как обычно, просматривали в стереотрубы с наблюдательного пункта специально оставленное дефиле, к которому исступленно и отчаянно пробивались сквозь пулеметный огонь разрозненные кучки советских солдат, вдруг в сторону шоссе, стреляя из пушки и пулемета, рванулся одинокий советский танк.

Тут же раздалась залпы, и точно пристрелянные по секторам батареи подбили танк.

Штейнглиц и Дитрих приказали солдатам взять у погибших танкистов документы. Они правильно рассудили, что для этой машины, очевидно, были собраны последние остатки горючего, и экипаж получил задание пробиться к более крупному советскому соединению не столько за помощью, сколько затем, чтобы получить приказ, как действовать гарнизону дальше: отступить или защищать этот плацдарм до конца.

Подобные приказы и запросы о них уже не однажды попадали в руки офицеров абвера. К тому же немецкие радисты много раз перехватывали в эфире обращения окруженного гарнизона к высшим штабам.

Солдаты, посланные к разбитому советскому танку, не смогли выполнить приказ: осажденный гарнизон открыл такой огонь, что трое немцев были тут же убиты, а двое, раненные, еле приползли обратно.

Из следующих пяти солдат не вернулся ни один.

Если осажденный гарнизон охраняет подбитый танк, не щадя даже драгоценных боеприпасов, значит, в нем есть документы, которые ни в коем случае не должны попасть в руки врагу.

Новую пятерку солдат заставили ползти к танку только под угрозой расстрела. И снова трое были сразу же убиты. Двое проползли не больше десятка метров и зарылись в болото, лежали, не смея поднять головы.

Небо, светящееся, звездное, заболоченная равнина в блесках бочагов, серебрятся кусты ивняка, тишина. А там, под пригорком, высится темная глыба двухбашенного советского танка в стальных рваных лохмотьях пробоин от немецких снарядов.

На НП, в чистеньком, аккуратном дзоте, обшитом светлым тесом, сидят на складных стульях немецкие офицеры. Ярко горит электрическая лампа, на столике суджик-термосы с горячим ужином, на коленях у офицеров бумажные салфетки, они едят и разговаривают о еде.

Армейский офицер почтительно слушает Штейнглица. Майор рассказывает об особенностях испанской, английской, французской, итальянской кухни. Рассказывает он подробно, с полным знанием всех кулинарных тонкостей. Он хорошо знает эти страны, был там резидентом.

Дитрих изредка лениво вставляет свои замечания. Он тоже знаток европейской кухни, даже более осведомлен, чем Штейнглиц: он много путешествовал и останавливался в лучших отелях. Штейнглиц не мог себе этого позволять. Ведь он бывал за границей не ради удовольствия — выполнял агентурные задания, работал. И всегда, даже осуществляя самые ответственные операции, стремился сэкономить в свою пользу возможно большую сумму из отпущенных ему на проведение той или иной операции средств. И когда готовился к операции, досконально продумывая все ее детали, он с не меньшей тщательностью прикидывал, как бы побольше выгадать для себя, хотя заранее был известен размер денежного вознаграждения, которое ожидает его по возвращении, и он всегда получал его от начальника второго отдела «Ц» либо наличными, либо в виде чека.

Армейский офицер сказал, что часа через два подойдет вызванный им танк и тогда можно будет приблизиться к подбитой советской машине, чтобы взять у мертвых танкистов документы. А пока остается только терпеливо ждать.

Вайс, как это стало теперь обычным, молча прислуживал офицерам. Менял тарелки, раскладывал мясо, наливал вино в походные пластмассовые стаканчики, резал хлеб, подогревал на электрической плитке галеты с тмином и консервированную, залитую салом колбасу в плоских банках. И, сноровисто делая все это, размышлял, как ему следует сейчас поступить. Полтора десятка немецких солдат не достигли цели, и мало шансов достичь ее. Риск очень велик. Имеет ли он право рисковать?

Ему говорили дома: твоя жизнь теперь не будет принадлежать тебе. Это не твоя жизнь, раз от нее может зависеть жизнь других. И если ты опрометчиво, необдуманно пойдешь навстречу гибели, то погибнешь не только ты, а, возможно, и еще множество советских людей: они станут жертвами фашистских диверсий, коварных замыслов, которые ты мог бы предотвратить. Жизнь хорошего разведчика порой равняется иксу, умноженному на большое число, а за ним — человеческие и материальные

ценности. Но если этот разведчик только и делает, что играет собственной жизнью, кичась своей личной храбростью, он ничего, кроме вреда, не принесет. Ведь сам по себе он ничего не значит, что бы там о себе ни воображал, какой бы эффектной, героической ни казалась ему собственная гибель. Разведчиком должен руководить глубоко и дальновидно оправданный расчет. И умная бездейственность в иных обстоятельствах несоизмеримо ценнее какого-нибудь поспешного и необдуманного действия, пусть даже весьма отважного на первый взгляд, но направленного на решение лишь ближайшей, частной задачи. И, необдуманно решившись на это действие, позабыв о главном, он перестает быть для противника опасным. Он становится мертвым советским разведчиком, а если попадет в руки врага живым, его будут пытаться, чтобы узнать обо всем, что связано с его прежними делами.

Как же должен в данной ситуации поступить Иоганн? Конечно, он может погибнуть, вызвавшись добраться до советского танка. Но не обязательно ведь он погибнет, скорее всего доползет, заберется в танк и уничтожит пакет, который, несомненно, передали одному из танкистов. Если гарнизон счел необходимым собрать все горючее, чтобы танк попробовал прорваться, если к нему, рискуя остаться без боеприпасов, не дают подойти, значит, пакет очень важный, от него зависит жизнь многих, наверно, не меньше чем тысячи советских солдат и офицеров. Значит, пропорции сейчас такие: один к тысяче.

И хотя Иоганну запрещено рисковать собой, при таком соотношении он, пожалуй, имеет право на риск. Есть еще одно обстоятельство, с которым он не может не считаться. Долготерпение его не безгранично. Сколько же можно созерцать с безучастным видом окровавленную, обожженную землю Родины, смотреть, как убивают советских людей, и угодливо прислуживать убийцам, так, будто ни о чем другом он и не помышляет! Он должен дать себе передышку, хоть на несколько минут вырваться из этого мучительно бездеятельного, медленного существования. Только несколько минут действия, и он снова обретет силу воли, спокойствие, способность к притворству. Несколько минут — это так немного, и потом он опять, как прежде, будет выжидать, выжидать бесконечно. Ну, может он себе это позволить? И ничего с ним не случится, он будет очень осторожен и сумеет доползти до танка. И не о себе одном он думает: он хочет уничтожить пакет, чтобы спасти людей.

Ну что тут плохого? Он уничтожит пакет и тут же вернется, и опять все пойдет по-прежнему. Нет, даже не по-прежнему: он станет еще изворотливее, еще хитрее, еще осторожнее и терпеливее.

Иоганн разложил на тарелке аккуратные кусочки горячей ветчинной колбасы и дымящийся картофель, разлил в пластмассовые стаканчики остатки коричневого рома, снял фартук, поправил пилотку.

— Господин майор, если я сейчас больше не нужен, разрешите мне взять документы из подбитого советского танка. — Все это он сказал таким тоном, каким спрашивал: «Вы позволите добавить соуса?»

Штейнглиц, по одному ему известным соображениям, не пожелал показать, как важна для него эта просьба. Что ж, солдат желает совершить подвиг — это естественно и даже обязательно для немецкого солдата. И майор, не поднимая глаз от тарелки, молча кивнул головой.

Иоганн снял со стены брезентовую сумку, из которой торчали длинные деревянные ручки гранат, каску и автомат армейского офицера, надел все это на себя и, козырнув, вышел из блиндажа.

20

Небо потускнело, заволоклось реденькими облачками, но блеклый свет его по-прежнему отчетливо освещал каждый бугорок. Было тихо, сонно, серо, уныло. Трава застыла в знобкой росе.

Иоганн внимательно осмотрел болото. До танка безопаснее добираться не по прямой, а зигзагами: от одной впадины до другой, от кочки к кочке, от бугорка к бугорку. Прикинул и запомнил ориентиры, чтобы не потерять направление.

Он пополз, как только миновал окоп боевого охранения, и, казалось, не к танку, а в сторону от него. Заставлял себя часто отдыхать, ползти медленно, извиваясь, как пресмыкающееся, вдавливаясь в землю, тереться лицом о траву. Приказывая себе бояться малейшего хруста веточки, еле слышного бряцания железа, каждого шороха, бездыханно замирать, как не замирает даже, пожалуй, самый последний трус, когда страх сводит его с ума. Но именно ум повелевал Иоганну вести себя так, как ведет себя человек, иступленно боящийся смерти. Иоганн тоже боялся, но

боялся не смерти: он боялся потерять жизнь, которая ему не принадлежала. У него было такое ощущение, будто он подвергает смертельной опасности не себя, а самого дорогого ему человека, жизнь которого несоизмеримо значительнее, важнее, чем его собственная. И вот этого очень нужно человека, человека, чья жизнь назначена для больших деяний, он подвергает опасности, и за это он отвечает перед всеми, кому жизнь этого человека дороже их собственной. Они доверили ее Иоганну Вайсу, а он не оправдал этого высокого доверия. И он дрожал за целостность этого человека и делал все, чтобы спасти его, уберечь от огромной опасности, которой подверг его Иоганн Вайс.

Он полз очень медленно, бесстыдно-трусливо, тщательно, опасливо выбирая малейшие укрытия. И, наверное, офицерам надоело следить за ним в стереотрубу, а Штейнглиц почувствовал даже нечто вроде конфуза: каким же трусом оказался его хваленый шофер! Конечно же, им надоело следить в стереотрубу за Вайсом, ползущим, как серая мокрица, за этим трусом, позорящим мундир немецкого солдата. И хорошо, как-то легче, когда за тобой не наблюдают.

Иоганн посмотрел на светящиеся стрелки часов. Оказывается, он только немногим более двух часов упорно и медленно волочит себя по болоту, делает бесконечные остановки и снова ползет в тишине, в сырости, в грязи. И тут раздался выстрел, первый выстрел, и всем телом Иоганн ощутил, как ударилась о землю пуля советского снайпера. А потом началась охота за Вайсом. Пока стрелял один снайпер, немцы молчали, но когда раздались короткие пулеметные очереди, на них, словно нехотя, ответили бесприцельными длинными очередями, а потом решительно стукнул миномет — один, другой.

Иоганн, уже собирая последние силы, зигзагообразными бросками все ближе и ближе подбирался к танку, и чем короче делалось расстояние до него, тем длиннее становились очереди советского пулемета. Иоганн увидел, как у самого его лица словно пробежали цепочкой полевые мыши — это очередь легла возле его головы. Он замер, потом стал перекашиваться, потом опять полз: бросок вправо, бросок влево, два броска влево, один вперед. Если ранят, лишь бы не в голову, не в сердце. Тогда он все-таки доползет и успеет сделать то, что он должен сделать.

И вот Иоганн лежит под защитой танка.

Пахнет металлом. В нескольких местах зияют рваные

пробоины, и из них кисло и остро тянет пороховым перегаром.

Передний люк открыт, из него свесилось неподвижное тело. Иоганн броском закинул себя в люк, пулеметная очередь безопасно ударила по броне, будто швырнули горсть гальки, но не успел он этого подумать, как боль обожгла его: пуля пробила ногу.

Иоганн не стал терять времени — он и потом успеет снять сапог, перевязать рану. Втянул мертвого танкиста в люк, быстро осмотрел его карманы. Пакета нет. У рычага скорчился еще один танкист — мертвый, залитый кровью. Светя себе в темноте зажигалкой, Иоганн обследовал и его карманы. Ничего, никаких бумаг. Может, в голенище? Иоганн склонился, вдруг железо скользнуло по его голове и обрушилось на плечо.

Иоганн действовал так, как его учили действовать в подобных обстоятельствах. Он не вскочил, хотя инстинкт повелевает человеку встречать опасность стоя, а умело свалился на спину, согнул ноги, прижал их к телу, чтобы защитить живот и грудь, и, вдруг выпрямив, с огромной силой нанес обеими ногами удар.

Боль в ключице и пробитой ноге на мгновение бросила его как бы в черную яму. Очнулся он от новой боли: кто-то, наверно оставшийся в живых танкист, бил его головой о стальную пол, пытался душить скользкими от крови руками. Иоганн оторвал от себя его руку, захватил под мышку и резко перевернулся, стараясь вывернуть руку из сустава. Теперь он лежал на танкисте, но задыхался, не мог произнести ни слова и отдыхал, чтобы вздохнуть, чтобы что-то сказать. Потом настойчиво, повелительно потребовал:

— Пойми! Я свой. — Вздохнув, Иоганн сказал: — А теперь слушай! — И стал отчетливо, словно диктуя, твердить: — Двадцать километров от Куличек на северо-запад Выселки, база горючего. — Потребовал: — Повтори! Ну, повтори, тебе говорят... И запомни. Теперь, где пакет? Ведь есть же пакет?

Танкист потянулся к пистолету.

Иоганн сказал поспешно:

— Не надо... Придет фашистский танк. Понял? Танк. Надо уничтожить пакет.

Танкист опустил пистолет.

— Ты кто?

Иоганн подал зажигалку:

— Жги.

Танкист отполз от Иоганна и, не опуская пистолета, вынул пакет, чиркнул зажигалкой, поднес пламя к пакету, спросил:

— А кто про базу сообщит?

— Ты!

— Значит, мне обратно, к своим?

Иоганн кивнул.

— А почему не с пакетом?

— Можешь не добираться, убьют, и пакет останется при тебе. Понятно?

Танкист, помедлив, вымолвил:

— У меня еще карта с нашими огневыми позициями и минным полем. Жечь?

— Давай ее сюда.

Танкист навел пистолет.

Иоганн спросил:

— А еще карта есть?

— Какая?

— Такая же, только чистая.

— Допустим...

Иоганн, не то кривясь от боли, не то усмехаясь, спросил:

— Не соображаешь? Наметим ложные поля и огневые позиции там, где их нет, и подбросим карту.

— Да ты кто?

— Давай карты,— потребовал Иоганн.— У тебя же пистолет!

Танкист подал планшет.

Иоганн вытер руки, приказал:

— Свети!

Расстелив обе карты, стал наносить на чистую пометки.

Танкист, опустив пистолет, следил за его работой. Одобрил:

— Здорово получается! — и снова спросил: — Да кто ты?

Иоганн одну карту сжег, а другую вложил в планшет и сказал танкисту, показав глазами на труп:

— Повесь на него планшет.

Танкист выполнил его приказание.

— А теперь, товарищ,— голос Иоганна дрогнул,— прощай...

Танкист шагнул к люку. Иоганн остановил его:

— Возьмешь с собой вот его.

— Да он мертвый.

— Метров сто протацишь, а потом оставь — немцы подберут. Так до них карта дойдет убедительнее.

— А ты? — спросил танкист.

— Что я?

— А ты как же?

Иоганн приподнялся, ощупал себя.

— Ничего, как-нибудь поползу.

— Теперь меня слушай, — сказал танкист. — Я поползу, ты — за мной, бей вслед из автомата. Картинка получится ясная. Может, встретимся. — И танкист снова повторил: — Так не хочешь сказать, кто ты?

— Не не хочу, а не могу. Понял?

— Ну что ж, товарищ, давай руку, что ли! — И танкист протянул свою.

Вылез из люка, вытянул тело погибшего товарища и пополз, волоча его на спине.

Через несколько минут Иоганн последовал за ним. Тщательно прицелился из автомата и стал бить чуть правее частыми очередями, успел даже кинуть в сторону гранату. А потом немцы открыли огонь — мощный, вступили минометные батареи, рядом разорвалась мина, горячий и какой-то тяжелый воздух подбросил Иоганна, швырнул, и нестерпимой болью хлынула жгучая, липкая темнота. Очевидно, уже обеспамятев, он все-таки приполз к танку, укрылся под его защитой.

21

Иоганна Вайса доставили в госпиталь с биркой на руке. Если бы не было рук, то бирку прикрепили бы к ноге. При отсутствии конечностей повесили бы на шею.

Как и всюду, в госпитале имелся сотрудник гестапо. Он наблюдал, насколько точно медики руководствуются установкой нацистов: рейху не нужны калеки, рейху нужны солдаты. Главное — не спасти жизнь раненому, а вернуть солдата после ранения на фронт. Раненый может ослабеть от потери крови, от страданий, кричать, плакать, стонать. Но при всем этом он прежде всего должен, обязан исцелиться в те сроки, в какие предусмотрено его выздоровление.

За медперсоналом наблюдал унтершарфюрер Фишер. За ранеными — ротенфюрер Барч.

Барч был совершенно здоров, но лежал неподвижно, как лежали все тяжелораненые. Потел в бинтах. Это была его

работа. Его перекладывали из палаты в палату, с койки на койку, чтобы он мог слышать, что в бреду несет фронтовик. Или что он потом рассказывает о боях.

Фишер ведал сортировкой раненых. Распределял по палатам, принимая во внимание не столько характер ранения, сколько информацию Барча о солдате. В отдельном флигеле, в палате с решетками на окнах, размещались раненые, приговоренные Фишером к службе в штрафных частях.

Фишер был бодр, общителен. Сытый, жизнерадостный толстяк с сочными коричневыми глазами. Всегда с окурком сигары в зубах.

Барч от долгого пребывания в госпитале, от унылой жизни без воздуха, от постоянного лежания, неподвижности был бледен, дрябл, слаб, страдал одышкой и привычной бессонницей. На лице у него застыло страдальческое выражение, более выразительное даже, чем у умирающих.

В офицерской палате забота о раненых определялась не ранением, а званием, наградами, родом службы, связями, деньгами. Там тоже были свой Фишер, свой Барч.

Временная потеря сознания таила смертельную опасность для Вайса. И, очнувшись, он даже не успел обрадоваться тому, что остался жив, его охватила тревога: не утратил ли он контроля над собой в беспамятстве, молчал ли? Но все как будто было в порядке.

Хирург осмотрел Вайса в присутствии Фишера, и тот бесстрастно осведомился, как желает солдат, чтобы его лечили:

— Немножко побольше боли, но быстрое исцеление, раньше на фронт, или побольше анестезии, но медленное выздоровление?

Вайсу было необходимо как можно скорее вернуться в свое спецподразделение, и он с подкупающей искренностью объявил, что мечтает быстрее оказаться на фронте. И Фишер сделал первую отметку в истории болезни Вайса, диагностируя его политическое здоровье.

Привычная наблюдательность Иоганна помогла ему сразу же определить истинные функции и Фишера и Барча.

И когда Барч стал страдальчески томным голосом советовать Вайсу, что следует проделывать, чтобы продлить пребывание в госпитале, Вайс выплеснул ему в лицо остатки кофе. И потребовал к себе Фишера. Но докладывать Фишеру не было необходимости. Увидев залитое

кофейной гущей лицо Барча, Фишер и сам все понял. Сказал Вайсу строго:

— Ты, солдат, не кипятись, Барч предан своему фюреру...

Теперь Иоганну не требовалось больше никаких улик: и с Фишером и с Барчем все было ясно.

Госпиталь выглядел примерно так, как поле после миновавшего боя, и отличался от него только тем, что все здесь было опрятным, чистеньким. Наблюдая за ранеными, слыша их стоны, видя, как страдают эти солдаты с отрезанными конечностями, искалеченные, умирающие, Иоганн испытывал двойственное чувство.

Это были враги. И чем больше их попадало сюда, тем лучше: значит, советские войска успешно отражают нападение фашистов.

Но это были люди. Ослабев от страданий, ощутив прикосновение смерти, некоторые из них как бы возвращались в свою естественную человеческую оболочку: отцы семейств, мастеровые, крестьяне, рабочие, студенты, недавние школьники.

Иоганн видел, как мертво тускнели глаза какого-нибудь солдата, когда Фишер, бодро хлопая его по плечу, объявлял об исцелении. Значит, на фронт. И если у иных хватало силы воли, несмотря на мучительную боль, засыпать, очутившись на госпитальной койке, то накануне выписки все страдали бессонницей. Не могли подавить в себе жажду жизни, но думали только о себе. И никто не говорил, что не хочет убивать.

Однажды ночью Иоганн сказал испытующе:

— Не могу заснуть — все о русском танкисте думаю. Пожилой. Жена. Дети. Возможно, как и я, до армии шофером работал, а я убил его.

Кто-то проворчал в темноте:

— Не ты его, так он бы тебя.

— Но он и так был весь израненный.

— Русские живучие.

— Но он просил не убивать.

— Врешь, они не просят! — твердо сказал кто-то хриплым голосом.

Барч громко осведомился:

— А если какой-нибудь попросит?

— А я говорю — они не просят! — упрямо повторил все тот же голос. — Не просят — и все. — И добавил зло: — Ты, корова, меня на словах не лови, видел я таких!

— Ах, ты так... — угрожающе начал Барч.

— Так, — оборвал его хриплый и смолк.

На следующий день, когда Вайс вернулся после перевязки в палату, на койке, которую занимал раньше солдат с хриплым голосом, лежал другой раненый и стонал то-ненько, жалобно.

Вайс спросил Барча:

— А где тот? — и кивнул на койку.

Барч многозначительно подмигнул:

— Немецкий солдат должен только презирать врагов.

А ты как думаешь?

Вайс ответил убежденно:

— Я своих врагов ненавижу.

— Правильно, — одобрил Барч. — Правильно говоришь.

Вайс, глядя ему в глаза, сказал:

— Я знаю, кому я служу и кого я должен ненавидеть. —

И, почувствовав, что не следовало говорить таким тоном, спросил озабоченно: — Как ты себя чувствуешь, Барч? Я хотел бы встретиться с тобой потом, где-нибудь на фронте.

Барч произнес уныло:

— Что ж, возможно, конечно... — Потом сказал раздраженно: — Не понимаю русских. Чего они хотят? Армия разбита, а они продолжают воевать. Другой цивилизованный народ давно бы уже капитулировал и приспособился к новым условиям, чтобы продлить свое существование...

— На сколько, — спросил Вайс, — продлевать им существование?

Барч ответил неопределенно:

— Пока что восточных рабочих значительно больше, чем нам понадобится...

— А тебе сколько их нужно?

— Я бы взял пять-шесть.

— Почему не десять — двадцать?

Барч вздохнул.

— Если б отец еще прикупил земли... А пока, мы рассчитали, пять-шесть хватит. Все-таки их придется содержать. У нас скотоводческая ферма в Баварии, и выгоднее кормить несколько лишних голов скота, чем лишних рабочих. — Похвастался: — Я окончил в тридцать пятом году агроэкономическую школу. Отец и теперь советуется со мной, куда выгоднее вкладывать деньги. В годы кризиса

папаша часто ездил шалить в город. — Показал на ладони: — Вот такой кусочек шпика — и, пожалуйста, девочка. Мать знала. Ключи от кладовой прятала. Отец сделал отмычку. Он и теперь еще бодрый.

— Ворует шпик для девочек?

— Взял двух из женского лагеря.

Вайс проговорил мечтательно:

— Хотел бы я все-таки с тобой на фронте встретиться, очень бы хотел...

Барчу эти слова Вайса не понравились, он смолк, отвернулся к стенке.

Во время операции и мучительных перевязок Иоганн вел себя, пожалуй, не слишком разумно. Он молчал, стиснув зубы, обливаясь потом от нестерпимой боли. И никогда не жаловался врачам на слабость, недомогание, не выпрашивал дополнительного, усиленного питания и лекарств, как это делали все раненые солдаты, чтобы отослать домой или продать на черном рынке. Он слишком отличался от прочих, и это могло вызвать подозрение.

Барч рассказывал, что в Чехословакии он обменивал самые паршивые медикаменты на часы, броши, обручальные кольца и даже покупал на них женщин, пользуясь безвыходным положением тех, у кого заболел кто-нибудь из близких. Медикаменты занимают мало места, а получить за них можно очень многое. Он сообщил Вайсу по секрету, что соответствующие службы вермахта имеют приказ сразу же изымать все медикаменты на захваченных территориях. И не потому, что в Германии не хватает лекарств, а чтобы содействовать сокращению численности населения на этих территориях. И Барч позавидовал своему шефу Фишеру, под контролем у которого все медикаменты, какие поступают в госпиталь: Фишер немалую часть из них сплавляет на черный рынок. На него работают несколько солдат с подозрительными ранениями — в кисть руки. Они знают, что, если утаят хоть пфенниг из его выручки, Фишер может в любой момент передать их военной полиции.

Потом Барч сказал уважительно, что никто так хорошо, как Фишер, не знает, когда и где готовится наступление и какие потери несет германская армия.

— Откуда ему знать? — усомнился Вайс. — Врешь ты все!

Барч даже не обиделся.

— Нет, я не вру. Фишер — большой человек. Он в соответствии с установленными нормами составляет список

медикаментов, необходимых для каждой войсковой операции, и потом отсылает отчет об израсходованных медикаментах, количество которых растет в соответствии с потерями. А также активирует не возвращенное госпиталям обмундирование.

— Почему невозвращенное? — удивился Вайс.

— Дурак, — сказал Барч. — Что мы, солдат голых хотим? У нас здесь не концлагерь.

Эта откровенная болтовня Барча исцеляюще действовала на Иоганна.

Заживление ран проходило у него не очень благополучно. Из-за сепсиса около трех недель держалась высокая температура, и он вынужден был расходовать все свои душевные и физические силы, чтобы не утратить в беспомощности той частицы сознания, которая помогала ему и в бреду быть абверовским солдатом Вайсом, а не тем, кем он был на самом деле. И когда температура спадала и он вырывался из небытия, у него почти не оставалось сил сопротивляться неистовой, все захватывающей боли.

Во время мучительных перевязок раненые кричали, визжали, выли, а некоторые даже пытались укусить врача, и это считалось в порядке вещей, и никто не находил это предосудительным.

Иоганн терпел, он с невиданным упорством сохранял достоинство и здесь, в перевязочной, когда в этом не было никакой необходимости. Как знать, может быть, эта бессмысленная борьба со страданиями имела смысл, ибо иначе Иоганн не чувствовал бы себя человеком.

И он стал медленно возвращаться к жизни.

Он уже не терял сознания, постепенно падала температура, с каждым днем все дальше и дальше уходила боль, прибывали силы, даже аппетит появился.

И вместе с тем Иоганна охватила изнуряющая подавленность, тоска. Война. В смертный бой с врагом вступили все советские люди, даже старики и дети, никто не щадит себя, а он, молодой человек, коммунист, валяется, не принося никакой пользы, на немецкой койке, и немецкие врачи возвращают его к жизни. Ничто ему здесь не угрожает, он лежит в теплой, чистой постели, сыт, за ним заботливо ухаживают, он даже в почете. Еще бы! Немецкий солдат-герой, побывавший в рукопашной схватке.

А тут еще Иоганн узнал от раненых, что гарнизон, окруженный в Куличках, был атакован после мощной артподготовки и полностью истреблен.

Значит, зря подвергал себя Иоганн смертельному риску.

Он поступил неправильно, никуда от этого не денешься, нет и не будет ему оправдания. Но откуда Иоганн мог знать, что, когда танкист, истекая кровью, дополз до своих, ему не довелось доложить начальнику гарнизона о том, что с ним произошло!

Обезоруженный, без пояса, он стоял, шатаясь, перед начальником особого отдела и молчал. Тот требовал признания в измене Родине: все, что ему говорил танкист, казалось неправдоподобным, представлялось ложью, обманом. Были факты, которые танкист не отрицал и не мог отрицать. Да, он встретился с фашистом. Да, и фашист его не убил, а он не убил фашиста. Да, он дал фашисту карту. Неважно какую, но дал. Где секретный пакет? Нет пакета. Одного этого достаточно. Потерял секретный пакет! Все ясно.

И танкисту тоже все было ясно — он хорошо сознавал безвыходность своего положения. И стойко принял приговор, только попросил не перемещать огневые позиции и минное поле. А когда понял, что к его словам по-прежнему относятся подозрительно, стал так униженно просить об этом, как слабодушные молят о сохранении им жизни.

Эта последняя просьба танкиста была выполнена, но вовсе не потому, что ему поверили: просто не осталось времени переменить огневые позиции.

Немцы начали артподготовку, и система их огня в первые же минуты открыла многое начальнику особого отдела: упорно минуя наши огневые позиции, немцы били по тем участкам, где не стояло ни одной батареи. Вслед за артподготовкой началась танковая атака, и танки пошли в атаку прямо на минное поле.

И особист понял, что осудил на смерть невинного человека, героя. И немец, о котором тот говорил, наверно, вовсе не немец, а такой же чекист, как и он, и, выполняя свой долг, доверился танкисту ради того, чтобы ввести в заблуждение врага и спасти гарнизон.

Когда фашисты ворвались в расположение гарнизона, начальник особого отдела, лежа у пулемета, отстреливался короткими, скуными очередями. Потом бил из пистолета. Последний патрон, который мог ему принести избавление, он, аккуратно целясь, израсходовал на врага.

Когда израненного начальника особого отдела приволокли в контрразведку, он думал только о том, чтобы не

потерять сознание на допросе и толково сделать то, что он решил сделать: отвести опасность от героя-разведчика.

Капитан Дитрих допрашивал особиста, применяя те методы, которые считал наиболее эффективными. Сначала особист расчетливо молчал: ведь иначе его слова показались бы недостаточно правдоподобными. Признание должно у него вымучить, вот тогда в него поверят. И у него долго и тщательно вымучивали признание. Наконец, когда особист почувствовал, что его страдания становятся невыносимыми и он может умереть, так и не сказав того, что он считал необходимым сказать, ради чего он пошел на эту двойную муку, он сделал признание, которого от него добивались. Сказал, что направил танк во вражеский тыл с целью дезинформации: вручил командиру карту с ложными обозначениями огневых позиций и минного поля, чтобы тот подбросил эту карту противнику. Но, когда танк подбили, командир погиб. А планшет его, в котором была карта, надел один из танкистов. Какой-то смелый немецкий солдат забрался в танк, вступил в бой с экипажем, но был убит. Единственный оставшийся невредимым танкист взвалил на себя раненого товарища, у которого был планшет с картой, и пополз обратно, к своим. Но огонь был очень сильный, танкист испугался и бросил раненого, даже не снял с него планшет, за что и был расстрелян.

На этот допрос Дитрих пригласил и Штейнглица. И Штейнглиц деловито помогал добиться от особиста признания. Потом послали солдата проверить показания, и солдат доложил, что в указанном месте действительно закопан труп расстрелянного танкиста.

И оба офицера убедились, что пленный сказал им правду.

Пока проверяли его показания, особист успел несколько прийти в себя. А когда снова приступили к допросу, он набросился на Дитриха и впился зубами ему в щеку, успев подумать, что этот женственный, изящный контрразведчик должен дорожить своей внешностью. И Дитрих, яростно защищаясь, выхватил пистолет и в упор застрелил особиста, чего тот и добивался.

Штейнглицу было не до ссоры с Дитрихом, хоть тот и уничтожил опрометчиво столь ценного пленника. Сейчас они должны были держаться друг за дружку. Ведь они оба поверили дезинформации противника и оба в равной мере отвечают за это. Тут уж не до ссор, надо быстрее выпутываться. И, пожалуй, даже лучше, что пленный мертв. Нет

никакой нужды записывать его показания. Не сговариваясь, они написали совсем другое: после того, как карта попала в руки немцев, противник изменил расположение огневых позиций и переминировал поле. Вот что показал пленный. И эти его «показания» оба абверовца скрепили своими подписями, что одновременно надолго скрепило их теперь уже вынужденную дружбу.

Что касается Вайса, то с ним все было ясно: за свой несомненный подвиг солдат заслуживает медали и звания ефрейтора. А с общевойсковым командиром, руководившим уничтожением окруженного вражеского гарнизона, договориться нетрудно, с ним можно поладить.

Если бы армейский генерал доложил, что абверовцы Штейнглиц и Дитрих поверили дезинформации противника, не предотвратили его замысла, то в отместку они могли лишить генерала лавров победителя, сообщив куда следует, что разгром вражеского гарнизона надо приписать не оперативному опыту генерала, а отсутствию такового у противника. И если генерал собирается и дальше продвигаться по вражеской территории подобными методами, то есть бить по участкам, где не было ни одной батареи, ни одного пулемета, то ему следует руководить не войсковой частью, а похоронной командой.

Справедливо оценив «полезную» работу Штейнглица и Дитриха и выслушав в ответ эту их контраргументацию, генерал счел наиболее благоразумным представить обоих абверовцев к награде. И Штейнглиц, пользуясь случаем, расхвалил генералу подвиг своего шофера. Ибо только этот подвиг и был несомненным во всей этой сомнительной истории, и поощрение шофера как бы озаряло ореолом достоверности награду Штейнглица.

После того как Фишер зачитал приказ о награждении Вайса медалью и присвоении ему звания ефрейтора, отношения Иоганна с Барчем приобрели более доверительный характер.

Фишер, собирая нужные сведения, то и дело перемещал Барча с койки на койку, из одной палаты в другую, чтобы он всегда был в курсе умонастроения того или иного раненого.

Но Барч отупел от длительного лежания, и ему было трудно составлять письменные отчеты. И когда выяснилось, что у ефрейтора абвера Вайса не только отличный

почерк, но и хороший слог, Барч считал возможным использовать его в качестве своего помощника по письменной части.

Ночью санитары перекладывали Вайса и Барча на больничные носилки и привозили в пустую палату, специально отведенную для того, чтобы там можно было побеседовать без свидетелей. Встав с носилок и с наслаждением разминаясь, Барч говорил Вайсу, о чем следует писать в отчетах, причем каждый раз подчеркивал, что фразы должны быть не только красивыми, но и энергичными. Он даже заказал особую дощечку, чтобы Вайсу удобнее было писать лежа. И вот Иоганн лежал на своих носилках и писал за Барча рапорты, положив бумагу на эту дощечку. Постепенно их роли стали меняться. Вайс говорил, что ему нужны материалы более разностороннего характера, чем те, какие сообщал ему Барч, иначе он не сумеет хорошо составить отчеты о плодотворной работе политической администрации госпиталя. Возможно, эти материалы и не интересовали начальство Фишера, но они нужны были Александру Белову.

Еще более полезные сведения почерпнул Иоганн, беседуя с ранеными. В госпитале лежали солдаты самых различных родов войск. Соседями Иоганна по палате были солдаты метеорологической службы и бортмеханик с бомбардировщика. И вот из разговоров с метеорологами Иоганн понял, что немцы педантично увязывают с состоянием погоды действия не только авиации, но и мотомеханизированных частей. По тому, откуда были срочно затребованы прогнозы погоды на той или иной территории, можно было точно установить направление предполагаемых наступательных операций. Немцы забрасывают метеорологов-разведчиков в наши тылы — особенно много в те районы, на которые нацелены удары. Узнал все это Вайс, нарочно разозлив солдат своими насмешками. Говорил, что ни к чему метеорологам боевое оружие. Вместо автоматов их надо вооружить зонтиками. Следовало бы также отобрать у них пистолеты, а кобуру оставить — пусть хранят в ней термометры, и каски надо отобрать — их с успехом заменят на головах ведра водомеров. И вообще, для чего нужна эта метеослужба? Разве только для того, чтобы офицеры и генералы знали, когда им следует брать плащи, выходя из дому, а когда не следует.

Слушать все это раненым было обидно, и они очень обстоятельно защищали свою профессиональную воинскую честь, доказывая Вайсу, как он ошибается, недооценивая

роль метеорологической службы в победах вермахта. И чем убедительнее они опровергали Вайса, тем лучшее представление он получал о немецкой системе метеослужбы.

Не оставлял Вайс вниманием и своего ближайшего соседа по койке, бортмеханика. Постоянной заботой, предупредительностью он так расположил к себе этого угрюмого и замкнутого человека, от которого прежде никто и слова не слышал, что тот понемногу разговорился. Вайс оказался внимательным, терпеливым и сочувствующим собеседником и смог многое выведать у бортмеханика.

Бомбардировщик «Ю-88», на котором летал бортмеханик, возвращаясь после операции, разбился за линией своих войск, потому что в баках не хватило горючего.

Справочные данные германских военно-воздушных сил о дальности полетов бомбардировщиков не соответствуют действительным возможностям самолетов.

Но никто не решается внести исправления в справочники, поскольку шеф авиации Геринг — второе лицо в империи. Боевые вылеты планируются по утвержденным Герингом справочникам, и экипажи вынуждены брать меньшую бомбовую нагрузку, чем полагается, или же сбрасывают бомбы, не долетев до цели. Только отдельные, самые опытные экипажи, виртуозно экономя горючее, могут выполнять задание с положенной бомбовой нагрузкой. Все об этом знают, и теперь решено располагать аэродромы ближе к линии фронта, чтобы иметь возможность обрушивать бомбовые удары на глубокие тылы. Прицельное бомбометание с пикирующих бомбардировщиков хорошо обеспечивает успешные действия наземных войск, но подготовка штурманов и пилотов для пикировщиков занимает много времени. К тому же для стратегического поражения больших площадей нет нужды в прицельном бомбометании. Вот генштаб и решает сейчас, как быть: выпускать больше тяжелых бомбардировщиков или же создать бомбы огромной разрушительной силы? По-видимому, склоняются к тому, что необходимо создать адскую бомбу, которая заменит тысячи обычных.

Все это Вайс выведал не сразу, а постепенно, изо дня в день осторожно играя на самолюбии бортмеханика.

Сначала он сочувственно заметил, что понимает состояние бортмеханика: ведь это позор — шлепнуться на своей территории, да еще после того, как бомбардировщик невредимым ушел и от зенитного огня, и от советских истребителей. И бортмеханик, защищая собственную честь, очень

толково объяснил Вайсу, почему его самолет потерпел аварию.

О том, где базируются аэродромы бомбардировщиков, Вайс узнал следующим образом. Как-то в палате зашел разговор о преимуществах тыловиков. И Вайс громко позавидовал бортмеханику. Как хорошо, безопасно служить в бомбардировочной авиации, ведь она базируется в глубоком тылу да еще вблизи населенных пунктов, не то что истребители: те всегда ближе к линии фронта. И бортмеханик сейчас же и очень доказательно опроверг Вайса.

В другой раз Вайс, проявив глубокую осведомленность в военной истории чуть ли не с древних времен, увлекательно рассказал о вековой борьбе между снарядами и броней. Бортмеханик не пожелал остаться в долгу и продемонстрировал не менее глубокие познания в области авиации. Развивая мысль о закономерностях противоречий между способами воздушной транспортировки и средствами разрушения, он рассказал о двух направлениях в современной авиационной стратегии и объяснил преимущества и недостатки каждого из них. Сам он считал более перспективной бомбу — бомбу гигантской разрушительной силы. Если же ее не удастся создать, победят сторонники бомбардировщика, способного нести большое количество обычных бомб.

Словом, Вайс трудился, и небезуспешно, всеми способами наводя собеседника на определенные высказывания так же, как штурман наводит самолет на определенную цель.

Но всем этим его деятельность не ограничивалась. Вайс постарался, чтобы Фишер узнал, кто сочиняет за Барча отчеты таким отличным слогом и переписывает их не менее прекрасным почерком, и вскоре получил поручение, которого и добивался. Теперь он помогал Фишеру составлять отчеты об израсходованных медикаментах и требования на перевязочные средства и медикаменты для полевых госпиталей в соответствии с масштабами намечаемых командованием боевых операций.

Ничто не придает человеку столько душевных и физических сил, как сознание, что он живет, трудится не зря. Постепенно Вайс перешел в разряд выздоравливающих, стал даже понемножку подниматься с койки, а потом и ходить.

Здесь, в госпитале, пока он лежал на своей чистой постели, Иоганн получил любопытные сведения. И получил их без особых усилий, находясь в условиях почти комфор-

табельных. А его так называемое «прикрытие» было настолько прочным и убедительным, что он чувствовал себя как бы защищенным непроницаемой броней. Не раз он вспоминал о своих прозорливых наставниках, которые утверждали, что результаты работы разведчика сказываются не сразу. Но какое нужно феноменальное, ни на секунду не ослабляемое напряжение воли, всех духовных, человеческих качеств, чтобы талантливо пользоваться любыми, даже самыми тончайшими особенностями обстановки, в которой живет, действует, борется разведчик!

Но как бы ни были мудры наставники, наступает момент, когда следовать их советам становится очень трудно, и тогда возникает самая большая из всех опасностей, с которыми сталкивается разведчик.

Эта опасность — нетерпение.

Собраны драгоценные сведения, и необходимо как можно скорее передать их своим. Нет больше сил хранить их, ведь они так важны для победы, ведь они нужны людям сегодня, сейчас!

Вот это мучительное нетерпение стало, как огонь, жечь Иоганна, и чем больше он накапливал материалов, чем они были значительнее, тем сильнее сжигало его душу нетерпение.

И опять он как бы слышал простуженный и такой родной голос Бруно, его последние слова, его завещание: «Что бы ни было — вживаться».

Вживаться... И опять приходила нескончаемая бессонная ночь, и Иоганн, чтобы избавиться от искушения, снова и снова повторял то, чему учили его наставники.

Разведчик — прежде всего исследователь, он должен видеть взаимосвязь частного и общего, уметь обобщать отдельные явления, чтобы предвидеть возможность наступления вытекающих из них событий. Всякая случайность связана с необходимостью, случайность — форма проявления необходимости. Поэтому так важно видеть связь и взаимодействие явлений. Без отдельного, единичного нет и не может быть общего. Всеобщее существует лишь благодаря единичному, через единичное. Но и единичное, отдельное — лишь часть общего и немислимо вне общего. Эффектная гибель не всегда подвиг для разведчика. Подвиг в том, чтобы вжиться в жизнь на вражеской стороне. Разведчик — чувствующая, мыслящая сигнальная точка, частица общей сигнальной системы народа, он призван предупреждать о тайной опасности, о коварном замысле

врага, предупреждать удары в спину. Центр, коллективный орган исследования, обобщая и анализируя частные сведения, поступающие от разведчиков, устанавливает главную опасность и вырабатывает тактику ее предотвращения.

Кладискательский метод не годится для разведчика. Ведь за случайную находку часто приходится расплачиваться жизнью, а гибель разведчика — это не только утрата одной человеческой жизни, это угроза многим другим человеческим жизням, не защищенным от опасности, может быть, и их гибель.

И когда выбывает один, только один разведчик, тот участок, на котором он работал, становится неизвестным Центру, и, значит, нельзя предотвратить опасность, тающую на этом участке. Иоганн не имеет права самостоятельно распоряжаться своей жизнью, что бы им ни руководило. Ведь то, в чем он видит главное, в общем масштабе, возможно, только частность, и притом далеко не решающая.

Так думал Иоганн, мучимый бессонницей, но не находил покоя. И его по-прежнему сжигало нетерпение. А тут еще он получил ответ на свои две открытки, которые послал из госпиталя фрау Дитмар. В ее письме, полном ахов и охов по поводу всего с ним случившегося, не было и намек на то, что хоть кто-нибудь справлялся у нее о Вайсе.

Неужели после гибели Бруно связь со своими оборвалась?

Никогда Иоганн не предполагал, что добытые разведчиком сведения могут причинять ему такие страдания. И как невыносимо тяжело хранить их втуне. И какое нужно самообладание, чтобы неторопливо, медленно, осмотрительно искать способ передачи этих сведений. И что найти этот способ порой труднее, чем добыть драгоценные сведения.

Он чувствовал себя как подрывник, успешно заложивший мину под вражеские укрепления, но в последние секунды вдруг обнаруживший, что шнур где-то оборвался и для того, чтобы произвести взрыв, остается только поджечь шнур в непосредственной близости от мины и, значит, погибнуть. А на это Иоганн не имел права.

22

В палате, где лежал Иоганн, появился недавно ефрейтор Алоис Хаген.

Говорили, что пулевое ранение он получил не на фронте, а в Варшаве. Вместе с эсэсовскими ребятами он

преследовал партизан в городе. Одному из красных все-таки удалось скрыться. Хагену он сделал в ногу дырку, когда тот его уже почти настиг. Иоганн слышал, как эсэсовцы, доставившие в госпиталь ефрейтора, расхваливали храбрость Хагена, проявленную им во время преследования партизан.

Этот Хаген был идеальным образцом нордического типа арийца. Атлетического сложения, с длинным лицом, светлыми, холодными глазами. Держал он себя вызывающе нагло. Самовлюбленный, как Нарцисс, он без конца смотрелся в зеркальце, капризно требовал, чтобы его лечили особо тщательно, добился повышенного рациона и не разрешал закрывать форточку, чтобы в палате всегда был приток свежего воздуха.

Часто у койки Хагена раздавался женский смех. Он любезничал с сестрами, сиделками, лаборантками — всех женщин, независимо от возраста, называл сиффидами. Считал это «пруссским комплиментом».

Когда Фишер, широко улыбаясь, приступил к опросу Хагена, чтобы выяснить некоторые моменты его биографии, неясно обозначенные в анкете, которую тот небрежно заполнил, Хаген, не отвечая, в упор уставился на Фишера, внимательно разглядывая его. Потом так же молча раздвинул циркулем указательный и средний пальцы и, словно делая какой-то промер, прикоснулся к его носу, ушам, лбу, подбородку.

Фишер спросил изумленно:

— У вас температура?

Хаген бросил презрительно:

— У тебя не кровь, а коктейль. — Сощурившись, осведомился: — Как это ты с такими ушами и носом словчил проскочить мимо расового отдела? — Он снисходительно похлопал Фишера по колену и успокоил: — Ладно, живи. — Приказал, будто перед ним сидел подчиненный: — Чтобы всегда был одеколон, я не выношу, когда воняет сортиром. — И отвернулся к стене.

От койки Хагена Фишер отошел на цыпочках.

Коротенький, короткорукий, с отвислым пузом и приплюснутой головой, растущей, казалось, прямо из жирных плеч, с темной, как у фюрера, прядью, начесанной на астматически выпуклый, табачного цвета глаз, Фишер знал, что ему не пройти даже самой снисходительной экспертизы в расовой комиссии. А ведь до пятого колена, известного семейству Фишеров, все они были чистокровные

немцы. И за что только природа так зло наказала его, не снабдив явными биологическими признаками расовой принадлежности арийца? И ростом он не вышел, и волосы у него не белокурые, и глаза не голубые. А уж о форме носа, ушей, черепа и говорить не приходится. Правда, если бы он меньше жрал, то мог бы похудеть, и тогда, пожалуй, у него бы появилось какое-то сходство с фюрером. Да, с самим фюрером! Ну а вдруг Хаген действительно заявит в расовую комиссию, что тогда? Посмотрят на него и скажут: «Фишер не ариец». Вот и начинай доказывать. Докажешь. А пятно все же останется: подозрение-то было!

И Фишер мудро решил не раздражать этого Хагена, терпеть его наглость: ведь фюрер тоже когда-то был ефрейтором. Хаген — образец арийца. Он может кого угодно обвинить в расовой неполноценности. А это не менее опасно, чем обвинение в измене рейху. Но, если отбросить биологические факторы, Фишер чувствовал себя подлинным арийцем, арийский дух был в нем силен, он его проявлял в обращении с ранеными. Если солдат не мог отвечать на вопросы стоя, то Фишер заставлял его отвечать сидя.

Особенно часто Хаген делал «пруссские комплименты» обер-медсестре фрейлейн Эльфриде, которая гордо, как шлем, носила копну своих рыжих волос. Халат в обтяжку столь выгодно подчеркивал все женские прелести обер-медсестры, что у некоторых солдат при взгляде на нее бледнели носы.

Хаген громко объявил фрейлейн Эльфриде, что, повинаясь воле фюрера, он готов выполнить свой долг — умножить с ее помощью число настоящих арийцев. Прищурясь, оглядел ее и строго сказал:

— Да, пожалуй, нам стоит поработать для фатерланда.— И приказал: — Вы мне напомните об этом, когда я буду уже на ногах.

Он так повелительно обращался с Эльфридой, что та по его требованию, вопреки правилам, принесла ему в палату мундир и все снаряжение.

Хаген совершенно спокойно повесил китель на спинку стула. Сапоги поставил под койку, бриджи аккуратно положил под матрац, а парабеллум, небрежно оглядев, сунул под подушку. Объяснил не столько Эльфриде, сколько своему соседу по койке, страдающему колитом, сотруднику роты пропаганды, который не раз упрекал Хагена, что тот совсем не читает:

— «Как только я слышу слово «интеллект»,— Хаген

цитировал Ганса Иоста, руководителя фашистской палаты по делам литературы, — моя рука тянется к спусковому крючку пистолета». — И, не отводя мертвенно-прозрачных глаз от тощего лица фашистского пропагандиста, похлопал по подушке, под которую сунул парабеллум.

Этот прусский красавец-наглец вызывал у Иоганна дрожь ненависти. Он старался поменьше бывать в палате, хоть ему и трудно было надолго покидать постель. Он уходил в коридор и часами оставался там, только бы не видеть омерзительно красивого лица Хагена, не слышать его голоса, его хвастливых рассуждений.

По-видимому, Иоганн тоже не вызывал у Хагена симпатии. Правда, когда какой-то генерал в сопровождении свиты посетил госпиталь, и ему представили Хагена, и генерал любовался Хагеном, как породистой лошастью, и Хаген, как лошадь, хвастливо демонстрировал себя, ибо все в нем было по арийскому экстерьеру, по пропорциям соответствующей таблицы, Хаген доложил, что ефрейтор Вайс — тоже отличный экземпляр арийца, хоть и несколько помельче. И Вайс тоже удостоился благосклонного генеральского кивка.

Иоганн заметил, что Хаген исподтишка наблюдает за ним и, завязав беседу, не столько вдумывается в слова, которые произносит Вайс, сколько внимательно вслушивается в то, как он эти слова произносит.

И Вайс, со своей стороны, украдкой тоже пристально наблюдал за Хагеном. Лицо пруссака всегда оставалось недвижимым, мраморно-холодным, а вот зрачки... Следя за выражением глаз Хагена, Вайс заметил, что его зрачки то расширяются, то сужаются, хотя освещение палаты не менялось. Значит, пустая болтовня с Вайсом чем-то возбуждает, волнует Хагена. Чем же?

Вайс держал себя с предельной настороженностью. И скоро убедился, что и Хаген также настороженно относится к нему. Хаген совсем поправился, ходил по палате и коридорам. Очевидно, его не выписывали из госпиталя потому, что обер-медсестра приняла меры, чтобы подольше задержать здесь этого красавчика с фигурой Аполлона и волнистыми белокурыми волосами, которые он иногда милостиво разрешал ей причесывать. Возможно, он выполнил свое обещание: Эльфрида теперь, млея от счастья, с рабской покорностью выполняла все, что шепотом приказывал ей этот проходимец.

Иоганн уже давно мог ходить, но был очень слаб и,

чтобы быстрее окрепнуть, стал тайком заниматься зарядкой по утрам, когда все еще спали. И попался.

Однажды он, как обычно, в предутренних сумерках старательно делал на своей койке гимнастические упражнения, и вдруг его охватило ощущение какой-то неведомой опасности. Иоганн замер и тут же встретился взглядом с Хагеном: тот тоже не спал, лежал, опираясь на локоть, и внимательно следил за Иоганном. Лицо его было суровым, но не презрительным, нет, скорее, пожалуй, дружественным.

Иоганн, испытывая непонятное смятение, отвернулся к стене, закрыл глаза...

Весь день Хаген не обращал на Иоганна внимания. А вечером, когда курил у открытой форточки, вдруг сказал ему с какой-то многозначительной интонацией:

— Вайс, закури-ка офицерскую сигарету. Я хочу повысить тебя в звании. — И протянул сигареты.

Иоганн подошел, наклонился, чтобы вытащить сигарету из пачки, но Хаген в этот момент почему-то резко поднял руку, в которой держал сигареты, прижал к плечу. Вайс недоуменно уставился на Хагена, и в ответ тот отчетливо и сердито прошептал по-русски:

— Зарядка не та. Система упражнений у немцев, возможно, другая... — Похлопал Вайса по плечу, спросил громко: — Ну что? Скоро будем лакомиться в Москве славянками?... — Расхохотался. — У них, говорят, обувь сплетена из коры. Представляю их ножищи!

В палату вошла обер-медсестра. Хаген шагнул к ней, небрежно подставил выбритую щеку. Эльфрида благоговейно приложила к ней губами, засияла всем своим сытым, молочно-белым лицом.

После этого случая Хаген избегал не только говорить с Вайсом, но и встречаться с ним взглядом, даже не смотрел в его сторону.

Кто же он, этот Хаген? Провокатор, которому поручено изблечить Вайса и передать гестапо? Значит, Хаген или опытный шпион, или...

Сколько ни размышлял Иоганн, как ни наблюдал за Хагеном, установить он ничего не мог и жил теперь в постоянном тревожном ожидании.

Хаген уходил с вечера, возвращался в палату на рассвете и спал до обеда. И Эльфрида, откинув всякий стыд, требовала, чтобы все соблюдали полную тишину, когда спит ефрейтор Хаген.

Так прошла неделя. И тут Хаген вдруг сказал Иоганну, что его Эльфрида добыла коньяк и приглашает их обоих поужинать.

Вечером он без стука открыл дверь в комнату Эльфриды, она с нетерпением ждала за накрытым столом. Уселись. Эльфрида с молитвенным благоговением смотрела на своего повелителя, который командовал здесь так, как ефрейтор командует солдатами на плацу. Но, выпив, Хаген смягчился и, положив руку на колено Эльфриды, с томной нежностью разрешил ей перебирать его пальцы. А сам предался воспоминаниям, растроганно вспоминал школьные годы. Он рассказывал о своем учителе Клаусе, высмеивал его привычки, манеру разговаривать, поучать, повторял его любимые изречения. И громко хохотал, но при этом серьезно поглядывал на Вайса, словно ожидая от него чего-то, словно Иоганн должен что-то понять.

И вдруг Иоганн понял. Вовсе не о каком-то там Клаусе говорит Хаген, а о начальнике отдела Барышеве. Ну да, о нем! Ведь это его манеры и привычки. Он всегда режет сигарету пополам, чтобы меньше курить. У него когда-то было прострелено легкое. И это же его афоризм: «Вечными бывают только автоматические ручки, но и те отказывают, когда нужно расписаться в получении выговора». Он всегда говорит: «Понятие долга — это и сумма, которую ты занял и должен вернуть, и то, что ты обязан сделать, чтобы быть человеком, а не просто фигурой с погонами». А это его самое любимое: «Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер...»

Иоганн взволнованно, радостно даже перебил Хагена и заключил:

— «Посеешь характер — пожнешь судьбу».

Но Хагену не понравилась чрезмерная поспешность Иоганна. Взглянув исподлобья, он предложил:

— Давай пить. — И упрекнул Эльфриду: — Могла бы пригласить какую-нибудь, хотя бы фольксдойч. А то сидит ефрейтор, глядя на тебя, облизывается.

Эльфрида поспешно вскочила. Хаген удержал ее:

— Ладно уж, в следующий раз...

Через некоторое время, почувствовав себя лишним, Иоганн поднялся из-за стола. Хаген сказал:

— Подожди, вернемся в палату вместе.

Потом они вдвоем ходили по госпитальному двору: солдат внутренней охраны, которому Хаген отдал недопитый коньяк, разрешил им погулять.

Алексей Zubов принадлежал к тем счастливым натурам, чье душевное здоровье уже само по себе окрашивает жизнь в радужные тона.

Уверенный в том, что жизнь есть счастье, движимый любопытством и любознательностью, он испробовал немало профессий.

Едва лишь объявлялась мобилизация на какую-нибудь стройку, он первым вызывался ехать туда, на самый трудный ее участок, увлеченный жаждой новых мест, проверкой самого себя на прочность.

Но как только стройка утрачивала характер героического штурма и период лишений и трудностей оставался позади, он начинал томиться, скучать и перебирался на новый объект, где обстановка первозданности требовала от каждого готовности к подвигу.

Природный дар общительности, искренняя доброжелательность, приветливость, умение легко переносить невзгоды и трудности, самоотверженное отношение к товарищам и полное пренебрежение к заботам о собственных благах быстро завоевывали ему уважительное расположение людей, которым он дорожил больше всего на свете.

Он был правдив до бестактности и в этом смысле безжалостен к себе и другим. И если когда и терял власть над собой, то лишь в столкновениях с грубой ложью; тут ярость овладевала им, исступленная, гневная, отчаянная.

Он пылко поклонялся тем, чья жизнь казалась ему высоким образцом служения долгу.

При всем этом он был снисходителен к людским слабостям и всегда умел видеть их смешные стороны.

Как многие юноши его возраста, он полагал, что жизнь, которой он живет, со всеми ее удобствами и благами, уготована ему революционным подвигом старшего поколения, перед которым он за это в долгу.

Около двух лет Zubов трудился на тракторном заводе, где в одном из цехов выпускали танки. Здесь он работал под началом бригадира, немца-политэмигранта, который его школьные познания в немецком языке довел до степени совершенства. Он сумел передать своему способному ученику все тончайшие оттенки берлинского произношения. И теперь сам наслаждался, слушая его безукоризненную немецкую речь.

Свое стремление изучить немецкий язык Zubов объяснял тем, что Германия — одна из самых высоко технически развитых стран, значит, у нее сильный рабочий класс,

а если рабочий класс силен, значит, Германия стоит на пороге революции, и поэтому надо как можно скорее изучить язык своих братьев по борьбе за социализм. В этом убеждении Зубова всемерно поддерживал его бригадир, пророча в самое ближайшее время революционный взрыв в Германии. В возможность такого взрыва верили многие, что объясняло и моду советской молодежи тех лет — юнгштурмовку, и увлечение песнями Эрнста Буша, и распространенность приветствия поднятым вверх сжатым кулаком — «Рот фронт!», и твердую надежду на то, что Тельман победит.

Родители Зубова: отец — завхоз больницы, который во время гражданской войны в возрасте девятнадцати лет уже командовал полком, и его мать — фельдшерица, в те же годы и в том же возрасте уже занимавшая пост председателя губисполкома, — считали Алексея чуть ли не недорослом за то, что он как будто вовсе не стремился к высшему образованию.

Призванный в Красную Армию, Зубов поступил курсантом в школу пограничников. Потом служил в звании лейтенанта на том погранпункте, через который проходили эшелоны с немецкими репатриантами из Латвии. В последнем из эшелонов находился и Йоганн Вайс.

Начальник погранпункта и присутствовавший при этом Бруно дали понять Зубову, что это «особенный немец», и еще тогда, на пограничном посту, лишь мимоходом глянув, Зубов запомнил его лицо. Он узнал Вайса в госпитале, но долго не показывал ему этого, проявив тем самым большое самообладание и выдержку...

На рассвете, в утро нападения гитлеровцев на нашу страну, Зубов находился в секрете. Он вел бой до последнего патрона, и, когда пограничная полоса уже была захвачена врагом, он очнулся после контузии, причиненной ручной немецкой гранатой.

Была ночь, но небо, казалось, корчилося в багровых судорогах отсветов пожаров. Горько пахло гарью, сгоревшей взрывчаткой. Железным обвалом гулко катились по шоссе, по проселкам вражеские моторизованные части.

Оглушенный, в полусознании, Зубов уполз в лесок, где скрывались еще несколько раненых пограничников и девушка-санинструктор. На рассвете санинструктор увидела, как по шоссе движутся две полуторки, в которых сидят в чистеньких, новеньких мундирах наши пехотинцы.

Санинструктор выбежала на шоссе и остановила маши-

ны. Но это были не наши бойцы. Это было подразделение бранденбургского полка, специально предназначенного для выполнения провокационно-диверсионных акций в тылу нашей армии.

Командир подразделения, любезно улыбаясь санинструктору, взял с собой нескольких солдат, пошел с ними в лес, где лежали раненые, неторопливо побеседовал с ними, испытывая явное удовольствие от безукоризненно точного знания русского языка. А потом отдал приказ застрелить раненых, как он объяснил санинструктору, из гуманных соображений, чтобы избавить их от страданий.

Зубов спасся только потому, что лежал в некотором отдалении от общей группы раненых, внезапно скованный шоком, вызванным контузией.

Командир подразделения бранденбургского полка не позволил своим солдатам безобразничать с девушкой-санинструктором, а аккуратно выстрелил ей в затылок, отступив на шаг, чтобы не забрызгаться.

В отуманенном сознании Зубова, временно утратившего слух, все это происходило в беззвучной немоте. И это беззвучие еще усугубляло страшную простоту убийства, которое совершалось на его глазах.

Это убийство, которое совершилось так просто, спокойно, почти беззлобно, мимоходом, потому что было лишь докучной обязанностью этих торопящихся на другое убийство людей, вошло в сердце Зубова как ледяная игла, замораживающая то, что прежде составляло его естественную сущность и было свойственно его душевно здоровой человеческой природе.

Несколько дней Зубов отлеживался в лесу. Потом у него хватило сил убить зашедшего в кусты по нужде немецкого военного — полицейского, оставившего велосипед на обочине.

Зубов переоделся в его мундир, ознакомился с документами и, сев на велосипед, покатил по дороге, но не на восток, а на запад.

Все это дало Зубову несомненное право одиночного бойца действовать на собственный страх и риск. Благодаря своей нагловатой общительности и самоуверенности, он свободно передвигался в прифронтовом тылу.

Вначале он только приглядывался, развязно вступал в разговоры с целью выведать, есть ли у встретившегося ему немца хотя бы тень горестного ощущения своего сопричастия к преступлению, и, не обнаружив таковой, с хо-

лодным самообладанием, осмотрительностью, продуманным коварством вершил суд и расправу. Так что немало его собеседников удалились в мир иной, с мертво застывшими от изумления перед внезапной смертью глазами.

Зубов искусно пользовался нарукавными повязками, снятыми им с убитых немцев: дорожной службы, контрольно-пропускного пункта, регулировщика.

Если в легковой машине было несколько пассажиров, он ограничивался тем, что почтительно козырял, проверяя документы. Во всех других случаях, не успевая погасить вежливой улыбки, мгновенно нажимал на спусковой крючок автомата...

Как-то он обнаружил советского летчика, выбросившегося с парашютом из горящего самолета.

Отругав летчика за то, что тот в десятилетке плохо учился немецкому языку, заставил его затвердить фразы, необходимые при обращении нижнего чина к старшим по званию, передел в немецкий солдатский мундир. И теперь уже имел своего подчиненного.

Вдвоем они выручили от патруля польского учителя, неудачно бросившего самодельную бомбу: не сработал взрыватель.

Потом они добрались до Белостока, где жили родственники учителя, по пути пополнив компанию советским железнодорожником — накануне гитлеровского нападения он сопровождал в Германию грузы в соответствии с торговым договором.

В целях сбережения личного состава и в связи с его культурной отсталостью — так шутливо оценивал Зубов незнание немецкого языка своими соратниками — рекогносцировки и отдельные операции в Белостоке он первое время проводил самостоятельно.

Будучи отличным бильярдистом (в клубе на заставе имелся бильярдный стол), Зубов стал не только завсегдатаем Белостокского казино, но приобрел славу как мастер высшего класса. Удостаиваясь партии с офицерскими чинами, деликатно щадя самолюбие партнеров, подыгрывал им, что свидетельствовало о его воспитанности и принималось с признательностью.

Как-то его вызвал на бильярдный поединок офицер роты пропаганды барон фон Ганденштейн.

Выигрывая каждый раз контровую партию, Зубов довел своего партнера до такой степени иступления, что ставка в последней партии выросла до баснословной суммы.

Эффектным ударом небрежно положив последний шар в лузу, Зубов осведомился, когда он сможет получить выигрыш.

Барон располагал многими возможностями для того, чтобы мгновенно убрать на фронт младшего полицейского офицера. Но проигрыш! Это долг чести. Здесь требовалась высокая щепетильность. Канонами офицерской касты неплата проигрыша считалась не меньшим позором, чем неотмщенная пощечина.

Зубов предложил барону дать ему в счет выигрыша, вернее, взамен него, должность начальника складов роты пропаганды, которую по штатному расписанию имел право занимать только офицер — инвалид войны.

Барон приказал оформить Зубова и пренебрег тем, что отсутствует его личное дело, так как Зубов объяснил, что за ним числится по военной полиции небольшой грешок — присвоение некоторых ценностей из имущества жителей прифронтовой зоны. А здесь, в роте пропаганды, он собирается начать новую, чистую жизнь.

Тонко проиграв фон Ганденштейну во втором турнире, осчастливив барона титулом чемпиона Белостокского гарнизона и удостоившись за это его дружбы, Зубов оказался все-таки человеком неблагодарным. Когда барон получил назначение на пост коменданта концлагеря, Зубов вызвался проводить его к новому месту службы, куда тот так и не прибыл...

Пожалуй, неуязвимость Зубова, действующего столь дерзко в немецком окружении, заключалась в том, что он и здесь не утратил ни своей жизнерадостности, ни обворожительной общительности, ни того душевного здоровья, которое сопутствовало ему даже в самые трагические моменты жизни.

Он так непоколебимо был убежден в справедливости и необходимости того, что делает, что ни один из поступков не оставлял терзающих воспоминаний в его памяти и нисколько не тревожил его совесть.

Например, проводя вечер с сотрудником гестапо в казино, Зубов с аппетитом ужинал, ему нравился вкус вина, которое они пили, и то приятное, возбуждающее опьянение, которое это вино вызывало.

Он с интересом, с неизменной любознательностью слушал рассказ офицера, сына помещика, о жизни в богатом

поместье, и представлял ее мысленно такой, как о ней рассказывал гестаповец, и думал, как это интересно — ловить форель в холодной, стремительной горной реке, пахнущей льдом.

И когда офицер, говоря о своей любви к животным, рассказывал, сколько страданий доставила ему гибель чистопородного быка-производителя, в стремительном беге раздробившего череп о трактор, Зубов вообразил себе этого могучего быка, в последнем смертном усилии лижущего выпадающим языком сердобольную руку хозяина.

Гестаповец жаловался, что по роду службы он вынужден применять некоторые насильственные меры во время допросов. Это он-то, с его чувствительным сердцем! Отец однажды, когда он был еще мальчиком, позволил себе выпороть его, и от такого унижения он чуть было не наложил на себя руки. И вот теперь это чудовищное занятие, бессонница, брезгливое содрогание при виде крови!

Зубов спросил:

— Но если вам это не нравится, зачем вы это делаете?

— Это мой долг,— твердо сказал сверстник Зубова в звании гестаповца.— Это долг всей нашей нации — утверждать свое господство, тяжелый, неприятный, но высший долг во имя достижения великих исторических целей.

Этот гестаповец был сбит насмерть автомашиной невдалеке от своего дома, где он прогуливался в позднее время, страдая бессонницей после казни на базарной площади нескольких польских подпольщиков.

Досадливо морщась, Зубов сказал своим соратникам, удачно осуществившим эту нелегкую операцию:

— Конечно, следовало бы пристукнуть хотя бы гауптштурмфюрера, командующего казнью, а не этого унтерштурмфюреришку. Но зачем он фотографировался под виселицей рядом с казненным? Врал — переживает... Нет, это идейная сволочь, и я с ним поступил правильно, принципиально.

Пятым членом группы стал немец-солдат со склада музыкального инвентаря роты пропаганды.

Покойный приятель, унтерштурмфюрер СС, посоветовал Зубову быть осторожным с этим солдатом, сказав, что в самые ближайшие дни он подпишет приказ об аресте этого подозрительного типа, возможно, коммуниста, скрывающегося от гестапо на службе в армии.

...Убедить немецкого коммуниста, опытного конспира-

тора в том, что Зубов — советский офицер, стоило большого труда.

Зубову пришлось выдержать серьезный экзамен, давая самые различные ответы, касающиеся жизни Советской страны, пока этот немец не убедился в том, что Зубов не провокатор.

Именно Людвиг Куперт придал действиям самодеятельной партизанской группы более организованный, плановый и целеустремленный характер.

Взрыв двух воинских эшелонов.

Поджоги складов с провиантом.

Было высыпано по полмешка сахарного песка в автоцистерны с авиационным бензином, следствием чего явилась авария пяти транспортных четырехмоторных «юнкерсов».

Все это были плоды разработки Людвиг Куперта.

И, наконец, нападение на радиостанцию, окончившееся гибелью группы, за исключением самого Зубова.

Но здесь вины Людвиг не было. Случайность, которую невозможно предусмотреть: монтер ремонтировал прожектор и, отремонтировав, направил луч света не на внешнее ограждение, для чего был предназначен прожектор, а во внутрь двора, и в белом толстом столбе холодного, едкого света отчетливо стал виден офицер охраны, лежащий ничком на камнях, и двое солдат охраны, стоящих лицом к стене, раскинув руки в позе распятых на кресте. А позади них — Людвиг с автоматом.

Зубов получил легкое ранение, но, изображая преследователя диверсантов, счел целесообразным прибавить к огнестрельному ранению контузию с потерей дара речи и способности двигать ногами, тем более что с этим состоянием он был уже знаком.

Он позволил уложить себя на носилки, оказать первую помощь, а потом, в связи с подозрением в повреждении позвоночника, не возражал, чтобы его доставили во фронтовую госпиталь, где он пользовался немалым комфортом.

Зубов проявлял в своих действиях исключительное бесстрашие. Кроме всего прочего, был еще один момент, объясняющий это его свойство.

Он внушил себе, что, стоя на материалистических позициях, он обязан относиться к возможно очень близкой своей смерти как к более или менее затянувшемуся болевому ощущению, после чего наступит его собственное персо-

нальное *ничто*. Вроде как бы внезапный разрыв киноленты, когда механик не успевает включить свет и вместо изображения на экране — темнота в зале, и ты уходишь в этой темноте. Повреждение устраняется, и все без тебя досматривают жизнь на экране.

Как бы оправдываясь за подобные мысли, он, бывало, говорил своим соратникам:

— Что же, я не имею права на самоутешительную философию? Имею! Зачеты я здесь не сдаю. Отметки никто не ставит. Умирать неохота. А незаметно для себя выбыть из жизни — это другое.

Как-то Зубов познакомился на улице с хорошенькой полькой, настолько изящной и миловидной, что он, скрывая от товарищей, стал ухаживать за ней.

Задорная, остроумная, она увлекла Зубова, и вот однажды вечером, когда он провожал ее, она остановилась возле развалин какого-то дома и, сказав, что у нее расстегнулась подвязка, пошла в развалины, чтобы поправить чулок. Зубов решил последовать за ней, и тут на него набросились двое юношей, а девушка пыталась его задушить.

Спасаясь от засады, он позорно бежал, и вслед ему стреляли из его же пистолета.

Зубов вспоминал об этом приключении с восторгом и с грустью. С восторгом потому, что девушка, по его мнению, оказалась настоящей героиней, а с грустью потому, что если раньше испытывал к ней чисто визуальное, как он объяснял, чувство нежности, которое способна внушить каждая хорошенькая девушка, то теперь не на шутку тосковал, считая, что безвозвратно потерял гордое, чистое создание, достойное благоговейного поклонения.

Людвиг, врачую травмы Зубова, полученные в борьбе с молодыми польскими патриотами, вздыхая, говорил:

— Это был бы предел парадоксальной глупости, если бы вас, советского офицера, задушили борцы польского народа. И я считаю, что вы за свое легкомыслие заслуживаете более памятных отметок на теле, чем те, которые получили. — Произнес иронически: — Вы забыли о том, что быть немецким оккупантом не только заманчиво, но и в высшей степени опасно для жизни. И ваша собственная, уже немалая практика служит этому несомненным доказательством.

Зубов отличался бестрепетным самообладанием, сочетавшимся с самозабвенной, наглой дерзостью.

Когда он узнал, что в казино готовится банкет в честь

немецкого аса, бросившего на Москву бомбу-торпеду, Зубов отправился в гостиницу, где остановился этот летчик, долго, терпеливо дожидаясь его в вестибюле и, когда летчик вышел, последовал за ним. Представился, попросил дать автограф.

Бумажку с автографом отнес Людвигу, и тот, подделав почерк аса, написал записку, адресованную устроителю банкета, где просил извинить его: присутствовать на банкете он не сможет, так как получил приказ немедленно отбыть на фронт.

Явившись в назначенный час, летчик не нашел ни устроителей банкета, ни роскошного банкетного стола.

Возмущенно отвергнув поползновение приветствовать его со стороны других офицеров, уходя, он встретил у вешалки Зубова, и от Зубова, как от своего верного поклонника, снисходительно принял предложение развлечься в частном доме.

Зубов вез офицера в потрепанном малолитражном «опель-кадете». Извинившись за непрезентабельную машину, Зубов выспрашивал летчика о его героическом полете. И позволил себе усомниться в разрушительной силе взрыва. Летчик сказал, что специально совершил небезопасный круг, чтобы удостовериться и полюбоваться тем, что торпеда достигла цели, и теперь он один из немногих, кому поручено совершать такие налеты на Москву с применением этого дорогостоящего, но столь эффективного средства разрушения советской столицы.

Зубов притормозил машину, закуривая и давая закурить асу. Потом, разведя руками, сказал:

— Ничего не поделаешь, в таком случае я вынужден вас убить. — И добавил, наставив пистолет: — Ничего не поделаешь — война насмерть. — И, уже нажимая спусковой крючок, добавил: — А вы не солдат, а преступник!

Вернулся к своим соратникам Зубов бледным, угрюмым, как никогда. Не мог заснуть, всю ночь сидел на койке, беспрестанно курил, пил воду. Впервые пожаловался, что у него сдали нервы, и вдруг объявил, что будет пробираться к своим, чтобы воевать нормально, как все, а больше он так не может...

Польский учитель Бронислав Пшегледский молча слушал Зубова, не возражая ему.

На следующее утро он сказал, что хочет познакомить его с одним человеком, с которым Зубову необходимо встретиться для того, чтобы принять окончательное решение.

Этим человеком оказался бывший совладелец фармацевтической фирмы, пожилой юркий человечек с прямым пробором посередине клинообразной головы и тоненькими, тщательно подбритыми усами.

Памятуя о том, что ему следует больше молчать, а всю беседу проведет с этим человеком Пшегледский, Зубов молча слушал их.

Прежде всего этот человек заявил, что предлагаемый Пшегледским товар он должен испытать сначала на собаке. И строго предупредил, что действие его должно сказаться на животном через три минуты максимум. Что доставка в лагерь и в гетто такого товара сейчас крайне затруднена. Но он главным образом ориентируется на клиентуру гетто, где людям есть чем платить, и потребители в силу все увеличивающейся жестокости режима в особенности интересуются детскими дозами: во-первых, они дешевле, а во-вторых, взрослые могут обойтись и веревкой, броситься на охранника, чтобы таким способом избежать дальнейших страданий, а дети не могут.

Но какие-то спекулянты-мошенники продавали для гетто подделки, химическую дрянь, которая действовала или крайне медленно, или вовсе не приводила к летальному исходу, не вызывая ничего, кроме безрезультатных страданий. Поэтому клиенты должны иметь выборочно из каждой десяти доз одну бесплатную, чтобы кто-нибудь из желающих мог проверить ее на себе. Тогда только платят за остальные девять.

Кроме того, он предупреждает, что в концлагерях люди могут платить ерунду, гроши. И если он переправляет туда некоторое количество доз, то только из милосердия к страдальцам.

Поэтому пусть польский пан и его друг немецкий офицер поймут, что на этом не заработаешь. Человечек сокрушенно развел чистенькими ручками с отшлифованными ногтями.

Потом Пшегледский сказал Зубову, что этот человечек, с которым они познакомились, — один из крупных спекулянтов ядами. Что сейчас таким промыслом занимается немалое число ему подобных, сбывая яды главным образом в гетто и Треблинские лагеря уничтожения «А» и «Б», где раздетых догола мужчин, женщин и детей загоняют в камеры с поднятыми руками, чтобы уплотнить человеческую массу, подлежащую удушению.

И Пшегледский посоветовал:

— Чтобы ваше решение не было ошибочным, а всесторонне продуманным, я настоятельно рекомендую вам посетить Треблинку «А» или «Б» по вашему усмотрению. И только после этого решить, какие способы борьбы с врагом могут считаться приемлемыми и какие нет.

Зубов увидел однажды, как из вагона прибывшего из Голландии эшелона выталкивали досками пачки слипшихся мертвых тел. Оставшиеся в живых едва могли шевелиться и, понуждаемые побоями, еле доползли к грузовикам, принадлежащим хозяйству концлагеря.

И теперь, возвращаясь усталый после очередной операции к себе на базу, валясь на койку, Зубов прочно засыпал и не видел больше тревожащих душу снов.

Щеголеватый, добродушный на вид, атлетически сложенный белокурый ариец — Зигфрид, как прозвали его приятели, немецкие офицеры в казино, — Алексей Зубов вновь обрел нагловатую самоуверенность кичащегося своей внешностью истинного арийца. И цинично подсмеивался в кругу поклонников над своей жалкой, подобающей инвалиду должностью начальника складов роты пропаганды. Он говорил, что в интересах рейха — сохранять его как производителя для пополнения потомства будущих владык мира.

И все же по краям его мягкого, но четко очерченного рта легли две продольные жесткие морщины, некогда задорно светящиеся глаза поблекли и приобрели серый металлический оттенок, на висках обозначилась яркая седина, которая шла ему, но была настолько преждевременной, что можно было подумать: этот юноша, пышущий здоровьем, пережил первое потрясение или тяжелую душевную травму.

Один из младших офицеров зондеркоманды, доктор Ротенбург, объясняя Зубову сущность исторической миссии германской империи, сказал:

— Мы должны быть сильными и во имя этого обессилить все другие нации. Доброта — признак слабости. Проявление доброты со стороны любого из нас — предательство. И с такими нужно расправляться, как с предателями. Людьми управляет страх.

Все, что способно вызвать страх, должно служить рейху так же, как страх смерти служит первоосновой для религиозных верований.

Мы открыли величайший принцип фюреризма. Фюрер — вершина, мы — ее подножие, и в полном подчинении

воле одного — наша национальная сила. Уничтожение евреев — только акция проверки национального самосознания каждого из нас, своеобразная национальная гигиена...

Мы хотим сократить число потребителей ценностей. Чтобы раса господ стала единственным их потребителем, а остальные народы только производили для нас эти ценности. В этом высшая цель, освобождающая нас от всех нравственных предрассудков, стоящих на пути к достижению этой цели.

— Ладно, пусть так, — согласился Зубов. — Ну, а если вас лично убьют? Как вы относитесь к такой возможности?

Ротенбург сказал:

— Вам известно, я сам умею убивать. Полагаю, что я сумею умереть за фюрера с полным достоинством.

Но Ротенбург солгал: он умолял, ползал у ног Зубова, когда, отправившись с ним в загородную прогулку, узнал, кто он, этот Зубов, и выслушал его приговор...

— Как же так, — с усмешкой сказал ему Зубов, — вы говорили «идейный, сумею умереть за фюрера» — и вдруг так унижаетесь. Вот сейчас я вас убью. Так скажите, за что вы отдаете свою жизнь. Ну!..

Кроме мольбы о пощаде Зубов ничего не услышал от доктора Ротенбурга.

А как его боялись все офицеры Белостокского гарнизона — этого красноречиво философствующего, фанатичного наци, любителя казней женщин, утверждавшего, что первородная женская стыдливость у приговоренных настолько велика, что, даже стоя у рва, они пытаются закрыть себя руками не столько от пуль, сколько от взглядов исполнителей казни.

Он хвастал перед фронтовиками, утверждая, что в совершенстве знает все способы умерщвления. И доктору Ротенбургугодились его знания. За минуту до смерти он умолял Зубова выстрелить ему в затылок и показал рукой, куда следует стрелять, зная по опыту, что точное попадание в это место не сопровождается длительной агонией.

После гибели своих соратников во время налета на радиостанцию Зубов остался один.

Лежа в госпитале, он вначале пожалел, что на нем был ефрейторский мундир, а не офицерский. Тогда бы он находился в офицерской палате, где, очевидно, лучше уход

и лечение. Он хотел как можно быстрее стать на ноги, чтобы продолжать свой поединок с врагом.

Он снисходительно разрешил обер-сестре влюбиться в себя, одержимый одной мыслью: пользуясь ее заботами, быстрее выздороветь.

Узнав Белова (его не раз поминал Барышев в цикле лекций, прочитанных в школе пограничников), он терпеливо дожидался момента, чтобы открыться ему, проявляя при этом ту же исключительную выдержку, которая сопутствовала ему и в подвигах.

Но, выслушав Зубова, Белов не одобрил многое из того, что тот успел совершить.

— Извини, — сказал насмешливо Зубов, — я человек справедливый. Чего заслужили, за то и получили.

Белов посмотрел на небо, светящееся кристаллами звезд, на бледное лицо Зубова с жесткими морщинами в углах рта. Спросил задумчиво:

— А когда война кончится? Ты кем будешь?

Зубов опустил глаза, ковырнул носком ботинка землю, сказал угрюмо:

— По всей вероятности, почвой, на которой будет расти что-нибудь такое подходящее. — И тут же предупредил: — Но, пока я жив, я бессмертный. Такая у меня позиция. С нее я и стреляю.

— Один ты.

— Верно, солист, — согласился Зубов, — выступаю без хора.

— Нельзя об этом так говорить.

— А как можно? Как? — рассердился Зубов. — Нет таких слов, чтобы об этом говорить. Нет, и надо надеяться, что их никогда потом не будет.

— Но мы-то будем!

— Мы будем. Правильно. А насчет себя и тебя не уверен. Такое обязательство на себя не беру — выжить.

На госпитальном дворе лежала черная, мертвая, опавшая листва с каштанов, с крыши капало. Эти тяжелые холодные увесистые капли словно отстукивали время. Небо было сырым, тяжелым, низким. Возле дощатого сарая стояли гробы, накрытые брезентом.

Поеживаясь, Зубов сказал:

— Ну, пошли. Зябко, боюсь, простужусь. Болеть глупо. Мне здесь каждый час моей жизни дорог. — И добавил заботливо: — И ты себя должен беречь, даже, может быть, больше, чем я себя.

Вернувшись в палату, они молча улеглись на свои койки.

Теперь Зубову нужно было уходить. Гестаповцы уже наведывались в госпиталь, но Эльфрида не хочет отпускать его. Он сказал ей, чтобы она составила акт о его смерти. Ни к чему оставлять за собой следы.

Вайс дал Зубову явку в Варшаве. Спросил:

— Запомнил?

Зубов сказал, обидевшись на такой вопрос:

— Возможно...— И протянул руку.

— Уходишь?

Зубов кивнул.

Отсутствие Хагена обнаружилось только к вечеру.

Фишер, злорадствуя, деловито допрашивал раненых. Потом Эльфриду.

Эльфрида сказала, что Хаген был выписан еще накануне. А ночью за ним прислали машину, из гестапо, но не для того, чтобы арестовать: гестаповский офицер поздоровался с Хагеном за руку и обнял его. То же самое подтвердил и ефрейтор Вайс, зная, что эту версию Эльфриде рекомендовал Зубов. Эльфрида была готова на все ради Хагена и последнее время обращалась к нему только так: «Мой бог!»

Он снова один среди врагов, снова обречен на бездействие, должен вживаться в чуждую ему, омерзительную жизнь. И ждать, готовить себя к выполнению того задания, ради которого его сюда направили. Он верил, что это задание будет необыкновенно важным, значительным. Он не мог думать иначе. Только эта уверенность придавала ему душевные силы. Фашистские газеты и журналы были полны фотографий. Захваченные советские города. Пожарища. Разрушенные здания. Казни народных мстителей. Виселицы. И трупы. Всюду трупы. Трупы мужчин, женщин, стариков, детей. И над всем этим фашистские знамена со свастикой, будто чудовищный, ненавистный паук впился в русскую землю. И он, Александр Белов, должен спокойно смотреть на эти снимки. Ему хорошо: он полеживает на мягкой постели, его вкусно и сытно кормят, за ним заботливо ухаживают эти самые фашисты, и он один из них. И еще долго должен оставаться таким, как они. И чем он от них неотличимее, тем лучше он выполняет свой долг.

В госпиталь начали поступать танкисты с черными ожогами третьей степени. Их с каждым днем становилось все больше. Танкисты жаловались, что, когда они, считая себя в полной безопасности, «врезались в мягкое брюхо» советских пехотных частей, солдаты забрасывали их машины бутылками с горючей жидкостью. Мешки с этими бутылками висят на поясе у каждого солдата, и они охотятся за танками, повинуюсь какому-то азарту, а не логике ведения войны. Ведь пехотная часть при соприкосновении с мотомеханизированной частью, безусловно, должна признать свое поражение.

Так же, не считаясь с правилами ведения боя, поступают советские артиллеристы: они на руках выкатывают орудия на открытые позиции впереди пехоты и прямой наводкой бьют по танкам.

Но раз уж они так действуют, надо к ним приноравливаться. Немецкие автоматчики должны идти в атаку не позади, а впереди танков, чтобы охранять их от пехотинцев, вооруженных бутылками с горючей жидкостью, и выбивать прислугу артиллерийских батарей. Это каждому ясно, но это не соответствует ни немецкому уставу, ни привычке немецких солдат — атакуя, надежно защищаться броней.

В первые дни войны советские пехотинцы бегали от немецких танков, а теперь они бегут на немецкие танки с гранатами и бутылками. И такая тактика врага не только неожиданна, но и непонятна. Ведь фюрер объявил, что Советская Армия уже разгромлена, а солдаты этой разгромленной армии, то ли не зная, то ли не желая знать об этом, дерутся так, будто каждый из них в одиночку может победить армию противника. Русские не хотят признавать или не понимают, что потерпели поражение. И это их заблуждение приносит значительные потери немецким войскам, одержавшим победу...

Слушая такие рассуждения танкистов, Иоганн старался навести их на разговор о том, почему Германия за полтора месяца разгромила вооруженные силы Голландии, Бельгии, Франции, нанесла поражение английским экспедиционным войскам, а тут, в отсталой стране, — и вдруг встретила такое сопротивление.

— Наверно, — предположил он, — это потому, что там, в Европе, были хорошие дороги, а в России — плохие.

Танкисты презрительным молчанием встретили это соображение Вайса.

Тогда он сказал, что надо вооружить немецкую пехоту бутылками с горючей смесью, раз эти бутылки так эффективны.

Но и эти его слова были встречены все тем же презрительным молчанием. Только один танкист, весь обожженный, забинтованный, как мумия, спросил глухо:

— А ты бы лег с миной под советский танк? — Голос его звучал как из мягкого гроба.

Вайс заявил гордо:

— Если мне лично прикажет фюрер!

— Врешь, не ляжешь! А они бросаются на танки и под танки без приказа, самовольно.

— Возможно, от отчаяния, — сказал Вайс.

— От отчаяния не на танк бросаются, а от танка, — просипел забинтованный. — Они дерутся за свою землю так, будто эта земля — их собственное тело.

Иоганну очень хотелось увидеть лицо танкиста, скрытое сейчас бинтами. Какой он? Но даже если снять бинты, лица не увидишь — оно сожжено. Что-то он понял, этот танкист, и, наверно, мог бы сказать больше об этой войне и о советских солдатах.

Иоганн знал, что Геринг, назначенный в 1936 году генеральным уполномоченным по четырехлетнему плану, осуществил полную милитаризацию всех немецких промышленных предприятий. Жестокое законодательство казарменно закрепило рабочих на заводах и фабриках. Фашистские специальные службы бесноводно расправлялись с теми, кто пытался отстаивать даже минимальные рабочие права. Геринг заявил, что не остановится перед «применением варварских методов», и не останавливался: за невыполнение нормы обвиняли в саботаже и бросали в концлагеря, штурмовики и эсэсовцы прямо в цехах убивали профсоюзных деятелей, рабочих-активистов.

Окровавленный, замученный, загнанный фашистским террором рабочий класс Германии! Какой он сейчас? Иоганн очень хотел знать это. Может быть, танкист с обожженным лицом — рабочий. Но поговорить с ним больше не удалось. Кто-то из раненых донес на опаленного огнем человека и Фишер перевел танкиста во флигель с зарешеченными окнами. Очевидно, оценку танкистом противника посчитали недооценкой победоносной мощи вермахта. Но

в этом человеке Иоганн ощутил черты той Германии, в честь которой советская молодежь носила юнгштурмовки. В этой Германии была Баварская советская республика 1919 года, Красная армия Мюнхена, доблестно сражавшаяся в апреле 1919 года. Ее сыны дрались в рядах испанских республиканцев. Она дала миру Карла Либкнехта, Розу Люксембург, Эрнста Тельмана. Это была Германия революции, Германия любви и надежд советского народа. И, может быть, танкист в запеченных кровью бинтах был из той Германии, которую чтит Александр Белов?

Так хотел думать Иоганн, и так он думал об этом танкисте.

Тучная, но удивительно проворная, с пышными медными волосами и нежными коровьими глазами, обер-медсестра Эльфрида несколько раз зазывала к себе Вайса, чтобы поведать ему свою бабью тоску: ведь Иоганн был другом Хагена.

Вайс осторожно осведомлялся, как ведет себя Фишер после исчезновения Алоиса Хагена.

Эльфрида беспечно отвечала:

— Как всегда. — И передразнивала: — «А ну, крошка, перешагнем государственные границы приличия!»

— Фишер твой любовник?

— Ах, нет, что ты! — возмутилась Эльфрида. — Просто я ему оказываю иногда любезность. Да и к тому же, — она понизила голос, — он мог бы надеть мне кучу неприятностей.

— Каким образом?

Эльфрида будто не расслышала вопроса и перевела разговор на другое:

— Ах, Иоганн! Теперь, когда всех немок мобилизовали на принудительные работы и во вспомогательные части, мужчины заходят в женские казармы, в общежития, на предприятия, как в бордель. Одним женщинам, может, это и нравится — так выражать свой патриотизм, а другие боятся быть привередливыми. Тем более что фюрер благословил нас на все, кроме, конечно, связей с унтерменшами. — Воскликнула негодуя: — Я бы на месте Гимmlера приказала привезти в рейх туземок с новых территорий, чтобы наши мужчины посещали их за небольшую плату в пользу местных муниципалитетов. Ведь фюрер говорил: «Я должен предоставить рабочему, зарабатывающему деньги, возмож-

ность тратить их, если он ничего не может на них купить, для поддержания в народе хорошего настроения».

— У тебя голова министра!

— Ах, Иоганн, я не могу думать о нашей морали. Немецких женщин, оторвав от семьи, в принудительном порядке заставили отбывать трудовую повинность, а мужчины принуждают их выполнять и другие повинности... Ведь, в конце концов, и я когда-нибудь выйду замуж. И если мой муж окажется не национал-социалистом, он просто не оценит тех жертв, которые я здесь приношу.

— А Алоис?

— О, это совсем другое дело! Он был слишком почтителен ко мне, когда мы оставались наедине, а этого вовсе не требуется. И к тому же я, наверное, никогда больше не увижу его.

Эльфрида заплакала. Пожаловалась сквозь слезы:

— А ведь он мог бы жениться на мне. Я из очень приличной семьи. Мой отец — деревенский пастор. Отец умолял меня не вступать в «гитлерюгенд», а я вступила. И сразу же наш юнгфюрер пристал ко мне. Грозил донести, что отец дружит с каким-то евреем. Я испугалась. А потом юнгфюрер посмеялся надо мной и сказал, что этот еврей Христос.

— Как же нам теперь быть? — спросил Иоганн.

— А что случилось? — встревожилась Эльфрида.

— Да с Христом: он же действительно еврей.

— Ах! — воскликнула горестно Эльфрида. — Я сейчас думаю не о Христе, а об Алоисе.

— Что такое?

Эльфрида наклонилась к уху Иоганна, прошептала:

— К нам сюда привезли полумертвого советского летчика. У него нет ног, рука раздавлена. Но его обязательно нужно было оживить. Ему огромными дозами впрыскивали тонизирующее, все время вливали кровь и глюкозу.

— Зачем?

— Ну как ты не понимаешь! Он летал на новой советской машине, а когда самолет подожгли, он нарочно разбил его, и теперь нельзя узнать, что это была за машина.

— Значит, его хотели оживить только для того, чтобы узнать, какая это была машина?

— Ну конечно!

— При чем же здесь Алоис?

Эльфрида смутилась, побледнела так, что на ее щеки и руках проступили веснушки.

— Когда я дежурила у постели летчика, Алоис пробрался ко мне.

— И что же?

— Он приказал мне выйти, сказал, что будет говорить с летчиком.

— Да?

— И летчик ему признался.

— Отлично! Молодец Алоис!

— Теперь Алоис может сообщить штабу ВВС о новом советском самолете, если только...

— Если что?

— Если только летчик не очнется и не выболтает все сам.

— Это возможно? — спросил озабоченно Вайс.

— Нет! — гордо сказала Эльфрида. — Теперь это уже невозможно.

— Почему?

— Потому, что я доказала Алоису свою любовь.

— Чем?

— Просто по ошибке я дала летчику большую дозу снотворного, а он и так был полумертвый.

— Ты убила его?

— Да нет, он сам очень хотел. — Произнесла испуганным шепотом: — Знаешь, когда я дала летчику много-много таблеток, он проглатывал их торопливо, как курица зерно, и впервые за все время открыл глаза, и в первый раз я услышала его голос. Он сказал: «Данке шен, г-геноссе», — и погладил мне руку.

— Почему же?

— Раз он знает немецкий язык, значит, он успел прочесть этикетку и знал, что я ему даю.

— Ты думаешь, он хотел умереть?

— Я даже думаю, Алоис пообещал ему, что я такое для него сделаю. Он же знал, что, если не умрет в госпитале, его все равно убьют. У него в документах написано, что он политрук звена.

— Коммунист?

— Конечно! Даже после того, как он открыл глаза, и стал все понимать, и мог говорить, он ничего не сказал штурмбанфюреру. А вот Алоису сказал.

Иоганн строго заметил:

— Значит, ты поступила как настоящая патриотка, как нацистка, отомстила русскому летчику-коммунисту. — И мягко успокоил: — И ничего не бойся. За такой патриотизм у нас в Германии еще никого не наказывали.

— Но, я считаю, мне надо быть скромной и молчать.

— Да,— согласился Иоганн,— скромность — лучшее украшение женщины.

Эльфрида зарумянилась.

— О, я была во всех смыслах скромной. Но война... — Она сокрушенно потупилась. Взглянула на часы, испугалась: — Господин Фишер всегда заходит ко мне в это время. — Подошла к зеркалу, подкрасила губы и стала взбивать свои цвета красной меди жесткие волосы.

Со дня на день Вайса могли выписать из госпиталя, и, если б не Эльфрида, его наверняка с первым же маршевым батальоном отправили бы на Восточный фронт.

Эльфрида выяснила по номеру полевой почты, где надо искать подразделение майора Штейнглица, и добилась, чтобы Фишер направил Вайса обратно в его часть.

На прощание Эльфрида пригласила Вайса к себе, угостила завтраком и дала на дорогу объемистый пакет с продуктами.

Она была рассеянная, усталая, все время о чем-то беспокоилась. Они поговорили немного о Хагене, выпили по рюмке, и Эльфрида озабоченно спросила:

— Может, ты хочешь скорее уйти? Тогда прощай! — И объяснила: — А то мне некогда. Очень много раненых. — Пожаловалась: — Эти эрзацные бумажные бинты так быстро промокают, не успеваем менять.

Иоганн предложил вежливо:

— Я могу написать тебе...

Эльфрида пожала плечами.

— Как хочешь. — Но тут же спохватилась: — Я не знаю номер своей новой полевой почты. — Похвасталась: — Ведь я получила повышение. С герр профессором я уезжаю в Аушвитц. Профессор будет заниматься там научной работой, ему даже выделили специальный блокгауз.

— Какая же это работа?

— Секрет! — Эльфрида погрозила Иоганну толстым, похожим на молочную сосиску пальцем.

— Ну что ж, желаю успеха! — сказал Иоганн. И пожал Эльфриде руку.

Итак, Эльфрида уезжала в Аушвитц. Аушвитц — так немцы называли польский Освенцим. Но Иоганн научился владеть собой, говорить то, чего не думал. И он легко, просто, беспечно выговорил эти слова: «Желаю успеха!» — именно так, как на его месте сказал бы любой наци.

Шел дождь, было пасмурно, с мокрых деревьев падали мертвые, желтые листья. Зеленые автофургоны с красными крестами на кузовах чередой въезжали в распахнутые железные ворота огромного фронтального госпиталя, который и без того уже был заполнен до отказа.

Иоганн по деревянному тротуару дошел до пустыря, превращенного в кладбище. Над могилами торчали куцые белые кресты. На некоторых из них висели стальные каски. Поляки-военнопленные опускали на веревках в глубокую могилу один гроб за другим. Эта могила была многоэтажной. Возле нее лежал заранее приготовленный крест. На нем стояло только одно имя: немецкого унтер-офицера.

Пастор в военной форме сидел на соседней могиле и курил, ожидая, когда опустят последний гроб, чтобы прочесть молитву.

Иоганн козырнул пастору. Тот, не вставая, вытянул руку в партийном приветствии:

— Хайль Гитлер!

— Зиг хайль, — сказал Вайс и побрел обратно, ощущая мертвую тяжесть глины на сапогах. Напрасно он потащился сюда в надежде обнаружить могилу, в которую бросили советского летчика. Тут и немцев-то хоронят навалом.

Иоганн шел и думал об этом безвестном летчике, о том, что говорил этот летчик лейтенанту Зубову, когда просил легкой смертью спасти его от смерти мучительной.

Он думал об Эльфриде, о повышении, которое она получила. В Аушвитце, в этом лагере смерти, Эльфрида будет помогать своему герр профессору истязать заключенных. Производить опыты над живыми людьми. Эта рыжая дочка пастора, тупая и сентиментальная, чувственная и равнодушная, глупая и лукавая, развращена до того, что разврат не считает развратом. И не деревенский юнгфюрер ее растлил — фашизм.

Перед глазами Вайса вставала сутулая фигура пастора-фашиста, терпеливо сидящего под серым дождем с сигаретой в зубах на могиле солдата: он ждал, когда можно будет поспешно пробормотать молитву над сложенными в штабеля покойниками, из которых лишь один удостоивается права на то, чтобы его имя было надписано на кресте. Один, а не все мертвые. Империя с коммерческой предусмотрительностью ставит такие фальшивые кресты, чтобы никто не узнал о ее просчете в «восточной кампании».

К осени Гитлер обещал победоносно завершить войну с Россией. К осени!

Автофургоны с красными крестами на кузовах, разбрызгивая грязь двойными задними скатами, всё въезжали и въезжали в распахнутые железные ворота госпиталя.

Было промозгло, сыро, сивые облака висели над черепичными остроконечными крышами, на асфальте, как ключья кожи, валялись дряблые листья.

Иоганн с трудом дотащил свой тяжелый мешок до шоссе, отдохнул на обочине и, расплачиваясь сигаретами с шоферами попутных машин, к вечеру добрался до городка, где расположилось подразделение майора Штейнглица.

24

Майор жил в особняке, некогда принадлежавшем знаменитому польскому художнику. Старого художника расстреляли за то, что он повесил в костеле икону, на которой была изображена распятая на свастике Польша...

Часовой даже не подпустил Вайса к воротам. Но Вайс был настойчив, заявил, что имеет сообщить нечто чрезвычайное, и если уж его не могут пропустить, то пусть майор выйдет к нему.

И когда Штейнглиц вышел и, едва кивнув, равнодушно уставился на него, Вайс, протягивая бутылку трофейного французского коньяка, которым его снабдила Эльфрида, щелкнул каблуками, отдал приветствие и доложил:

— Господин майор, вы посылали за этой маркой коньяка. Прошу простить, несколько задержался...

Штейнглиц усмехнулся.

Вайс посчитал это достаточным для того, чтобы независимо пройти мимо часового.

Дальше он действовал так бесцеремонно, как и решил действовать. Притворившись, будто не замечает нового шофера Штейнглица, осмотрел машину, вычистил сиденья. А когда шофер попытался возражать, Вайс пригрозил ему, говоря, что за такой уход за машиной расстрелять и то мало.

А утром подал в постель Штейнглицу завтрак, приготовленный из продуктов, которыми снабдила его Эльфрида. Сказал весело:

— Господин майор, вы отлично выглядите! Я счастлив видеть вас!

Покончив с завтраком, майор сказал брюзгливо:

— Ты напугал моего парня.

— Сожалею, что не убил! — воскликнул Вайс. — Тормоза в таком состоянии, что я просто содрогнулся, когда понял, какой опасности подвергалась ваша жизнь.

Вайс не мог церемониться с шофером. Это как рукопашная схватка. И тот, кто ее выиграет, останется у Штейнглица. Вайс должен был ее выиграть. И выиграл.

Он подал машину к подъезду и ожидал майора, держа на коленях гаечный ключ. Шофер стоял несколько поодаль.

Вышел Штейнглиц, сел рядом с Вайсом и, будто не замечая другого шофера, сделал знакомое Вайсу нетерпеливое движение подбородком.

Это означало, что майор спешит.

И только машина тронулась, как к ней присоединился транспортер с автоматчиками. Да, дела майора идут неплохо, если теперь его сопровождает такой эскорт.

— Поздравляю, господин майор! — Иоганн кивнул на машину с охраной.

Штейнглиц не ответил, только нижняя губа у него слегка отвисла. Значит, он одобрил догадливость своего шофера, поздравление доставило ему удовольствие.

Не все еще понимали, что с него снята опала, а Дитрих просто нарочно делал вид, будто не знает, какое доверие оказано Штейнглицу, какое важное поручение ему дали, и не менял своего снисходительно-покровительственного тона. Но Штейнглиц мирился с этим. С контрразведчиком, даже если он называет себя твоим другом, лучше всего держаться так, словно он оказывает тебе честь своей дружбой, тем более что Оскару Дитриху, хотя он и был ниже Штейнглица по званию, предназначалось сыграть одну из главных ролей в выполнении этого ответственного задания.

Вот и сейчас, когда им следовало бы вдвоем разыскивать объект и вместе решать, что больше подойдет, Дитрих дрыхнет в постели. И после бесконечных скитаний по окрестностям Варшавы майор Штейнглиц вынужден будет докладывать капитану Дитриху о результатах своих поисков, а тот, позевывая, может быть, скажет ему, как в прошлый раз:

— И все-таки, Аксель, ты болван. Пожалуй, в свое время ты умел работать пистолетом. Но головой — нет.

Головой ты никогда не умел работать. Сравнить ее с задницей — это значит оскорбить задницу.

Конечно, Штейнглиц мог бы такое ответить Дитриху!.. Но Штейнглиц — человек разумный. Он промолчал. Ведь за подобный намек Дитрих сумеет так ловко спровадить его в гестапо, что даже сам адмирал Канарис не сможет выхлопотать для него замену казни штрафной ротой.

Вайс, глядя на майора в зеркало, сказал с гордостью:

— О, господин майор! У вас награда?

— Это давно, — небрежно заметил Штейнглиц.

— В таком случае, господин майор, считайте, что я вас поздравил со следующей!

Штейнглиц не ответил. Но это не помешало ему оценить внимательность Вайса. Как этот солдат, нет, уже ефрейтор, умеет отвлечь от неприятных мыслей! Надо отправить обратно в часть того, нового шофера. Только и знает, что смотрит преданными, собачьими глазами да дрожит, как бы не послали на фронт. А этот Вайс — храбрый солдат. И вместе с тем как он умеет чувствовать настроение своего начальника!

Вот Вайс заметил, что Штейнглиц загляделся на деревенскую девицу, которая высоко подняла юбку, переходя через лужу, и — пожалуйста — замедлил ход машины. Нет, он необычайно чутко понимает своего хозяина. Хорошо, что его не убили. Надо сделать ему что-нибудь приятное. И Штейнглиц сказал:

— Тут для нижних чинов уже есть дом с девками. Ордер на посещение — в отделе обслуживания.

— Благодарю вас, господин майор! — широко улыбнулся Вайс.

Если б майор знал, как обрадовала Иоганна эта неожиданная милость!

Значит, когда наступит нужный момент, будет предлог отлучиться, чтобы обследовать новое расположение, которое окружает такая же тайна, как и то, прежнее, где Вайс так долго пробыл в заключении, пока не стал самовольно солдатом-дворником. Здесь надо будет придумать что-нибудь иное...

Майор Штейнглиц неумоимо рыскал вокруг Варшавы, тщательно обследуя помещичьи усадьбы, замки, виллы, фольварки, и делал это так дотошно, с такой заинтересованностью, будто присматривал имение лично для себя.

Теперь в эти поездки майор брал с собой бывшего ротмистра польской охраны Душкевича. Пану Душкевичу было уже далеко за пятьдесят, но он тщательно следил за собой. Редкие волосы, расчесанные на прямой пробор, выкрашены, брови выщипаны в стрелку, как у женщины, воспаленная от частого бритья кожа припудрена.

Обрюзгшая лиловая физиономия и большой живот, свисающий между расставленных ног, не мешали ему выглядеть весьма солидно в его отличном английском пальто и черном котелке. И держал он себя с немецким офицером солидно, без угодливости. Он даже сказал Штейнглицу с упреком:

— Герр майор, смею вас заверить: до последнего часа мы не утрачивали благоразумной надежды, что вместе с вами, вместе с великой Германией мы покончим с большевиками, но, увы...

Штейнглиц, глядя в окно, спросил:

— Как это называлось раньше?

— Варшавское воеводство, герр майор.

— Нет, вся эта страна?

Пан Душкевич побагровел.

Майор заглянул прозрачными, ледяными глазами в выпуклые, цвета горчицы глаза Душкевича, посоветовал:

— Я бы не рекомендовал вам обременять память старинными воспоминаниями: это может вредно отразиться на здоровье.

— Многолетний опыт борьбы с коммунистами позволяет думать, что именно теперь моему здоровью ничто не угрожает,— с достоинством ответил пан Душкевич.

Штейнглиц промолчал.

Душкевич возил с собой карту окрестностей Варшавы, держал ее на толстых коленях, и, когда возникала необходимость, надевал на нос пенсне с золотой цепочкой на заушной дужке, и, как всякий дальнзоркий человек, горделиво отстраняясь, рассматривал карту, и в эти минуты походил на заслуженного профессора.

Однажды он сказал глубокомысленно:

— Я человек образованный, почти окончил гимназию, работал с интеллигенцией и, как знаток, смею кое-что предложить. Публичные казни, конечно, эффектны, но они делают польскую интеллигенцию излишне популярной в народе. Смею рекомендовать личный опыт. Я брал группу политических и выпускал на свободу самого видного из них. Через некоторое время подсаживал к оставшимся

своего, и он уведомлял заключенных, что тот, освобожденный, — предатель. И не препятствовал им информировать об этом свою организацию. Способ весьма результативный.

— Старо как мир. Впрочем, обратитесь к капитану фон Дитриху. Его это может заинтересовать.

— Но вы, господин майор, понимаете, как это обеспечивает свободу маневра?

— Но если маневр не удастся, мы вас, пожалуй, повесим.

— Нет, господин майор, — твердо сказал Душкевич. — Вы меня не повесите. Это будет неразумно...

Управляющий имением баронессы Корф не разрешил Штейнглицу без ее ведома осматривать поместье. Не разрешила этого и сама баронесса. Она вышла на крыльцо в жакетке из чернобурок и в простых грязных сапогах. Не выпуская изо рта сигареты, астматически задыхаясь и кашляя, баронесса очень милостиво, как со старым знакомым, поздоровалась с Иоганном. На пана Душкевича она и не взглянула, а Штейнглица спросила ехидно, на каком он играет инструменте. И когда Штейнглиц сердито ответил, что он не музыкант, а офицер абвера, баронесса оборвала его:

— Господин Канарис в моем салоне пользовался успехом, играя на флейте, а господин Гейдрих играл на скрипке. И если вы не музыкант, вам здесь делать нечего. — Но тут же смиростивилась и приказала управляющему, чтобы он пригласил господ позавтракать у него во флигеле.

За завтраком управляющий сказал Штейнглицу, что баронесса просит его помочь ей устроить здесь небольшой концлагерь для тех военнопленных, которые работают в имении. Это дисциплинировало бы их, кроме того, лагерный рацион питания экономичней.

Штейнглиц обиделся, отодвинул тарелку, сказал, что это не входит в его обязанности. Но так или иначе баронесса могла бы обратиться к нему сама, а не через посредника.

Управляющий заметил:

— Баронесса полагала, что сердцу немецкого солдата близки три заповеди фюрера. — Загибая чистенькие сухонькие пальцы, перечислял: — Онемечивание, выселение, истребление. — Поднял глаза, проговорил многозначитель-

но: — Кроме всего, за упомянутое благоустройство баронесса готова внести от сорока до пятидесяти пяти марок с каждой головы!

— Очень сожалею, — сказал Штейнглиц, — но я лишен возможности оказать баронессе содействие. — И он поднялся из-за стола.

Управляющий, не вставая, простился с ним небрежным поклоном.

Но он ошибся в Штейнглице. Майора нельзя было купить так дешево. Ему приходилось при выполнении заданий убивать и похищать людей — это была его работа. Но если убийство не маскировалось ограблением, он никогда не забирал никаких ценностей. И похищенный человек так же не мог смягчить его мольбой о своих детях, как и соблазнить деньгами. Штейнглиц считал, что его неподкупность стоит дорого, что когда-нибудь он получит за нее сполна, и не позволял себе размениваться на мелочи. Вот и теперь он решил показать, как оскорблен тем, что ему предложили взятку.

Глядя на управляющего холодными, рыбьими глазами, Штейнглиц вдруг приказал отрывисто:

— Встать!

Управляющий покорился.

Майор поднял руку:

— Сесть! Встать!

Старческие колени управляющего дрожали, но он старательно выполнял приказания, лоя, как рыба, ртом воздух.

— Быстро. Еще быстрее, — командовал Штейнглиц. И только когда управляющий упал в изнеможении, майор пошел к машине, сел и удовлетворенно откинулся на сиденье, вытянув наискось сухие длинные ноги в блестящих сапогах.

Пан Душкевич после этой сцены уже не решался сидеть в котелке рядом с майором. Он держал котелок на коленях и надевал, только когда выходил из машины.

По характеру требований, которые неотступно выдвигал Штейнглиц, обследуя бесконечные имения, замки, поместья, Иоганн установил, что тот ищет нечто подобное прежнему секретному расположению, и не одно, а несколько подходящих мест. Предназначаются они не для размещения штатов и, по-видимому, не для концлагерей, хотя люди в них должны быть лишены свободы передвижения и возможности общения с внешним миром. Ведь если бы требовалось подходящее место для концлагерей, Штейнглиц не стал бы искать

поместья, хорошо оборудованного, но в то же время удаленного от главных путей.

Несомненным было одно: главную базу Штейнглиц предполагает разместить где-то здесь, в окрестностях Варшавы, и Вайс в течение недели известил открытками адресатов в Ровно, Львове и даже в Берлине о том, где он сейчас находится. В его вещах сохранился знакомый нам носовой платок, и, поболтав его кончик в чашке с чистой водой, Иоганн написал водой между строк каждой открытки свои координаты.

25

Из Берлина прибыл некий господин Лансдорф. Он был в штатском, но Штейнглиц и Дитрих встретили его в парадных мундирах.

Это был сухощавый седовласый человечек со старчески запавшим ртом, маленькой головой, горделиво торчащей на тонкой длинной шее, с властными движениями и внимательным, как у змеи, взглядом выпуклых темных глаз.

Штейнглиц приказал Вайсу приготовить вечером ванну для господина Лансдорфа и оказать ему все услуги, какие потребуются.

Выполнить это почетное поручение с честью показалось сначала довольно затруднительным, так как ни теоретически, ни практически Иоганн не был подготовлен к роли лакея. Но делать нечего, и, тщательно обдумав свое поведение, Иоганн приступил к исполнению порученных ему обязанностей. На улице прохладно, и согреть на калориферах белье, которое наденет после ванны этот почтенный старичок, — значит, сделать ему приятное. Лансдорфу, когда он вошел в свою комнату, не очень-то понравилось, что его чемодан открыт, но, увидев приготовления для ванны, он тут же успокоился.

Вайс так осторожно и старательно помог ему раздеться, будто это был раненый, только что вынесенный с поля боя. Улегшись в ванну, Лансдорф заметил, что температура воды именно такая, какую он предпочитает, и, прикрыв глаза белыми, как у курицы, веками, попросил Вайса взять со стола книгу и почитать ему вслух.

Книга эта оказалась французским романом, изданным в 1902 году на немецком языке в Мюнхене. Называлась она

«Искусство наслаждения». Но ничего фривольного в ней не содержалось. Автор обстоятельно и подробно, день за днем описывал жизнь пожилого холостяка, который приговорил себя к добровольному заключению в своей комнате. Единственным живым существом, с которым он позволял себе общаться, была канарейка. Беседы с этой птичкой и составляли суть повествования.

Вайс читал книгу, сидя на круглой табуретке в некотором отдалении от ванны, и когда изредка подымал глаза, видел торчащее из воды сморщенное личико Лансдорфа, на котором блуждала мечтательная улыбка.

Потом Вайс помог Лансдорфу выбраться из ванны, вытер его насухо теплым полотенцем, завернул в заранее нагретую простыню и отвел к постели. Здесь он надел на старика теплую длинную ночную рубашу, прикрыл его периной и осведомился, будут ли какие приказания.

— Мне нравится, как ты читаешь,— сказал Лансдорф.— Продолжай!

Но только Вайс взялся за книгу, как в дверь робко постучали, а потом так же робко в комнату вошли Штейнглиц и Дитрих.

Тем же ровным голосом, каким он одобрил манеру чтения Вайса, Лансдорф сказал стоящим навывтяжку подле кровати офицерам:

— Господа! Сейчас я прочту вам приказ фельдмаршала Кейтеля. Он гласит,— и стал читать документ, отпечатанный на тонкой папиросной бумаге: — «Пункт первый. Советские военнопленные подлежат клеймению посредством особого долговременного знака.

Пункт второй. Клеймо имеет форму острого угла примерно в сорок пять градусов, с длиной стороны в один сантиметр и ставится на левой ягодице. Царапины наносятся раскаленным ланцетом на поверхность напряженной кожи и смачиваются китайской тушью».

Таким образом, военнопленные, поступающие в транзитные лагеря, где нами проводится отбор материала, пригодного для зачисления в разведывательные и диверсионные школы, оказываются мечеными. Отсюда следует, господа, что самый предварительный отбор материала надлежит производить в сборных лагерях.— Тут Лансдорф почмокал губами.

Вайс догадливо подскочил, всунул ему в рот сигарету, поднес зажженную спичку.

— Господа! — сказал Лансдорф визгливо. — Я полагаю, этот ефрейтор воспитан лучше некоторых офицеров. — И тем же недовольным голосом продолжал: — Пункт третий этого приказа от двенадцатого мая нынешнего года разъясняет, как надо обращаться с захваченными в плен советскими военно-политическими работниками. В нем указано:

«Политические руководители в войсках не считаются пленными и должны уничтожаться, самое позднее, в транзитных лагерях. В тыл они не эвакуируются».

Дитрих заметил нетерпеливо:

— Мы получили этот приказ.

Лансдорф насмешливо посмотрел на него и, будто не расслышав, продолжил прежним, ровным тоном:

— Этот пункт приказа вызвал естественное соперничество между службами СД, СС, гестапо и вашей службой.

Когда служба, ведающая транзитным лагерем, сообщает, что провела ликвидацию некоторой части вновь прибывших военнопленных, это рассматривается как упущение тех служб, которые ведают сборными лагерями. А когда служба тыловых лагерей ликвидирует в процентном отношении больше военнопленных, чем было ликвидировано в прифронтовых, администрацию прифронтовых лагерей обвиняют в беспечности.

В силу таких обстоятельств каждая служба на всех ступенях лагерной системы заинтересована в том, чтобы уничтожать максимальный процент военнопленных, поскольку любое снижение сведений о количестве уничтоженных может послужить поводом для расследования и привлечения к ответственности за невыполнение приказа от двенадцатого мая тысяча девятьсот сорок первого года.

Лансдорф стряхнул пепел в предупредительно поданную Вайсом большую морскую раковину, иронически посмотрел на офицеров.

— Господа, я не предлагаю вам сесть, ибо вы могли бы расценить подобное мое предложение как выражение неуверенности в вашей армейской выносливости. Но к делу. Все вышеизложенное будет крайне осложнять вашу задачу. Вы должны отобрать максимальное количество лагерного материала, для того чтобы после специфического изучения завербовать определенное число лиц и обучить их, подготовить к разведывательной и диверсионной деятельности. —

Помолчал. И заключил после паузы: — На самом предварительном этапе рекомендую: когда впоследствии среди отобранного вашей службой при консультации гестапо материала обнаружатся отдельные непригодные субъекты, не следует всецело обвинять в этом упущении гестапо. Адмирал Канарис не хотел бы обострять отношения сторон, и потому вы сами должны исправлять ошибки гестапо и делать это без излишних формальностей. И без официальных церемоний публичных казней. Господа, вы свободны.

Не дав им раскрыть рта, он отпустил их кивком головы.

Утром Лансдорф попросил помассировать ему больную ногу. И Вайс с удивительным мастерством справился с этим. В области массажа у него была солидная и теоретическая и практическая подготовка. Тренеры утверждали, что массаж не только универсальное средство от всех болезней, но и целительный бальзам для нервной системы. Вайс в свое время прослушал лекции массажиста, да и после тренировок на стадионе «Динамо» спортсмены часто массировали друг друга. Так что у Иоганна был достаточный опыт.

Лансдорф, очень довольный, объявил, что еще древние римляне прибегали к массажу: полководцы накануне сражений, а патриции перед важнейшими выступлениями в сенате.

Вайс отважился заметить, что даже Тимур, будучи отличным кавалеристом, не пренебрегал массажем.

Лансдорф, внимательно оглядев ефрейтора, спросил, за что он получил медаль.

Вайс скромно ответил:

— Увы, только за храбрость!

— А что у тебя есть еще?

— Голова, господин генерал!

— Я не генерал, — сухо поправил Лансдорф. Усмехнувшись, добавил: — Но не будь нас, генералы воевали бы как слепые. Так что у тебя в голове?

— Я хотел бы быть вам полезен.

— Чем?

— Я полагаю, вы знаете о каждом больше, чем он сам о себе знает...

— Да, конечно!

— Мне кажется, майор Штейнглиц и капитан Дитрих не совсем точно поняли вас.

— Говори, я слушаю.— Лансдорф даже приподнялся на локте.

Вайс понимал, чем он рискует, но у него не было иного способа привлечь к себе внимание Лансдорфа.

— Вы дали им понять, что чем больше будет отсеяно уже в самой школе, тем больше найдется впоследствии оснований упрекнуть службы гестапо в недостаточной осмотрительности.

— И что из этого следует?

— Надо, чтобы такой непригодный материал в известном числе все же попадал в школы, иначе, если его не выявить, вся дальнейшая ответственность будет ложиться на службу абвера.

— О, да ты мошенник! Где ты этому научился?

— Мой шеф, крейслейтер Функ, применял этот метод в отношении членов «Немецко-балтийского народного объединения». Он принимал туда всех желающих. Но потом, накануне репатриации, составил огромный список тех, кого считал не заслуживающими доверия. И Берлин высоко оценил его заслуги и указал на недостаточно хорошую работу агентов гестапо в Риге.

— Откуда ты это знаешь?

— Я пользовался исключительным доверием господина Функа.

— Почему?

— Потому, что вы первый и последний человек, которому я счел возможным сказать об этом. Функ ценил мою способность забывать то, что не следует помнить.

— Ты, оказывается, тщеславный,— одобрительно заметил Лансдорф.

Вайс воскликнул с полной искренностью:

— Я понял, что вы большой человек, и просто хотел обратить на себя ваше внимание.

— И когда ты все это придумал?

— Только сейчас,— доверчиво признался Вайс.— Почувствовал вашу благосклонность и вот решился...— Прошептал: — Я немного знаю русский язык.— Добавил поспешно: — Об этом я написал в анкете. Научился, когда работал у русского эмигранта в Латвии.— Пояснил: — Это не совсем тот русский язык, на котором разговаривают советские люди, но я все понимаю.

Лансдорф лежал с закрытыми глазами, лицо его было недвижимо, как у мумии.

Вайс сказал жалобно:

— Господин майор ценит меня только как шофера. Но я был бы счастлив, если бы кто-нибудь обратил внимание и на другие мои способности.

Лансдорф открыл глаза, выпуклые, как у хищной птицы.

Вайс выдержал его обыскивающий, проникающий в самое нутро взгляд с той же застенчивой, просительной улыбкой.

Лансдорф сказал:

— Ты тот человек, которого надо совсем немного обучить и послать в тыл к русским. — И, покосившись на медаль Вайса, добавил иронически: — Ты же храбрец.

Вайс похолодел, у него даже пальцы на ногах свело от ощущения провала. Вот к чему привел этот рискованный разговор, который он затеял, преследуя совершенно иную цель. Выходит, он просчитался, не сумел оценить этого сибаритствующего старика. Не надо было навязываться ему. А как не навязываться, когда он стоит гораздо ближе, чем даже Штейнглиц, к тому источнику сведений, куда так стремился Иоганн? И как узнать, действительно ли Лансдорф счел его подходящим для работы в тылу противника или только хотел испытать его?

Раздумывать было некогда, и скорее машинально, чем сознательно, Вайс сказал довольным голосом:

— Благодарю вас, господин Лансдорф. Надеюсь, вы не будете сожалеть о своем решении.

— А почему бы я мог сожалеть? — сощурившись, осведомился Лансдорф.

— Дело в том, — сказал Вайс, — что у меня настолько типичная внешность, что в Риге любой латыш сразу узнавал во мне немца, а русские — тем более. — Торопливо добавил: — Но это ничего не значит. Я, как истинный немец, готов отдать жизнь за фюрера, и, можете верить мне, если придется погибнуть, я погибну там с честью, как немец.

Лансдорф долго, внимательно разглядывал Вайса. Потом сказал с сожалением:

— Да, ты прав. Ты типичный немец. Тебя можно было бы выставить в расовом отделе партии как живой образец арийца. Но я подумаю о тебе, — пообещал Лансдорф, движением руки отсылая Иоганна.

Накануне этого опасного разговора Иоганн долго размышлял, как ему вести себя в новой обстановке, которая хотя и благоприятно складывалась для него, но таила

угрозу изоляции. Он не хотел быть снова обречен на бездействие, как в прошлый раз, когда попал на секретный объект абвера.

По всем данным, служба абвера начала создавать огромную сеть разведывательно-диверсионных школ.

Это свидетельствовало и о том, что молниеносное наступление гитлеровцев сорвалось, и о том, что провалились их надежды найти поддержку среди некоторой части населения Советской страны. И не «пятая колонна», на которую они рассчитывали, ожидала их на советской земле, а мощные удары партизанских соединений.

Тогда решили мобилизовать все способы ведения тайной войны. Провести гигантские диверсии, массовые террористические акты на территории Советской страны. И это становилось уже не тактикой, а стратегией военных операций. Немецкий генеральный штаб и все секретные службы Третьей империи объединились для выполнения этой задачи.

И не случайно Лансдорф оказался видным работником СД. Выяснив это, Вайс решил сыграть на соперничестве между абвером и гестапо. Сыграть с таким расчетом, чтобы можно было поверить в его абверовский патриотизм и готовность пойти на любую подлость ради этого патриотизма. Ибо старая лиса Лансдорф не поверил бы ни в какой иной патриотизм, кроме карьеристского, служебного рвения. Решился на риск Иоганн не сразу, а только после того, как ознакомился с блокнотом Лансдорфа, вернее, с одной записью в нем, сделанной четким, несколько старомодным почерком: «Советские военнопленные, находясь в лагерях, продолжают автоматически сохранять нравы и обычаи, свойственные их политической системе, и создают тайные организации коммунистов, которые и управляют людьми.

Для выявления таких «руководящих» лиц службы гестапо имеют в среде заключенных осведомителей — наиболее ценный проверенный материал для разведывательно-диверсионных школ.

Но службы гестапо, чтобы сохранить этот контингент только для своей системы, всячески скрывают его, заносят в целях маскировки в списки неблагонадежных и даже подлежащих ликвидации.

Необходимо смело, интуитивно выявлять такой контингент в лагерях всех ступеней и, вопреки сопротивлению гестапо, зачислять в школы».

Эту запись Лансдорф, очевидно, занес в блокнот, чтобы инструктировать сотрудников абвера, направляемых в лагерь военнопленных для отбора курсантов.

Вайс сделал из нее соответствующие выводы и решился поговорить с Лансдорфом, надеясь, что это откроет ему возможность участвовать в отборе «контингента». Он, как говорится, рискнул всем, чтобы достичь всего. Раскрыть сеть гестаповских осведомителей — разве ради этого не стоило рискнуть жизнью? И он рискнул, хотя и догадывался и о проницательности, и о неусыпной подозрительности Лансдорфа.

Но ведь поведение Вайса было убедительным, вполне достоверным. Разве не естественно наивное, нахальное стремление юного немца выслужиться? И разве не естественным был испуг Иоганна? Что тут странного? Шофер-ловкач, прижившийся при своем хозяине, и вдруг — в самое пекло. Конечно, он был испуган. Другое дело, что Иоганн испугался, когда понял, что ему предстоит быть сброшенным на парашюте к своим, тогда как сейчас его место здесь, среди врагов. Но Лансдорф, конечно, приписал его испуг обыкновенной трусости.

Вайс мог вызвать подозрение и тем, что совался в тайные дела высоких начальников. Но ведь и это так естественно. Наглец? Конечно. Он и не скрывал этого. С скромный довольствовался бы шоферской баранкой.

Почему сказал Лансдорфу, что знает русский язык? А разве он скрывал это? В анкете все есть, он ведь ответил на сотни различных вопросов. Майора Штейнглица не интересовали его познания. Иоганн ему и не навязывался, но пришел момент, когда нужно о них напомнить. Опасно? Да, опасно. Но ведь тот, у кого он научился русскому языку, был не из тех русских, с которыми воюют немцы. Модный художник, убежавший от русской революции. Все это есть в анкете.

И волновало сейчас Иоганна другое. Сумеет ли он остаться немцем, увидев советских людей, брошенных в фашистские концентрационные лагеря? Как он будет смотреть в глаза тем, кто и здесь не утратил гордости, чести, преданности отчизне? Его обучили многому. И, кажется, он оказался неплохим учеником. Трудно быть немцем среди фашистов, это требует высшего напряжения всех душевных сил. И все же он стал немцем, для фашистов он свой. Но где взять силы, чтобы быть фашистом среди советских людей? Как вести себя? К этому его не готовили, не обучи-

ли его этому. Даже и предположить он не мог, что придется пойти на такое самоистязание. И пойти не потому, что ему приказали, а по своей инициативе, потому что это сейчас наиболее целесообразно, нужно, необходимо.

Поступить иначе он теперь тоже не мог. Его долг — оказаться сейчас там, где опаснее всего быть человеком. И надо глубоко спрятать все человеческое, забыть о том, что ты человек, советский человек. Ведь чем меньше он будет проявлять нормальных человеческих чувств, естественных для каждого, тем естественней он будет выглядеть перед советскими военнопленными. Они должны видеть в нем фашиста, только фашиста, ненавистного врага. И какая же пытка быть фашистом в глазах этих людей, остающихся настоящими людьми даже там, где делается все, чтобы сначала убить в человеке все человеческое, а только потом физически уничтожить его!

Все это было страшно, и он даже не обрадовался, когда через несколько дней фон Дитрих сказал, как бы между прочим, что Вайс получил повышение по службе и будет числиться теперь переводчиком при втором отделе «Ц», но, пока нет другого шофера, нужно подготовиться к длительной поездке. Нет, Иоганн не обрадовался своему успеху в рискованной операции с Лансдорфом. Не будет ли его победа поражением? Не переоценил ли он себя, хватит ли у него металла в душе, чтобы выдержать те духовные инквизиторские пытки, на которые он себя обрек?..

Но все это было скрыто в душе Иоганна, а ефрейтор Вайс в ответ поклонился Дитриху и, по-видимому ошалеv от счастья, нечленораздельно пробормотал, что готов ему служить.

Очень хотелось побыть одному, но Вайс тут же подсказал себе, что следует зайти к Лансдорфу, поблагодарить его, не забывая при этом восторженно улыбаться.

Лансдорф принял его холодно и деловито. Молча выслушав восторженную благодарность ефрейтора, кивком головы отпустил его. Но когда Вайс был уже у самой двери, вдруг сказал многозначительно:

— У тебя немного длинный язык. Из-за него может пострадать шея.

— Господин Лансдорф, — с достоинством ответил Вайс, — полагаю, моя шея пострадает только в том случае, если я не буду вам лично обо всем докладывать.

— Именно это я и хотел сказать...

В канцелярии обер-шрайбер вручил Иоганну коротенькую почтовую открытку. Приятель Вайса, некий Фогель, унтер-офицер зондеркоманды, расквартированной в Смоленске, приглашал Вайса на рождество в Москву.

Сообщив об этом приглашении обер-шрайберу и заметив шутливо, что русские так ленятся отдавать свои города, что приходится их поторапливать, Иоганн предоставил обер-шрайберу в свою очередь возможность посмеяться над медлительностью русских и затем удалился в гараж. Здесь он с помощью все того же московского носового платка, пропитанного химикалиями, проявил открытку и расшифровал красновато-коричневые цифры, нанесенные косо и плотно тончайшим пером: «Варшава, Новый свет, 40. Варьете «Коломбина». Николь. Номер вашей квартиры. Возраст вашего отца...»

Иоганн отлично понимал, что сейчас он полностью в распоряжении Дитриха, и поэтому для поездки в город достаточно позволения одного Дитриха, но все же счел необходимым попросить разрешения также у Штейнглица, чем еще больше расположил его к себе. Не довольствуясь всем этим, Вайс явился еще и к Лансдорфу, доложил, что едет в Варшаву, и спросил, не будет ли каких приказаний, демонстрируя этим, что главным своим хозяином он считает Лансдорфа, а не кого-нибудь иного.

Лансдорф поручил купить ему соляно-хвойных таблеток для ванн. Легкого слабительного. Поискать в букинистических магазинах книги, изданные не позже девяностых годов прошлого века. Пояснил:

— Я люблю только то, что связано с моей юностью. — Прикрыв глаза бледными веками, добавил: — Она была прекрасна.

Дитрих попросил купить ему пирожных на Маршалковской в кондитерской «Ян Гаевски», а Штейнглиц — кровяной колбасы. Денег майор не дал, но зато дружески посоветовал Вайсу для профилактики зайти после посещения Варшавы в санитарную часть.

Чин ефрейтора и медаль открыли перед Иоганном новые возможности.

Он остановил первую же попутную грузовую машину, приказал солдату пересест из кабины в кузов, дал шоферу пачку сигарет и велел гнать в Варшаву «со скоростью черта, удирающего от праведника».

Настроение у Иоганна было отличное. Этакое залихватское жизнерадостное ощущение удачи и, как после экзаменационной сессии в институте, жажда праздности в награду за труд. И он позволил себе «распуститься», запросто поболтать с шофером о том, о сем... Что бы там ни было, с делом, которое ему поручено, до сих пор он, пожалуй, справлялся, а ведь ничто так не бодрит человека, как сознание исполненного долга.

И он уже считал себя настолько закаленным, неуязвимым, что даже бесстрашно высказывал презрительные суждения о русских, не испытывая при этом отвращения к самому себе.

И он задорно спросил шофера, сутулого, пожилого солдата с лицом, изборожденным грубыми продольными морщинами:

— Ну что, скоро возьмем Москву — и конец войне?

Шофер, не подымая усталых глаз, заметил угрюмо:

— Ты считаешь, что война с русскими уже кончается, а они считают, что только сейчас начинают воевать с нами.

— А сам ты как думаешь?

— Хайль Гитлер! — сказал шофер и, не отрывая правой руки от баранки, приподнял указательный палец.

По произношению Иоганн угадал в нем южанина.

Шофер подтвердил это предположение.

— Есть немцы, которые пьют только пиво, другие — только шнапс, но есть и третьи — они любят вино. — Покопался на Вайса: — Да, я из Саара, а ты, сразу видно, пруссак.

— Да, я пруссак, — в свою очередь подтвердил Иоганн. — Знаешь, как в одной умной книге написано о Пруссии: «Пруссия не является государством, которое владеет армией, она скорее является армией, которая завладевает нацией».

Шофер сказал подозрительно:

— Для пруссака ты что-то слишком образован.

— Это потому, что я племянник Геббельса.

— Правильно, — согласился шофер. — Только для полного сходства не хватает, чтобы тебе ногу перешибли.

— Не теряю надежды.

— Русские тебе помогут.

— Не успеют: скоро им конец.

— Ты что, из похоронной команды, как твой дядя? Он их давно всех похоронил.

Байс сделал вид, что не понял опасного намека, осведомился:

— Ты, видно, старый солдат? В первую мировую сражался?

— Да. До Урала дошел.

— Ну! — удивился Иоганн. — Да ты герой!

Шофер спросил:

— А ты лесорубом когда-нибудь работал?

— Нет.

— Ну ничего, русские научат. Они нас на Урале научили лес валить. В первую мировую не весь вырубил, на вторую оставили. Лесов там много, на всех хватит.

— Ты что-то глупо шутишь, — строго заметил Иоганн.

— А я поглупел, — глухо сказал шофер. — Поглупел со вчерашнего дня, как открытку поздравительную получил: по поводу смерти героя моего последнего — младшего. А было у меня их трое. Три поздравительных на одного отца — многовато.

— Кури. — Иоганн протянул пачку.

Шофер взял сигарету, сказал печально:

— Курю. Но не помогает.

Иоганн посоветовал:

— Просись на фронт, отомстишь за смерть сыновей.

— Кому?

— Русским.

— У меня их в шахте завалило, — сказал шофер. — Понял? В шахте! Личная собственность рейхсмаршала Геринга эти шахты. Был приказ экономить крепежный лес в связи с военным временем. Вот костями моих сыновей и подпирали кровлю.

— Ради победы приходится приносить жертвы.

— Господину Герингу? Моих детей?

— Ты рассуждаешь, как коммунист!

— Похоже? — Шофер склонился, что-то поправил на дверце, у которой сидел Иоганн. Прибавил скорость, прижался к рулю и, не глядя на Вайса, предложил: — Давай еще закурим.

Иоганн полез в карман за сигаретами. И тут шофер, резко толкнув Иоганна плечом, выбросил его из кабины. Машина, хлопая дверцей, помчалась по шоссе.

Иоганну повезло: он упал в кювет рядом с дорожным столбиком. Еще немного — и он разбился бы насмерть, ударившись об этот столбик.

Но хотя у Иоганна ныло все тело и, в общем, глупо было оказаться на дороге в столь бедственном положении, настроение у него не испортилось. Скорее даже наоборот. Такого немца, как этот шофер, он встретил здесь впервые. Ай да шофер! Побольше бы таких немцев!

Иоганн отряхнулся, привел себя в порядок. Да, вид у него неважный, и руку рассадил. Вот к чему может привести бесцельный «треп». Впрочем, разве такой уж бесцельный? Нет, кое-что полезное для себя он извлек из этого разговора, кое-что...

И, как ни печален был недавний урок, в следующей попутной машине, а ею оказался бензовоз, Иоганн снова завязал оживленную беседу с водителем, молодым парнем из Зальцбурга, бывшим ночным таксистом.

Посасывая эрзац-сигару, изготовленную из бумаги, пропитанной раствором никотина, этот знаток зланных мест рассказал Вайсу, что и здесь, в Варшаве, можно порезвиться не хуже, чем даже во Франции, были бы деньги! С каждой ездки на его долю приходится десять литров первосортного американского или английского горючего — это на черном рынке то же, что и литр самогона, а с поллитром можно смело стучать ногами в дверь любой знакомой девочки.

— Да кто тебе верит, что бензин американский! — рассмеялся Вайс.

Шофер обиделся, объяснил:

— Наша колонна авиацию обслуживает. Значит, бензохранилище фирмы «Стандарт ойл оф Нью-Джерси» или «Ройял датч-шелл», и до самого последнего времени они после каждого миллиона литров присылали премии: зажигалки, электрические фонарики, часы, портфели... Конечно, шоферам эти премии не достаются. Всё начальству.

— Обходят?

— Закон природы.

Вайс сказал доверительно:

— Я ведь тоже шофер. Но на легковой не много возьмешь.

— А надо с умом. — Шофер достал засунутую за щитком над ветровым стеклом карту, протянул Вайсу.

Иоганн развернул ее у себя на коленях.

Шофер снова объяснил:

— Кружки — базы. Дорога, видел, как идет! А я спрямляю проселком — вот и получается пять верных литров, помимо тех десяти.

Вайс долго смотрел на карту, запоминал. И когда отдал, еще несколько минут, напрягая сознание, вынуждал себя видеть эту карту и видел ее, словно она была нанесена незримыми красками на прозрачном ветровом стекле. Он сосредоточенно уставился в это стекло, но не замечал ни темных от дождя фольварков, ни прудов, как чешуей покрытых черной облетевшей листвой, ни серых грузовиков, в которых сидели солдаты в серой форме, с серыми лицами, не замечал он ни серого неба, ни серой дороги, ни серого дождя. Он видел только карту. И очнулся от оцепенения только в тот момент, когда вдруг отчетливо понял, что накрепко и очень точно запомнил эти кружки и тоненькие линии дорог в сетке квадратов. И тут же, подхватив последние слова шофера, предложил:

— Масло я могу достать. Что могу, то могу. В гараже банок пять есть...

— Чудак, — рассмеялся шофер. — Они же просят коровье!

До самой Варшавы Иоганн доехал в маленьком «опеле», принадлежавшем толстому немцу с розовым, младенческим лицом. Немец этот был в новеньком спортивном костюме, шея замотана пушистым вязаным шарфом, выглядел он настоящим щеголем. Увидев на груди Вайса новенькую медаль, похвалил:

— Герой! — И, подмигнув, указал на фляжку, болтающуюся на крючке. — Шнапс! И я тоже с вами выпью. — Видно было, что он очень дружески расположен к Вайсу.

Иоганн налил себе в пластмассовую крышечку. Немец взял у него фляжку, выпил прямо из горлышка, сообщил:

— Фармацевт концерна «ИГ Фарбениндустри». Еду в Аушвитц по коммерческому делу.

— Там же концлагерь!

— Вот именно! Вы, господин ефрейтор, не страдаете бессонницей? — неожиданно осведомился он.

Вайс с недоумением взглянул на него:

— Кажется, нет.

Фармацевт снисходительно похлопал его по плечу и объяснил:

— А то скоро я смогу порекомендовать вам таблетки.

— Какие таблетки?

— Те, которые мы там испытываем. Но комендант Освенцима просто негодяй. — Посетовал: — За каждую бабу просит по двести марок! А фирма назначила максимум сто семьдесят. Нам нужно пока приблизительно сто пятьде-

сят голов. Если помножить, получится приличная сумма, превышать которую у меня нет полномочий.

— Вы что же, и мне предлагаете свою отраву?

— Детка, — снисходительно сказал фармацевт, — одну на ночь — и дивный сон.

— А заключенным?

— Вместо десерта и без ограничения.

— Значит, смертельные дозы?

— Именно, — сказал фармацевт. — Притом совершенно бесплатно. В интересах сохранения здоровья наших потребителей. Туда однажды пробрались какие-то мошенники. — В голосе его послышалось негодование. — Они продавали заключенным какую-то дрянь под видом цианистого калия. И большая часть выживала, но после столбняка, судорог и прочих мучений. И, представьте, оказалось, что почти все пострадавшие — евреи: они предпочитают самоубийство газовой камере. — Проговорил задумчиво: — Если б можно было обойтись без коменданта, я убежден, нашлось бы очень много желающих добровольно пройти все стадии испытания нашей экспериментальной продукции. Возможно, даже уплатили б за это припрятанными ценностями. — Оживился: — Вы знаете, где они прячут ценности? Это просто умопомрачительно!

Иоганн сжал челюсти, на щеках его заходили желваки. И вдруг он спросил:

— Что вы сказали о фюрере?

— Я о фюрере? — изумился толстяк.

Иоганн, блестя глазами, повернулся к толстяку, повторил яростно:

— Нет, как ты смел мне, немецкому солдату, сказать так о фюрере? Ты посмел сказать «жаба»? Я тебе покажу жабу!

И Вайс ударил фармацевта и долго и тщательно бил его в тесной кабине, потом оттащил его и сам сел за руль.

Машина медленно катилась по шоссе. Фармацевт осторожно стонал, боясь снова чем-нибудь взбесить солдата.

Вайс отходил от припадка внезапной ярости и клял себя за распушенность. Он считал, что достоин того, чтобы ему самому за это набили морду. Нет, так забыться, так забыться!

— Господин ефрейтор, — робко спросил фармацевт, — куда вы меня везете?

— В гестапо, — механически ответил Вайс.

— Умоляю вас...

— Вы могли оскорбить меня, но фюрера!.. — сказал Вайс, обдумывая, что делать дальше с этим фармацевтом: скоро контрольно-пропускной пункт.

— Если вы выйдете из машины и три раза громко и отчетливо крикнете: «Хайль Гитлер!» — я, пожалуй, прощу вас, — сказал Иоганн примирительно.

— О, извольте, извольте!

Иоганн притормозил. Фармацевт вышел на обочину, вздохнул, прокричал, что от него требовалось, проявив при этом некоторое даже излишнее усердие, спросил заискивающе:

— Вы удовлетворены, господин ефрейтор?

— Вполне, — буркнул Иоганн.

Когда они миновали контрольно-пропускной пункт, где наряд эсэсовцев проверял документы, фармацевт со вздохом облегчения пожал руку Вайсу и воскликнул с чувством:

— Благодарю вас! А то я, знаете, как волновался!

— Я человек слова, — строго заметил Вайс.

И, уже когда въезжали в предместье города, фармацевт признался:

— Вы знаете, господин ефрейтор, сначала мне показалось, что вы сумасшедший, но потом я подумал, что сам иногда теряю контроль над собой, — в конце концов, ведь комендант лагеря — штандартенфюрер. Таково его звание. Очевидно, я неостаточно произнес первые два слога, и вы подумали... И, клянусь, на вашем месте я поступил бы так же. — Лицо его было в кровоподтеках, но он продолжал просительно и льстиво улыбаться.

Вайс вышел на Маршалковской и пренебрежительно махнул рукой фармацевту.

Александру Белову по молодости лет не довелось наблюдать нэп. Он знал об этом периоде только по книгам и кинофильмам. Поэтому, вероятно, его представление о Маршалковской во время немецкой оккупации Варшавы как о нэпманском вертепе не совсем точно соответствовало действительности. Но презрительное выражение его лица, высокомерное отношение к разного рода торгашам вполне соответствовали поведению и манерам германских оккупантов.

И в польских и в немецких армейских магазинах он держал себя надменно и, едва появившись на пороге, громко объявлял:

— Герр штурмбанфюрер поручил мне купить именно в вашем магазине...

Это производило должное впечатление.

Когда Иоганн выбирал слабительное для Лансдорфа в армейской аптеке, вошел дежурный врач в чине капитана и спросил, давно ли герр штурмбанфюрер страдает.

Иоганн сурово оборвал капитана:

— Господин штурмбанфюрер ничем не может страдать!

Это было так внушительно сказано, что капитан даже сделал непроизвольное движение рукой, чуть не выбросив ее в партийном приветствии.

И все-таки к началу представления в варьете «Коломбина» Вайс опоздал. В связи с комендантским часом спектакли начинали с пяти часов. Тащиться в варьете с покупками и тем более на встречу со связным было крайне неудобно.

Поэтому Иоганн зашел в «Гранд-отель», сказал дежурному полицейскому офицеру, что он адъютант полковника Штейнглица и просит передать полковнику этот пакет, если тот, как обещал, явится сюда с дамой. Если же полковник предпочтет отель «Палас», то тогда он сам вернется за его покупками.

Номера, демонстрируемые в варьете, не произвели впечатления на Иоганна Вайса. Впрочем, ничего другого он и не ожидал, хотя ему раньше не доводилось бывать на подобного рода представлениях.

И когда десять тощих герлс в потертых парчовых трусах, пожилые и сильно накрашенные, болтали в такт музыке ногами, пытаясь скрыть под деланными улыбками, что для таких резвых телодвижений им не хватает дыхания, он смотрел на них с жалостью. Потом вышли двое, в плавках, с ног до головы покрытые жирной бронзовой мазью, и принимали позы античных статуй.

Торчащие ребра и ключицы наглядно свидетельствовали о том, что по карточкам эти артисты не получают ни жиров, ни мяса. Вслед за ними на эстраду выскочил клоун, изображающий Чарли Чаплина. В него стали кидать из зала огрызки яблок, окурки и кричали «юде!».

Весь номер, оказалось, именно в том и состоял, что клоун позволял зрителям кидать в себя все, что попало. Он только защищал руками лицо.

Но вот что подметил Вайс. Этот клоун иногда вдруг на мгновение сбрасывал маску Чарли, и тогда выступало другое лицо — усики те же, но черная прядь, ниспадающая на бровь, и выдвинутая на мгновение вперед челюсть на-

столько подчеркивали опасное сходство, что Вайс невольно пугался за этого дерзкого человечка. Но через миг снова появлялся Чарли, ковыляющий в своих огромных, растопыренных в разные стороны плоских ботинках.

И когда объявили номер: «Два-Николь-два — партерные акробаты», — Вайс сделал произвольное движение, подавшись вперед.

В зале накурено, тесно, шумно. Военные пили пиво, доставали закуску в промасленной бумаге и раскладывали ее на свободном стуле. Если впереди сидел штатский, они клали ноги на спинку его стула.

Чины военной полиции водили по задним рядам электрическими фонариками и выпроваживали из зала солдат, если те начинали слишком вольно и настойчиво вести себя с уличными девками.

Вайсу не нужно было особенно напрягать зрение, чтобы узнать в идеально сложенном акробате, затянутом в черное трико, Зубова. Это был он. Только волосы его расчесаны на прямой пробор, брови тонко подбриты, губы слегка подкрашены. Он здорово работал, этот акробат Николь. Его партнерша, лица которой Иоганн еще не успел разглядеть, потому что он о ней не думал, как черная змейка, металась в руках Зубова, то оплетая, то замирая в летящей позе на его вытянутой руке.

Им долго аплодировали.

И когда, выйдя на аплодисменты, Зубов высоко подбросил свою партнершу, а она, сделав в воздухе сальто, вдруг развернула наподобие крыльев полотнище со свастикой, зал заревел от восторга и устроил настоящую овацию.

Пройдя в артистическую с коробкой глюкозных конфет, купленных в буфете, Вайс толкнул дверь, на которой было написано на косо повешенной бумажке: «Два-Николь-два». Он поклонился жирно намазанной женской физиономии, которую увидел в зеркале, и пробормотал:

— Фрейлейн, я восхищен вашим искусством. — Иоганн положил на подзеркальник свою коробку конфет и с улыбкой обернулся к Зубову.

Но тот встретил его улыбку невозмутимо равнодушно.

— Господин ефрейтор, — сказал Зубов, — ваши уважаемые родители, наверное, говорили вам, что входить в комнату к незнакомым людям, не постучав предварительно, неприлично.

— Виноват, — сказал Вайс. И находчиво предложил согласно паролю: — Я готов постучать шестнадцать раз.

Он ждал отзыва, но Зубов молчал.

Потом Зубов спросил:

— Вы, собственно, к кому пришли, господин ефрейтор?

— Я хотел бы принести свои поздравления Николь...

— Их двое — два-Николь-два, — напомнил без улыбки Зубов.

— О, я хотел бы представиться главному из них, — сказал Вайс, начиная испытывать раздражение. Он не понимал, почему Зубов с таким упорством не отвечает на пароль.

— Главный Николь — вот, — объявил Зубов и показал глазами на девушку, снимающую с лица грим.

Вайс подошел к ней, еще раз поклонился. Серые внимательные глаза встретились с сердитыми глазами Иоганна.

— Так это вы, господин ефрейтор, сидели на шестидесятом месте? Вы что-нибудь хотите мне сказать?

— Да, — подтвердил Иоганн.

— Здесь?

— Если ваш партнер не возражает, я хотел бы вас куда-нибудь пригласить.

Зубов сказал девушке:

— Я провожу его к Полонскому.

В небольшом пивном баре они молча пили у стойки пиво, сильно разбавленное водой.

Зубов заметил владельцу бара:

— Вчера, пан Полонский, водопровод не работал, и пиво было крепче.

— Сегодня водопровод тоже не работает, — сказал владелец бара.

— Откуда же столько воды?

— То, пан, мои слезы, — сказал владелец бара, — то мои слезы о гиблой моей коммерции.

Вошла девушка с чемоданчиком в руке, голова туго обвязана платком. Желтая бобриковая жакетка. Лицо еще лоснится от вазелина. Она взяла Вайса под руку и, передавая чемоданчик Зубову, скомандовала:

— Пошли!

Свернули в переулок, где было темно и торчали кирпичные развалины.

Прижимаясь к Иоганну, девушка говорила отдельно, строго:

— Я ваша связная. У него, — она кивнула на идущего сзади Зубова, — есть теперь свое особое задание. — Задума-

лась. — Полагаю, пока для нас с вами самой подходящей «крышей» будет... — запнулась, — ну, вы за мной, словом... ухаживаете. — Спросила: — У вас есть другие варианты?

— Нет, — чистосердечно признался Иоганн.

— Своему начальству завтра доложите о нашем знакомстве. Ну и о том, что ночевали у меня, что ли. Так будет, пожалуй, правдоподобней.

— Что правдоподобней? — спросил Вайс.

— Ах, — сердито сказала девушка, — ну, раз артистка, какие с ней могут быть еще церемонии! Верно?

— Да нет, вы ошиблись, — запротестовал Иоганн. — Они считают меня очень приличным молодым человеком.

— Вообще ничего не следует слишком подчеркивать, благовоспитанность тоже, — наставительно сказала девушка. — Во всяком случае, вам, ефрейтор.

— Хорошо, — согласился Вайс.

— Ну, ничего хорошего в этом нет. — Прижалась еще теснее. — Запомните. Я Эльза Вольф. Фольксдойч. Мать — полька. Отец, конечно, немец, офицер. Погиб. Я дитя любви. Родилась в Кракове. Католичка. Если спросят про партнера, — любовник. Но скоро бросит. Что еще? Все, кажется. — Напомнила решительно: — Значит, будете у меня ночевать.

Иоганн взмолился:

— Но я же не могу. Я обещал Дитриху, Штейнглицу и, наконец, Лансдорфу явиться вовремя. Я должен...

— Нет, не должны. Вы должны помочь мне обрести в вашем лице армейского покровителя: соседи начали меня притеснять. Спокойной ночи, — сказала она громко по-немецки, обращаясь к Зубову.

— Ладно, спокойной ночи, — пробормотал Зубов и ушел.

— Куда он? — спросил Иоганн.

Эльза пожала плечами.

— Ну как же так, один...

— А вас не интересует, как я здесь одна и всегда одна?

— А Зубов?

— Николь — хороший парень, но он слишком полагается на силовые приемы. Недавно он снова придумал аттракцион с пальбой.

— Извините, а сколько вам лет?

— По годам вы старше меня, по званию — не знаю, — строго сказала Эльза.

— А вы давно?..

— Вернетесь, зайдете в кадры, попросите мое личное дело... — Посмотрела напряженным взглядом в глаза, добавила отрывисто: — Докладывайте, я слушаю...

Вайс сжато повторял ей все то, что готовил для информации. Она кивала, давая понять, что запомнила. Спросила:

— Это все?

— Нет, только главное.

— Неплохо, — похвалила она без улыбки. — Вы не теряли времени. Молодец.

— Благодарю вас, — и Вайс добавил слегка иронически: — Товарищ начальник!

— Нет, — сказала она. И напонила: — Я только ваша связная.

— Разрешите обратиться с вопросом?

— Знаете, — сказала она, — не нужно на меня обижаться. Вы думаете, я сухарь. А мне просто на шею хотелось броситься сначала Зубову, потом вам. Я так долго не видела своих... Так что вы хотели знать?

— Это вы открыли у Зубова артистическое дарование?

— Я, — кивнула она с гордостью. — Существует специальный «циркуляр фюрера» о поддержании в народе хорошего настроения, и в связи с этим предоставляется броня служителям искусства, «мастерам бицепса». Я отдала Зубова под покровительство этого циркуляра. И, представьте, Зубов нравится публике. Но он очень дерзко ведет себя.

— На сцене?

— Нет.

— С вами?

— Нет, с немцами. — Добавила грустно: — Я каждый раз удивляюсь, когда вижу его.

— Почему?

— Ну, просто потому, что он всегда уходит как бы навстречу смерти.

Появился какой-то прохожий.

Эльза стала болтать по-немецки. Вайс вслушивался в ее речь: произношение было безукоризненным. У фонаря он еще раз внимательно взглянул ей в лицо. Ничего такого особенного — бледное, усталое. Чуть великоватый открытый лоб. Но огромные, казалось, самосветящиеся глаза скрадывали белизну лба. Губы мягкие, большие, но красиво очерченные. Тяжеловатый подбородок со шрамом. А голос!

Голос у нее очень разный: то глухой, то глубокий, то резкий, отрывистый.

Подошли к четырехэтажному невзрачному дому, вход со двора. Пахнуло помоями. Лестница темная. Дверь Эльза открыла своим ключом. Длинный коридор. Комната рядом с кухней — крохотная, стол, стул, деревянная кровать, даже нет шкафа.

Сбросив на спинку стула бобриковый жакет, развязав платок, она вдруг обрушила на плечи копну блестящих ярко-рыжих волос. Предупредила шепотом:

— Крашенные. Так вульгарней. — Приказала: — Ложитесь, спите. Я вас разбуду. Снимите китель, я пойду с ним на кухню, выглажу. — Объяснила: — Вещественное доказательство для соседей. — Усмехнулась иронически: — А то, знаете, подозрительно, ни разу не приводила мужчин. Я погашу свет.

— Зачем? — спросил Вайс.

— Затем, что вы должны все-таки поспать.

Эльза вернулась не скоро. Она легла рядом с Иоганном, накрылась жакеткой, придвинулась поближе, спросила:

— Вы хотите мне еще что-нибудь сказать?

Он шептал ей на ухо то, что считал необходимым дополнительно передать в Центр, от его дыхания шевелилась прядка ее волос. И вдруг девушка засмеялась. Он подумал, что она смеется над ним: считает сведения недостоверными или уже устаревшими. Но она объяснила: «Щекотно», — и он осторожно убрал прядку с ее уха. И когда снова зашептал, он несколько раз нечаянно коснулся ее уха губами, но она ничего не сказала: или не заметила, или не сочла нужным заметить. А потом пришла ее очередь говорить, он повернулся к ней спиной, и теперь она шептала ему в самое ухо, строго начальнически. Сегодня она, так и быть, примет устную информацию, но на будущее он должен сам все зашифровывать. О «почтовых ящиках» он получит указание позже. Схему расположения баз горючего пусть нанесет сейчас же: она может понадобится Зубову.

— Все?

— Все! — сказала девушка.

Иоганн вытянулся и, глядя на свисающие клочья белой бумаги, которой был оклеен потолок, спросил:

— А просто так поговорить можно?

— Чуть-чуть...

— Пристают?

— Конечно. Но у меня документ рейхскомендатуры: контактировать с представителями армии запрещено. Носительница инфекции.

— Какой?

— Туберкулез. А вы что думали?

— Это правда?— спросил Иоганн.

— Конечно. Всегда была здоровой, а тут открылся процесс.

— Но надо лечиться.

— После войны — обязательно. Но хватит на эту тему.— Спросила:— Медаль вместе с «легендой» получили?

— Ну вот еще!— обиделся Иоганн.— За боевой подвиг. Они дали.

— А из дома награды есть?

— Нет, только от немцев.

— Поздравляю,— сказала она.— Герой!

— Рассчитываю на унтер-офицерское звание.

— Карьерист! Еще немного — и станете генералом или штурмбанфюрером.— Но тут же она серьезно предупредила:— Не торопитесь быстро выдвигаться, я их знаю: завистливые, доносят друг на друга. Самая большая опасность — это быстрый успех.

— Вы рассудительны, как старушка!

— Ну, хватит,— прервала она.— Хватит!— Наклонилась и, невольно прижавшись к Иоганну, взяла со стула сигареты.

Иоганн пробормотал:

— Странно, лежу на постели с девушкой...

По ее лицу пробежала усмешка.

— Одному ухажеру я едва руку не вывернула из сустава, чтобы больше не лез...

— А кто у вас был инструктором дзюдо? — просто-душно осведомился Иоганн.

— Здравствуйте,— шепот ее звучал негодующе.— Вы не в меру любопытны.— Сказала огорченно:— А я о вас лучше думала.

— А что вообще вы обо мне думали?

— Ничего. Просто полагала: будет более солидный товарищ.— И снова наклонилась, погасила окурочек.— Слушайте и запомните: нет ни вас, ни меня. И ничего для нас нет и не будет, пока есть все это,— ее белая рука в темноте как будто раздвинула стены комнатухи.— Поняли?— И уже ласковее:— Пожалуйста...

Они поговорили еще немного.

— Пора спать,— сказала Эльза, и наступила тишина.

Он долго лежал, вжавшись в стенку, с закрытыми глазами, но так и не уснул. Вскочил, как только Эльза дотронулась до него, чтобы разбудить. Лицо у нее было еще бледнее, чем вчера, под глазами синие тени. Она вяло подала Иоганну руку.

— Не знаю, как буду сегодня выступать в варьете. Я так устала! Привыкла быть одна, а тут вдруг то Зубов, то вы. И потом снова остаться одной...

— Мне тоже будет потом...— Иоганн запнулся, — скучновато.

Эльза вышла проводить его.

В кухне у плиты толпились женщины. Услышав шаги, они все разом обернулись.

Эльза вскинула руки на плечи Иоганна, прильнула к его губам, а потом легонько подтолкнула в спину.

Иоганн машинально запоминал дорогу к дому Эльзы, приметы сами собой вчеканивались в его сознание. Он думал об этой девушке...

В «Гранд-отеле» он взял у портье свои свертки, вышел к контрольно-пропускному пункту, предъявил документы. Его усадили в попутную машину, и всего с одной пересадкой он добрался до подразделения.

27

Штейнглиц сочувственно отнесся к мотивам, которыми Вайс объяснил свое опоздание.

— Иметь постоянную любовницу гигиеничней, чем бегать каждый раз к новой девке.

— Но я по-настоящему влюблен, господин майор.

— Сентиментальность — наша национальная ахиллессова пята.

Лансдорф остался доволен покупками, но причину опоздания признал неуважительной.

— Женщину мужчины выдумали для того, чтобы оправдывать свои глупости.

И произнес наставительно:

— Нам нужны люди молчаливые и решительные, которые умеют в одиночестве довольствоваться незаметной деятельностью и быть постоянными.

Иоганн живо согласился:

— О, эти прекрасные мысли Фридриха Ницше как ничто другое соответствуют и моему идеалу.

А сам подумал: «Вот это ловко получилось! Молодец я, запомнил. Не верил, что пригодится, а вот, оказывается, пригодились».

Костяное лицо Лансдорфа, казалось, стало еще более твердым. Он подошел к Вайсу, оглядел его так, будто собирался примерить на него что-то.

— Вы его любите?

— Он добавил перца в нашу кровь!

— Как? Повторите! — Лансдорф поднял сухой палец. — Отлично! Безмерная способность к властолюбию и столь же безмерная способность к подчинению и послушанию — в этом мощь германской нации.

Вайс щелкнул каблуком, вздернул подбородок и осведомился угодливо:

— Какие будут дальнейшие приказания, господин Лансдорф?

Дитриху доложить о причинах опоздания не удалось по той причине, что капитан за это время поссорился со своим шофером — смазливый малым с капризным, безвольным ртом, а теперь помирился с ним, и ему было не до Вайса. Курт, шофер Дитриха, собирал вещи капитана, и капитан суетливо помогал ему, видимо, очень довольный, что примирение состоялось. Вайсу он сказал, чтобы тот приготовился к поездке, с ними поедет и Курт: он, Дитрих, не выносит одиночества...

Шел дождь со снегом. Едва успев коснуться земли, снег таял. И все было грязным. И небо в грязных низких тучах, и земля в грязных лужах, и раскисшее от грязи шоссе, и цвета земли вода в речках, и стекла машины, заляпанные грязью.

Дитрих сел рядом с шофером, и Вайс вольготно расположился на заднем сиденье. Свет едва проникал в машину сквозь забрызганные грязью стекла. Сумрачно, клонит в сон. И Вайс дремал и думал о своей связной, которую он даже мысленно был обязан называть Эльзой: этого требуют правила конспирации.

...Машина догнала танковую часть. Танки шли один за другим с равномерными интервалами. Башенные люки открыты, из них торчат головы командиров машин. Иоганн прильнул к окну. Еще думая о девушке, еще мысленно слыша ее приглушенный шепот, он машинально запоминал

номера машин, эмблемы на броне, количество белых колец на стволах орудий, обозначающих подбитые цели.

К кроме танков привязаны бревна. Значит, эти танки будут участвовать в операции на заболоченной местности.

В колонне немецких танков шли два наших «КВ». Они были свежевыкрашенные, — значит, после ремонта. В открытых люках «КВ» видны головы в наших ребристых кожаных шлемах, — значит, советские танки предназначались для провокационно-диверсионной операции. Все это Иоганн фиксировал почти машинально, продолжая как бы по инерции думать о девушке.

Она между прочим рассказала ему, что дома занималась в кружке художественной гимнастики и это ей пригодилось здесь. Когда она пришла наниматься в немецкое варьете, хозяин сказал:

— Давайте.

— Но я не взяла костюма.

— А, — сказал он брезгливо, — меня можете не стесняться. Я уже давно не боеспособен, почти как евнух.

Постукивая монетой по столу, он запел детскую песенку про кролика и козочку, и она под этот аккомпанемент проделала упражнения, с которыми выступала на соревнованиях, но от смущения взяла слишком высокий темп.

— Хорошо, — сказал хозяин, — я вас беру. Но вы чересчур серьезно работаете. Меньше спорта, больше секса. Помните: сейчас на улицах слишком много одиноких женщин. И если мужчины платят деньги, чтобы увидеть на эстраде женщину, то она не должна вызывать у них воспоминаний о гимназических спортивных праздниках.

Эльза пожаловалась Вайсу:

— У меня по два выхода в день, физическая нагрузка порядочная, и поэтому все время хочется есть. Мне даже ночью снится еда — хлеб, или картошка, или молоко, а иногда все вместе. По карточкам так мало дают... И потом я делюсь с одной немкой. Она считается вне закона: ее сына расстреляли за дезертирство. Такая несчастная женщина...

Иоганн всматривался в танкистов, выглядывающих из круглых башенных люков. Лица их мокро лоснились от дождя и казались неправдоподобно маленькими под огромными шлемами. Вот мелькнула последняя марсианская голова в танке. Машина обогнала эту грохочущую, сотрясающую землю стальную стену, вырвалась на пустынное шоссе и медленно переехала по мосту через унылую грязную реку с низкими пойменными берегами, заросшими

камышом и ивами. И когда переезжали этот металлический мост, Иоганн прикинул, под какой его пролет эффективней всего заложить взрывчатку, если, допустим, прийти сюда под видом путейского рабочего, присланного починить деревянный настил для пешеходов.

И хотя речка узенькая, метров одиннадцать, нет, даже, пожалуй, десять, и неглубокая: если судить по отмели — метра полтора-два, не больше, — но дно у нее топкое, илистое, а поймы огромные, болотистые. И если взорвать мост, то восстановить переправу меньше чем за две недели не удастся, так что дело стоящее.

Иоганн опустил стекло и выбросил на мост скомканную газету. Часовой видел это, но не остановил машину со штабным номером, даже отвернулся, чтобы показать, будто ничего не заметил. Часовому лет сорок. Коммуникации повсюду охраняют солдаты старших возрастов из полунинвалидных команд. Иоганн знал: есть целые батальоны, составленные из людей, страдающих различного рода желудочными заболеваниями, сформированы части и из солдат со слабым зрением, с пониженным слухом. Надо бы выяснить их номера. А вообще что ж, в очень плохую погоду можно на большой скорости проехать через мост и бросить пакет со взрывчаткой. И не где попало бросить, возле той вон противопожарной бочки с песком. За бочкой пакет не будет виден, только надо умудриться, чтобы он лег под металлическую балку, — тогда она обрушится от динамической нагрузки. Правда, пролет останется целым, но уже ни поезда, ни танки по мосту не смогут проходить, а возможно, и пролет рухнет, когда на него обвалятся верхние фермы. И, прикидывая, как обвалятся верхние фермы, Иоганн забыл об Эльзе, о себе, о Зубове. Главное, он снова работает, и это сознание создавало ощущение деловой озабоченности, а что для него здесь могло быть лучше?

Кончился асфальт, они выехали на проселочную дорогу, машину начало бросать из стороны в сторону, несколько раз она застревала в глубоких лужах. Иоганн предложил Курту сменить его за рулем. И когда Курт перебрался на заднее сиденье, вместе с ним туда перешел и Дитрих.

Низкий, густой туман лежал в долине. Иоганн включил свет, но фары облепила парная пена тумана, и ничто не могло пробить ее. Иоганн вел машину как бы на ощупь, пришлось открыть дверцу, склониться наружу и держать одной рукой за дверцу, другой крутить баранку. Потом дорога пошла вверх, начались леса, черные, мокрые, пахну-

щие погребом. Под деревьями, как белая плесень, тонким слоем лежал снег.

Иоганн вспомнил, как однажды в такую же погоду он со своим курсом ездил на субботник в совхоз. Это только так называлось — «субботник», длился он две недели. Студенты копали картошку на полях в речной пойме, которую заболотила рыжая, дождливая и холодная осень.

Мокрые и грязные, они шли после работы в столовую, где им давали эту же самую картошку: на первое — густой картофельный суп, на второе — картошка, жаренная на маргарине, который они привезли из Москвы. А ночевали все вместе на сеновале над коровником.

И староста группы Петя Макаров каждый раз патетически возглашал:

— Товарищи! Юноши и девушки!

— Почему «юноши», а не просто «ребята»?

— Ну ладно, — соглашался Петя, — пусть ребята. Все равно вы обязаны высоко держать знамя советской морали и вести себя прилично. И совершенствовать свою личность.

Алиса Босоногова, самая красивая девушка в институте, безбоязненно напялившая на себя поэтому стеганую кацавейку и отцовские брюки, как-то сказала капризным голосом:

— А я не хочу совершенствовать свою личность. Я жажду безумной любви при луне. И хоть луны не видно, если напрячь воображение, лик Пашки Мохова мне ее вполне заменит. Иди ко мне, Мохов, согрей меня.

Рыжий, как огонь, веснушчатый Мохов, смущенно улыбаясь, перелез через лежащих вповалку на сене ребят, сел рядом с Алисой.

Она деловито осведомилась:

— Конспекты при тебе? — И объяснила: — Сопромат — лучшее снотворное. Ты, Павел, читай, а я буду млеть возле тебя и грезить о пятерке.

Сено было сухое и пахло не сеном, а только пылью, но все перебивал острый и терпкий запах коровника. Саша Белов слушал, как шлепает дождь, слушал монотонное жужжание Мохова и вздохи Алисы, изредка прерываемые стонущими возгласами:

— Я не понимаю ничего! Повтори популярно и, пожалуйста, своими словами...

Кто-то из девушек спросил с надеждой в голосе:

— Как вы думаете, ребята, нам этот субботник зачтут при зачетах? Физмату, говорят, зачли...

Никто не ответил, а Гриша Медведев, отец которого тогда сражался в Испании, задумчиво проговорил:

— Гвадалахара. Мне кажется, она черная. И еще красная, горячая, как разрыв снаряда.

— А ты откуда знаешь, как снаряд рвется?

— Мне все время отец снится. Там, на фронте. Мы фашистов и не видели, разве только на карикатурах, которые Борис Ефимов рисует. А они там, в Испании, людей убивают. Коммунисты борются с ними, человечество от фашизма защищают — это настоящая жизнь. А мы здесь лежим себе в тепле, под крышей, с сытым брюхом и шутки шутим, отшучиваемся от жизни.

— Ну,— сказал Саша,— у нас своя задача есть: мне сейчас самое главное — диплом защитить. Это сейчас моя главная задача на земле.

Но диплом он так и не защитил. Не успел.

Он сдал инструкторам экзамены по многим дисциплинам, но ни одна из них, кроме немецкого языка, не входила в курс институтского обучения.

Майор, преподаватель немецкого языка, сказал Белову:

— Одна ошибка в произношении — и в конце предложения поставят свинцовую точку. Поэтому незаслуженно получить у меня пятерку так же недостойно, как вымаливать себе жизнь у врага...

А Саша и не собирался ничего получать незаслуженно.

Где они сейчас, его однокурсники? Может, воюют где-нибудь рядом? Интересно, где Алиса? Когда в институте узнали, что он вдруг на годы уехал на Север, как отнеслась к этому Алиса? Она всегда утверждала, что огорчения ей противопоказаны. И красива она только потому, что как бы воплощает девичье счастье и глубочайшим образом презирает свои личные горести, отталкивает все неприятное, не думает о нем.

Всплакнула она? Пожалуй, нет. А что у нее на душе, никто никогда не знал. Она умела мило болтать, говорила о пустяках, лишь бы не упоминать о главном для нее, о ее тайне.

А у нее была тайна. Однажды после встречи Нового года она в дверях столкнулась с Сашей. Алиса всегда пела на институтских вечерах: у нее было приятное контральто, и многие даже советовали ей поступить в консерваторию.

И неожиданно она сказала в своем обычном шутливом тоне:

— А ну, лодырь, проводи прелестную девушку до дому, доставь себе такое удовольствие.

И всю дорогу она шутила и разыгрывала Сашу. А когда подошли к ее парадному, испуганно оглянувшись, подняла лицо и попросила:

— Поцелуй меня, Саша.— И добавила жалобно:— Можно в губы.

И Саша неумело прикоснулся к ее неумелым губам. А потом она сняла с его шеи свои руки, виновато опустила их, вздохнула.

— Знаешь, больше не будем.

— Никогда?— спросил Саша.

Алиса ясно и твердо посмотрела на него, но голос ее задрожал, когда она сказала:

— Вообще, если хочешь, я могу выйти за тебя замуж.— Подняла глаза, что-то высчитывая.— Второго сентября сорок второго года.— И объяснила:— Это день моего рождения — раз...

— А что два?

— Мне ведь нужно время, чтобы убедиться в твоей любви.

— Ладно, я запишу число, чтобы не забыть,— пошутил Саша, делая вид, что к словам Алисы он относится как к шутке.

Он не мог поступить иначе, хотя и понял, почувствовал, насколько для нее все это серьезно. Да, по правде сказать, ему самому было не до шуток. Но он в то время был уже зачислен в спецшколу и учился там, не оставляя пока института и не ведая, какая ему выпадет судьба. И он не знал, имеет ли он право связывать кого-либо, даже Алису, этой своей неведомой ему судьбой.

Алиса достала из сумки блокнот, приказала:

— Запиши!

По ее голосу Саша понял, что она никогда не простит ему этой шутки. И, хоть ему было очень горько, он, продолжая игру, с веселым видом поставил в блокноте дату и подписался под ней.

Алиса выдрала этот листок, разорвала его, бросила клочки в лужу.

— Все!— сказала она гордо и гневно.— Все!— И ушла.

И больше они так вот, вдвоем, никогда уже не виделись. А потом он для нее, как и для других, уехал на Север.

Дорога в экспериментальный лагерь «О-Х-247» шла через сосновый бор. Здесь был поселок лагерного персонала — казармы охраны и домики начальствующего состава. Сам лагерь размещался внизу, в безлесной котловине; прежде там был песчаный карьер.

Низина заболочена: очевидно, со склонов стекают родники; на дне ее сивый туман, пахнущий гнилью. Поселок лагерного персонала походит на дачный: теннисный корт под маскировочной сеткой, песчаные дорожки окаймлены керамическими плитками, куртины роз бережно укрыты соломёнными матами. Есть и площадка для детей: деревянный загончик с горкой песка, качели, веселые, пестрые грибки от солнца, плавательный бассейн — сейчас тут устроен каток.

Дежурный ротенфюрер из эсэсовской внутренней охраны проводил Дитриха и Вайса в дом для приезжих, любезно объяснил, где расположены туалетные комнаты, открыл шкаф — там лежали пижамы и войлочные домашние туфли.

Высокие кровати с двумя перинами. На тумбочках библии в черных дерматиновых переплетах, внутри каждой тумбочки фаянсовая ночная посуда и машинка для снятия сапог. Возле кроватей пушистые коврики. Пол, натертый воском, блестит, чуть липнет к подошвам. На окнах голубенькие занавески и тяжелые шторы с витыми шнурами.

В туалетной комнате кувшины с холодной и горячей водой, фаянсовые тазы, мохнатые полотенца. Мыло в нераспечатанной обертке, тюбики с зубной пастой, одеколон, туалетный уксус. В аптекарском шкафчике медикаменты, на каждом латинская этикетка и, кроме того, точно обозначено по-немецки, при каких обстоятельствах следует к ним прибегать.

Как только приезжие привели себя в порядок, явился вестовой и доложил, что их приглашает оберштурмбанфюрер Франц Клейн.

Не надевая плащей, они прошли песчаной дорожкой к оштукатуренному домику, увитому бурым декоративным плющом. Над его парадной дверью были прибиты огромные оленьи рога с белой лобной костью, по форме напоминающей щит.

В прихожей, отделанной дубовыми панелями и освещенной

щенной массивными медными канделябрами, их встретил сам оберштурмбанфюрер. Он был в бриджах, сапогах и мягкой клетчатой домашней куртке. Очевидно, Клейн преследовал двоякую цель: хотел призвать гостей к дружеской непринужденности и в то же время показать им, что не считает нужным надевать мундир в честь людей, имеющих столь незначительное звание. Проводя Дитриха и Вайса в кабинет, уставленный массивной старинной мебелью, весь в тяжелых, огромных коврах — они лежали на полу, висели на стенах, — он познакомил приезжих с двумя офицерами: зондерфюрером Флинком — плешивым, полным, с солидным брюшком, и унтерштурмфюрером Рейсом — застенчиво улыбающимся юношей с косыми бачками, а также с профессором психологии Штурмпфелем — пожилым человеком, жующим большую черную сигару, в визитке и полосатых брюках, с брезгливым отечным лицом.

Сам оберштурмбанфюрер Клейн отличался изяществом и непринужденностью манер. Лицо у него было красное, нос с горбинкой, седые волнистые волосы, наперекор армейской моде, не острижены коротко, а ниспадают завитками на шею, небрежно повязанную шарфом из яркого кашемира. Он курил сигарету в длинном мундштуке слоновой кости.

В высоком, до самого потолка, шкафу, разделенном на узкие отделения, хранились пластинки. На подставке из красного дерева стоял патефон с откинутой крышкой, — очевидно, до прихода гостей здесь слушали музыку.

Стеклянный столик на колесиках был уставлен бутылками и бокалами, тарелками с соленым миндалем и сухариками. Но, по-видимому, особой склонности к алкоголю здесь никто не обнаруживал — открыты были только узкая бутылка рейнского да минеральная вода.

Прерванный разговор возобновился.

Клейн утверждал, что Гете — величайший поэт всех времен и народов не только потому, что его поэзия проникнута глубокой общечеловеческой философией, но и потому, что она благозвучна, музыкальна, и он всегда слышит в ней могучую упоительную симфонию.

Профессор заметил, что достоинство истинной поэзии не в ее благозвучии: прежде всего она должна воспарять к самым вершинам мысли. И если бы Гете был даже косноязычен, но создал образ Фауста, его величие было бы столь же бессмертно. И посетовал, что молодые немцы, хотя они

и пламенные националисты, недостаточно знают своих великих классиков. Обратившись к Рейсу, он сказал:

— Господин унтерштурмфюрер, я был бы счастлив, если бы вы меня опровергли, напомнив хотя бы несколько строк из нашего великого поэта.

Рейс на мгновение растерялся, но тут же весело и добродушно заявил:

— «Хорст Вессель», пожалуйста.

— Ай, как несовершенно ваше образование! — снисходительно пожурил его Клейн. Он остановил взгляд на Вайсе и, желая, очевидно, более энергично высмеять абверовского ефрейтора, спросил: — Ну, а вы, юноша? Вы, очевидно, тоже предложите спеть «Хорст Вессель»? Это проще. К чему тревожить старика Гете?

Иоганн пожал плечами и ответил с достоинством:

— Если позволите... — и продекламировал:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой!

— Браво, — вяло сказал Клейн. — Браво. — И, будто аплодируя, сложил перед собой ладони.

Флинк хмуро заметил:

— Адмирал Канарис подбирает себе кадры, как римский папа: по принципу учености и изворотливости.

Дитрих добавил:

— И личной храбрости. — Выразительно скосил глаза на собственную грудь, украшенную орденом, кивнул на медаль Вайса, объяснил: — Ефрейтору Вайсу разносторонние познания не помешали совершить подвиг на фронте.

— Абверовцы на фронте — это новость, — удивился Флинк.

— Господа! — воскликнул Клейн. — Мы же сейчас отдыхаем. — Поднял бокал с минеральной водой. — За моих дорогих гостей!

В кабинет вошла фрау Клейн. Золотистые волосы ее были замысловато причесаны, а на лице, должно быть, навечно застыла ликующая улыбка красивой женщины. Она подала всем руку, белую, теплую, душистую, в кольцах.

И почти тотчас востовой внес в кабинет младенца в кружевном, с шелковыми бантами конверте. Все выразили свое восхищение.

Фрау Клейн сказала:

— Это наш подарок фюреру. Мы дали ему имя Адольф.

Гости восхищались, сюсюкали, делали пальцами «козу». А когда вестовой унес младенца, Клейн распахнул двустворчатую дверь в столовую:

— Без церемонии, пожалуйста, у нас здесь подомашнему. Прошу заранее извинить за скромный обед.

За столом Иоганн сидел рядом с Рейсом. Унтерштурмфюрер оказался простецким парнем. Он дружески подкладывал Вайсу на тарелку побольше всяких вкусных вещей и коньяк наливал не в маленькую узенькую рюмочку, а в большой синий бокал, предназначенный для белого вина. Сам он ел весьма энергично, но все же кое-что успел сообщить Вайсу. Что служба здесь нетрудная, и хотя Клейн — чрезвычайно строгий и взыскательный начальник, ладить с ним можно, надо только уметь подчиняться. Что Флинк такой угрюмый не от тяжелого характера, а из-за язвы желудка, и, когда не страдает от приступов, он добродушнейший дядя, большой любитель крокета. Что же касается профессора Штрumpfеля, то это крупный ученый, и даже сам господин Гейдрих просил оказать ему максимальное содействие в его работах. Но хоть он и профессор, но, по-видимому, малый не промах, так как приехал сюда с молоденькой ассистенткой и комнату ей отвели рядом со спальней Штрumpfеля.

За столом больше говорили хозяева. Фрау Клейн рассказала, как трудно было здесь, на песчаной почве, разбивать цветники. А штурмбанфюрер хвалил расположение в сосновом бору: климат тут очень здоровый, вокруг красивые виды, люди собрались приятные, спокойные, и поэтому даже белки стали совсем ручными. На зиму он приказал соорудить несколько десятков кормушек для птиц и уверен, что весной здесь можно будет в полную меру наслаждаться музыкой и птичьим щебетом.

После обеда мужчины вернулись в кабинет. Пили кофе, курили. Слушали музыку. Рейс одну за другой ставил пластинки с записями «Тангейзера». Клейн объявил, что Вагнер — величайший композитор. И все молча с ним согласились. И в этой обстановке сытой, томной полудремоты Клейн подсел к гостям на диван и, дружески похлопывая Дитриха по острому колену, туго обтянутому бриджами, сказал, что готов всячески содействовать его миссии.

Картотека заключенных в полном распоряжении Дитриха. Зондерфюрер Флинк даст консультацию по любому объекту. И, посасывая сигарету в длинном костяном мундштуке, Клейн кротко рассказал, что уже с тридцать

третьего года — с тех пор, когда при каждом полку СС были созданы концентрационные лагеря, — он специализируется в этой области.

На первых порах концлагеря были крайне примитивны. Материал составляли коммунисты, либералы, профсоюзники — вообще красные, отсев был не организован, происходил главным образом естественным путем — вследствие эпидемий, истощений, ну, и в связи с нарушением правил внутреннего распорядка.

Пропускная способность лагерей значительно увеличилась, когда началось массовое поступление евреев и была введена специальная техника умерщвления. Здесь свое слово сказали крупные фирмы, которые поставляли оборудование и химикаты.

И достижения в этой области были столь значительны, что позволили председателю данцигского сената Раушningу обратиться к фюреру с вопросом, нет ли у него намерения истребить сразу всех евреев. Но Гитлер ответил: «Нет. Тогда бы мы должны были снова кого-то искать. Существенно важно всегда иметь перед собой осязаемого противника, а не голую абстракцию».

Теперь, в современных исторических условиях, это, конечно, уже не имеет значения, так как появился новый материал. И созданы крупные, великолепно поставленные концентрационные лагеря с колоссальной пропускной способностью и почти неограниченными возможностями, такие, как Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк, Саксенхаузен, Флоссенбург, Нейенгамм. Функции их — карающие и устрашающие, они же уничтожают нежелательный материал, который поступает с различных новых территорий.

Прежде экспериментальные лагеря носили чисто учебный характер: они предназначались для тренировки, выработки новых эффективных средств подавления, а также для обучения методам руководства. Таким, например, был лагерь Флоссенбург, где многие сотрудники СС приобрели первоначальный опыт.

Экспериментальный лагерь «О-Х-247», которым имеет честь командовать Клейн, несколько отличается от своих предшественников, а также от других подобных ему концентрационных лагерей. Наряду с решением общих задач в обязанности администрации входит выявление, обработка и подготовка отдельных экземпляров для использования их в определенных целях службы СД, гестапо и, естественно, абвера.

В заключение Клейн сообщил, что профессор Штрumpfель внес много ценных предложений, касающихся психической проверки лиц, предлагаемых специальным службам.

Дитрих поблагодарил Клейна, но заметил не без оттенка чванства в голосе, что он достаточно осведомлен о лагерной системе. Все, о чем здесь столь любезно рассказал господин оберштурмбанфюрер, известно любому эсэсману. А его интересует количество кандидатур, которые господин оберштурмбанфюрер может предложить абверу.

— О,— живо воскликнул Клейн,— я не предложу вам ни одного экземпляра, увольте! Это на вашу ответственность.— И заметил ехидно:— Я слишком бюрократ. Картошка в вашем распоряжении. Но предупреждаю: все на вашу ответственность. Тут я умываю руки.— И сделал такое движение холеными руками, будто стряхивает с них брызги воды.

29

Унтерштурмфюрер Рейс, по-видимому, проникся симпатией к Иоганну; возможно, возникла она потому, что они были сверстниками, а его здесь окружали люди только старших возрастов. Даже солдаты охраны все были пожилые. С молочно-розовым лицом, с волосами, торчащими ежиком, и нелеными широкими бачками на узких щеках, Рейс вел себя особенно трогательно, когда, забыв, что он старше Иоганна по званию, заботливо помогал ему надеть черную клеенчатую пелерину, пропитанную каким-то вонючим дезинфицирующим составом.

Клейн приказал Рейсу сопровождать абверовцев по лагерю, но Дитрих, опасаясь схватить какую-нибудь инфекцию, отправился в канцелярию изучать картотеку заключенных.

Было холодное, свежее утро. Сосны с оранжевыми стволами, покрытые тонкой пленкой инея, блестят иглами хвои. Трава тоже в инее, и песок на дорожках скрипит под ногами, как снег в стужу. Пахнет смолой, льдом и горьковато-жухлой травой. Небо прозрачное, солнечное, прохладное, как вода со льдом.

И только в низине, где расположен лагерь, лежал промозглый, похожий по цвету на бельмо, непроглядный туман.

Рейс заехал за Иоганном на мотоцикле. Иоганн сел

в коляску, вытянул ноги, накрылся кленчатым фартуком. Рейс сказал приветливо:

— Я бы с гораздо большим удовольствием отвез тебя в город. И мы бы повеселились. Здесь такая же скучища, как в школе святого апостола Павла.

— Ты что, учился там?

— Отец хотел, чтобы я стал пастором.

Иоганн покосился на эсэсовскую фуражку Рейса с бархатным черным околышем и жестяной эмблемой черепа со скрещенными костями, заметил:

— Эта штука не очень-то походит на распятие.

Рейс усмехнулся:

— Мой отец до первой мировой войны был миссионером в Африке. Попадал из «манлихера» в подброшенную пуговицу.

— Он что ж, стрелял только в пуговицы?

— Когда негры вели себя прилично, только в пуговицы.

— Понятно, — сказал Иоганн. И спросил: — Ты давно здесь?

— Сразу после Треблинки. Это тоже экспериментальный лагерь, но назначение его всегда было только ликвидационное, уничтожали, главным образом, евреев. — Пожаловался: — Очень опасная была служба. Понимаешь, там впервые стали применять пар, а потом в трехкамерном отсеке — газ. У меня почти всегда болела голова: угарный газ, смешанный с паром, долго не улетучивался. У меня даже был там приступ астмы.

— И поэтому тебя перевели сюда?

— Через некоторое время. Дело в том, что к нам приехал из своей резиденции в Кракове генерал-губернатор Ганс Франк и остался очень недоволен администрацией лагеря. Он нашел, что недопустимо занижена пропускная способность. Перед отъездом он собрал всех офицеров и сказал: «Что нам делать с евреями? Вы думаете, что мы поселим их в Остланде? К чему вся эта болтовня? Короче говоря, ликвидируйте их собственными средствами. Генерал-губернаторство должно быть так же свободно от евреев, как и рейх».

— А при чем здесь ты?

— Ну как же, руководство «гитлерюгенда» направило меня в школу Адольфа Гитлера. Я окончил специальное отделение — изучал работу контрразведок среди населения. А в Треблинке, после того как лагерь посетил Франк, у меня уже не было условий для такой работы.

— Почему?

— Ну, что ты, не понимаешь? Блокшрайберы только успевали составить список прибывших в очередной партии, как их тут же приходилось заносить в список выбывших. И я пожаловался штурмбанфюреру, что меня используют не по назначению.

— Тебя что же, заставляли принимать участие в казнях?

— Да что ты! Там у нас заключенного приговаривали к казни в самых редчайших случаях.

— Ну, а как же...

— Ну, это же были не казни, — перебил Рейс, — если ты имеешь в виду ликвидации. Казнь — это официально обставленная карательная акция. А это...

— Что это?

— Ну, это просто устранение неполноценной части населения освобождаемых территорий. — Добавил поспешно: — У нас была даже специальная инструкция, в которой указывалось, что вся процедура ликвидации должна производиться так, чтобы объекты не могли рассматривать ее как акцию возмездия. Поэтому, когда их направляли в газовые камеры, они думали, что идут в гигиенические душевые или в госпитальные блоки. Там даже вывешивали флаг с красным крестом. Часть заключенных ликвидировали под видом измерения их роста. Выстрел производился в прорезь измерительной планки, как раз над затылком, и объект даже не успевал понять, что с ним происходит, не испытывал боли.

— А ты откуда знаешь?

— Наши врачи говорили, что пуля, попадающая в мозжечок, вызывает такое же болевое ощущение, как удаление зуба без анестезии, только еще более короткое. А отравляющее действие газа осознается в течение пяти минут, потом сознание притупляется, и объект только механическим сокращением мышц реагирует на дальнейшее умерщвление.

— Да ты, я вижу, в своем деле профессор.

— Мы все это обязаны знать: ведь, если не знаешь, все-таки действует на психику, когда изо дня в день одно и то же...

— А когда знаешь, на психику не действует?

— Тех, кто раскисал, списывали на фронт или забирало гестапо.

— А ты ни разу не раскисал?

— Я много молился, даже ночами.

— И помогало?

— Я старался думать, что это просто бойня, а они все не люди, а животные.

— Ты молодец, здорово придумал...

— Конечно! И я, знаешь ли, научился не запоминать их лица. Это очень важно — научиться ничего не помнить.

— А если вдруг вспомнишь?

— Ну зачем же?!

— А если тебе когда-нибудь напомнят?

— Кто? Кто напомнит? — неприязненно спросил Рейс и даже притормозил мотоцикл. — Тех никогда больше не будет. А мы даже сейчас об этом не разговариваем, как будто ничего такого нет и не было.

— Ты считаешь, война уже кончилась?

— Ты что? — смущенно спросил Рейс. — Ты что?

— Ничего, — миролюбиво сказал Иоганн. — Просто я считаю, что война еще не кончилась. И когда-нибудь она кончится.

— Ну да, — согласился, успокаиваясь, Рейс. — Возьмем Москву, и все человечество ляжет у наших ног.

— И у твоих?

— И у моих тоже.

— Ноги у тебя подходящие. Просто отличные ноги. С такими ногами бегать хорошо.

Иоганн говорил сквозь зубы, не забывая улыбаться при этом. И надо же было затеять такой разговор, когда все его существо и без того корчилось. Не растравлять себя он должен, а собраться в железный комок, подготовиться к встрече с советскими людьми, чтобы стойко, с равнодушным видом пройти мимо них так, словно они для него не существуют.

Низина лежала в холодном дыму тумана.

Под колесами мотоцикла скрипел песок, щелкала щебенка. Отвесные стенки карьера с выжженным по склонам кустарником были черны. Силуэты деревянных вышек, ячеистая проволочная ограда в несколько рядов. На серых столбах белеют крупные изоляторы — значит, через проволоку пропущен ток высокого напряжения.

Показались каменные низкие постройки с высокими кирпичными трубами.

— Крематорий?

— Нет, это печи для обжигания керамических плит, —

охотно пояснил Рейс. Помедлил. — Но их тоже используют... Иногда...

Проехали одни, затем другие ворота, густо оплетенные колючей проволокой, по краям бетонные колпаки, разрезанные пулеметными амбразурами. Мотоцикл оставили у входа в комендатуру — барачного типа одноэтажное деревянное здание, без фундамента поставленное на бревна.

По кирпичному тротуару вышли на пустынный аппельплац. Песчаная почва здесь была плотно утоптана, а пот и кровь с разбитых ног послужили вяжущим материалом для песка, превратили его в подобие асфальта.

Остальная площадь лагеря была разделена проволокой на клетки загонов, в каждом из них стояло по два низких барака, до ската крыши которых человек среднего роста мог дотянуться рукой. Эти бараки здесь называли блоками.

В нескольких метрах от проволочных заграждений тянулись белые известковые полосы. Ступивший на эту границу заключенный карается так же, как за побег.

Ни кустика, ни засохшей травинки, — ровное черное пространство, хорошо просматриваемое с любой возвышенной точки.

Окна в бараках, хоть и узкие, тянулись почти во всю длину стен, а деревянные вытяжные трубы шли почти через каждые десять метров, но поставлены они почему-то не вертикально, как полагается трубам, а торчат из стен куцыми ящичками.

Рейс объяснил:

— Это для прослушивания. — Потом сказал с гордостью: — Герр Клейн ввел много усовершенствований. Он, например, избегает публичных казней. Но каждый карцер снабжен такими средствами, чтобы виновный мог сам расправиться с собой, если, конечно, господин оберштурмбанфюрер считает его ликвидацию целесообразной.

— Значит, организуется самоубийство?

— Ну, почему же самоубийство? Просто свобода выбора.

Увидев приближающуюся полосатую колонну заключенных, Рейс посоветовал Иоганну обратить на них внимание.

— Принцип обезличивания — тоже идея герра Клейна. Начинается с того, что каждый заключенный имеет только свой номер — больше ничего своего. Ни одной вещи мы им не разрешаем иметь, только номер. В этих же целях каждый заключенный меняет ежедневно барак, место на нарах

и группу, в которой находится. Мы их тасуем, как колоду карт. У советских особенно развит инстинкт организованности. А таким способом мы перешибаем этот инстинкт. Ну, и легче подсаживать слухачей.

— Доносчиков?

— Слухачей. Это наш термин, он более точен.

— И много их?

Рейс ответил загадочно:

— Это личные кадры оберштурмбанфюрера.

— Вот такие ребята нам и нужны!— с энтузиазмом воскликнул Вайс.— Надеюсь, вы нам кое-кого уступите?

— Как прикажет оберштурмбанфюрер.

Иоганн положил руку на спину Рейсу и, дружески похлопывая его, попросил:

— А ну, по-приятельски. Парочку таких, какие покрепче. А то, я вижу, они все тут заморыши.

— Ну, не все, есть один кролик поразительной живучести.

Вайс сказал сухо:

— Те, на которых производятся медицинские эксперименты, нам не нужны.

— Да нет, этот совсем из другой породы,— рассмеялся Рейс,— из гончих. Ну, понимаешь, гончий кролик. Мы указываем ему место прохода в ограждении, он подговаривает группу на побег. Ну, и, следовательно, таким простым способом мы выявляем еще не обезличенные объекты и избавляемся от них.

— Здорово,— похвалил Иоганн.

— Шаблонный прием,— скромно сказал Рейс,— тянем его еще с Треблинки.

Иоганн обвел глазами колонну заключенных, попросил:

— А ну, покажи мне этого парня.

— Да вот он, напротив,— семьдесят три два ноля двенадцать.

Понимая, что речь идет о нагрудном номере на куртке заключенного, Иоганн довольно быстро нашел его.

Такой же, как все тут. Ничем особенно не выделяется. Лицо сизое, набрякшее, уши круглые, широкие, сутулый, с отвислым задом. Вот разве что правая бровь от шрама лысая.

— Не годится для нас, староват,— сухо объявил Иоганн.

— Да ему и тридцати нет. Они все здесь похожи на стариков.

Иоганн, испытывая неистовое напряжение душевных сил, смотрел на лица заключенных, смотрел им в глаза. Но взгляд его встречал только стеклянное, мертвое мерцание глаз, казалось, не видящих его и не желающих его видеть. Он не существовал для этих людей — вот что означали их взгляды. Не существовал — и все. Он был для них *ничто*. Ничто в сером мундире. Ничто, голосу которого они будут повиноваться так же, как голосу репродуктора.

Рейс сделал движение пальцем и произнес:

— Семьдесят четыре два ноля четырнадцать.

Блокфюрер выкрикнул:

— Семьдесят четыре два ноля четырнадцать, к господину унтерштурмфюреру!

Четко печатая шаг, из рядов вышел скелетообразный человек, снял с головы полосатую матерчатую шапку, притопнув, вытянулся.

— Поговори, если хочешь, — разрешил Рейс Иоганну.

Иоганн, пристально глядя в лицо этого человека, громко и внятно спросил по-русски:

— Вы желаете предлагать свои услуги в качестве изменника родины? Во имя победы Великой Германии и славы фюрера?

— Не понимаю, — глухо сказал № 740014.

— Я плохо объяснил по-русски? — спросил Вайс.

— Я не понимаю.

— Что вы не понимаете?

— Не понимаю — и все.

— Не хотите понимать?

Заключенный молчал.

Рейс беспокожно осведомился:

— Что он тебе ответил?

— Он хочет подумать, — сказал Иоганн.

Рейс попросил:

— Скажи ему, что я уже начинаю думать, не следует ли полечить его в спецблоке. Он очень плохо выглядит.

Иоганн перевел.

Лицо заключенного стало еще более серым. Он усмехнулся одной щекой, сказал сипло:

— Ясно!

— Что вам ясно? — спросил Иоганн.

— Все, — сказал № 740014. И добавил: — Значит, слезай, приехали.

— Марш! — приказал Рейс и небрежно объявил подскочившему блокфюреру: — Этого к финишу.

— Момент, — сказал Иоганн. И с улыбкой попросил Рейса: — Разреши мне самому его потрясти.

— Отставить! — приказал Рейс блокфюреру.

Щелкая по плацу деревянными подошвами, заключенные разошлись в бараки.

На плацу возникла вязкая, мертвая тишина. И сразу стали ощутимы кислая вонь тумана, угарный запах человеческого пота и мокрого тряпья, острый запах дезинфекции.

У проволочной ограды серыми тенями метались овчарки. Они никогда не лаяли: их приучили бросаться на людей без звука.

Рейс, осторожно шагая, чтобы не ступить в лужу, говорил:

— Наш лагерь отборочный. Материал приходит к нам после значительного отсева, и все же попадаются коммунисты. Это очень опасно.

— И сейчас есть подозрительные?

— Да, и притом несколько.

— Ты мне потом скажешь их номера, чтобы я не тратил зря времени?

— Конечно, — согласился Рейс. — Это всегда очень хитрые экземпляры. Они умеют хранить тайну и только когда идут на казнь, обычно выдают себя.

— Чем же?

— Бессмысленной демонстрацией храбрости.

Иоганн шел по черному плацу, упругому, как кожа, и пахнущему потной кожей, и думал о том, что в лагере убивают сначала тех, кто не хочет продлевать свою жизнь и предпочитает мгновенную смерть медленному, мучительному умиранию. Есть здесь и крепкие люди, которых способна сломить только смерть. А есть и другие, тоже крепкие, но они гнутся до предела, гнутся, чтобы вдруг в какое-то мгновение выпрямиться и, выпрямившись, стать снова людьми, себе на гибель. И нужно найти таких людей. Это нужно для дела, которому служит Иоганн, и такие люди для него бесценны. Но как найти их?

Вот этот, № 740014. Кто он? Что он? Номер в картотеке? А если б Иоганн оказался в плену, разве он стал бы говорить правду? Конечно, нет, он лгал бы.

Но этот, № 740014, уже приговорен Рейсом к смерти. Может, теперь он скажет о себе правду? А зачем? Если он раньше не откупился предательством, почему он сделает это сейчас? Или солжет, чтобы выжить? Но ведь он прошел много проверок, и, значит, было что-то, из-за чего он ока-

зался в отбортном лагере, стал кандидатом в изменники.

Надо поговорить с ним с глазу на глаз.

Может, он просто боялся других заключенных. Даже этот изощренный метод тасовки не избавляет слухачей от возмездия: их часто находят в отхожих местах мертвыми. Значит, кто-то здесь карает предателей. А ведь одному это не под силу, нужны организованные действия.

Нет такого луча, с помощью которого можно было бы увидеть человека насквозь. Нет и не будет. Но Иоганн должен найти способ. Должен...

Туман стоял мокрым, почти непроглядным. Рейс включил на мотоцикле фару. Белый диск света торчал в туманной удушливой мгле. Они выехали из низины. В бору было сухо, чисто. Песок скрипел под шинами, в окнах домиков лагерного персонала уютно светились шелковые разноцветные абажуры...

Дитрих сказал Вайсу, чтобы он занялся картотекой. Хитро подмигивая, предложил:

— Я просмотрел личные дела и составил список. Ты тоже составь такой список. Если номера совпадут, это будет хорошо: две головы всегда неплохо. — Потом пожаловался: — Господин Клейн — большой мошенник, не захотел расшифровать грифы на личных делах. Эсэсовцы привыкли работать только на себя.

И вот все вечера и даже ночи Иоганн стал просиживать в канцелярии. Служебное рвение его было вызвано не только указаниями Лансдорфа, хотя ими тоже не следовало пренебрегать. У Иоганна были свои, далеко идущие соображения: он решил прежде всего выявить слухачей-доносчиков. В сущности, Рейс, раскрыв «кролика», дал Иоганну в руки кончик ниточки, держась за нее, он и начал свое путешествие по канцелярскому лабиринту.

Иоганн не прикасался к картотекам в полированных ящиках, не интересовали его пока что и папки с личными делами заключенных.

Ведомости продуктового снабжения, записи кладовщика — вот что было ему нужно в первую очередь.

Все военнопленные обречены здесь на медленную смерть от истощения. И наказывают эсэсовцы голодом: тем, кто попадает в штрафной блок, совсем ничего не дают.

Продлить жизнь в лагере может только еда. Вот эсэсовцы и поощряют нужных им людей жратвой. Дополнительный паек получают старосты блоков — «капо», как их

тут называют. Предателям тоже полагается дополнительный паек, а высшая награда для них — табак и шнапс.

Иоганн тщательно изучал замысловатые отметки на продуктовых ведомостях, анализировал подшитые к ним расписки блокфюреров. Номер «кролика» был для него ключом к расшифровке этой сложной бухгалтерии. И вскоре Иоганн убедился, что выбрал правильный путь.

В списках людей, направленных в спецблок, на крыше которого развевался белый флаг с красным крестом, он обнаружил несколько раз номер «кролика». А ведь из спецблока никто не возвращался живым. И даты пребывания «кролика» в спецблоке совпадали с датами расписок блокфюрера в получении дополнительного пайка, табака и шнапса.

Такую же закономерность Иоганн обнаружил и по спискам штрафного блока: дата «наказания» «кролика» всегда совпадала с датой получения дополнительного пайка блокфюрером штрафного блока.

После многих ночей в канцелярии Иоганн установил, что не один «кролик» благополучно возвращался из камер смерти. В списках было еще несколько «номеров», неоднократно попадавших в спецблок и штрафной блок, и пребывание их там всякий раз сопровождалось все теми же расписками блокфюреров.

Так Иоганн выявил предателей. Картотека ему понадобилась лишь для того, чтобы заменить номера именами. Зашифровав имена, он спрятал список под стелькой сапога, а номера занес в блокнот.

Продуктовые ведомости больше не интересовали Иоганна. Теперь он занялся личными делами заключенных. На некоторых из них гестаповец Флинк сделал пометки. Разобравшись в этих пометках, Иоганн понял, что заключенные, личные дела которых были помечены Флинком, обречены на смерть. Но не из-за крайнего физического истощения, а потому, что, вопреки ему, они сохраняют бодрость и оказывают тем самым вредное влияние на окружающих. Иоганн выписал имена и номера таких заключенных. Среди них оказался и № 740014 — тот заключенный, которому он столь недвусмысленно и открыто предложил стать изменником родины. Иоганн назвал вещи своими именами, хотя даже самые наглые фашисты облакали подобные предложения в более обтекаемые и неопределенные формы.

Нервное напряжение бессонных ночей давало себя

знать, но Иоганн был доволен. Он открыл методику поиска, выявил тех, кого следовало выявить, узнал имена заключенных, доблестно прошедших через все пытки и встретивших смерть с достоинством, которое Рейс, пожимая плечами, назвал бессмысленным. Имена их Иоганн тоже зашифровал: он хотел выполнить свой долг перед казненными, хотел, чтобы на родине узнали об их подвиге, чтобы навечно сохранилась память о них.

Выйдя с рассветом из канцелярии, Иоганн отправлялся в карьер, где работали узники, и часами пытливо наблюдал за теми номерами, носители которых его интересовали. Он заметил, что доносчики не очень-то затрудняли себя, но охрана не понуждала их работать лучше. А тех, кого Флинк наметил к уничтожению, они понуждали трудиться в неимоверном темпе, беспощадно избивали. И, однако же, эти обреченные не только работали сами, но и помогали ослабевшему товарищу сдвинуть тачку с тяжелым, мокрым песком, поднять каменную глыбу. Все эти наблюдения совпадали с канцелярскими изысканиями Иоганна, подтверждали правильность его выводов.

Вскоре Иоганн мог уже составить список, которого ждал от него Дитрих. Отобрал он тех предателей, кто и по физическим, и по интеллектуальным данным наименее подходил для роли парашютистов-диверсантов. Иоганн не раз беседовал с ними и установил, что эти тупицы не способны решить даже простой арифметической задачи или запомнить три двузначные цифры. А о том, чтобы набросать на бумаге маршрут от барака с керамическими печами до апельшылаца, и речи быть не могло. Хороши же будут из них террористы-разведчики! Мощное подкрепление получит фашистский вермахт.

Но заподозрить Вайса никто не мог. Обоснованием правильности его выбора служили личные дела тех, кого он нашел нужным включить в свой список. А в их личных делах черным по белому было зафиксировано все, что словоохотливо сообщали фашистским следователям эти трусливые и подлые души.

Как будто сговорившись, все они утверждали, что пострадали от советской власти, были ее жертвами. Отсюда напрашивался вывод, что они готовы отомстить за перенесенные в Советской стране страдания. Возможно, конечно, некоторые заключенные просто лгали во имя спасения собственной шкуры. Как бы там ни было, подобные показания служили несомненным документальным свидетель-

ством, что Вайс отобрал кандидатуры по политическому принципу, а это не могло не вызвать одобрения Лансдорфа.

Через несколько дней, хоть погода была и неважная, Дитрих пригласил Вайса прогуляться по лесу. Очевидно, он полагал, что все стены здесь имеют уши, а ему хотелось поговорить без свидетелей.

Едва они углубились в лес, как Дитрих стал раздраженно жаловаться на Клейна. Он совсем не уверен, что Клейн добросовестно помогает ему подбирать нужных людей. По-видимому, гестапо не собирается расставаться с наиболее подходящими заключенными.

Иоганн почтительно выслушал сетования Дитриха, кивком головы молчаливо согласился с ним: да, задание досталось трудновыполнимое, — подождал, пока капитан облегчит свою душу, и, выбрав момент, предложил ему присесть на пенек, чтобы отдохнуть. Пока Дитрих усаживался, Иоганн достал из планшета составленный им список кандидатур и выписки из личных дел для его обоснования. Торжественно вручив бумаги, Иоганн, будто движимый скромностью и особой симпатией к Дитриху, попросил его считать сделанную им работу своей. Дитрих очень внимательно ознакомился с бумагами и, видимо, остался доволен. Поразмыслив, он решил представить список Вайса как результат своей особой проницательности в надежде, что это значительно повысит его престиж, да и вообще престиж абверовцев в глазах Клейна.

И вот достаточно оказалось этой малости, чтобы настроение Дитриха сразу и очень заметно улучшилось. Лицо его выразило самодовольство, будто и вправду он сам так удачно отобрал кандидатуры и вся заслуга тут принадлежит именно ему, и никому другому. Он уже не обращался к Вайсу, не замечал его. Он даже не испытывал к нему благодарности. Подумасшь, какое дело! Его подчиненный, ефрейтор, почти солдат, добыл для него кое-какие полезные материалы. Но ведь это его подчиненный, старался-то он для него, на него работал. Значит, ему, капитану Дитриху, как нечто само собой разумеющееся, и принадлежит право воспользоваться плодами этой работы, считать ее своей. Тут и разговаривать не о чем.

И, насвистывая, Дитрих зашагал по мокрому снегу лесной тропинки. Он был так доволен, так спешил к Клейну, что, вопреки своим привычкам, даже не боялся промочить ноги — ступал в тонких сапогах куда придется.

Как и ожидал Иоганн, ознакомившись со списком

заключенных, отобранных Дитрихом, Клейн и Флинк не очень-то обрадовались.

Флинк пробурчал сердито:

— Господин капитан, вы беспощадны. Вы хотите лишить нас глаз и ушей в лагере. Я протестую.

Дитрих предостерегающе поднял бровь.

— Насколько я вас понял, вы протестуете против решения генералитета вести войну всеми доступными нам средствами?

Клейн не дал ссоре разгореться, вмешался, сказал примирительно:

— Я преклоняюсь перед вашим, господин Дитрих, блистательным талантом первоклассного разведчика. — С широкой улыбкой разлил вино, протягивая бокал, попросил: — Надеюсь, вы поделитесь с нами, расскажете, каким загадочным способом вам удалось выявить весь контингент осведомителей и оставить нас безоружными.

Несмотря на то, что Клейн говорил все это как бы с огорчением, глаза его торжествующе поблескивали. Он умолчал о том, что наиболее ценные, по его мнению, осведомители не попали в список Дитриха и, кроме того, в списке оказалась парочка несомненных коммунистов, кандидатов на уничтожение.

От Иоганна это не ускользнуло, а Дитрих ничего не заметил. Постучав себя по лбу, он заявил глубокомысленно:

— Увы, ключи от этого сейфа только у адмирала Канариса.

— О, я так и думал! — почтительно воскликнул Клейн. — Абвер — это замечательный инструмент для обнаружения чужих секретов, но в то же время и непроницаемая скала, когда речь идет о хранении профессиональных тайн. Я понимаю. — И глаза его снова лукаво блеснули.

На следующий день Иоганн пожаловался Рейсу, что зря он тут старался, не спал ночами: капитан Дитрих оказался настолько опытным контрразведчиком, что справился и без его помощи. И, увы, эта командировка Вайса едва ли будет расценена начальством положительно.

Рейс посочувствовал Иоганну, но в утешение мог предложить только, что отвезет его на своем мотоцикле в город, в тот дом с девицами, к которому был прикреплен начальствующий состав лагеря.

Все эти дни Иоганна не оставляла мысль о заключенном № 740014. Снова и снова листал он его личное дело и посте-

пенно пришел к некоторым любопытным для себя выводам.

Так, в анкете местом постоянного жительства была названа Горловка, а в графе о профессии значилось «крестьянин-единоличник». А какой может быть единоличник в самом сердце промышленного Донбасса? Кроме того, в анкете № 740014 стояла русская фамилия, хотя тут же значилось, что по национальности он украинец.

Иоганн прикинул, как будет звучать эта фамилия, если переделать ее на украинский лад, и вдруг обнаружил, что это фамилия известного всей стране шахтера. Имя в анкете, по всей видимости, было указано подлинное, и оно тоже совпадало.

Вечером Иоганн пришел в спецблок, вызвал блокфюрера и не терпящим возражений тоном поставил его в известность, что с ведома господина оберштурмбанфюрера Клейна капитан абвера Дитрих уполномочил его допросить двух заключенных. Тем же повелительным тоном он приказал привести на допрос № 740014, а ровно через час после этого — «кролика» с плешиной на брови.

Хорошо вышколенный и, по-видимому, привыкший беспрекословно повиноваться, блокфюрер проводил Вайса в отсек, специально отведенный для допроса заключенных, и оставил его здесь одного.

Иоганн осмотрелся. Внимание его прежде всего привлек высокий, до самого потолка, шкаф с неплотно прикрытыми дверцами. Иоганн открыл шкаф и отпрянул.

Шкаф предназначался для подвешивания, растягивания заключенных при допросе. Это был даже не шкаф, а футляр, прикрывавший смонтированное в нем особое хитроумное устройство. С потолка свисали на блоках ручные кандалы, а внизу лежали кандалы ножные. Иоганн попробовал поднять их и не смог — так тяжел был прикрепленный к ним бетонный груз. По всей видимости, честь изобретения этого чудовищного распятия принадлежала Флинку. Он как-то заметил вскользь, что с детства не переносит вида крови. И завтра, а может быть, еще и сегодня Иоганн встретится с этим Флинком, и пожмет его руку, и улыбнется ему, и справится о его самочувствии, и говорить они будут о каких-нибудь малозначащих пустяках — о погоде, о новых пластинках...

Иоганн закрыл шкаф, сел за стол и с силой сжал резиновую палку, унизанную металлическими гайками. И тут же пальцы его разжались. Он понял, что перед ним на

сей раз изобретение Рейса, которым тот не однажды похвалялся, шутливо называя это орудие «жезлом с обручальными кольцами».

Постучали. Блокфюрер ввел заключенного № 740014, вытянулся у двери, ожидая приказания. Иоганн снова взял в руки резиновую палку, подошел, приказал блокфюреру покинуть камеру. Размахивая палкой перед лицом заключенного, спросил по-русски:

— Ну, что скажешь? — И, будто испытывая орудие допроса, с силой ударил по косяку двери. Потом распахнул ее, выглянул. Коридор был пуст.

Иоганн подошел к столу, сказал:

— Садитесь.

Заключенный глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и сел на привинченный к полу массивный табурет.

Пристально глядя ему в глаза, Иоганн назвал его подлинное имя. Добавил:

— Стахановец. Шахтер. Коммунист. Так?

Заключенный, не поднимая глаз, уныло рассматривал свои руки. Лицо его оставалось неподвижным, мертвым.

Иоганн закричал:

— Говори, животное, говори! — И ударил палкой по столу. — Говори!

Шахтер повернулся к нему спиной, привычно охватил голову руками.

Вайс сел, предложил:

— Покурим...

Заключенный изумленно уставился на него.

— Правильно, — одобрил Иоганн. — Все правильно. Молодец.

— А ты сволочь, — очень спокойно, с достоинством сообщил шахтер. — Пес в волчьей шкуре.

— Понятно, — сказал Иоганн, — точная формулировка. — Посоветовал: — А вы все-таки возьмите всю пачку, ну, как трофейную, что ли.

Шахтер недоверчиво потянул к себе сигареты, быстро сунул за пазуху. Спросил:

— Купить думаешь?

— Ну, если бы вы были продажный!

— Такой, как ты?..

— Ну ладно, — попросил Вайс, — хватит. — Наклонился. — А если я тебе верю?

— Покупаешь, — упрямо повторил шахтер.

Иоганн протянул к нему руку и чуть было не смахнул со

стола большую жестяную банку с гипсом. Спросил машинально:

— На черта это здесь?

— Играть хочешь? — так же спокойно спросил шахтер. — Притворяешься новичком? Мало ты нам рты гипсовал, чтобы во время разделки не шумели?

— Так, интересно. — Иоганн потрогал пальцем холодную жидкость в банке. Он посмотрел на часы, приказал: — Подойди ко мне.

Тот покорно приблизился.

Иоганн зачерпнул из банки гипс.

— Открой рот. — Замазал рот заключенного, объяснил: — Надо, чтобы ты молчал. Чтобы ни звука! — Открыл шкаф. — Становись.

Шахтер привычно протянул руки к кандалам.

— Не надо. Пошевелись, подвигайся.

Шахтер выполнил приказание.

— Теперь встань, обопрись о стенку, и чтобы ни звука, ни шороха. Понятно? — И, последний раз строго взглянув в растерянное, недоуменное лицо шахтера, закрыл шкаф и вышел.

В коридоре никого не было. Перед спецблоком — тоже ни души. Лагерь, окутанный промозглым, воняющим гнилой тиной туманом, казался вымершим. Резкий, какой-то мертвенный свет прожекторов клубился вместе с туманом. И ощущение нереальности окружающего на миг охватило Иоганна. Но только на миг. Из полузабытья его вывел блокфюрер. «Кролик», который пришел с ним, выразительно подмигнул, указывая на шкаф.

Блокфюрер сказал с уважением:

— Я-то думал, господин ефрейтор, вам ассистент нужен, а вы сами справились.

Втроем они вошли в камеру. Иоганн сел за стол.

«Кролик», державшийся с подобострастной развязностью, тоже сел, не дожидаясь приглашения.

— Встать! — крикнул Иоганн и, схватив резиновую палку, наотмашь ударил его по голове.

«Кролик» всхлипнул, прикрыл лицо руками.

— Молчать! — приказал Иоганн и махнул рукой блокфюреру. Когда тот вышел, Иоганн чуть приоткрыл дверцу шкафа, пристально посмотрел на «кролика». — Ты!.. — И назвал номера еще трех осведомителей, причем произнес их громко, отчетливо. Потом развалился на стуле и, покачивая головой, продолжил: — Все вы четверо, — он снова

раздельно повторил номера, — своей работой на гестапо заслужили повышения.

— Благодарю, господин обер-ефрейтор!

— Молчать! Я не закончил. Служба абвера берет вас в свою систему. А ты... — Вайс протянул «кролику» лист бумаги и карандаш, — пиши, кто тут, по твоим данным, подлежит немедленной ликвидации.

«Кролик» схватил бумагу, стал поспешно писать. От усердия на лбу его появились капли пота. Когда он протягивал исписанную бумагу Вайсу, от бывшей его развязности не осталось и следа.

Иоганн просмотрел список.

— Все? А теперь пошел вон. И запомни: мы, абверовцы, повесим тебя, если будешь болтать. — Выглянул в коридор, приказал ожидающему там блокфюреру: — Отведи его, да не забудь дать несколько раз по морде, чтобы он выглядел так, как полагается выглядеть после вызова в спецблок. — И проводил их до двери.

Вернувшись, подождал немного, снова выглянул в коридор, потом распахнул шкаф.

— Выходи. — Спросил: — Все слышал?

Шахтер кивнул головой.

— Посмотри список.

Шахтер подошел к столу.

— И мой номер выписал, гадюка...

— Да, — сказал Иоганн. — Это хорошо, что он тебя не забыл.

— Кому хорошо?

— Ну, допустим, мне. — Спросил строго: — Теперь ты понял?

Шахтер снова кивнул.

Вайс сурово предупредил его:

— Через два дня — не раньше.

— Так, — спокойно сказал шахтер. — Через два дня задавим.

Иоганн приложил палец к губам и еле слышно прошептал:

— Дашь согласие поступить в фашистскую школу диверсантов-разведчиков. Чуть поломаешься — и согласишься. Но учти: я тебя больше не знаю, и ты меня там тоже не знаешь.

— Ясно.

— Пошли, — приказал Вайс и направился к двери.

И вдруг сзади раздалось такое родное слово.

— Товарищ! — позвал шахтер.

Иоганн обернулся.

— Надо мне тоже, дай как следует. — Шахтер показал кулак, зажмурился, потребовал: — Бей!

— Не могу...

— То есть как это не можешь? — возмутился шахтер. — Как это не можешь, когда надо?

— Не могу, — повторил Иоганн.

— Хлюпик, — презрительно бросил шахтер. Подумал и добавил: — Неврастеник.

Увидев, что все это не произвело на Вайса впечатления, шахтер мгновение помедлил и решительно взял со стола резиновую палку, сплошь покрытую металлическими гайками.

— Не надо, — попросил Иоганн.

— Думаешь, сойдет? — спросил шахтер.

— Сойдет, — сказал Иоганн.

Они вместе покинули спецблок. Впереди, тяжело волоча ноги, плелся шахтер, сзади, держа руку на отстегнутой крышке кобуры, шагал Вайс. В комендатуре он приказал дежурному солдату охраны отвести заключенного в барак.

А на следующий день Иоганн предложил Дитриху якобы по рекомендации Рейса включить в список отобранных ими кандидатур еще заключенного № 740014. И когда потом Иоганн поблагодарил Рейса за рекомендацию подходящей кандидатуры и назвал номер заключенного, Рейс изумленно уставился на Иоганна. Но тут же он ухмыльнулся и сказал, что рад оказать ему услугу. Очевидно, этот гестаповец полагал, что ловко провел абверовца. Он отлично помнил, что заключенный № 740014 — ближайший кандидат в смертники, а по каким мотивам именно его отобрали абверовцы — это Рейса не интересовало.

Теперь, когда список отобранных для диверсионной школы заключенных был составлен, капитан Дитрих имел все основания считать свою миссию в экспериментальном лагере завершенной, и, как он полагал, завершенной успешно. Радовало его и то, что ему удалось избежать посещения лагеря, так как он боялся инфекции.

Перед отъездом оберштурмбанфюрер Клейн пригласил Дитриха и Вайса на завтрак. И все было, как и в прошлый раз на обеде в честь их приезда. Клейн, Флинк, Рейс и Штрумпфель, развалиясь в креслах, неторопливо беседовали

об искусстве, только теперь предметом их разговора была не музыка, а живопись. Правда, Иоганн не сразу это понял, так как речь шла больше о цветной фотографии.

Собеседники довольно быстро пришли к единодушному взгляду на современную живопись. И взгляд этот несколько ошеломил, казалось бы, уже отвыкшего удивляться Иоганна. Оказывается, в Германии сейчас фотография и живопись сливаются в единое синтетическое искусство. Происходит так потому, что сама жизнь дает образцы возвышенного. И пример тому фюрер — образец нравственного совершенства, — таково было общее мнение гостей и хозяина.

После вкусного и сытного завтрака Клейн снова пригласил всех к себе в кабинет.

Профессор Штрumpfель наставительным тоном пространно делился с Дитрихом своими познаниями. Поскольку человек не что иное, как разновидность животного, разглагольствовал он, то в качестве стимуляторов следует использовать наиболее экономически выгодные средства воздействия: голод и наказания и дополнительную кормежку в поощрение. Публичные экзекуции и казни могут оказать воспитательное воздействие только в тех случаях, когда подвергаемые им особи живо, активно реагируют на все процедуры, то есть ведут себя естественно. Если же они, что бывает чаще, реагируют цинично и противоестественно, то это оказывает на зрителей обратное действие.

Омерзительное деловое наставление, к тому же еще облеченное в некую наукообразную форму, вызывало у присутствующих одну лишь почтительную скуку, но прервать профессора никто не решался. И все оживились, когда Рейс, разомлевший за рюмкой шанса, позволил себе прервать порядком затянувшуюся лекцию.

— А мы, герр профессор, в Треблинке оборудовали «госпитальную» приемную. Там были плюшевые диваны и даже олени рога — заключенные вешали на них одежду. А потом — «прошу». Дверь распахивалась — ров. И прямо сюда. — Рейс показал пальцем себе на затылок.

Презрение, ненависть, гнев — все это для разведчика Александра Белова было недоступной роскошью. Иоганн сидел, как и все, развалившись в кресле, курил. Воспользовавшись минутным молчанием, почтительно обратился к Клейну:

— Полагаю, герр оберштурмбанфюрер, все эти замечательные наблюдения представляют большую научную цен-

ность, и убежден, что уважаемый профессор широко публикует их.

— О да,— согласился Штрumpfель.— Это мой долг.

— Но не сразу,— поспешно вмешался Флинк.— Пока не утвердится мировое господство империи, мы должны соблюдать известную сдержанность в некоторых вопросах. Когда дело касается некоторых других наций.

— Само собой разумеется,— согласился Штрumpfель.

Клейн напомнил:

— По отношению, например, к голландским евреям мы проявляли даже любезность: возвращали семьям прах в запаянных металлических банках. И брали за банку по семьдесят пять гульденов.

Рейс поддержал разговор:

— Говорят, в Аушвитце, где комендант Рудольф Гесс, волосы обрабатывают паром, а затем упаковывают в кипы, чтобы использовать для производства матрацев. И еще я слышал, что в Дахау кости перемалывают на удобрения для полей. Для этого там даже установлена специальная машина.

— Там колоссальные масштабы,— со знанием дела сказал Флинк.— Если бы они не применяли широко технические средства, им бы пришлось занимать огромные дополнительные территории для захоронений.

Клейн воскликнул с упреком:

— Господа, мне кажется, беседа на такие темы не может способствовать пищеварению!

— Да,— льстиво согласился Рейс,— завтрак был, как всегда, замечательный, особенно хороши были взбитые сливки.

— Вы сладкоежка.

— Я вспомнил маму,— мечтательно сказал Рейс,— она так чудесно стряпала!

— Да, все мы когда-то были детьми,— томно заметил Клейн и, вытянув ноги в теплых домашних туфлях, посмотрел в окно. Шел дождь со снегом. Клейн добавил грустно: — А теперь моя голова в горьком снегу седины. Недавно я долго рассматривал себя в зеркале и увидел немало предательских морщин...

— Да, кстати,— живо сказал Вайс,— капитан Дитрих и я, мы чрезвычайно вам благодарны: вы так предупредительно передали нам список ваших осведомителей! Это огромная услуга абверу.

Флинк бросил на изумленного Клейна подозрительно-мстительный взгляд.

«Хорошо! — подумал Иоганн. — Вы, сволочи, теперь сцепитесь, как пауки в банке. Флинк наверняка накапает донос, и ты, лощеный палач, от него не отстанешь — тоже будешь строчить».

— Позвольте, позвольте, — смущенно промямлил Клейн, — здесь что-то не так...

Вайс не дал ему закончить, встал, пожал руку, произнес, приятно улыбаясь:

— Самые лучшие пожелания вашей уважаемой супруге и вашему прелестному малютке. — Потом обернулся к Рейсу. — Унтершарфюрер оказал нам особую любезность, рекомендовав заключенного номер семьдесят четыре два ноля четырнадцать: оказывается, это был его личный освещитель. Поистине высокая жертва на алтарь абвера! — Поклонился всем, щелкнув каблуками, и направился к двери.

Дитрих попрощался более сдержанно и не считал нужным кого-либо благодарить.

Он твердо решил, что все добытые здесь материалы припишет исключительно собственной инициативе и личной проницательности. Иначе перед Лансдорфом не выслужиться. Он был достаточно осведомлен об этом человеке.

В годы первой мировой войны Лансдорф, друг фон Папена, под руководством Вальтера Николаи провел немало блестящих разведывательных операций в крупнейших странах Европы. И сейчас он занимает особое положение в СД, Гейдрих и Гиммлер привыкли полагаться на него. И все же он в опале: разошелся с имперским руководством во взглядах на «еврейский вопрос».

В первый период, когда наци только еще пришли к власти, Лансдорф считал истребление еврейской части населения целесообразным, ибо это, как он выразился, «приучало необстрелянную молодежь к мясу».

Но потом, после молниеносного захвата Польши и Франции, он стал прокламировать идею, что не следует полностью истреблять евреев. Наиболее работоспособных, по примеру рабов Древнего Рима, надо заточить в выработанные рудники и шахты, чтобы они в специально оборудованных там мастерских производили различные ценности. Подобным же образом нужно поступить и с еврейскими учеными: собрать их, изолировать, но при этом создать

такие условия, в которых они смогут заниматься научной работой. Ну, а все их достижения станут достоянием немецких ученых, которые будут распоряжаться ими по своему усмотрению.

Это «ревизионистское» суждение об одной из существенных доктрин Третьей империи было расценено как либерализм, и Лансдорф не получил того высокого поста, которого заслуживал.

Кроме того, у Лансдорфа был крайне своеобразный взгляд на своих соотечественников, предназначенных для несения разведывательной службы.

— Мы, немцы, — рассуждал Лансдорф, — наделены способностью в совершенстве овладевать всеми формами государственного послушания. Инстинкт дисциплины, слепой исполнительности у нас необычайно развит. Это необходимые качества для разведчика. Но нам не хватает артистизма, которым обладают французы, а также славяне. Особенно славяне — им присущи черты реалистической фантазии. Не случайно именно русские одарили человечество Достоевским, Толстым, Чеховым. И дерзость! Совершили же они, черт возьми, эту революцию!

Поэтому Лансдорф был крайне скуп на похвалы своим сотрудникам. Он всегда усматривал в их операциях склонность к излишним силовым акциям, а внеплановые террористические акты считал признаком неврастения — работой на публику. И к Штейнглицу относился пренебрежительно: ну какой это разведчик — обыкновенный мясник, лишенный чувства воображения.

Дитрих знал, сколь трудно заслужить одобрение Лансдорфа.

А вот Вайс не знал, как пристально наблюдает за ним Лансдорф. Именно в этом прислуживающем ему молодом ефрейторе он находил тот артистизм, которого так не хватало немецким разведчикам. Он тонко подметил этот артистизм, когда Иоганн читал ему вслух скучнейший французский роман. У Иоганна был почти неосознанный дар перевоплощения. И он, очень тонко модулируя голосом, передавал интонации, тональность, манеру произношения тех персонажей, длинные монологи которых читал дремлющему в ванне умудренному опытом крупнейшему немецкому разведчику, с равной преданностью служившему и кайзеру, и Гинденбургу, и Гитлеру, — как, впрочем, и весь генералитет Третьей империи.

И потянулись бесконечные лагеря: прифронтовые, сборные, транзитные, сортировочные, отборочные, штрафные... Бесконечные открытые кладбища, где живые мертвецы были погребены в дощатых склепах бараков. Холод, голод, эпидемии числились здесь в графе наиболее экономичных средств умерщвления, и чем выше был процент гибели людей, тем плодотворнее считалась работа лагерной администрации.

Вайс беседовал с комендантами, слушал их жалобы, сетования, рассуждения. Жалобы повсюду были примерно одни и те же. Администрация вынуждена предоставлять лагерные емкости не только для военнопленных, но и для устранения излишних едоков на «освобожденных территориях». Расстрелы — слишком расточительная мера: они поглощают значительное количество боеприпасов, необходимых фронту, — но, к сожалению, только крупные концентрационные лагеря оборудованы капитальной техникой уничтожения. И все коменданты выражали сочувствие абверовцам: да, очень трудно найти здесь надежный материал! Поражало Иоганна, что зондерфюреры не помнили в лицо даже тех заключенных, которые работали на немцев, — отличали их только по номерам. Это было какое-то непостижимо тупое равнодушие, иногда даже беззлобное, подобное отношению к животным на бойне. Среди администрации лагерей часто встречались звери в человеческой личности, изобретательно и неустанно придумывающие изощренные пытки, — их считали увлекающимися, но полезными чудаками. Однако массовые акции требовали организаторско-хозяйственных способностей. И тех, кто обладал такими способностями, ценили больше, чем садистов, недостаточно содействовавших главному — плановому умерщвлению заключенных. А эта сторона деятельности лагерей строжайше контролировалась.

Вайс выражал уважительное сочувствие комендантам лагерей и почти механически произносил при этом самые ужасные слова из их лексикона. Он надеялся расположить их к себе, побольше выведать и о других трудностях, с которыми встречается администрация. Ему нужно было получить материалы о подпольных коммунистических организациях, действующих в лагерях. Интересовали его также наиболее практически полезные сведения о способах побегов, — он хотел знать, как осуществляется система охраны,

каким образом предотвращаются побег, ведется преследование и розыск беглецов. И эти «задушевные беседы», в которых Иоганн был поддакивающей и восхищенно сочувствующей стороной, давали ему немало полезного, чем он и не преминул воспользоваться.

Как-то один из лагерных комендантов, со званием доктора, в чине зондерфюрера, выразил сомнение в целесообразности скоропалительного массового умерщвления заключенных. Он напоминал, что в доктрине фюрера есть формула «вспомогательный народ» — под этим термином подразумеваются люди, предназначенные для рабского труда. А когда германская империя завоюет весь мир, возникнет большая потребность в таком труде. Он глубоко-мысленно заявил, что раньше, по Веймарской конституции, президент выбирался на семь лет, а Гитлеру теперь права главы государства присвоены пожизненно. Фюрер обладает неограниченной самодержавной властью подлинного императора, и он сам сказал, что отныне «жизненная форма Германии тем самым определена на ближайшее тысячелетие». И когда фюрер станет властелином мира, ему понадобится много рабочих рук для гигантских, значительно превосходящих египетские пирамиды, сооружений, чтобы увековечить свое имя. Он даже напомнил, как ценились рабы в Древнем Риме: за убийство чужого раба суд сената приговаривал к очень высоким штрафам. Но другой эсэсовец, в звании унтершарфюрера, возразил доктору.

— На ближайший период, — сказал он, — империя с излишком обеспечена рабской рабочей силой. В сельское хозяйство рейха направлено около миллиона одних только польских военнопленных, а в промышленности, где раньше ощущалась нехватка рабочих рук, теперь их хватает с избытком — на немецких заводах трудятся французские военнопленные. Количество военнопленных так велико, что использовать их в Германии оказалось невозможным и нецелесообразным, и тысячи голландских и бельгийских военнопленных отправлены к себе на родину. — И, сокрушенно разводя руками, добавил: — Поэтому массовая ликвидация восточных рас — мера чисто гигиеническая, хотя в известной мере она связана и с безопасностью: ведь все славяне в той или иной мере неизлечимо заражены большевизмом.

Доктор в чине зондерфюрера в свободное от лагерных обязанностей время писал книгу, и в эти часы не разреша-

лось производить расстрелы: доктор любил предаваться своим уединенным занятиям в тишине.

Сведения, почерпнутые в лагерных картотеках, и множество других материалов, накопившихся у Иоганна, потребовали особо вместительного хранилища. И вот, предусмотрительно обернув свои богатства в вату и придав им форму длинной тонкой колбасы, Иоганн вынужден был однажды порезать совершенно целую автомобильную камеру, чтобы погрузить в нее свой архив. Убедившись, что все будет в сохранности, он заклеил камеру, засунул в крышку, накачал воздухом и уложил в багажник. Смонтированный им запасной скат в случае нужды мог служить не хуже остальных четырех.

За эти дни безмерного напряжения Иоганн невероятно вымотался, но голова его оставалась ясной, мысль работала четко, а постоянная взвинченность от нервного напряжения, как это ни странно, помогала ему острее воспринимать окружающее, отделять главное от побочного, цепко схватывать на лету каждое слово, которое могло оказаться полезным. Физическое же его состояние заставляло желать лучшего. У него воспалились и болели глаза, ныли кончики пальцев, а от ночных бдений все время клонило в сон, и когда удавалось прилечь, это было как обморочное замирание.

Он проделал гигантскую работу, конспектируя, шифруя лагерную документацию, нанося на микроскопические клочки бумаги топографические наброски расположения лагерей, дислокации охранных частей и подразделений. На этих же клочках он размещал списки лагерного командования, сообщал статистику умерщвлений, имена героев и предателей. Особое внимание он уделял способам вербовки, применяемым врагом.

А приемов этих было множество. Например, узника, обреченного стоять несколько дней в бетонной камере штрафного блока, неожиданно извлекали оттуда, ставили под теплый душ, брили, напяливали на него приличный штатский костюм, усаживали в машину и привозили в один из городских «веселых домов». Затем, напоив, отводили к даме. А на рассвете — снова в машину, снова в штрафной блок, в чудовищный каменный футляр. Проходило несколько дней. Сотрудник гестапо вызывал заключенного. И тот должен был выбрать: или смерть, или предательство.

Существовали и более утонченные методы, — например, подсаживание провокаторов, выдающих себя за антифаши-

стов. Цель тут была двоякая: с одной стороны, вызвав симпатии к себе, обнаружить истинное лицо заключенных и, с другой — это было более сложно, — сблизившись с особенно непокорными узниками, внушить им, что борьба бессмысленна, убедить их, что всех советских военнопленных, вернувшихся на Родину, в любых случаях ожидает кара. И для большей убедительности не раз инсценировали побег отдельных провокаторов, а потом их перебрасывали через линию фронта или к партизанам, чтобы эти предатели клеветали на тех, кто и в лагерях сохранял мужество, стойкость, преданность Отчизне, находил в себе силы бороться с врагом.

Постепенно Иоганн научился выявлять предателей. Прежде всего он обращал внимание на тех заключенных, которые и в штрафных блоках получали улучшенное питание. Потом, чтобы увериться в своей правоте, изучал продуктовые ведомости. Подтверждением служило и то, что в канцеляриях нельзя было найти ни копии рапорта высшему командованию о побеге, ни приказа о розыске с перечислением примет бежавшего. Не числились они также в списке беглых и не входили в ту графу отчета, которая подытоживала число побегов, совершенных за месяц. И никто из их приятелей по лагерю не подвергался казни, а приятелями их обычно были капо.

Иногда таких предателей сама администрация включала в групповой побег: ведь всем было известно, что они часто попадают в карцер, — чем же больше можно зарекомендовать себя! Но в книге, где с немецкой тщательностью записывали всех заключенных, подвергаемых наказаниям, против их номеров никогда не были указаны причины наказания. И хотя они часто попадали в штрафной блок, их номера не стояли в списках тех, кто подлежал истреблению. Разобраться во всем этом Иоганну было непросто. Огромный, необыкновенно кропотливый труд требовал гигантского напряжения сил, ума, сообразительности, логической сноровки, колоссальной емкости памяти. И Иоганн отнюдь не был невозмутимо спокоен, возясь с сотнями килограммов бумаги, отдавая дотошной следовательской работе, иступленно терпеливой и методической. Постоянная угроза висела над ним. Он понимал, что его ожидает, если в руки гестаповцев попадет хоть одна его запись и он не сумеет разумно объяснить, для какой цели она сделана.

Заложить мину под вражеский эшелон, взорвать бензохранилище, уничтожить крупного гитлеровца — все это

было эффективней, звонче, зримей, чем кропотливый канцелярский труд, проделанный Иоганном.

Иоганн вспоминал «Севастопольские рассказы» Толстого, описания госпиталя, могучие изображения подлой изнанки войны. Лагеря были страшнее: здесь подвергались неслыханным и нескончаемым мукам души людей. И это было чудовищней, чем все, что Иоганн наблюдал до сих пор, чудовищней даже, чем вид человеческого тела, искромсанного рваным металлом снаряда.

И усталый, измотанный физически Иоганн испытывал прилив холодной, расчетливой ненависти, мстительного воодушевления, и это делало его дерзким, самоуверенным, духовно бодрым, как никогда.

Он понял, что проделанная им «канцелярская» работа сейчас во много раз важнее так называемых «силовых акций». И когда Центр получит собранные им материалы, оперативные группы советских разведчиков после штабной разработки этих материалов будут не только верно и точно нацелены против предателей, проникших за линию фронта, но и здесь, в тылу врага, они сделают то, что им положено сделать. А от скольких мужественных, честных советских воинов, попавших в плен, будет отведена пытающаяся очернить их грязная рука провокаторов! Разве это не равно спасению жизни и даже больше, чем жизни,— чести людей?

Клеветать устами предателей, чернить патриотов — это тоже фашистская диверсия, и разве меньше она может вызвать жертв, чем диверсант со взрывчаткой? И он, предотвращая такие диверсии, выполняет сейчас, может быть, самый славный чекистский долг: спасает людей. Спасает их честь, их доброе имя.

На первой чекистской эмблеме изображены меч и щит. Да, чекист поражает врага карающим мечом, но не для того, чтобы оборонять себя, вручен ему щит,— для того, чтобы защищать всех советских людей. Так говорил ему чекист-дзержинец, его наставник.

— Щит — это твое сердце коммуниста, и ничто столь надежно не защитит советского человека от беды, как чистое сердце коммуниста.

Что ж, Иоганну хотелось уничтожить предателей, оборотней, которых он здесь выявил, самому убить их. Наверно, того «кролика» в экспериментальном лагере шахтер уже убрал, может, и не своими руками: у них там большая подпольная организация. Но разве узнать, кто скрывается

под № 740014, разве найти шахтера было менее важно, чем выявить предателя? Теперь Иоганн сообщит о нем Центру, и семья шахтера узнает, что пропавший без вести муж и отец достоин великого уважения, и будет гордиться им.

И снова мокрый снегопад, дороги, разможенные танками, развалины городов, мертвые, черные пожарища деревень — истерзанная земля, изрытая оборонительными сооружениями, и непогребенные трупы советских воинов.

Командировка закончена. Машина катится обратно к Варшаве.

Дитрих дремлет, прижимая к груди планшет. В нем списки пленных, предлагаемых для вербовки, и докладная записка Лансдорфу, составленная Вайсом под диктовку капитана в энергичной, хвастливой манере, соответствующей духу имперской стилистики.

Дитрих очень доволен Вайсом и обещал, что тот получит унтер-офицерское звание. Ему нравились всегда ровная, услужливая скромность Вайса, его истинно немецкое трудолюбие и та наглая настойчивость, с какой он добивался у лагерного начальника материалов, чтобы выполнить работу, которую, по существу, должен был делать Дитрих.

Гитлер обещал: «Я выращу такую молодежь, перед которой содрогнется мир. Эта молодежь будет жестокой и властной. Ни о каком интеллектуальном воспитании не может быть и речи». В прусских юнкерских семьях — а Дитрих принадлежал именно к такой семье — жестокая воля к власти издавна считалась признаком истинно немецкого характера, а военное воспитание — единственно возможным для ее отпрысков.

И Дитрих полагал, что солдат противника, сдавшихся в плен, следует казнить на месте, в поучение собственным солдатам. Лагеря для военнопленных он считал излишней роскошью и весьма скептически относился к возможности завербовать там надежных диверсантов. К лагерному персоналу он относился с презрением: в его глазах это были тыловики, наживающиеся на кражах лагерного провианта, не упускающие любой возможности урвать что-то для себя. Правда, не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить огромные свинарники при каждом лагере. Нельзя было не обратить внимания и на грузовики, которые подъезжали к обширным складам: здесь оптом продавали

набитую в тюки одежду и обувь умерщвленных узников. А костяную муку продавали для удобрения полей. Ни одна малость не ускользала от рачительной лагерной администрации, и в специально для того оборудованных помещениях зубные коронки казенных переплавляли на газовых горелках в золотые десятиграммовые брусочки.

Но Дитриху не было дела до всего этого, и вообще он не хотел себя ничем утруждать, а тем более — копаться в лагерной грязи. И, несмотря на все свое высокомерие, он понимал, что, если бы не долготерпеливая работоспособность ефрейтора Вайса, едва ли ему удалось бы так успешно справиться со своим служебным заданием.

И хотя лицо Вайса осунулось от переутомления, он не утратил своей обычной приветливости, он всегда оставался равно внимательным, почтительным к своему начальнику, и приятно было видеть его постоянную белозубую улыбку. Кроме того, ясно, что этот ефрейтор не дурак. Он смышлен, в меру образован и настолько простодушно предан Штейнглицу, что обижается каждый раз, когда Дитрих позволяет себе подшучивать над недостатками майора. Эту преданность Дитрих рассматривал как некую благородную черту, которую его отец так ценил в подчиненных.

Вайс тоже был доволен Дитрихом. И считал, что ему повезло, поскольку эта сволочь оказалась неактивной, ленивой скотиной. Капитан полностью возложил на Иоганна свои обязанности, мало во что вмешивался, почти ничем не интересовался и не мешал.

Мысли его не задержались на Дитрихе. Он с омерзением вспомнил своих «приятелей» из лагерных служб гестапо, этих чистюль, беспокоившихся о своем здоровье, панически боявшихся подцепить инфенкцию. Для профилактики они по три раза в день принимали душ, без конца обтирали руки спиртом и тщательно сбривали каждый волосок у себя под мышками, чтобы, упаси боже, не завелись вши, а одеколоном от них разило так, что, если постоять долго рядом, начинала болеть голова.

Рассуждали они все примерно одинаково: каждому полагается когда-нибудь умереть, и мы здесь не убиваем военнопленных, а просто не содействуем продлению их существования. Некоторые из них изощренно истязали заключенных отнюдь не из склонности к садизму, а из одной лишь боязни прослыть добряками. Это было опасно, и они фотографировались у виселиц во время казней, чтобы заручиться своеобразным документом, подтверждающим

их профессиональную пригодность к подобного рода службе, самой безопасной во время войны.

Опьяненные военными успехами Германии на Западе, разгромом армий крупнейших капиталистических держав, они не сомневались в недалекой победе над Советской Армией. И потому, уверенные, что их зверства останутся без возмездия, афишировали их, показывали засекреченные медицинские блоки, хвастались запаянными стеклянными сосудами с детской кровью — ее направляли самолетами в армейские госпитали; называли храмами науки спецблоки, где немецких студентов-медиков обучали оперировать не на трупах в морге, а на живых заключенных.

А потом, после того, как эти гестаповцы, часто сверстники Вайса, показывали ему спецблоки, они дружески заботились о нем, стараясь уберечь от инфекции: обрызгивали одеколоном из пульверизатора, лили ему на руки из кувшина теплую воду, если душ не работал. И слово «скот», каким здесь называли заключенных, не звучало в их устах бранью. Вовсе нет. Они действительно считали военнопленных человекоподобными скотами и разделяли их только на послушных и непослушных, способных и неспособных к дрессировке.

Иногда все окружающее начинало казаться Иоганну фантастическим бредом, подобным сновидениям безумца. Вот он играет в скат со своими сверстниками за столом, накрытым чистой скатертью, пьет пиво. Они рассказывают ему о своем детстве, о родителях, мечтают, чтобы скорее закончилась война и можно было вернуться домой. Они шутят, играют на аккордеоне, поют. А потом кто-нибудь из них встает и, с сожалением объявив, что ему пора на дежурство, надевает пилотку, вешает на шею автомат, берет палку или плеть и уходит в лагерь, чтобы бить, мучить, убивать.

И он, Александр Белов, машет на прощание рукой этому убийце, приветливо улыбается, записывает номер полевой почты, чтобы потом дружески переписываться, и громко сожалеет, что такой хороший парень покидает компанию.

Каждый раз, когда Иоганн видел здесь истерзанного советского человека, незримая рана открывалась в его душе. Таких ран становилось все больше, и он должен был выработать привычку переносить эту неисцелимую, всегда сопутствующую ему хроническую боль и, не надеясь на то,

что она пройдет, научиться жить с этой болью и делать свое дело так, чтобы она не мешала ему, скрывая свои чувства, зная, что еще не скоро придет время, когда ты сможешь снова стать таким, какой ты есть в действительности. И какое же это будет счастье!..

31

С вечера у рейхсканцлера Адольфа Гитлера сильно болел живот. Но утром желудок работал нормально. Значит, боли были вызваны не расстройством кишечника, а имели чисто нервное происхождение. И сейчас рейхсканцлер в приятном изнеможении полулежал в кресле и с наслаждением вспоминал, как вчера здесь же, в имперской канцелярии, в его гигантском торжественном кабинете, на совещании по поводу обстановки на Восточном фронте, неожиданно для всех складывающейся не слишком приятно, он вдруг посетовал на рези в желудке. И все эти прославленные германские полководцы, цвет вермахта, словно забыв, зачем они пришли сюда, стали с глубокой озабоченностью обсуждать малейшие симптомы недомогания своего фюрера и дали ему множество полезных медицинских рекомендаций, проверенных на собственном опыте. И он внимательно, терпеливо и благосклонно их всех выслушивал. А когда Кейтель и Иодль с утонченной вежливостью, но дрожащими от злобы голосами спорили друг с другом, следует ли фюреру прибегать к искусственным мерам очищения желудка или не следует, он дал им выговориться, милостиво не вмешиваясь в их горячую и страстную полемику.

И то, что маршалы и фельдмаршалы, представители самых древних, самых прославленных военных родов Германии, столь увлеченно обсуждают этот интимный момент самочувствия фюрера, состязаясь перед ним в своей осведомленности о различных способах исцеления, навело Гитлера на некую ироническую мысль. Пожалуй, если б он вдруг позволил себе в присутствии этих полководцев шумно испортить воздух, — а о такой капризно-презрительной мести буржуазной публике говорил один гениальный француз, фамилию которого фюрер запомнил, — то никто из них не нашел бы здесь ничего предосудительного.

И это тоже приносило упоительное сознание своей власти над ними. Над всеми этими тевтонскими рыцаря-

ми, кичающимися своей родовитостью, своей фамильной честью, своими военными заслугами перед рейхом.

А он, некогда мелкий австрийский шпион Шикльгрубер, ефрейтор, незадачливый живописец с физиономией кельнера, он вознесен над ними силой обстоятельств. Империи понадобился вождь, ради всего готовый на все, но не утративший при этом практической сообразительности и не забывающий, что истинный хозяин положения вовсе не он, а подлинные владельцы Германии — Крупны, Стиннесы, Тиссенсы. И хотя стратегия плана «Барбаросса» — вершина германской военной мысли, она все же нуждается в поправках имперских магнатов. Ведь они открыли немецкому фашизму кредит, и с ними нужно безотлагательно расплачиваться углем и металлом Донбасса, нефтью Баку, нужно вносить в обещанные сроки проценты в виде сырьевых придатков к их индустриальным владениям.

Захватить Москву и Ленинград — эту эффектную победу верховное командование считало главной стратегической целью. Генералитет привык на европейском театре войны «мыслить столицами», ибо после падения столиц обычно завершались войны: европейские державы традиционно капитулировали.

Но хотя он сам утверждал, что Советский Союз — это «колосс на глиняных ногах», в глубине сознания он начал постепенно ощущать, что война с Россией полна стихийных неожиданностей и разгадать, предотвратить их не в силах ни его соратники, ни он сам. Еще 3 июля начальник генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер доложил по телефону в ставку:

— Не будет преувеличением, если я скажу, что кампания против России была выиграна в течение четырнадцати дней.

И сам он, фюрер, вынужден был недавно, 7 октября, лживо заявить, будто Красная Армия окончательно разбита и война с Россией фактически закончена. Он лгал сознательно, преследуя благородную цель: хотел этим заявлением втянуть Японию в войну с Советским Союзом, создав у ее правителей впечатление, что русские накануне поражения.

Он политик, а ложь в политике — это оправданный метод для достижения ближайшей цели. Он сам провозглашал:

— У меня то преимущество, что меня не удерживают

никакие соображения теоретического или морального порядка.

Но когда ему угодливо лгут, как врал Гальдер и другие прославленные немецкие полководцы, он, бывший ефрейтор, не может не испытывать к ним скрытого и снисходительного презрения. И когда они из его рук принимали ордена, как принимают чаевые, он видел на их лицах лакейское выражение. И когда он, искусно взвинчивая себя, иступленно и оскорбительно орал на них, если они допускали ошибку, они с привычной покорностью, демонстрируя этим дух прусской военной дисциплины и послушания, выслушивали бранные слова, любое из которых заставило бы покраснеть и ассенизатора. Он понимал, что его лицемерие проявляется обычно чересчур поспешно, что оно слишком грубо, и частенько завидовал своим генералам, непринужденно, с безукоризненным совершенством воспитанников высшей кайзеровской школы владеющим этим мастерством.

Но сейчас его заботило другое.

Он вызвал начальника абвера адмирала Канариса, чтобы дать ему нахлобучку. И отдыхал перед тем, как впасть в самозабвенную ярость, приступы которой были для него полезны: они возбуждали ум.

Канарис умел мягкостью, лестью и вкрадчивыми манерами успокаивать эти шумные бури. Он хвастал Гейдриху:

— Человек примет вашу точку зрения, если вы не будете раздражать его. Только тогда он может оказаться благоразумным.

Эта коварная лиса, Канарис, — гиена в сиропе.

Еще в 1934 году Интеллидженс сервис заслала в Германию своих специальных агентов-психологов, чтобы они изучили психические склонности Шикльгрубера — Гитлера. Всех их снабдили поисковой карточкой: «Рост средний, уши петлями, нос прямой, крупный, глаза выпученные, синие, волосы темные, телосложение нормальное, страдает несколько чрезмерной возбудимостью и раздражительностью, естественной для лица, стоящего во главе нового политического движения. Особых примет нет».

Эти английские разведчики, как грязные репортеришки, собрали самые интимные сведения о фюрере. Они узнали даже, что все его многочисленные попытки обзавестись потомством были плачевными, и они же утверждали, будто бы ему нравится запах собственного пота, и поэтому он, поднимая руку, якобы нюхает собственную подмышку.

А его склонность к мистике они объясняли неким отроческим пороком. И подобные «материалы» Канарис осмелился вручить ему, фюреру, главе империи, как будто бы оказывая этим дружескую доверительную услугу, как бы раскрывая перед ним все сейфы немецкой контрразведки.

Гитлер подозревал, что истинный текст донесений английских агентов Канарис припрятал, а этот состряпал сам или совместно с покойным Ремом, который тоже претендовал на роль фюрера и стремился уязвить Гитлера, намекнув, что в тайниках абвера копится и его грязное белье.

Гитлер знал, что Канарис любовно коллекционирует у себя в сейфах всю грязь, которую только могли собрать его шпионы об имперской верхушке. Подобным коллекционированием с не меньшим усердием занимаются Гиммлер, Гейдрих, Риббентроп. Эти картотеки — их личный золотой запас, который в случае нужды они могут обменять на валюту какой-нибудь мировой державы. Но Гитлер знает о них больше, чем даже они знают о себе, потому что каждый из них усердно, с энтузиазмом доносит ему на другого.

И если уж говорить об истинных личных заслугах Гитлера перед рейхом, то, по крайней мере, одна из них несомненна: став главой Третьей империи, он сумел использовать свой опыт мелкой полицейской ищейки и создал грандиозную систему тотального шпионажа. Гигантскую охранную систему безопасности тех, кто возвел его на вершины власти. И Круппы, Стиннесы, Тиссенсы — все эти магнаты, подлинные властители Германии, что бы потом ни произошло, обязаны, да, обязаны сложиться и отлить ему монумент из частицы того золота, которое бесконечным потоком несли в их банки реки крови, залившие сейчас Европу.

Канарис мелкой, семенящей поступью вошел в кабинет фюрера. Склонив набок румяную физиономию с седой прилизанной шевелюрой, он притворно часто дышал, показывая этим свое служебное рвение: прибыть секунда в секунду. Но он вовсе не запыхался, торопясь сюда: больше часа покорно дожидался, пока его вызовут, в приемной рейхсканцелярии, развлекая адъютантов фюрера веселой болтовней. Он умел болтать, ни о чем не пробалтываясь и вызывая при этом у собеседников опасные для них позывы к излишней откровенности.

Через адъютанта фюрера, тайного своего агента, Канарис знал, зачем его вызывали.

И Гитлер знал через Гейдриха, что Канарису известно, зачем он будет вызван. Знал он и от кого известно, так как один из ближайших сотрудников Канариса, готовивший ему материалы для представления фюреру, был тайным агентом Гейдриха. А правильно ли доложил обо всем фюреру Гейдрих, проверит, в свою очередь, Гиммлер, у которого есть свои агенты в аппарате Гейдриха. И обо всем этом знал Канарис. И то, что Канарису все это известно, фюрер тоже знал. И принимал это как должное. Ведь страшно было бы, если бы один из его подручных в создании системы тотального шпионажа не понимал ее всеобъемлемости. И, зная, что Канарис великолепно осведомлен, зачем его вызвали, зная, что у того в папке принесены все материалы и даже заранее готова объяснительная записка, Гитлер все же посчитал нужным прийти в ярость, чтобы внезапно обрушиться на Канариса и заставить его якобы врасплох. Недаром Канарис говорил с любовным восхищением, что внезапность — универсальный и безотказный прием фюрера и что это могут подтвердить даже некоторые особы слабого пола.

Ревностное соперничество гестапо, служб СД и абвера, их стремление стать самым надежным источником секретной информации для главы Третьей империи Гитлер умело использовал, чтобы проверять каждого из информаторов. И о каждом из них он располагал такими материалами, которые свидетельствовали против них и могли служить официальным обоснованием смертного приговора. И это тоже было ведомо каждому из них.

И относительно своего любимца Геринга фюрер тоже располагал такими сведениями, такими документами, которые в любой момент можно было использовать против него.

Геринг как одержимый мошенничал, лелея мечту превзойти рурских магнатов, получить больше прибылей от своего концерна, чем получают они. И хотя тайным указом его еще в 1934 году назначили преемником Гитлера, он все-таки полагал, что истинную незыблемую власть над людьми дает только богатство, и безудержно мародерствовал во всех оккупированных странах Европы, и, оправдываясь, изворачиваясь перед фюрером, лгал, будто им овладела страсть к коллекционированию произведений искусства.

Что касается Геббельса, то за ним числились подлежащие уголовному наказанию похождения с юными танцовщицами, для которых в его поместье было устроено целое

общежитие, нечто вроде гарема. И Гитлер снисходительно объяснял неубедительность многих его пропагандистских выступлений, даже таких, которые в виде листовок прилагались к хлебным карточкам, тем, что Геббельс чересчур истощает себя на ином поприще.

И так каждый власть имущий оставил свой след в хранящемся у Гитлера своде черных деяний.

В этом списке значились и немецкие магнаты. Гитлер располагал документами, неопровержимо свидетельствующими о сотрудничестве крупнейших германских концернов с американскими и английскими фирмами, впрочем, в интересах Третьей империи.

Но в случае нужды он мог дерзнуть и обвинить в измене рейху кое-кого из немецких промышленников, конечно, тех, кто помельче. Он держал про запас этот козырь, хотя взаимный обмен патентами, военными изобретениями, торговля стратегическими материалами, оружием, боеприпасами, топливом и иные подобные дела велись с ведома и одобрения имперского руководства, а в США и Англии владельцы крупнейших концернов тоже не делали из такого сотрудничества особой тайны.

Гитлер был вынужден послушно исполнять роль демонической личности, склонной к ясновидению. Официальные биографы приписывали ему эти черты, стремясь фантастически расцветить банальные, провинциальные вкусы невежды, а мнительность неврастеника выдать за пылкость гения.

Следуя этой своей обязанности быть тем, кем его хотели видеть, Гитлер вел себя так, чтобы поведение заставляло забывать об ординарности его натуры. Вот и сейчас, привычно возбуждаясь, словно впадая в транс, он яростно закричал и, опьяняясь своим криком, ощутил, что к нему приходит приятное, легкое беспамятство, как после приема небольшой дозы наркотика, бодрящего и освежающе действующего на нервную систему. И фюрер вопил, угрожал и кричал иступленно, самозабвенно, наслаждаясь этим дурманящим самозабвением.

Канарис, как и полагалось в такие моменты, привычно кривлялся, попеременно и мастерски изображая на своей жирной физиономии страх, ужас, униженную мольбу. Он гримасничал молча, долго, и от этой тяжелой мимической работы у него заболели лицевые мускулы, за ушами потек пот и судорожно двигались в черных лакированных ботинках пальцы.

Так продолжалось до тех пор, пока обе стороны не убедились, что каждый из них достойно выполнил свою роль и каждый из них при этом вел себя именно так, как ему и полагалось вести, и тогда Гитлер спокойно и удовлетворенно приказал Канарису докладывать. И, выслушав деловой рапорт, со свойственной ему дотошностью роаясь в бумагах Канариса, Гитлер с полным, до тонкостей пониманием и знанием дела, четко и коротко объявил, что разведывательно-диверсионная деятельность абвера против Советского Союза, хотя расходы на нее составляют в год 31 миллион рейхсмарок, а это равно 11 миллионам 700 тысячам долларов, поставлена неудовлетворительно. И если до июня 1941 года деятельность агентуры абвера была парализована советскими органами контрразведки и упорной преданностью населения мифам коммунизма, то сейчас слабость немецкой агентурной работы ничем не может быть оправдана. Тут Гитлер опять забылся, снова впал в транс, принял соответствующую позу и стал высокопарно вещать, как будто перед ним была огромная аудитория, а не один-единственный слушатель, к тому же прекрасно все это знающий. Он начинает новую войну против русских и будет вести ее особыми методами тотальных диверсий, тотального шпионажа и тотальных подрывных действий. Он взорвет Советскую страну изнутри. Она покроется гейзерами крови, обломками заводов и фабрик. Смерть будет витать над каждым, и ужас террора повергнет народ в оцепенение. Начнется эпидемия убийств, и совершать их будут специально для того заброшенные агенты — люди без родины. Они будут сеять смерть из страха казни, потому что таким же агентам поручат уничтожать каждого убийцу, не выполнившего волю тех, кто послал его убивать. Все крупные заводы, фабрики, электростанции на территории Советской страны должны быть взорваны. Этот фейерверк обойдется рейху дешевле любой бомбардировки, а устроят его те, кто, трепеща за свою жизнь, во спасение ее будет убивать своих соотечественников. И Гитлер произнес вдохновенно:

— Мы должны содрать с восточных военнопленных тонкий слой советского лака и, обратив их в зверей, тысячами забрасывать на парашютах, чтобы они, как тифозные вши, покрывали землю, превратили ее в ад.

Канарис благоговейно, молитвенно взирал на фюрера, терпеливо ожидая момента, когда снова можно будет возобновить деловой разговор. Предстояло обсудить подго-

товленную им докладную записку о создании широкой сети диверсионно-разведывательных школ для массового обучения агентов, предназначенных действовать против Советского Союза. И как ни томительно было выслушивать выспренные суждения фюрера, Канарис был с ним совершенно согласен: в связи со столь неприятно замедлившимся продвижением армий вермахта на Востоке необходимо принять экстренные меры и провести их в огромном масштабе, чтобы содействовать быстрейшему успешному завершению похода на Россию иными средствами — средствами тайной войны, войны без линии фронта, еще более жестокой, чем обычные военные действия.

С этой целью Канарис и предлагал создать под грифом «Вали» особый разведывательный штаб в одном из пригородов Варшавы и развернуть при нем сеть разведывательно-диверсионных школ. Он давно разложил на огромном столе фюрера схемы расположения этих заведений с обозначением всех объектов, а также объяснительную записку, примерную смету и списки командно-преподавательского состава. И все это он уже успел зарегистрировать в рейхсканцелярии как сверхсекретные объекты, равные по шкале секретности ставкам на восточных территориях.

Фюрер перестал наконец вещать и занялся объяснительной запиской. Читая ее, он увлеченно ковырял в ухе концом карандаша, хмыкал одобрительно, а порой звонко цыкал зубом, как всегда, когда работа доставляла ему удовольствие. Сделав много правильных и весьма полезных замечаний, свидетельствующих о серьезном знании предмета и даже способности к некоему новаторству в этой древнейшей отрасли ведения войны, он поставил на проекте создания новой сети диверсионных заведений свою подпись, подобную следу, который оставляет удар хлыста.

Адмирал Канарис вздохнул с облегчением. И тут Гитлер неожиданно оторвался от бумаг и объявил торжественно:

— Я должен вас обрадовать, адмирал. Вчерашнее мое недоумогание оказалось несерьезным. Сегодня у меня был отличный стул.

— Я бесконечно счастлив, мой фюрер! — искренне воскликнул Канарис, сияя своей знаменитой улыбкой.

Он действительно был счастлив этим обстоятельством, потому что, если бы не оно, как знать, чем бы закончился сегодняшний его доклад. И чтобы еще более расположить к себе Гитлера, доложил ему, что, по информации Лансдор-

фа, в экспериментальном лагере заключенные задушили четырех агентов. А некий унтер-офицер абвера сообщил Лансдорфу, что эти агенты были бы особо ценны как диверсанты, и он хотел зачислить их в школу, но администрация лагеря предпочла выдать их заключенным, чем предложить службе абвера. И фюрер благосклонно согласился привлечь к ответственности руководство экспериментального лагеря, сказал, что прикажет гестапо сделать это, дабы впредь никто не чинил препятствий высокой миссии абвера, не мешал подготовке тотальной агентурной атаки на Востоке.

— Хайль Гитлер! — воскликнул Канарис.

— Хайль! — как бы салютуя самому себе, ответил фюрер. Он произнес приветствие машинально, потому что его тусклый, утомленный взор был обращен в этот момент к собственному, ярко написанному лучшими красками концерна «ИГ Фарбениндустри» парадному портрету, поднесенному 20 апреля — в день его рождения. Владелец этого концерна он был также обязан своим величием, как и концерн «ИГ Фарбениндустри» был обязан Гитлеру гигантскими сверхдоходами, неиссякаемая золотая лавина, которая росла с каждым новым военным годом.

Фюрер твердо обещал армиям вермахта, действующим на Восточном фронте, что рождество они встретят в Москве. И сам он тоже был не прочь отпраздновать рождество в поверженной русской столице. Во всяком случае, генерал-квартирмейстер армии «Центр» припас на этот случай в обозе второго эшелона сервис с инициалами фюрера.

Падал мокрый снег и таял. Серый Берлин влажно блестел. В серых каналах белыми комьями плавали утки и чайки. Они были совсем ручные. Добрые прохожие бросали им хлебные крошки. К зданию гестапо одна за другой подкатывали машины, из них, сцепив руки на затылках, выходили люди — такие же немцы, как те, кто их привез. Они поднимались по лестнице и выстраивались вдоль коридора, уткнувшись лицами в холодные, покрытые масляной краской стены.

После допросов некоторые из этих людей, марая кафельный пол кровью, сами добирались до камер, но большинство не могли идти, и их увозили на носилках с велосипедными колесами. В гестапо, как на военном заводе, работали круглосуточно — в три смены...

В городе было чинно, тихо, и влажный снег, лениво падавший с серого неба, не мог обелить его улиц. Снег

падал и таял, растекаясь холодными, склизлыми лужами, и в них жирными пятнами отражались огни этого надменного города, выстроенного из серого камня.

Варшавская школа немецких разведчиков, как и некоторые ее филиалы, была организована в октябре 1941 года. Она находилась в непосредственном подчинении действовавшего на Восточном фронте разведывательно-диверсионного органа, условно именуемого «штабом Вали». Дислоцировалась школа в двадцати одном километре восточнее Варшавы, близ населенного пункта Ромбертово и железнодорожной станции Милоспа, в местечке Сулеюówek, по улице Падеревского. Там же разместился один из филиалов «штаба Вали» и принадлежащая ему мощная радиостанция.

Филиал штаба разведоргана и канцелярия школы занимают белое четырехэтажное здание бывшего приюта для престарелых женщин, а под общежитие разведчиков и классные помещения отведены стандартные деревянные бараки в сосновом лесу. Территорию школы отделяет от филиала «штаба Вали» улица Падеревского; общежития разведчиков-ходовков и разведчиков-радистов отгорожены забором. Немецкие офицеры и солдаты караульной команды размещены неподалеку отсюда, на даче, некогда принадлежавшей Пилсудскому, и в двух бывших школах для детей.

Вокруг высятся шесть радиомачт мощной радиостанции. Если смотреть на весь комплекс сверху, с самолета, то обратит на себя внимание только штаб разведоргана: здание его резко выделяется размерами и красной черепичной крышей. Остальные постройки сливаются с местностью.

В бараке, расположенном в тридцати метрах севернее штаба, живут рабочие из военнопленных — шоферы, портные, сапожники; там же размещаются склады — продовольственный и вещевой. Двор перегорожен деревянным забором. Посреди той части двора, которая примыкает к этому барaku, небольшой одноэтажный склад, где хранятся личные вещи военнопленных и одежда, предназначенная для диверсантов, подготовленных к заброске в советский тыл. Западнее, где и находится сама школа, тоже несколько построек.

Три зеленых барака, расположенных в виде буквы «П» среди высоких сосен, обращены на восток. В трех комнатах южного барака, рассчитанного на пятьдесят человек, устроено общежитие для разведчиков-радистов.

Две комнаты северного барака, в которых может разместиться до тридцати человек, отведены под общежитие разведчиков-ходов, а третья предназначена для занятий.

Все три комнаты среднего барака оборудованы под классы для радистов, в каждом из них могут заниматься десять человек.

Рядом с бараками стоит серое двухэтажное каменное здание, на втором этаже которого в специальной мастерской фабрикует фальшивые документы, чтобы снабжать ими агентуру, забрасывать в советский тыл. Здесь изготавливают все необходимое для этого: штампы, печати, есть и фотолаборатория.

Здание штаба имеет три входа, со стороны южной улицы — парадный ход с белыми колоннами, через который попадают в караульное помещение, а из него — на кухню и во двор. На кухню можно попасть и через другой ход — со стороны двора. Рядом с этой дверью деревянная пристройка для полевых кухонь. Но пользуются здесь почти всегда третьим ходом — тем, что в углу со стороны двора, он ведет в западное, пристроенное из красного кирпича крыло. На первом этаже этой пристройки кухня и казарма, на втором — кладовые, на третьем — квартиры офицеров и унтер-офицеров.

Сам штаб разведоргана занимает белое здание, где работают офицеры. Кабинеты, на дверях которых указаны их фамилии, расположены в первых двух этажах — по двенадцати на каждом. В крыле третьего этажа радиопункт. Имеется и зрительный зал на сто пятьдесят человек.

Для обеспечения агентуры, забрасываемой в тыл советских войск, фиктивными документами при «Вали-1» создана специальная команда «1 Г». В ее составе четыре-пять немцев — граверов и графиков и завербованный абвером русский военнопленный, знающий советское гражданское и военное делопроизводство.

На команду «1 Г» возложены также сбор, изучение и изготовление наградных знаков, штампов и печатей. Ордена и бланки трудноисполнимых документов, таких, как паспорта и партбилеты, команда получает из Берлина.

В обязанности команды «1 Г» входит, кроме того,

инструктирование агентов о порядке оформления и выдачи документов на территории СССР.

Склады, портновская и сапожная мастерские снабжают забрасываемую на советскую землю агентуру военным обмундированием, снаряжением и гражданской одеждой.

Отдел «Вали-2» руководит диверсионными и террористическими действиями в частях и в тылу Советской Армии. В его распоряжении склады оружия, взрывчатых веществ и различных диверсионных материалов, расположенные в местечке Сулеюовек — там, где дача Пилсудского. Отдел «Вали-3» руководит контрразведывательной деятельностью. На него возложена борьба с советскими разведчиками, партизанским движением и антифашистским подпольем в зоне армейских и дивизионных тылов на оккупированной советской территории.

«Штабу Вали» придан специальный авиационный отряд из четырех — шести самолетов, предназначенных для заброски агентуры в советский тыл.

Варшавская школа при «штабе Вали», готовящая квалифицированную агентуру из советских военнопленных, считается центральной, показательной. Поэтому она служит также для ознакомления работников германских разведывательных органов с методами организации разведшколы и обучения агентов. Номер ее полевой почты — 57219.

Отбору агентуры в Варшавскую школу немецкая разведка придает особое значение. Представители абвера, наметив в лагере для военнопленных подходящего человека, прежде чем завербовать, и сами всесторонне изучают его и собирают сведения о нем через внутрилагерную агентуру.

В большинстве случаев завербованным не сообщают, как они будут использованы, — об этом их ставят в известность только в самой разведшколе. Одновременно они получают чешское или французское трофейное обмундирование и клички вместо имен.

Лансдорф поселился в одной из комнат «штаба Вали» с возможным для этого казарменного помещения комфортом. Пол и тахту устлали пушистые ковры, через стеклянные дверцы шкафа были видны пестрые корешки английских и французских книг, по углам стояли два торшера, и все это, особенно цветы повсюду, делало комнату уютной.

Докладывая, Вайс приветливо глядел в сухое лицо Лансдорфа, но не видел ни тонких, поджатых губ, ни тонкого носа, ни впалых, сиреневых после бритья щек, ни крутого лба с большими залысинами: он только чутко следил, как менялось выражение выпуклых, по-стариковски вылинявших, но не утративших живого блеска глаз своего начальника.

Лансдорф лежал на тахте, подложив руку под голову, и не изменил позы, когда вошел Вайс. Он был в пижаме и английского происхождения теплом халате из верблюжьей шерсти. На ногах меховые шведские домашние туфли. Верхний свет был погашен, и яркая лампа торшера освещала только лицо Вайса. И Вайс понимал, что не случайно стул, на который предложил ему сесть Лансдорф, стоял под торшером, и хотя резкий свет раздражал глаза, он и не подумал передвинуть стул.

«Прием довольно-таки дубоватый для такого маститого разведчика, как Лансдорф», — отметил Вайс.

Столь же примитивны были выражение скуки и равнодушия, с каким Лансдорф, казалось бы, невнимательно слушал Вайса, и иронические замечания по поводу его доклада: ефрейтор оказался чрезмерно наивен в своем восхищении деятельностью капитана Дитриха, его умом и прожеками. Однако он не прерывал Вайса, когда тот приписывал Дитриху кое-какие соображения, чтобы выяснить реакцию Лансдорфа на них.

И он говорил, что капитан Дитрих проявил тонкую и глубокую наблюдательность и совершенно прав, считая, что русские военнопленные, с легкостью согласившиеся стать предателями, с такой же легкостью могут изменить и Германии. И трусость их, и низость — не очень надежная порука, едва ли можно сформировать из этих военнопленных готовых на все агентов. Ориентироваться только на подобных людей — значит избрать наиболее легкий путь. Но легкий путь не всегда приводит к цели.

— Что же ты предлагаешь? — перебил Лансдорф своим тусклым, ровным голосом.

— Я? Ничего. Я просто говорю о том, что мне довелось слышать.

Произнеся эти слова, Иоганн напряженно думал, каким способом вернее внушить Лансдорфу, что, кроме людей, рекомендуемых гестапо, абверовцы должны сами отбирать в разведывательно-диверсионные школы наиболее подходящих военнопленных. При этом условии Иоганну бу-

дет несколько легче отыскать и определить в школу людей, которые ему нужны, чтобы начать опасную, но такую необходимую сейчас его Родине работу: предотвращать злодеяния агентов абвера и спасти тех, кто окажется готовым к борьбе, способным на подвиг.

И, нащупывая почву, он заметил несколько неопределенно:

— Капитан Дитрих высказал предположение, что, опасаясь возмездия со стороны других заключенных, некоторые только из самосохранения чуждаются контактов с нами. И это не что иное, как специфическая форма маскировки, а для такой маскировки нужны ум, выдержка, выносливость — именно те качества, которые требуются от агента.

Лансдорф живо поднял голову, пристально взглянул на Вайса, процедил сквозь зубы:

— Это, пожалуй, оригинально. Во всяком случае, не шаблонно... — И задумался. Но тут же, не желая показать, что это соображение его заинтересовало, устало прикрыл белые веки, пожаловался: — Эта неустойчивая погода — то заморозки, то оттепель — действует на меня расслабляюще. В моем возрасте люди становятся чувствительны ко всяким переменах. — Тут он зябко передернул плечами и с томным видом откинулся на подушки. Но на душе у него было тревожно, беспокойно.

На днях он сам допрашивал пленного советского офицера, почти своего ровесника. Пленный был сухощавый, подтянутый человек с твердым, спокойным лицом. Обращал на себя внимание пронзительный взгляд его несколько поблекших серых глаз в морщинистых веках. Офицера доставили к Лансдорфу из госпиталя, где ему поспешно наложили швы на раны, только с тем, чтобы сделать его транспортабельным. Переливание крови и введение в вену тонизирующих средств на короткое время придали пленному физические силы, которых он уже совсем почти лишился: жизнь его угасала, он был крайне слаб. И все же ценой невероятного нервного напряжения он проявил редкое самообладание, и нельзя было заметить, что всего только сутки назад этот человек лежал на хирургическом столе.

Пленный не отказался ни от предложенной ему Лансдорфом рюмки коньяку, ни от сигареты.

Держался он со спокойным достоинством, которое можно было бы счесть за наглость, если бы в его поведении чувствовался хотя бы малейший оттенок наигрыша.

Дать какие-либо сведения он решительно отказался. Пожав плечами, сказал с усмешкой:

— Мне кажется, я достаточно уже утомил более молодых и энергичных, чем вы, следователей, которые полностью ознакомили меня со всеми приемами гестаповской техники. — Осведомился: — Или вы хотите применить нечто исключительное? Так не теряйте времени.

Лансдорф взглянул на часы.

— Через сорок минут вас расстреляют. — Объяснил вежливо: — Я допустил эту откровенность с вами только потому, что, как офицер, ценю мужество, кто бы им ни обладал.

— Ах, так! — усмехнулся пленный и спросил вызывающе: — Вы не находите, что это похоже на капитуляцию?

— С чьей стороны?

— С вашей, конечно!

— Не надо бравировать.

— А почему?

— Ну, все-таки смерть — это единственное, с чем стоит считаться всерьез.

— О! Вы склонны к отвлеченностям.

— А вы?

Пленный офицер кивнул на переводчика, спросил Лансдорфа:

— Вам хочется, чтобы он потом восторженно рассказывал вашим подчиненным о ваших банальных рассуждениях?

— О ваших, — обиженно возразил Лансдорф. — Именно о ваших. Умереть за родину — чего уж банальней!

— Ну что ж, — сказал офицер, — вы сможете избежать такой банальности, когда мы будем допрашивать вас.

— Вы верите в загробную жизнь?

— Ну хорошо, когда наши будут допрашивать вас.

— А вы серьезно допускаете подобную версию? Я был бы вам очень обязан, если бы вы пояснили, какие есть возможности для ее осуществления.

— Бросьте! Бросьте! — дважды строго повторил офицер. — Это же наивный прием.

— Допустим. — Лансдорф снова взглянул на часы, показал пальцем на циферблат. Спросил: — Все-таки стоит ли? Может, вы еще подумаете? — Пообещал с уважительной интонацией: — Я могу согласиться. Даже если не сообщите ничего существенного. Мне было бы приятно сохранить вам жизнь.

— Для чего?

— Допустим, у меня сегодня хорошее настроение и я не хочу омрачать его.

— Грубо работаете, — упрекнул офицер. Добавил презрительно: — По старомодной шпалгалке.

Лансдорф напомнил:

— Десять минут!

— Может, у вас часы несколько отстают? — сказал офицер и оперся руками о стол, чтобы встать.

Переводчик поднял пистолет, который все время держал в руке.

Лансдорф сказал пленному:

— Пожалуйста, не спешите. — Голос его звучал вкрадчиво. — Итак, вы полагаете, что мы позволим вам умереть героем? Вы наивны. Листы вашего допроса уже заполнены, и на последнем отлично воспроизведен ваш автограф. И мы дадим прочесть ваши показания некоторым вашим сослуживцам, и, даже если они не обнаружат склонности оказать нам услугу, мы все-таки сохраним им жизнь и даже поможем кому-либо из них бежать и перейти линию фронта. И о вашей измене, — да, сфабрикованной нами измене, — станет известно у вас на родине. — Лансдорф откинулся в кресле, спросил с холодной ненавистью: — А вы полагали, что мы просто расстреляем вас как пленного офицера? Мы уничтожим вас как человека.

Лицо пленного стало серым, мелкие капли пота выступили на висках, губы судорожно сжались, побелели.

Наблюдая за ним, Лансдорф произнес с удовлетворением:

— Ну вот, я и полагал, что для таких, как вы, приемы физического воздействия неэффективны. Надеюсь, вы не испытываете никаких сомнений в том, что мы поступим именно так, как я вам сейчас сообщил?

Офицер молчал. Зрачки его сузились, дыхание стало прерывистым, на шее вздулись вены. Страшным усилием он положил здоровую ногу на перебитую и, раскачивая ею, вдруг спросил хрипло:

— Ну?

— Что «ну»? — строго осведомился Лансдорф.

— Сорок минут прошло.

— Я даю вам еще десять минут. — Лансдорф медленно раскрыл папку, столь же неторопливо вынул из нее несколько фотографий — женщины и детей, — подал офицеру. — Знакомые вам лица? — Пообещал: — Они будут сты-

диться вас. На всю жизнь вы станете для них источником позора.

Офицер секунду жадно смотрел на фотографии. Глаза его стали блестящими, почти светились. И тут же он откинулся на спинку стула, вздохнул с облегчением:

— Они не поверят! — Повторил торжествующе: — Они не поверят! — и сделал попытку встать.

Лансдорф нажал коленом кнопку звонка под столом.

Вбежали двое охранников, бросились к пленному. Одно-го он ударил локтем в лицо, увернулся от другого. Нервы переводчика не выдержали — раздался выстрел.

Когда унесли труп, Лансдорф сердито сказал переводчику:

— Передайте майору Штейнглицу, что в данном случае я не могу считать его предложение целесообразным. Ясно, что у этого офицера репутация настолько устойчива, что применять к нему подобную акцию не имело смысла.

И до конца служебного дня Лансдорф испытывал такое чувство, будто его безнаказанно оскорбили, уличив в неблагоприятном поступке. Это было очень неприятное ощущение, и оно еще усугублялось размышлениями о том, что для формирования разведывательных кадров ему впервые придется пользоваться человеческим материалом, лишенным привычного для Лансдорфа практицизма, который он всегда считал прочной основой для вербовки.

Еще в годы юности, накануне первой мировой войны, Лансдорф дружески сотрудничал с одним французским офицером — снабжал его секретными материалами и в обмен получал подобные же документы. Это облегчило обоим продвижение на избранном ими поприще: одному в германском генеральном штабе, другому — во французском генеральном штабе. И надо сказать, что ни один из них ни разу не обманул другого, не уронил своей офицерской чести, не прибег к мошенничеству, и все сведения, которыми они обменивались, имели равнозначную ценность. И за всю дальнейшую жизнь Лансдорфу ни разу и в голову не пришло, что он поступал тогда бесчестно. Смело, рискованно? Да, с этим он согласен. Но и только.

Мысли Лансдорфа снова и снова возвращались к советскому офицеру, и эти мысли раздражали его. Он чувствовал себя обманутым. Не этим офицером, нет. Он совсем иначе представлял себе тот народ, без победы над которым существование Третьей империи было зыбким. И впервые за последние годы Лансдорф почувствовал некую неуве-

ренность. Впрочем, он спасительно приписал эту неуверенность усталости, возрасту и тому беспокойству, которое возникло у него после давнего разговора с Канарисом.

Фюрер уже несколько раз высказывал Канарису свое неудовольствие тем, что Советский Союз оказался единственной страной, где все попытки сформировать «пятую колонну» не увенчались успехом. И когда Канарис рассказал об этом Лансдорфу, тот даже не решился доложить ему, что в оборонительных боях под Оршей участвовали заключенные из оршинской тюрьмы и только единицы перебежали на сторону немцев. Потом, когда атаки немцев были отбиты, заключенных снова отправили в тюрьму. Однако командующий советской дивизией настоял, чтобы ему разрешили сформировать из них отдельное подразделение. Узнав об этом, Лансдорф приказал направить перебежчиков в это подразделение для подрывной работы, но солдаты, бывшие заключенные, не подымая шума, придушили их металлическими касками.

Это было для Лансдорфа неожиданностью, ибо достоверные источники информации с несомненностью утверждали, что в России после изъятия земли у зажиточных крестьян и различных репрессий создалась достаточно благоприятная почва для сколачивания специальных подразделений, способных вести широкие подрывные действия.

И хотя Берлин дал отчетливые указания о том, какие именно анкетные данные военнопленных следует прежде всего учитывать при вербовке агентуры, эти указания часто настолько не совпадали с поведением русских на допросах, что ставили сотрудников абвера в затруднительное положение.

Поэтому, обдумав слова смышленного ефрейтора, Лансдорф решил, что в порядке исключения можно позволить работникам первого отдела абвера отбирать для вербовки в разведывательные школы и тех военнопленных, которые не зарекомендовали себя в лагерях открытым предательством, и действовать в таких случаях самостоятельно, не прибегая к консультации гестапо.

Но он, естественно, не считал нужным поделиться с Вайсом этими своими соображениями.

В тот же день Лансдорф дал указание зачислить ефрейтора Иоганна Вайса в подразделение «штаба Вали» переводчиком, хотя и был осведомлен о том, что познания ефрейтора в русском языке имеют изъяны, так как он не

знает тонкостей советской терминологии и незнаком с многими современными специфически русско-советскими языковыми новообразованиями.

Все это было естественно для прибалтийского немца, научившегося русскому языку у белоэмигрантов. И, общаясь с переводчиками, Иоганн со строжайшей бдительностью следил за своей речью, обдумывая каждое русское слово, прежде чем его произнести. Эта нелегкая умственная работа требовала скрупулезной точности, но от нее зависела жизнь Иоганна, как, впрочем, и от многих иных обстоятельств, о которых он должен был неустанно помнить.

В анналах разведок капиталистических стран хранятся хвастливые отчеты о стремительных операциях, которые можно счесть за незамысловатый плагиат: отмыть их от крови и грязи — и перед вами старинный плутовской роман. Различие только в том, что его персонажи начисто лишены живости воображения и низведены до степени мелких исполнителей неведомого им замысла.

Так, например, когда в январе 1940 года заправили фашистского рейха решили, что пришла пора завершить период «шутливой», «игрушечной» войны с Францией, один из немецких летчиков получил приказ в туманный день приземлиться на территории Бельгии. Летчик выполнил приказ, и при нем нашли сумку с документами, которые неопровержимо свидетельствовали о том, что Германия, повторяя уже испытанный в первую мировую войну план Шлиффена, якобы готовится к вторжению в Бельгию.

И англо-французские полководцы поверили этому незамысловатому плутовству. Немцы совершили прорыв в районе Седана, и союзные войска попали в ловушку. Описания подобного рода остросюжетных операций можно найти в каталогах всех разведок мира, это — довольно занимательное чтение. Но миссия, которая выпала Иоганну Вайсу, лишена была фейерверочного блеска. Не блицтурнир с заранее определенными ходами, а величайшее испытание духовной прочности убеждений, нравственных представлений, умения не утратить веру даже в тех людей, у которых отнята Родина и честь, окровавлена совесть, — вот что предстояло ему, вот что ожидало его.

Он должен был преодолевать такие же невероятные трудности, какие преодолевает человек, которому поручено убедить раненых, только что вынесенных с поля боя и корчащихся на хирургическом столе в палатке полевого госпиталя, чтобы они немедленно вернулись в строй. Или

терпеливо уговаривать совершивших самострел дезертиров решиться немедленно на подвиг.

Иоганну Вайсу предстояло работать с теми, кто оказался жертвой проигранных сражений, но не пал на поле битвы. С людьми, для которых нет больше неба.

Оно повержено, расстреляно, растоптано в грязи, там, где трупы павших в бою припаяли себя собственной кровью к поверхности пораженной войной планеты. Там, где громятся обгоревшие, превращенные в хлам, выпотрошенные взрывами танки и лопнувшая скорлупа их брони осыпается серой окалиной, где валяются орудия с вздернутыми кверху стволами, расщепленными, разорванными последней гранатой, сунутой в их раскаленное жерло. Там, где траншеи — могилы, а блиндажи — склепы, переплетенные серыми жесткими зарослями рваной проволоки, где по земле, начиненной минами, подобными свернувшимся плоской спиралью гадюкам, стелется угарный сырой туман, вонь тротила, где все покрыла черная, жирная и липкая копоть от сгоревшей взрывчатки, где перешиблены снарядами деревья и торчат высоченные пни, где талый снег едко-рыжий от ржавчины, где почва смертельно обожжена и засыпана обломками лопнувших снарядов и мин.

Там, где было поле битвы, — там нет неба.

Небо намертво гаснет над теми, кого роковая судьба проигранного боя заживо делает добычей врага.

Гитлеровские лагеря для военнопленных, вся их система, были нацелены на то, чтобы убить в человеке все человеческое. В их задачу входило предусмотренное планом экономики рейха массовое физическое истребление заключенных. Для этого концлагеря были оснащены соответствующим техническим оборудованием, которое поставляли в точно обозначенные сроки самые солидные германские фирмы.

Размышляя над увиденным в многочисленных лагерях для военнопленных, Иоганн испытывал сложное и мучительное чувство. Он знал, что тысячи советских людей незримо ведут в них борьбу за то, чтобы не утратить человеческого достоинства, которое было для них дороже жизни. Но из числа тех, с кем предстояло Иоганну непосредственно иметь дело в немецкой школе разведчиков-диверсантов, исключались люди высокого и чистого духа, неsgiбаемой воли.

В школу поступали разные люди, большей частью тщательно отобранные подонки, низостью, презренным

слабодушием зарекомендовавшие себя перед врагом. Иоганн даже мысленно не мог сопоставить их с теми военнопленными, которые в таких же умерщвляющих все человеческое в человеке условиях оставались советскими людьми, сохраняли достоинство и являли величайший героизм, оставшийся безвестным. Они героически боролись за продление существования — не ради спасения жизни, а ради того, чтобы, не покорствуя, остаться советскими людьми до смертного часа и самой смертью утвердить свое бессмертие.

А другие — падаль.

И ненависть к этим живым мертвецам сжигала Иоганна.

Он должен был подавить свою ненависть и в то же время не предаться снисходительной жалости к тем, кто стал жертвой собственного слабодушия.

И не раз он вспоминал слова Феликса Дзержинского: «Человек только тогда может сочувствовать общественному несчастью, если он сочувствует какому-либо конкретно-му несчастью каждого отдельного человека...»

Конечно, среди этих изменников наверняка есть просто несчастные люди, покорно уступившие обстоятельствам, не нашедшие в себе сил для сопротивления. Что же, он будет сочувствовать слизнякам?

Но разве щит Родины не простирается и над теми, кто утратил все, но утратил не безнадежно и может быть еще возвращен Родине? И этот щит Родина вручила ему, Иоганну Вайсу. Владеть щитом здесь несоизмеримо труднее, чем мечом карающим, но он должен этому научиться, чтобы не отдать безвозвратно врагу тех, кто повержен, но еще может подняться, если протянуть ему спасительную руку. Вот только хватит ли у него сил, решимости помочь, удержать человека, повисшего на краю бездны, от окончательного падения!

Когда Белов постигал в школе специального назначения все премудрости, необходимые разведчику, он был твердо убежден, что полученные знания станут надежным оснащением в той борьбе, которую ему предстоит вести. И верил: эти знания помогут ему раскрыть замыслы «предполагаемого противника», провозгласившего идею «неограниченного насилия» и объявившего, что земной шар — только переходящий приз для завоевателя со свастикой на знамени.

Он принадлежал к тому поколению советских юношей,

сердца которых были опалены событиями в Испании, на которых трагические битвы испанских республиканцев и интернациональных бригад с фашистскими фалангами Франко, Муссолини, Гитлера оставили неизгладимый след, вызвали непоколебимую решимость до конца отдать свою жизнь борьбе с фашизмом, победить его и уничтожить.

Александр Белов выбрал самоотверженный путь и отказался от научного поприща, а ведь он, наверно, мог бы кое-чего достичь под добрым руководством академика Линева. С суровым пуританизмом он готовил себя к избранной цели. Но, отказавшись от многого, он отказал себе и в праве быть снисходительным к тем, кто в предгрозовое, напряженное время по тем или иным причинам уклонялся от мобилизации воли.

Подобные особенности его взглядов сложились под влиянием представлений о тех качествах, какими, по его мнению, должен обладать чекист. Эта одержимость, высокое сознание долга помогали ему преодолеть в своем характере черты, которые он считал элементами психологической несобранности. И он собрал себя в кулак, подчинив все своей воле, целеустремленной, направленной на одно — как можно лучше выполнить долг перед Родиной.

Да, до сих пор Белов считал себя достаточно вооруженным. Но тот род деятельности, который предстоял ему в фашистском разведывательно-диверсионном «штабе Вали», поверг его в смятение.

Он должен был иметь дело не с гитлеровцами, а с их пособниками — бывшими своими соотечественниками. Каждый из них незримо оброс трагической и грязной коростой подлости, слабодушия. Как проникнуть сквозь эту коросту в чужие души и терпеливо, непредубежденно проверить, сгнила сердцевина или только почернела сверху, словно кровь на ране человека? Ведь вернуть таким людям веру в жизнь можно, только заставив их снова встать на тот путь борьбы, от которого они отреклись.

Иоганн вспоминал свои студенческие годы, споры о Достоевском. Как он был наивен, когда самонадеянно утверждал, что копание в грязных сумерках подполья искалеченных душ — бессмысленная сладостная пытка, и ничего более! Быть может, это имело какой-то смысл во времена Достоевского. В наших людях нет и не может быть ничего такого.

А вот теперь он сам должен копаться в грязи человеческих душ, распознавать их, чтобы спасти, вырвать из

цепких вражеских рук! И ему уже казалась легкой другая его задача — не дать врагу возможности использовать предавших Родину людей. Он считал, что для этого у него достаточно способов и условия тут вполне подходящие. К тому же и Центр поможет все организовать наилучшим образом, разработает точный и верный план действий.

33

Майор Штейнглиц не без сожаления расстался с Вайсом как со своим шофером, но готов был приветствовать его как нового сослуживца, сотрудника абвера. И все же счел нужным предупредить:

— Нам требуются факты, а вовсе не ваши умозаключения. Делать выводы мы будем сами. Память — это профессия разведчика, — сказал он поучительно. И уже менее официально посоветовал: — Надо иногда иметь мужество выдавать себя за труса. Агрессивные задания поручаются храбрецам, но награды получают те, кто руководит из канцелярий.

Штейнглиц до сих пор не получил ожидаемой должности, по-прежнему исполнял неопределенные инспекторские функции и не переставал думать, что его обошли.

Дитрих, как только увидел Вайса на новом месте, деловито сообщил ему, что в штабе есть русский переводчик — господин Маслов. Но хоть он и полковник царской армии, за ним нужен глаз, так как среди некоторой части белоэмиграции наблюдаются националистические настроения, недовольство победами германского оружия над Россией.

Командный, преподавательский и инструкторский состав школы еще не был в сборе, почти все жилые комнаты пустовали, и Иоганну представлялась возможность выбрать для себя лучшую из них, но он остановился на одной из худших, полагая, что скромность — не лишняя рекомендация. Повлияли на его выбор и другие соображения. К этой комнате, расположенной в самом конце коридора, примыкали подсобные помещения — кладовая и пустующая сейчас кухня. Чердачная лестница тоже была рядом, и в случае необходимости Иоганн мог воспользоваться не только дополнительной территорией, но и запасным выходом, — ничего, что он вел на крышу.

«Для целей контактирования с курсантами во внеслужебное время», как выразился Дитрих, он порекомендовал Вайсу сменить военное обмундирование на штатский костюм, заметив при этом, что немец в штатском, знающий русский язык, скорее вызовет на откровенность, чем тот же немец, одетый в мундир победителя.

Продумывая, как держаться с новыми своими сослуживцами, Иоганн решил с самого начала поставить себя с ними если и не на равной ноге, то, во всяком случае, так, чтобы они почувствовали в нем человека серьезного, преисполненного сознанием собственного достоинства. Надо также дать им понять, что он имеет известное представление о России и стремится фундаментально пополнить свои сведения, чтобы специализироваться в этом направлении не только в качестве переводчика, но и в надежде получить со временем какую-нибудь солидную должность при гау-лейтере, допустим, московского генерал-губернаторства.

Он решил также позаимствовать у прусского аристократа фон Дитриха манеры и стиль поведения, взять их на психологическое вооружение. Холодная, бездушная, чеканная вежливость, умение обойтись в разговоре набором банальных, почти ничего не значащих, пустых фраз, которые в равной мере в ходу и у лакеев и у аристократов. Однако для аристократов они служат как бы паролем хорошего тона, благовоспитанности и необходимы для того, чтобы держать собеседника на выгодной дистанции.

По правде сказать, Иоганн больше опасался сослуживцев навязчиво откровенных, неукротимо болтливых, чем сухих молчунов, нелюбимых и подозрительных.

Общение с Лансдорфом тоже кое-что дало Иоганну. Этого человека, вероятно, так же, как и других выдающихся профессионалов, крупных деятелей немецкой разведки, снедало тщеславие. Он жаждал разработать невиданную доселе операцию, превзойти искусством коварства самые знаменитые службы разведок. Чтобы прославиться на этом поприще, стать всеми признанным ловцом душ, увековечить себя, навсегда вписать свое имя в историю тайных войн.

Все помыслы Лансдорфа были обращены к этой неведомой операции, которая, как он был уверен, в один прекрасный день сделает его знаменитым. И он чувствовал себя счастливым только ночью, когда можно было стряхнуть все будничные докучливые заботы и в тишине сладостно обдумывать бесконечные варианты, хитроумные ходы

этой операции, предвкушать триумф, который его ожидает. Так было ночью, а днем волею несправедливой судьбы ему приходилось заниматься мелкой работой. И естественно, что поручение вербовать военнопленных для массовых шпионско-диверсионных акций Лансдорф воспринимал так же, как принял бы боевой офицер приказ покинуть строй и отправиться в глубокий тыл, чтобы обучать там новобранцев.

А ведь Лансдорфу, пожелай этого начальство, было где развернуться. «Психологическая лаборатория имперского военного министерства», «Высшая школа разведки», созданная Гиммлером в Баварии, «Курсы повышения квалификации» в пригороде Берлина, где периодически проходили переподготовку крупнейшие разведчики, — вот подходящая для него арена, там он мог бы блеснуть своей профессиональной осведомленностью, изобретательностью известного своими трудами многим разведкам мира мастера шпионажа.

Здесь же приходилось заниматься черновой работой, недостойной его квалификации и к тому же бессмысленной. Лансдорф давно уже сумел понять, что стратегия, применяемая к другим европейским странам, в войне с Россией оказалась несостоятельной.

Все эти страны были завоеваны дважды: сначала незримо, тотальным немецким шпионажем, охватывающим все, вплоть до правящей верхушки, и только после этого вермахт собирал свои армии в железный кулак и молниеносно сокрушал, повергая к своим ногам государства, разъединенные изнутри ржавчиной предательства.

В России не оказалось условий для осуществления тотального шпионажа. Немецкая агентура в России потерпела поражение и в предвоенные годы, и в начале войны. А ведь это направление — Восточный фронт — считалось главным во всей системе немецких разведывательных служб.

Не будучи в силах создать в Советской стране хотя бы какое-либо подобие «пятой колонны», немецкая разведка стала на путь фальсификации и угодливо сочиняла факты, подтверждающие высказывания Гитлера о слабости России. Такая информация помогала фюреру разгромить сторонников генерала Секта, который еще в 1920 году предупреждал: «Если Германия начнет войну против России, то она будет вести безнадежную войну». Широко использовались фальшивки и для пропаганды, но они не

давали, да и не могли дать истинного представления о реальных силах противника.

Зная все это, Лансдорф расценивал массовую подготовку агентуры из военнопленных как мероприятие подсобное, не имеющее решающего значения.

В России все иначе, чем в побежденных европейских государствах. Формирование «пятых колонн» на их территории предвляло военные акции и определяло их успешность. Здесь же победа всецело зависит от войск вермахта.

Поэтому Лансдорф был склонен пропустить через школы как можно больше людей, заранее примирясь с тем, что диверсионные группы не будут в состоянии пополниться за счет местного населения. Значит, в школах нужно готовить не организаторов, а тупых исполнителей, покорных воле тех, кто их послал. Покорны они будут из страха перед казнью и на сторону своих соотечественников тоже побоятся перейти, так как знают, что русские не простят им предательства.

Фон Дитрих не разделял скептицизма Лансдорфа. Он полагал, что среди завербованных окажутся люди, способные стать крупными агентами, сумеющие пробраться в органы советской власти. И он очень рассчитывал, что выявить этих людей ему поможет Иоганн Вайс. Поэтому Дитрих, против своего обыкновения, даже стал проявлять к Вайсу некое снисходительное расположение, причину которого тот без труда разгадал. А вот почему Лансдорф стал относиться к нему с равнодушным холодком, Иоганн понять не мог.

Их привозили сюда в серые сумерки по одному, по двое, реже — небольшими группами в крытых грузовиках-фургонах с зарешеченной дверцей и завешенными брезентом стеклами. Доставлявшие их эсэсовские охранники, молчаливые, угрюмые, с жесткими, будто из булыжника, лицами, были уведомлены лишь о том, что стрелять в этих людей можно только в случае открытой попытки к бегству. И едва машина, после множества проверок, въезжала в сектор и местная охрана расписывалась в приеме данного лица или данных лиц, эсэсовцы немедленно отправлялись в обратный путь.

Доставленные прежде всего просились в уборную. На всем пути, часто очень долгом, им в соответствии с приказом ни разу не разрешали выйти из машины.

Они не знали, куда и зачем их привезли. И от томящей неизвестности почти у всех лица были одинаково искажены ознобом тревоги.

Сюда отбирали преимущественно тех, чье предательство было на практике проверено в лагерях, кто уже зарекомендовал себя в качестве капо, полицейских, провокаторов. Принимались во внимание и сведения, которые военнопленные сообщали сами, стремясь выдать себя за непримиримых врагов советской власти. До вербовки каждого из них всесторонне изучали через внутрилагерную агентуру и администрацию лагеря. А если человек этот был уроженцем местности, оккупированной немцами, то гестапо проверяло его по захваченным там документам и опрашивало о нем местное население.

Новоприбывшим запрещали разговаривать. Охранник с автоматом на шее и палкой в руках сидел посреди барака, в который их запирали, и строго следил, чтобы они соблюдали карантин молчания.

На оформление их водили поодиночке.

Иоганн Вайс выполнял не только роль переводчика. Дитрих поручил ему проводить первый, летучий контрразведывательный опрос, чтобы, проанализировав правильность сообщаемых сведений,— можно было или уличить завербованных во лжи, или выявить их психическую непригодность.

С этого момента каждому под страхом немедленного наказания запрещалось называть кому-либо свою настоящую фамилию. Взамен ее присваивалась кличка.

— Ну! — приказывал Вайс.— Быстро и коротко.

Лицо его обрело в общении с этой публикой «арийское», холодно-высокомерное, презрительное выражение, которое можно было бы считать вершиной искусства самого талантливоего мима. Правда, на этот раз оно, пожалуй, произвольно передавало его искренние чувства.

Человек, стоявший перед ним, отвык самостоятельно соображать и потому молчал. На толстой и длинной губе его выступил пот, плешь на макушке тоже покрылась испариной.

Вайс спросил утвердительно:

— Значит, «Плешивый»?

Все так же молча человек этот согласно закивал в ответ головой.

Вайс обернулся к писарю:

— Запишите «Плешивый», — и злорадно подумал: «Хороший экземпляр, еще и с обличительной кличкой!»

С самого начала Вайс решил, заботясь о дальнейшем, присваивать курсантам клички-приметы, и во многих случаях ему это удавалось.

Плешивого посадили на табурет перед висевшей на стене белой простыней, и солдат абвера из отдела «Г» нацелился «лейкой» в фас, а потом в профиль — так, как снимают тюремные фотографии.

Вайс внимательно наблюдал за Плешивым. В процессе фотографирования физиономия его показала готовность запечатлеться с улыбкой.

Вайс скомандовал:

— Смирно!

И физиономия Плешивого мгновенно приняла тупое и неподвижное выражение.

Заполнив анкету, он старательно, четко вывел свою подпись и занялся автобиографией. Писал он долго, вдумчиво, часто осведомлялся:

— Про то, как я их кандидатов в Верховный Совет всегда вычеркивал, отметить? — Сообщил доверительно: — По суду много раз привлекался, только благодаря личному дару находчивости каждый раз выкручивался.

Покончив со всеми формальностями, он так же разборчиво и четко вывел свою фамилию под подпиской-обязательством работать в пользу немецкой разведки, приложил к ней указательный палец, смазанный на специальной байковой каталке мастикой, вытер его и объявил с облегчением:

— Ну, всё, теперь чистый.

— Кто? — резко спросил Вайс.

— А вот пальчик, — испуганно съежась, пролепетал Плешивый. — Я ведь только про палец выразился.

Такой процедуре оформления подвергались все прибывшие в школу. И уже с этого момента, с самого первоначального ознакомления с ними, можно было уловить некие индивидуальные особенности.

Одни держались с истеричной развязностью, как бы подчеркивая отчаянную готовность на все, что им предложат. Но, возможно, они только прикрывали этой своей манерой поведения муки совести или же нарочно вели заранее замышленную игру, изображая из себя пропащих людей, которым море по колено.

Другие, с тусклыми глазами мертвецов, сломленные, подавленные, опустошенные, отупевшие, покорные, вяло и равнодушно выполняли все, что от них требовалось.

Попадались юркие, сноровистые на вид, — они деловито осведомлялись об условиях содержания в школе. Или такие, которые напоминали шепотом о своих лагерных заслугах, тревожились, чтобы об их предательстве не забыли и не смешали их потом со всеми прочими.

Были и такие, которые вели себя довольно независимо. Они пытались говорить по-немецки и объявляли себя принципиальными противниками советского строя. В анкете такие обязательно подчеркивали, что не были ранены и не попали в окружение, а сдались в плен добровольно. Все они в своих автобиографиях обстоятельно сообщали, каким имуществом до революции владели их родители. Отвечая на вопрос: «Состоял ли в профсоюзе?» — обязательно приписывали: «Состоял насильственно».

Один из «развязных», коренастый, широкоплечий, скуластый, с прытким, бегающим взглядом, не дожидаясь, сам поспешно подсказал себе кличку:

— «Лапоть».

Просматривая анкету, Вайс прочел в графе «Должность, занимаемая в армии»: «Боец похоронной команды». Таких подразделений в начале войны не было. В ответ на вопрос о профессии было написано: «Сапожник».

Вайс предложил:

— У нас есть мастерские, я тебя зачислю.

Лапоть поежился. Потом, обрадовавшись, что нашел убедительный аргумент, усмехнулся, объявил обидчиво:

— Меня ведь не в сапожники вербовали — на шпиона подписку дал. За что же такое понижение в должности?

Автобиография Лаптя была написана абсолютно грамотно, хотя он и утверждал, что окончил только три класса начальной школы.

Вайс все взял на заметку, но не счел целесообразным до поры до времени задерживать свое внимание на ком-либо в отдельности.

При опросе, заполнении анкет и составлении автобиографии пленные вели себя по-разному. Одни стремились как можно больше сообщить о себе, другие, напротив, ограничивались краткими ответами на обязательные вопросы и упорно уклонялись от оскорбительных эпитетов, описывая советский период своей жизни.

Одному такому Вайс сделал замечание. Тот ответил хмуро:

— Я же дал подписку на сотрудничество, чего же вы от меня еще хотите?

Вайс сказал:

— Ты должен дать политическую оценку советской системы.

— Зачем?

— А затем, что если вздумаешь стать перебежчиком и в случае, если это твое жизнеописание как-нибудь попадет в руки советским властям, то тебя повесят без снисхождения.

— И без этого, будьте спокойны, повесят.

— Значит, ты предпочитаешь, чтобы тебя казнили там, а не здесь?

— Что я предпочитаю, ясно. Иначе бы тут не был.

— Кем был в лагере?

— Человеком.

— Я спрашиваю, — строго произнес Вайс, — какие имел заслуги перед нами?

— А, заслуги?.. — будто только сейчас поняв вопрос, повторил опрашиваемый. — Заслуги самые обыкновенные. Мне один тип указал подкон, а я его придавил, чтобы других бежать не сманивал.

— А может, этот тип был нашим подставным «кроликом», — пытливо глядя собеседнику в глаза, спросил Вайс, — и ты его убил?

Человек изменился в лице, но сумел справиться с собой.

— Гестапо мной занималось, — проговорил он сквозь зубы. Поднял рубаху, показал рубцы: — Вот, глядите, штампы — проверенный...

Один из тех, кто держал себя солидно, — лысый, пожилой, с опавшим брюшком и командирским баритоном, — обстоятельно разъяснил Вайсу, почему он стал на этот путь.

Да, он кадровый командир, но из его послужного списка отчетливо явствует, сколько лет он сидел на одной и той же должности, не получая повышения в звании и личных наград. Он полагал, что война откроет перед ним перспективы для продвижения по службе, и действовал решительно: приказал вверенной ему части подняться с оборонительной полосы и в не подходящий для этого момент перейти в штыковую атаку. Все до одного полегли под

огнем противника, а он остался жив и знал, что его ожидает военный трибунал. Он предпочел сдаться.

— Кстати,— напомнил этот кадровый,— я еще в первую мировую был в плену и навсегда сохранил самые благоприятные воспоминания о гуманности немцев.

— Вы были тогда офицером?

— Только вольноопределяющимся. Но бумаги на присвоение мне чина прапорщика были уже отосланы в полк.

Некоторые из этих людей, решившихся на измену Родине, полагали, что их предательство будет как-то по-особому отмечено немцами, и настойчиво пытались выведать у переводчика, на какие привилегии они могут рассчитывать. Больше всего их интересовало, получают ли они после того, как выполняют задание,— если, конечно, останутся живы,— право на немецкое гражданство или хотя бы возможность занять выгодные должности на оккупированной территории.

Одни задавали такие вопросы заинтересованно, поделовому, другие, как смутно предполагал Вайс, только для того, чтобы внушить, будто бы они действительно рассчитывают на награду, стараясь прикрыть подобными вопросами то, что они хотели утаить здесь от немцев.

Иоганну приходилось вести допрос с утра до позднего вечера. В бараке пахло дезинфекцией, пропитанной потом обувью, прогорклой грязью невымытых человеческих тел.

Мучительнее всего было смотреть в глаза этим людям — у одних распахнутые в молчаливом вопле отчаяния, со зрачками, как запекшиеся черной кровью сквозные раны. Такие немо кричащие глаза, верно, бывают у людей, неотвратимо приговоривших себя к самоубийству.

У других — сощуренные, узкие, как лезвие, оледеневшие в ожесточенности на себя и на всех, выражающие безоглядную готовность на что угодно.

У третьих — юркие, прытко бегающие, неуловимые, и в этой их неуловимости таилась живучая сила коварной изворотливости.

Были глаза мертвые, с остановившимся взглядом, как у человека, отрешившегося от жизни и продолжающего существование помимо своей воли и сознания.

Были блестящие, злые, и зрачки их зияли чернотой наведенного пистолетного дула. Патроны кончились, но у человека теплится тайная надежда, что остался еще один, последний, и он колеблется: сохранить его в последнее мгновение для себя или выстрелить во врага?..

Были белые, бараньи, одинаково взирающие на все, на что бы ни упал их взгляд, взгляд равнодушного домашнего животного.

Были сверкающие, словно горящие изнутри, как у тифозных, охваченных бредом, когда утрачивается представление о времени, о себе и правда так сплетается с вымыслом, что все, даже собственное существование, кажется недостоверным, лживым.

Были и такие, которые обладали способностью сохранять непроницаемое спокойствие. И казалось, будто эти глаза созданы не из живой человеческой плоти, а из стекла и, подобно искусственным, служат только для того, чтобы не страшить людей пустыми темными впадинами глазниц.

Были внимательные и напряженно чуткие, с неустанным прищуром, как у снайпера в засаде, хорошо знающего, что каждый его выстрел — это не только урон врагу, но одновременно и демаскировка: ведь этим выстрелом он вызовет на себя огонь противника, и надо неторопливо все взвесить, прежде чем нажать на спусковой крючок.

А может, это только казалось Иоганну. Ему очень хотелось верить, что среди тех, кто проходил перед ним, можно обнаружить людей с тайными помыслами. Людей, не утративших окончательно человеческих черт даже после самых жесточайших испытаний.

Беглый медицинский осмотр завербованных проводился не для того, чтобы установить их физическую пригодность, а с единственной целью — оборонить немецкий персонал от возможной инфекции. Кроме того, если на теле имелись следы множественных боевых ранений, это вызывало подозрения, и завербованного подвергали дополнительному допросу, чтобы установить, при каких обстоятельствах он был ранен, не следствие ли это некогда проявленного героизма, не служат ли эти ранения уликами против него. И все подозрительные улики заносились в карточку завербованного.

Были тела сухие, костистые, и на коже, словно на древних письменах, можно было прочесть, какими орудиями, средствами пыток доведен человек до той степени отчаяния, которая привела его сюда.

Были болезненно обрюзгшие в лагерях от наградной жратвы, которую они поглощали втайне, поспешно и жадно, страшась быть уличенными в этой жратве, ибо она была неотвратимым доказательством их предательства. А предателями они становились ради этой жратвы, ради осво-

бождения от каторжных работ и скрывались в одиночном карцере от всех, как звери в норе — норе, пахнувшей кровью тех, кого бросали сюда обессиленными после экзекуций.

И на всех Иоганн должен был смотреть внимательно, запоминая, вылавливая и классифицируя приметы, но не будучи уверенным, что ему удалось обнаружить хотя бы одну точку, на которую можно опереться. Ничего обнадеживающего пока не было.

Все эти дни Иоганн испытывал болезненную тревогу, даже смятение, ибо, оказавшись лицом к лицу с бесконечной вереницей этих так низко павших людей, он пришел в отчаяние, стал сомневаться, сумеет ли все преодолеть, подняться над опустошающим душу сознанием, что среди его соотечественников незримо и мирно жили, работали, существовали и такие, как они.

Как и многие молодые люди его поколения, Иоганн привык думать, что есть только классовые враги, с ассортиментом очевидных примет, не однажды распознанных в борьбе, — примет, столь же явственных, как родимые пятна. Да, тут были и такие, с этими отчетливо обозначенными приметами. И с ними все было просто и очевидно, и сознание этой очевидности освобождало от мучительной необходимости объяснить себе их измену. Но были и иные — те, кого не подведешь под облегчающую сознание привычную рубрику.

Значит, есть еще нечто сокровенное, слагающееся из суммы нравственных черт, которые воплощаются в особенностях характера. Железо убежденности не срастается с душевным жиром себялюбия. Покорность обстоятельствам лишает человека воли, он не в состоянии ополчиться против них и не совершить измены.

Есть еще коварство загнанного ума, которое предательски подсказывает оказавшемуся в тупике человеку позорный и жалкий выход, и человек не думает о том, что выход, который он нашел для себя, толкает его в бездну.

После первой уступки врагу человек порой приходит в иступленное отчаяние, утрачивает силу сопротивления и, ступив в гниль трясины, все глубже и глубже опускается на дно.

И если ведомо, из каких чистых источников черпает человек силы для борьбы, в сколь ужасающих условиях она бы ни происходила, то неведомы до конца все отравляющие его душу яды, бессильные против одного человеческого характера и смертельные для другого.

Решение всех этих людей стать на путь измены Родине отсекало их от Родины, и сами они, скрепив это решение собственноручной подписью, как бы подписали себе приговор неоспоримый.

Казалось, все здесь ясно, и Иоганну оставалось только найти способы и средства, чтобы привести в исполнение приговор, который сами себе подписали изменники, и чем скорее это совершится, тем вернее он обезопасит советских людей от преступлений, орудиями которых стали в руках врагов эти отступники.

Но разве дано ему право — право вынести всем тем, кто проходит здесь перед ним, огульный приговор? Нет, необходимо провести предварительное «следствие», выводы которого будут опираться на изучение душ, ибо других материалов, более достоверных в таких условиях, у него нет и не будет. И он должен решиться на это, повинаясь своей убежденности: какой бы мертвящей судорогой ни была сведена душа этих людей, если она не утратила живую частицу отчизны, есть еще надежда, что эта маленькая частица сумеет победить все черное, омертвевшее в человеке.

И здесь, среди отъявленных врагов, Иоганн должен найти себе союзников. Он знал, что это потребует такого напряжения всех его духовных сил, какого требует истинный подвиг.

И он пытливо, изучающе вглядывался в каждого, кто проходил перед ним, упрямо отыскивая опорную точку, иногда даже обманчивую, мнимую. Если такая точка обнаружится, необходимо расширить ее, как предмостный плацдарм для завоевания человека. Решившись на подвиг, такой человек обретет право стать его, Иоганна, соратником.

Что же касается безнадежных, не способных искупить свою черную вину, то тут все проще — тут все дело в технике: Иоганн тщательно продумал, какие технические средства следует ему применять. Он был достаточно хорошо профессионально оснащен, достаточно знаком с оперативным искусством, с методами организации разведывательной работы, наиболее целесообразно применимыми в данных условиях, и знал, что здесь он не будет одинок: после того, как дома получают его предложения, специалисты в этой области посвятят немало кропотливого труда их плановой разработке.

Всему этому сопутствовали размышления о том, как

вести себя, чтобы сослуживцы по «штабу Вали» благо-склонно оценили его служебное усердие, как вместе с тем, не вызывая ревнивой зависти, внушить им, что их молодой сотрудник обладает некоторыми способностями и главная сфера их проявления — неумолимое трудолюбие. Это, с одной стороны, вызовет расположение сослуживцев, а с другой — сэкономит его время и силы, направленные на решение главной задачи. Но без такой защитной брони он не может выйти на арену битвы. Надо ли говорить, какое безмерное душевное и физическое напряжение требовалось от Иоганна?

34

В отличие от обычных воинских частей германской армии, в поведении офицеров абвера на службе и вне ее особой разницы не было. Не было какой-либо подчеркнутой подтянутости и официальности на службе, а тем паче за пределами ее. Солдаты в большинстве рекрутировались из интеллигенции и знали границу между почтительностью и полужафамильярностью.

Офицеры одинакового звания и на службе, и вне ее обращались друг к другу по имени и на «ты». К высшим чинам, начиная с генерала, а иногда полковника, если он занимал генеральскую должность, обращались по званию, прибавляя слово «господин», а по делам службы — в третьем лице. Вне ее — и во втором лице, особенно если видели начальника не в первый раз и разговор не был подчеркнута официальным. Агенты обращались ко всем офицерам только по званию, не упоминая фамилии и не прибавляя слова «господин». Приветствие было военным — абверовцы козыряли друг другу, — а не партийным, как в СД, СС, гестапо, где салютовали поднятой рукой.

В сущности, все это были матерые специалисты, профессионалы с мозолями на задах от долговременного пребывания на подобного рода службе. Те из них, кто попытке, перекинулись в свое время в СД, в гестапо или, став доверенными подручными Канариса, прочно обосновались в Берлине. Некоторые еще в юности прошли практику в тайной полиции, другие — их было большинство — приобрели фундаментальный опыт в годы первой мировой войны на агентурной работе в разведке и контр-разведке.

Будучи узкими специалистами каждый в своей отрасли, убежденными в том, что служба абвера всегда почитаема правителями Германии, они считали себя людьми особой касты, и эта кастовая общность создавала между ними атмосферу обоюдного доверия и уважения.

Поэтому появление в их среде новичка Иоганна Вайса вызвало скептическое недоверие, порожденное не столько политической подозрительностью, сколько вопросами этики. Кроме кодекса офицерской воспитанности, здесь существовал кодекс профессиональной этики. Он заключался в том, чтобы не называть вещи своими именами.

Подлейшие средства, приемы, чудовищные, зверские цели украшались профессорской элегантною терминологией и обсуждались с академической бесстрастностью. Даже те, кто, пройдя практику в уголовной полиции, в совершенстве владел жаргоном профессиональных уголовников и проституток, здесь не решались пользоваться этим богатым фольклором и стремились изъясняться изысканно научно.

Как ни странно, но такая атмосфера благовоспитанности не усложнила, а облегчила задачу Вайса.

Его недюжинные познания, знакомство с немецкой классической литературой, философией, работами ученых в области техники, трудами стародавних историков и юристов, книгами по различным отраслям знаний, написанными в догитлеровские времена, послужили прочным фундаментом, чтобы выглядеть человеком, чуждым вульгарности типичных наци и вместе с тем достаточно гибким и осведомленным, чтобы не казаться со своими познаниями несколько старомодным.

С первых же встреч с новыми коллегами Вайс дал им понять, что его «немецкий консерватизм» — лишь следствие жизни вне рейха, в Прибалтике, где привязанность к отчизне могла находить выражение только в привязанности ко всему тому, что создал немецкий народ на протяжении своей истории. Это признание произвело самое правильное впечатление.

Иоганн счел необходимым заявить также о том, что Германия нового порядка, когда он был вдали от нее, воспринималась им особенно возвышенно, романтически. Он чувствует себя в долгу перед рейхом и поэтому любую работу, какую бы здесь ему ни поручили, будет выполнять с полной отдачей всех своих сил, надеясь, что более опытные и заслуженные сотрудники не откажут ему в добрых

советах и помощи, а за это он в свою очередь готов отблагодарить их любимыми услугами.

Эта скромность и непритязательность немало содействовали тому, что предубежденность в отношении к Иоганну растаяла, а его любезная готовность исполнять чужие обязанности была воспринята благосклонно.

Вместе с тем медаль и упоминание о знакомстве с отдельными деятелями гестапо и СД послужили некоторого рода предупреждением; было ясно, что, хотя Вайс и благодушный юноша, он далеко не простак, ищущий у каждого поддержки и покровительства. Он из тех, кто стремится достичь успеха в служебных делах, но хочет только того, чего может добиться.

Расторопность, смысленность и работоспособность Вайса в первые же дни формирования школы были замечены и отмечены. С особым усердием он посвятил себя канцелярским трудам. Изучив личные дела, он по собственной инициативе составил специальную конспективную карту, где определенными цветами была обозначена степень благонадежности каждого завербованного. Это было очень удобно для командного состава, так как позволяло мгновенно ориентироваться в пестром контингенте новичков.

Поменять же в случае изменения характеристики цветные кодированные обозначения не составляло труда — стоило только прикрепить скрепкой цветной квадратик к той или иной карточке.

Картотека, созданная Вайсом, не имела официального характера и предназначалась только для внутреннего, служебного пользования. Официальная картотека, составленная по утвержденной форме, была более громоздкой. Для своей картотеки Вайс заказал дополнительные комплекты фотокарточек и, так как этот заказ не мог быть внесен в платежную ведомость, оплатил работу фотографа из своих денег. А то, что у него оказался на руках второй комплект фотозаказа, можно было счесть наградой за предприимчивость, трофеем. Правда, Иоганн все же счел необходимым в присутствии фотографа сжечь лишний комплект фотографий, завернув их в старые газеты. Это был довольно незамысловатый прием, ибо в старые газеты он завернул не фотографии курсантов, а стопку глянцевиной бумаги, по плотности соответствующей фотобумаге.

Тем самым Иоганн избавил себя от необходимости снова выступить в роли художника, возвращаться к тому,

что ему однажды и небезуспешно удалось осуществить для снабжения Центра опознавательными материалами.

Тайник для хранения фотографий он решил устроить в комнате обер-лейтенанта Гагена, с которым установил самые дружеские отношения, и, не долго думая, с помощью ленты пластыря прилепил пакет с фотографиями с оборотной стороны большого зеркала, висевшего над умывальником.

Все это было весьма обнадеживающим началом новой стези Иоганна Вайса в качестве переводчика-инструктора при разведывательно-диверсионном «штабе Вали».

Ночью здесь тихо, будто в глубокой яме. И темнота за окном кажется вязкой, холодной, как тина. Даже сторожевые псы выдрессированы так, что никогда не лают — они молча бросаются на человека.

На вешалке мундир и штатский костюм Иоганна. Лежа на койке, он смотрит на эти свои немецкие одежды и не чувствует себя свободным от них. Отдых не приходит. Он стал плохо спать. А ему нужно уметь хорошо высыпаться, что бы там ни было.

Даже если оружие все время держать на боевом взводе, спусковая пружина ослабевает, металл ослабевает и может быть осечка.

Металл ослабевает от постоянного напряжения. А человек?

Почти все работники «штаба Вали» ведут здесь строго регламентированный, размеренный, гигиеничный образ жизни. Большинство офицеров — пожилые люди, и они пекутся о своем здоровье с особой тщательностью. Соблюдают диету. Перед сном в одиночестве гуляют по плацу, мерно печатая шаг. Встречаясь, беседуют на легкие, не обременяющие ум темы. Этаким разговорный моцион.

О служебных делах говорят только на работе, в остальное время подобные разговоры звучали бы не только странно, но и неприлично. Для этих людей род деятельности, избранный ими, — служба, не более. Разве только чувство корпоративности развито сильнее, чем у других. Годы опыта выработали у них такое же отношение к обучаемым агентам, как у учителей-педаггов к школьникам: дисциплина — вот главное. Методика, приемы обучения сложились десятилетиями огромной практики и проверены действиями обученных ими агентов во многих странах.

Некоторым присуще педагогическое тщеславие, и они с гордостью вспоминают тех своих подопечных, чьи операции вошли в хрестоматию немецкой разведки.

Такие старые офицеры абвера, привыкшие работать с агентурой на западноевропейском материале, часто завербованном среди тех, кто занимает видные посты или должности или имеет солидное положение в мире коммерции, достигнутое порой с помощью той же разведки, — такие ветераны разведки считают порученное им занятие — подготовку агентуры из военнопленных — ничтожным, мелким делом, пренебрежением к их квалификации, использованием не по назначению.

Знакомясь с личными делами военнопленных, будущих агентов, они сетуют на то, что среди них нет людей, занимавших у себя на родине солидное, уважаемое положение или высшие офицерские должности. С их профессиональной точки зрения, это материал самого низкого сорта — непрочный. Уж если эти личности не смогли многого достигнуть у себя дома, значит, они не обладают способностями для этого, значит, у них отсутствуют данные, необходимые профессиональным агентам-разведчикам. И среди них нет достаточно перспективных, годных для долгого оседания, способных проникнуть благодаря личным качествам в важные для разведки советские учреждения.

Читая в автобиографиях перечень различного рода бед и ущерба, нанесенного советской властью всем этим людям, они пожимали плечами, полагая, что человек, обладающий умом и ловкостью, при любых обстоятельствах, даже враждебно относясь к существующему строю, мог бы найти тысячи способов, не опускаясь на дно, всплыть на поверхность.

Бывшего уголовного преступника по кличке «Чуб», перечислившего все статьи и сроки заключения, к которым он приговаривался, а также обстоятельства, при которых он попадался, сочли фигурой малоперспективной. Ведь если он всегда действовал в одиночку, — значит, лишен организаторских способностей. А все крупные европейские уголовники-профессионалы уже давно усвоили практику разделения труда, осуществляемую посредством строжайшей дисциплины и организованности.

Эрнст Гаген наставительно говорил Вайсу:

— Заметьте, Иоганн, — русские по большей части лишены практицизма и элементарной житейской мудрости. Кстати, эту черту гениально подметил Достоевский, а боль-

шевики развили ее до крайности. Мы даем здесь этим людям определенные профессиональные знания. Дальнейшее воспитание делает их до некоторой степени пригодными для службы. Специфика ее в том, что отпадает необходимость в различного рода нравственных представлениях. Я хочу сказать, что они получают освобождение от многих норм, выработанных для того, чтобы личность была строго привязана к таким условностям, как понятие родины, долга, чести и прочего.

Человек, вербуемый в одной стране для нужд другой страны, освобождается от национальной привязанности, политического эгоизма и преданно, как никто другой, служит собственным интересам, самому себе.

Именно такое осознание своего назначения присуще лучшим агентам, завербованным нами в различных европейских странах. А эти русские переживают какую-то трагедию, не спят, нервничают, и совсем не потому, что они будут подвергаться опасности, когда их забросят в тыл. Нет. Они ищут самооправдания. В чем? В том, что, следуя логике обстоятельств, они поступили разумно и в качестве победленных оказались на службе у победителей!

И, вы заметьте, совсем не многие из них спрашивают о форме вознаграждения. Вначале мне это казалось подозрительным. Но потом я убедился, что они настолько поглощены болезненно чувствительными воспоминаниями о своем прошлом, что не способны не только трезво, житейски интересоваться своим будущим, но даже достаточно четко оценить свое сегодняшнее, преимущественное положение по сравнению с тем, в каком находятся их же соотечественники в наших концлагерях. Они не способны понять, внушить себе то, что при подобных обстоятельствах приходит в голову любому нормальному человеку. Если они согласились быть извлеченными из лагерей, значит, мы их спасли от смерти. Значит, их жизнь принадлежит нам. Они лишились права собственности на свою жизнь, как лишается права на собственность банкрот. Но мы возвращаем им жизнь, их собственность, сохраняя за собой только право разумного и целесообразного ее использования.

— Вы не пробовали внушить им это? — поинтересовался Вайс.

Гаген произнес задумчиво:

— Пробовал. Беседовал с одним в подобном духе, но мне показалось, он слушал меня, как христианин может слушать язычника.

— Простите, я не понял,— сказал Вайс, хотя он и понял: ему хотелось уточнить слова Гагена.— Ведь в большинстве они атеисты.

— Я не в буквальном, а в переносном смысле употребил слово «христианин» — как синоним некоей иступленной веры.

— И кто это был?

— Я не помню,— уклонился от ответа Гаген и добавил строго:— Это говорит о том, что даже здесь попадаются экземпляры столь же редкостные, сколь и нежелательные.

— Смею вам возразить,— сказал Иоганн.— Среди них имеются отличные экземпляры — несомненные ненавистники советской государственности.

— Вы имеете в виду тех, кто прибыл к нам из Бельчинской, Брайтенфуртской и Нойкуренской подготовительных школ?

Вайс кивнул.

Гаген снова задумался.

— Самые ценные среди них из белоэмигрантов — националисты. Их идеи являются наиболее действенным подрывным средством для порабощения нами того народа, который они представляют. Испытанный метод Англии разделять, чтобы властвовать, подтверждает эту истину. Но все они, в сущности, фанатики-фантазеры.

— Почему фантазеры?

— А потому,— наставительно объяснил Гаген,— что эти националистические элементы нужны нам сейчас только для того, чтобы использовать их на оккупированных территориях. Они нужны нам для разложения противника, для ослабления его единства. Но в дальнейшем существование националистов станет несовместимо с германизацией и колонизацией национальных территорий даже в том случае, если мы будем рассматривать эти территории только как экспортное пространство и сырьевые приатки или, уж абсолютно либерально, как неких сателлитов.

Это же в равной мере относится к монархистам и к тем, кто полагает, что с помощью немецкой армии в России будет реставрировано буржуазно-демократическое правление в духе Керенского.

— А почему бы и нет?

— А потому,— сердито сказал Гаген,— что межнациональный Советский Союз состоит из наций, которые на практике испытали выгоду этого союза. И они уже привыкли исчислять свою мощь и величие совокупностью

общей экономики и, пользуясь выгодой этой совокупной экономики, привыкли к определенному уровню жизни и правовому равенству.

— И что же?

— А то, что рубить их на куски, надеясь, что эти куски не будут стремиться к воссоединению, — это все равно, как пытаться клинком опустошить водоем.

— Какой же может быть путь?

— Я полагаю, — твердо произнес Гаген, — тот единственный, который мы избрали в отношении этой страны. И если некоторым подход фюрера к решению проблемы казался раньше слишком прямолинейным, то теперь мы убеждены: другого пути нет и не может быть. Только применяя крайнюю степень насилия, можно сохранить эти территории за рейхом. Нужно опустошить гигантский человеческий резервуар, и опустошить самым решительным образом. А то, что останется на дне, использовать как вспомогательную рабочую силу, регулируя рождаемость так, чтобы в будущем нам ничто не могло угрожать потоном. — Добавил наставительно: — Поймите, мой молодой друг: нации, находящиеся долговременно под влиянием советского устройства и вскормленные его плодами, подобны Ромулу и Рему, вскормленным волчицей.

Волчицу можно убить, но ее молоко уже всосано. И те, которые, попав к нам, называют эту волчицу зверем и, призывая к ее убийству, зверствуют над теми, кто почитает ее матерью, могут рассчитывать на поддержку только отдельных индивидуумов. Но не на племя.

— На кого же нам тогда полагаться?

Гаген улыбнулся и сказал, подчеркиваянисходительной улыбкой превосходство своей логики:

— Именно на этих националистов, поддерживая у них иллюзии самостийного сепаратизма, буржуазно-демократического реставраторства, и на тех, кто принимал здесь участие в казнях своих соотечественников, чем пожизненно закрепил себя за нашей службой. Это тот материал, с которым нам надлежит работать.

Что из этих суждений Гагена было плодом его собственных размышлений, а что — наигрышем, профессиональным навыком двоедушия, порождением механической привычки подлавливать собеседника, кем бы он ни был, — определить трудно. Но все это расширяло представление

Иоганна о своих сослуживцах, открывало ему те извилистые способы, с помощью которых они прощупывали собеседника.

Во всяком случае, Иоганну удалось обнаружить слабую точку в надежно защищенном панцирем профессиональной осмотрительности душевном организме Гагена. Такой уязвимой точкой оказалось авторское тщеславие.

Гаген считал себя теоретиком науки о разведке. Он полагал, что стремление к познанию — это уже своеобразная форма разведывательной деятельности. Устойчивость государственной власти зависит лишь от степени разветвленности агентурной системы, и опасность существующему строю может грозить только оттуда, куда эта система не проникает. Эта концепция была плагиатом японской доктрины тотального шпионажа, систему которого Гесс изучал в Японии и успешно перенес на почву Третьей империи.

Гаген, страдавший дальновзоркостью, держал страницы рукописи на вытянутой руке и высоким голосом читал Иоганну избранные места. При этом его рыхлое, бледное лицо становилось торжественным и обретало сходство со скульптурным портретом Нерона, только вылепленным из жирного пластилина.

Голосом декламатора Гаген произносил высокопарно:

— Быть всеведущим — это значит быть всемогущим. Знать противника — это быть всемогущим. Знание противника — это наполовину одержанная победа.

Эта истина столь же неукоснительна и всеобща, как то, что для подчинения низших существ высшему — человеку — неизбежно применение такого регулятора подавления инстинктов, как голод, неизбежно также применение динамических приемов, вызывающих болевые ощущения. Только надежная система секретных служб может обеспечить правящих лиц сведениями о тайных слабостях управляемого ими общества и придать этим лицам династическую устойчивость.

Вайс спросил с деланной наивностью:

— Но у фюрера, увы, нет наследников?

— Да,— согласился Гаген.— Фюрер обладает величайшим политическим темпераментом и все другое приносит ему в жертву.

Вайс заметил с подчеркнутой серьезностью:

— Ваш труд открывает в нашей деятельности такие глубины, показывает ее в таком неожиданном аспекте, что я просто ошеломлен.— И скромно добавил:— К сожалению

нию, я не обладаю достаточными знаниями, чтобы оценить все значение ваших сообщений.

Гаген, тронутый похвалой простодушного собеседника, пообещал:

— Я окажу вам некоторую помощь — моя библиотека в вашем распоряжении.

Беседы о книгах, взятых у Гагена, позволяли Иоганну пополнить знания о стилевых приемах, применявшихся фашистскими разведчиками.

Создавая разведшколы для подготовки агентов из числа советских военнопленных, руководство гитлеровской разведки издало специальную директиву, в которой указывалось, что руководители школ, преподавательский и инструкторский состав должны строить свою работу в расчете на завоевание полного доверия со стороны курсантов. С этой целью предписывалось в общении с ними быть обходительными, требовательными, но справедливыми, чтобы создать впечатление гуманности и высокой культуры. Убеждать курсантов, что немцы выполняют лишь роль посредников, оказывающих содействие антисоветским зарубежным центрам в освобождении СССР от большевиков. Внушать мысль о том, что курсанты — сыны своей страны, только страны нового порядка, и действуют добровольно, по собственному желанию, и немцы не вмешиваются в их внутреннюю жизнь, а лишь оказывают им посильную помощь.

Эта двуединая тактика бича и пряника, помесь палача с кондитером, гибрид гиены с лисой были достаточно известны Иоганну. По книжным источникам специального фонда, составленного из покаянных показаний провалившихся шпионов, он изучал школу подлости империалистических разведок, хорошо ознакомился с теми методическими уловками, которые они применяли в отношении своей агентуры. И видеть, как ловцы загнанных душ с изощренным мастерством коварного лицемерия осуществляют свою тактику, было для Иоганна равносильным тому, чтобы ежедневно, ежечасно наблюдать палачей, которые перед совершением казни состязаются в любезности к своим жертвам.

Какие нужны слова, чтобы передать «задушевную» беседу Гагена с человеком с мертвыми, остановившимися глазами на синюшном, отечном лице?

В лагере этот человек по кличке «Гога» отказался выбить скамейку из-под ног приговоренного к повешению.

Ему пригрозили такой же казнью, но он снова отказался. Тогда тот, у кого уже была петля на шее, сурово приказал:

— Не лезь мне в напарники! Добровольная смерть — значит на них работать. — И попросил: — Не теряйся, товарищ!

Гога совершил то, что казалось тому человеку необходимым для борьбы с фашистами и тем самым оправданным. Но заключенные не простили Гогу. Он ослабел, опустился до должности капо. И сейчас он здесь, курсант.

И этому человеку с погасшим взглядом Гаген ласково разъясняет, что если бы коммунисты не создавали среди военнопленных подпольных организаций и военнопленные подчинялись бы всем установленным правилам, то не было бы никакой нужды ни в военной охране лагеря, ни в системе наказаний, — ведь все это противоречит свойственной немцам чувствительности и вызывает у исполнителей душевные страдания, причем более мучительные, нежели физические страдания нарушителей порядка.

Что же касается ограниченного рациона питания заключенных, то объясняется это совсем просто. Германия взяла на себя миссию содержать советских военнопленных, но саботаж советских граждан на оккупированных территориях лишает ее возможности получать оттуда такое количество продовольствия, которое могло бы обеспечить и военнопленных. Таким образом, получается, что советские люди, находящиеся на оккупированных территориях, виновны в том, что советские военнопленные умирают в лагерях от голода.

Все это Гаген говорил воркующим тоном, участливо глядя в мертвые глаза Гоги.

Гога сидел перед Гагеном на табуретке, вытянувшись, будто по команде «смирно». Руки его покорно лежали на коленях, окурок сигареты уже обжигал губы, но он не замечал этого. Лицо оставалось бесстрастным, и только правая нога, — вероятно, ею он вышиб скамейку из-под ног приговоренного к смерти товарища, — непрерывно дрожала.

Склоняясь к Гоге, Гаген говорил с вкрадчивой улыбкой:

— Русский народ — прекрасный народ, у него добрая, простая душа и есть очень красивые песни. Он хороший, трудолюбивый пахарь. Мы очень любим русский народ. И мы поможем вашим целям, чтобы Россия снова стала для вас уютной, как родная изба. — Напомнил вкрадчиво: —

У вас были очень добрые императрицы — Екатерина Первая, а также Вторая. Немки. О! Как они заботились о русском народе! А народ называл их «матушка», то есть «мама». Как это прекрасно! — Гаген закатил глаза, потом произнес строго, осуждающе: — Конечно, мы, немцы, виноваты перед вами, что не смогли в свое время разоблачить перед всем миром преступность идей Маркса. Вы пали их жертвами, и теперь мы несем ответственность за то, что Маркс родился на нашей земле, и вынуждены спасать другие народы от его зловредных идей. Нам помогают в этом наши доблестные солдаты. — Спросил заботливо: — Ты все понял?

Гога вскочил, вытянулся.

— Так точно! — Но мертвые глаза его — Иоганн заметил это — на какое-то мгновение блеснули зло и насмешливо, а потом снова потускнели, умерли.

Когда Гога ушел, Гаген попросил Иоганна открыть в канцелярии форточку, сказал брезгливо:

— От этих скотов воняет псиной. — Спросил оживленно, с хвастливой нотой в голосе: — Вы заметили, как это существо растрогалось, когда я сказал приятное о его племени? — Заявил: — Мы должны очень хорошо знать их историю, обычаи. Им это лестно и пробуждает здоровые инстинкты земледельцев.

Каждый из руководителей, преподавателей, инструкторов изощрял свои способности, стремясь наилучшим образом выполнить секретную директиву о снискании доверия курсантов.

В долгие безмолвные ночи, когда все, обессиленное тишиной, казалось здесь мертвым, жгучие мысли обжигали мозг Иоганна, лишая его сна.

У него было ощущение, что он сам попал в ловушку этой коварной директивы, лишившей его возможности найти путь к сближению с курсантами. Если руководители, преподаватели, инструкторы, следуя этой директиве, будут завоевывать доверие курсантов при помощи лицемерного доброжелательства, то, естественно, у тех, кто нужен Иоганну, рано или поздно возникнет острое недоверие к немцам, ищущим сближения с ними таким путем. Для Иоганна этот путь неприемлем. Все, что он попытается сделать, будет казаться ловушкой тем, кто еще имеет надежду вырваться на свободу.

Дать понять людям, которых он наметит, что все это немецкое дружеское расположение не что иное, как ло-

вушка? Но как? Для этого он должен предварительно обрести их доверие. Но когда все немцы здесь стремятся к тому же, как смогут выбранные им люди отличить его искренние стремления от стремлений его сослуживцев?

И еще одно, очень важное. У Иоганна оказался талант перевоплощения, и, пройдя предварительную подготовку, он заставил себя перевоплотиться в немца, стать немцем, неизменно оставаясь при этом самим собой. Играя эту роль, он все время совершенствовал ее, восприимчиво заимствуя у окружающих нужные ему мельчайшие черточки, которые он неустанно подмечал и кропотливо собирал. Верно угадывая психологию тех, с кем ему приходилось общаться, он с механической точностью воспроизводил их идеологические канонизированные фразы; они служили ему защитным средством, таким официозным мундиром мысли. Все это выходило у него достаточно достоверно. Но проникнуть в душу человека, изменившего Родине, поставить себя на его место, чтобы тщательно исследовать, что же человеческое осталось в нем в таких обстоятельствах, а что погибло намертво — это Иоганну не удавалось.

Он еще мог представить себе загнанного, замученного, слабовольного человека, который в момент отчаяния решился «в качестве разумного временного компромисса» сделать начальную уступку врагу и, втянутый в первый круг водоворота, потом падает все ниже, влекомый суживающимися кругами, на гибельное дно.

Такого человека он должен понять и суметь найти логику убеждения, чтобы внушить ему мужество, так позорно утраченное, и затем обнадежить, заставить поверить, что, совершив подвиг, он сумеет вновь вернуться к своему народу.

И надо думать, что такой путь падения прошли многие. Но среди тех, кто стал предателем из-за своей слабости, есть и другие, те, кто совершает сейчас новое и еще более подлое предательство: легко клюнув на внушаемые фашистами лживые посулы, эти трусы набираются здесь храбрости в надежде стать доверенными соучастниками в разбойничьем рассечении их отчизны на куски. Они верят, что каждый такой кусок под благосклонной эгидой германской империи станет изолированным заповедником всего стародавнего, патриархального и Германия будет заботиться о подопечных земледельческих нациях — своих сырьевых придатках.

К познанию вот таких личностей Иоганн не мог подобрать ключи, не понимал их. А такие были, особенно среди тех, кого привезли сюда из подготовительных школ, — воспитанники различных буржуазно-националистических антисоветских центров. Им мерещилась кроткая покорность своих народов, обращенных вспять, к старым, патриархальным временам, тихая жизнь под соломенными кровлями хат, «самостийное» существование. И ради него они готовы были истреблять свой народ, который влился в семью других советских народов, образовавших величайшую социалистическую державу. Но вместе с тем нельзя было не думать, что, кроме тех, у кого навязанные врагом взгляды срослись с плотью, были и другие, и для них эти взгляды могли служить только защитной окраской, средством самосохранения.

Каждому курсанту на очередном занятии предлагалось написать сочинение на тему «Почему я враг советской власти».

С одной стороны, это сочинение должно было стать своего рода векселем, залогом проданной врагам души, а с другой — давало материал для исследования. По нему можно было судить, насколько совершенное предательство связано с суждениями предателя о своей родине.

Как бы ни было омерзительно это чтение, Иоганн отводил ему многие часы. Напряженно, вдумчиво анализировал он каждую фразу, искал в ней скрытый смысл, сопротивление мысли или изворотливость, прибегая к которой можно уклониться от необходимости оскорблять самое священное для человека. Он стремился распознать даже ту преднамеренную тупость, за которой таится, быть может, еще не полностью утраченная привязанность к родной стране. Другие переводчики, не владевшие русским языком в такой степени, не могли, читая сочинение, постичь во всей полноте его сокровенный смысл и потому не были способны раскрыть истинное значение фраз, в которых Иоганн опознавал умысел, двусмыслие, тайную издевку.

А тупую злобу, порожденную утратой собственности, злобу пополам с надеждой, что эта собственность будет возвращена, немецкие переводчики воспринимали как наглое поползновение раба на долю награбленного хозяином. И таких брали на заметку как страдающих никчемными иллюзиями.

Здесь каждого поощряли сшить себе из грязного тряпья антисоветских пропагандистских отбросов любое знамя.

Курсантам разрешали считать себя как бы негласными союзниками вермахта, но они были всего-навсего как те черные крысы, которых забрасывают на корабли противника, чтобы они изгрызли в трюмах все, что им будет по зубам.

Исследуя души агентов по их письменным откровениям, сотрудники абвера с чиновничьим усердием подсчитывали количество несомненных и сомнительных антисоветских выражений, и если баланс был в пользу курсанта, ему ставили положительную отметку, если же нет, сочинение приходилось писать заново.

У Иоганна тоже имелся свой реестр. Он хранил в памяти клички курсантов, в сочинениях которых можно было подметить уклончивое двусмыслие или даже такую деталь, как начертание слова «Родина» с большой буквы, и много других тонкостей. Возможно, тут был некий тайный умысел, а может быть, и автоматизм еще не истребленной привычки.

Тупая злоба не ищет оригинальной аргументации для доказательства своей готовности послушно исполнять волю сильного. Докладывая Лансдорфу о сочинителях такого рода, Иоганн подчеркнул совпадения в их аргументации и осторожно намекнул, что эти люди не внушают ему доверия, он сомневается в их искренности: свидетельство тому — механическое повторение одних и тех же антисоветских выражений.

Лансдорф похвалил его за проницательность.

Гаген разработал тактику засылки диверсантов на советскую территорию. Он предлагал одновременно засылать по две группы, расчленив их функции: одна из групп предназначена непосредственно для выполнения задания, а другая ведет за ней параллельный контроль-наблюдение и в случае невыполнения задания уничтожает эту группу.

Иоганн написал подобную же докладную записку, причем предложения его совпадали с разработкой Гагена, но через некоторое время подал Лансдорфу рапорт, в котором подробно излагал, почему он считает свою докладную ошибочной.

На первый план Вайс выдвинул соображения экономического порядка: амортизация транспортных средств, расход горючего, комплектов вооружения, средств связи. На второй — отчетность перед Берлином. Если для выполнения каждого задания засылать двойное количество агентов,

а результаты определять деятельностью только половины этих агентов, то эффективность работы школы окажется наполовину сниженной. И третий аргумент. Принцип фюрера — тотальный шпионаж, и, руководствуясь им, следует проводить массовую засылку агентуры. Резервы материала имеются для этого большие, и если даже будет определенный отход, то они все-таки не уклонятся от главного — от указаний фюрера.

Лансдорф принял самокритику Иоганна, а заодно не дал хода и докладной Гагена, заявив, что предлагаемая им тактика приемлема только лишь для особо важных заданий.

Так Иоганн подготовил почву для возможности парализовать действия засылаемых групп в тех случаях, если в них окажется человек, способный контролировать агентов и при необходимости уничтожить их. Кроме того, он внушил Лансдорфу мысль о необходимости заранее примириться с тем, что отдельные группы не сумеют выполнить задания. Эти провалы не будут иметь особого значения, так как численность засылаемых групп со временем увеличится.

Стремясь к этому, Иоганн исходил из своей не поколебленной даже здесь убежденности в том, что прослойка предателей среди военнопленных, в сущности, ничтожна и, вербуя нужные им кадры, абверовцы зачерпнут не только эту прослойку, но и те пласты советских военнопленных, которые сохранили преданность родине, а если еще уведомить подпольные лагерные организации, то в школы попадут люди, которых сами подпольщики пошлют на подвиг.

Иоганн даже прибегнул к расовой теории, для того чтобы внушить сослуживцам, что представители низшей расы не способны выполнять сложные агентурные задания: интеллектуальная неполноценность, примитивность психики ставят перед ними непреодолимые барьеры.

А Гагена он утешил, сказав, что если даже некоторое число групп и провалится или перейдет на сторону противника, то это будет притуплять бдительность русских и создаст на время благоприятные условия для действия других групп.

Гаген согласился с Иоганном и назвал это тактикой разбрасывания приманки. Он даже сказал, что такая тактика — нечто новое в условиях специфических действий,

обеспеченных большим количеством материала, услуги которого не нужно оплачивать, как приходилось их оплачивать на западноевропейском театре войны.

Заключенный № 740014 из экспериментального лагеря «0-X-247», тот самый, которого там спас Иоганн и которому он открыл свое настоящее лицо, благополучно прибыл в школу и после оформления получил кличку «Туз».

Но в первой же беседе с Иоганном он выразил явное недовольство тем, что его извлекли из лагеря смерти.

Сухо и несколько высокомерно он сообщил Иоганну, что в лагере его избрали в число руководителей подпольной организации. Им удалось связаться с другими подпольными организациями и создать комитет Союза военнопленных, который они впоследствии собираются назвать Верховным Советом Союза военнопленных. Они будут объединенными усилиями, при поддержке немецких антифашистских организаций, готовить одновременное восстание во всех лагерях. Поэтому он считает свое пребывание в школе нецелесообразным. И хотя работа, проделанная комитетом, пока еще не столь значительна, все же место его там, в лагере.

Все это было неожиданным для Иоганна. И означало потерю человека, на которого он мог здесь всецело опереться. Вместе с тем, вернувшись в лагерь, Туз сумел бы помочь Иоганну, и в разведывательно-диверсионные школы были бы направлены те военнопленные, которых отберут для этого подпольные лагерные организации.

Иоганн пообещал Тузу, что постарается, сославшись на какую-нибудь его провинность или на неспособность к агентурной работе, отправить его обратно в лагерь, как только тот найдет себе среди здешних курсантов достойную и верную замену. И с этого момента стал избегать каких-либо встреч с Тузом.

Нельзя было не обратить внимания на совершенно новые, самоуверенные манеры бывшего № 740014. Он с какой-то снисходительностью, с нескрываемым превосходством, загадочно усмехаясь, слушал Вайса, словно хотел дать ему почувствовать, что он, Туз, теперь уже не тот, что прежде. Теперь он персона, наделенная некими особо возвышающими его правами, и еще неизвестно, кто

кого будет обслуживать — он советского разведчика или тот его.

И хотя с костистой его физиономии не исчезли следы лишаев, побоев, голода, а полученный в школе французский мундир висел на нем, как на вешалке, и огромные кисти его рабочих рук с иссохшими мышцами, разбитые неимоверным трудом на каменоломне, были подобны двум сплюсненным гроздьям из скрюченных пальцев, — несмотря на все это, от всей его фигуры веяло такой величавостью, какой не выразить ни в бронзе, ни в мраморе.

Таким степенным, полным чувства собственного достоинства человеком его, несомненно, сделало доверие, которое ему оказали в лагере, избрав в руководство подпольной организации.

Это был избранник народа, твердо убежденный в том, что он облечен самой главной здесь властью.

Вот почему он несколько снисходительно слушал Иоганна, полагая, что хотя тот и советский разведчик — может, даже лейтенант или капитан, — но все-таки служащий. А он, Туз, так сказать, представитель блока партийных и беспартийных. И избран он не просто от экспериментального лагеря «0-X-247», но и от межлагерного Союза военнопленных, который должен подготовить восстание узников концлагеря. И он входит в руководящую группу этого межлагерного Союза. Когда обсуждалась работа Союза, члены руководящего комитета высказали различные точки зрения на тактику подготовки восстания. Пришлось вести борьбу с левацкими, сектантскими тенденциями тех, кто утверждал, что нечего тратить время на организаторскую деятельность, на пропагандистскую работу, а надо только сформировать надежное ядро, которое нанесет удар по охране, — и тогда массы сами стихийно присоединятся к восстанию. И если даже при этом все заключенные погибнут, важно совершить эту акцию. Свобода или смерть — таков был их лозунг.

Были и такие, кто придерживался оппортунистических воззрений, полагая, что задача Союза — лишь обеспечить максимальную выживаемость заключенных и, поскольку победа Красной Армии исторически неизбежна, надо стремиться только к тому, чтобы выжить, сохраниться до этого всеразрешающего исторического момента. Поэтому, говорили они, в лагерях не следует создавать подпольные коммунистические организации, и коммунисты должны войти в Союз не как представители этих организаций, а на

общих основаниях. И Союз надо бы оформить в духе организации, служащей только целям взаимопомощи и взаимоподдержки. Тогда в случае провала члены Союза не будут истреблены полностью, погибнут одни руководители.

Эти жаркие дискуссии происходили в узком забое. Члены комитета, теснясь, влезали в его каменную щель и, лежа голова к голове, шепотом убеждали друг друга, пока товарищи, выделенные для охраны и прикрытия, рушили позади них глыбы камня, образуя завалы, через которые невозможно было пробраться. Но эти завалы почти отсекали и доступ воздуха, и члены комитета, задыхаясь, обливаясь потом, испытывая боль в груди и удушье, какое испытывает, должно быть, заживо погребенный, страстно спорили в поисках решения, которое могло стать общим, непререкаемым для всех.

Информация Туза о планах создания Союза военнопленных отличалась предельным лаконизмом. Возможно, Туз уплотнял ее, учитывая краткость времени, отпущенного на их встречу, но не исключено было, что он хотел дать почувствовать Вайсу ту суровую деловитость, какой была проникнута работа лагерного комитета.

Но и этого было достаточно, чтобы Иоганн ощутил возвышающее душу неистребимое непокорство, могучую жизнеспособность советских людей, убить которую невозможно так же, как самую жизнь на земле.

В глазах Иоганна как бы померк ореол некоей исключительности, которым, как ему казалось прежде, озарялась его миссия, ибо тысячи людей, подобных этому заключенному № 740014, совершают подвиг борьбы в тылу врага, подобный его подвигу, используя методы, подобные его методам. И, в сущности, им неизмеримо труднее бороться в лагере, они находятся как бы на дне гигантской могилы. Он же, Иоганн, внешне оказался в более привилегированном положении, хотя малейшая оплошность может обречь его перед неизбежной казнью на длительные, мучительные истязания, не менее жестокие, чем те, каким подвергаются в лагерях.

Майор Штейнглиц, воодушевленный старопрусским заветом: «Человек — ничто, организация — все», весь отдался административной деятельности. Поточный способ массового производства разведчиков, к которому он вначале относился скептически, постепенно увлек его возможно-

стью блеснуть канцелярским размахом рапортов, направляемых в Берлин. Вместе с Гагеном они готовили статистические докладные, где, основываясь на будущих победах вермахта, отчисляли проценты от людского состава побежденных армий в сеть своих школ. И эти прогнозированные исчисления выглядели грандиозно, внушительно.

Установленный в школе распорядок дня никогда не нарушался. Подъем в 6 часов, физзарядка — от 6 часов 10 минут до 6 часов 40 минут, время на туалет — 20 минут, завтрак — от 7 до 8 часов, занятия — от 8 часов до 12 часов, обед — с 12 часов до 14 часов, занятия — с 14 часов до 18 часов, ужин — до 19 часов, вечерняя поверка — в 21 час 30 минут. Отбой — в 22 часа.

По воскресеньям занятий нет.

Почту курсантам доставляют прямо в барак, это всевозможная антисоветская и белоэмигрантская литература и газеты. Иногда короткая лекция на тему «История Советского государства».

Раздумывая о безотказно действующей системе организации и воспитания, о ее быстрой результативности, Штейнглиц выразил опасение, как бы в таких идеальных условиях, сроднившись, так сказать, с немецким образом жизни и порядком, курсанты не позабыли бы о тех условиях, в каких им придется орудовать, и поэтому дал указания развесить в бараках советские трофейные плакаты. Он приказал также, чтобы курсанты обращались друг к другу со словами «товарищ» и по воскресеньям обязательно пели хором свои народные песни.

Дитрих был озабочен созданием надежной системы так называемого «негласного оперативного обслуживания состава слушателей школы».

Он подобрал среди курсантов наиболее подходящих для выполнения функции провокаторов. Дал задание доставить в распоряжение школы несколько женщин, способных — главным образом в интимных условиях — проверить политическую надежность отдельных сомнительных лиц. Решил предоставить этим последним возможность выходить за пределы школы, чтобы наблюдать за их поведением на воле. Приказал выделить в его личное распоряжение большое количество спиртного для проведения экспериментов, и курсантов подпаивали в надежде получить от пьяных какую-либо заслуживающую внимания информацию об их настроениях. Тщательно продумывал разного рода проверочные комбинации для тех, чье поведение

казалось ему подозрительным. Приказал установить микрофоны в общежитии.

Словом, каждый был поглощен своей деятельностью.

И только один Лансдорф не нарушал обычного, установленного им ритма жизни и без воодушевления выслушивал хвастливые рапорты подчиненных.

Штейнглиц он обычно угнетал своим умственным превосходством и убийственным скептицизмом.

— Будьте любезны, майор, напомните мне: от кого мы получили губительные для Франции сведения о ее военном потенциале?

Штейнглиц с готовностью перечислял имена известных ему шпионов.

— Вздор! — пренебрежительно отвечал Лансдорф. — Мелочи. В тысяча девятьсот тридцать восьмом году французский генерал Шовино опубликовал книгу «Возможности вторжения», сопровождаемую предисловием маршала Петэна. Она стала для нас настольным справочником. — Разглядывая ногти, осведомился: — А по Англии?

Штейнглиц, вытянувшись, молчал, хотя ему очень хотелось напомнить о своей личной заслуге.

— Знаменитый английский военный историк Лиддель Гарт опубликовал труд «Оборона Британии». Фюрер высоко оценил эту книгу. А Гесс отметил, что она важна для правильной оценки всей ситуации в целом и содержание ее найдет важное практическое применение. — Упрекнул: — Вы не тревожите себя лишними знаниями, майор. И напрасно. — Заметил многозначительно: — Ключи от государственных тайн не всегда обязательно воровать, отнимать, похищать коварными способами или добывать с помощью массового производства дрянных отмычек. Люди мыслящие могут их получить от ученых, историков, исследователей, порой заботящихся о своем тщеславии больше, чем об интересах собственного государства.

Штейнглиц обиделся, сказал сдержанно:

— В салоне леди Астор, поклонницы нашего фюрера, любой агент-практикант может узнать, о чем час назад говорил Черчилль, — для этого ему только не следует скрывать, что он наш агент. Во Франции я могу вам назвать имена нескольких министров, которые ежемесячно получали из специальных фондов адмирала Канариса вознаграждение, значительно превосходящее их министерское жалованье.

— Что же касается ассигнований на советскую агенту-

ру, то тут, к сожалению, мы достигли такой экономии средств, которая может поставить под сомнение всю нашу работу. Если, конечно,— добавил он,— не считать расходов на вспомоществование эмигрантам и на пенсии семьям наших агентов-немцев, после того как советские органы пресекли их деятельность.

— Ну-ну, не надо горячиться,— успокаивающе, мирным тоном сказал Лансдорф.— Я ценю ваши усилия и понимаю наши трудности.— Проговорил задумчиво:— По-видимому, большевикам удалось внушить народу мысль, что государство — это в какой-то степени собственность каждого, и они дорожат его интересами так же, как мы с вами своим имуществом.— Заметил деловито:— Я просматривал протоколы допросов различных военнопленных. Некоторым из них, оказывается, проще расстаться со своей жизнью, чем с теми сведениями, которыми они располагают. Трудный материал, трудный. И поэтому еще раз напоминаю: гибче, гибче с ним. И если вы сочтете нужным, особо подающих надежды следовало бы на несколько дней свозить в Берлин, чтобы поразить их воображение уровнем нашей цивилизации, благосостояния, бытовыми условиями, магазинами. Пусть даже что-нибудь купят себе. Словом, попытайтесь оказать воздействие с помощью арсенала не только наших идей, но и вещей. Вы меня поняли?..

Штейнглиц из этого разговора понял только, что Лансдорфа беспокоит ненадежность курсантского состава и что, по его мнению, агентурная работа в западно-европейских странах имеет более плодотворную почву, чем в России,— с этим последним Штейнглиц был полностью согласен.

Наблюдая за учебными занятиями курсантов, он убедился, какие это тупые, неспособные люди. Самые элементарные вещи они усваивают с трудом, у всех расслаблена память, отсутствует сообразительность, и поэтому сроки обучения недопустимо затягиваются. И Штейнглиц с гордостью за своего соотечественника думал о бывшем своем шофере, ефрейторе Иоганне Вайсе, так блистательно воплотившем в себе лучшие черты немецкой нации. Ведь он за самое короткое время сумел полностью овладеть необходимыми познаниями и занять достойное место среди самых опытных сотрудников абвера. Вот подобных Иоганну способных молодых людей он не видел среди этих русских и был убежден, что виной тому их национальная ограни-

ченность, многовековая отсталость от других европейских народов.

Конечно, откуда бы мог знать Штейнглиц, что, казалось бы, вопиющая тупость, беспамятливость, несообразительность многих курсантов требовали от них поистине виртуозной сообразительности и остроты наблюдательного ума.

Кстати, эта талантливость притворства некоторых курсантов ставила Вайса в такое же тяжелое положение, как и Штейнглица, удручала их обоих, хотя и не в равной степени, и по совсем противоположным причинам. А источник трудности был для них один и тот же.

До сих пор Иоганн не мог считать, что он достаточно полно изучил хотя бы одного курсанта. Именно это и служило причиной его бессонных размышлений, когда приходилось перебирать в памяти тысячи мельчайших, разрозненных, еле ощутимых признаков, говорящих о том, что человек остался человеком. Но эти обнадеживающие черточки сочетались с таким множеством отрицательных, что прийти к какому-либо выводу было пока невозможно.

А время шло и повелительно требовало действий, и, хотя Иоганн почти регулярно оставлял информацию для Центра в тайнике, указанном Эльзой, и получал через обратную связь рекомендации и советы, других верных людей, кроме Туза, ему до сих пор найти не удалось.

Дневной рацион курсантов составляли хлеб — четыреста граммов, маргарин — двадцать пять граммов, колбаса гороховая или конская — пятьдесят граммов и три штуки сигарет. Утром и вечером ячменный или свекольный кофе. По сравнению с лагерным этот паек мог показаться обильным.

Больше всего курсанты страдали от недостатка курева. Подобно тому, как заключенный в ожидании приговора жаждет утолить тоску непрерывным курением, так же и эти люди — одни вялые, подавленные, с замедленными движениями, другие возбужденные до истерики — испытывали мучения от табачного голода.

Как-то Гаген добродушно посулил им бодрым тоном:

— Когда поможете нам захватить Кавказ, будет вам табак.

Хотя в переводе на русский язык это звучало несколько двусмысленно и кое-кто усмехнулся, такое обещание никого не утешило.

После отбоя Иоганну приходилось поочередно с другими переводчиками дежурить с наушниками в канцелярии

у провода микрофонов, установленных в общежитиях. С помощью переключателя он мог слышать, о чем говорят между собой курсанты в любом помещении каждого из барakov.

После дежурства он обязан был сдавать запись наиболее существенных разговоров Дитриху. Кстати, Иоганн предполагал, что подобные же микрофоны установлены в комнатах сотрудников штаба, но прослушиванием этой линии занимаются только работники отдела «ЗЦ» и сам Дитрих.

Гаген дал Вайсу два исторических романа Виллибальда Алексиса. Сказал значительно:

— Великий наш романтик прошлого века.

«Какая провинциальная уость, какая напыщенность», — подумал Иоганн. Читая на дежурстве эти книги, он испытывал только щемящий душевный голод. Подумать только: Толстой, Чехов, Достоевский писали в то же время.

Иоганн вспомнил «Войну и мир», и воспоминания приходили так, будто все это была и его жизнь, которой он здесь лишился. Но когда он вспоминал страницы, посвященные Платону Каратаеву, его кроткую, покорную беззлобность к врагу, его способность тихо, безропотно, бесшумно ко всему приспосабливаться, умиленно радоваться просто оттого, что он существует, этот Платон мгновенно предстал перед ним в обличье курсанта Денисова по кличке «Селезень».

Русоволосый, сероглазый, говорит окая, на лице просящая, застывшая улыбка. В своем «сочинении» Денисов писал: «Как известно, человек рождается в жизни один раз. Но при этом от него независимо, какой страны он получается гражданином. В силу такого стихийного обстоятельства я оказался советским».

В цейхгаузе Денисов долго и тщательно выбирал себе обноски французского трофейного обмундирования, какие получше. Долго искал такие ботинки, каблуки и подошвы которых были меньше стоптаны, заведомо зная, что сносить ему все это не доведется и после окончания курсов выдадут все другое. Но хозяйственный инстинкт был выше реальных обстоятельств. И Денисов счастливо улыбался, когда ему удалось сыскать в груде обуви пару ботинок на двойной подошве.

— Хорошая вещь, — сказал он с довольной улыбкой. — Рассчитана на серьезного потребителя.

В столовой он ел медленно, вдумчиво. Когда жевал, у него двигались брови, уши, скулы и даже жесткие волосы

на темени. Охотно обменивал сигарету и отломанную половину от другой на порцию маргарина.

Занимался старательно. Испытывал искреннее удовольствие, получая хорошую отметку, огорчался от плохой. И был по-своему смекалист.

Вот сейчас Вайс слышит в наушниках его дребезжащий, слабенький, деловитый тенорок. Рассуждает, наверное, лежа на койке:

— Пришел я в себя, и первое, чему очень даже обрадовался, — тому, что не помер. И бою конец. Очень было неприятно предполагать все время, что все именно в твое тело стреляют. Подходит немец. Встал перед ним, от страха дрожу. Гляжу — человек как человек. Улыбаюсь деликатно. Ну, он меня и пожалел. Ведет, автоматом в спину пихает. Кругом наши ребята лежат. Жалею. Поспешили. А загробной жизни-то нет. Землячок мой в нашей роте был. Его бы я еще насчет плена постеснялся. Но он раньше, в санбате, помер. Значит, свидетелей нет. А я оказался живучий. Имею возможность на дальнейшее существование. Мне ведь самой лучшей жизни не надо. Мне бы только избушка и солнышка чуток, ну, и чтоб пища. Я без зависти. Меня сюда только за одно поведение прислали. Я и в лагере жить привык. Наспособился ко всему. Люди огорчаются наказанием несправедливым. А я что жэ, ничего, продолжаю жить, только маленько сощурюся, и ничего — существую. Есть причины, от нас зависимые, а есть независимые. Есть лагеря, есть школы для шпионов — тоже. Кто-то же все равно место займет. А почему не я? Не пойду — другой пойдет. Механика ясная.

— Ты аккуратный, и резать будешь аккуратно.

Грубый голос, наверное, принадлежит человеку по кличке «Гвоздь». Лицо его после ожога в глянцеvitой, тугой, тонкой, полупрозрачной розовой коже. В анкете записано — сапер. Вайс подозревает: танкист или летчик, обгорел в машине.

— Мне это не обязательно, — возразил Денисов. — Я на радиста подал. В силу грамотности, полагаю, уважат. В колхозе я всегда на чистой, письменной работе был.

— Лизучий ты.

— А это у меня от вежливости. Имею личный жизненный опыт всякое начальство чтить и уважать. Ум у меня, может, и небольшой, но чуткий. Я человек простодушный и тем полезный.

— Как рвотное средство.

— А тебе меня такой грубостью за самолюбие не ущипнуть. Нет. Хошь — валяй плюнь! Утрись — и ничего. Если только ты не заразный. Плевок — это только так, видимость. А вот если ты меня где-нибудь захочешь физически... Тут я тоже тебе самооборону не окажу. Но начальство будет точно знать, кто мне повреждение сделал. Поскольку я теперь на их инвентарном учете.

— У нас одного такого в лагере в сортире задавили, — сказал Гвоздь раздумчиво.

— И напрасно, — возразил Денисов. — Убили одного, скажем, провокатора. И за его мерзкую фигуру десятка три хороших людей после постреляют. Я всегда был против такого. И можно сказать, что немало хороших людей спас тем, что предотвратил.

— Доносил?

— Так ведь на одного, на двух умышлявших. А сохранил этим жизнь десяткам. Вдумайся. И получится благодарная арифметика.

— Кусок ты...

— На словах задевай меня как хочешь. На грубость я не восприимчивый. И тебя обратно ею задевать не стану. Потому мне любой человек — человек. А не скотина, не животное, хотя я тоже к ним отношусь с любовью. И при мне всегда кот жил. И, если хочешь знать, так о нем я грущу, вспоминаю. А люди — что ж. Люди везде есть, и все они человеки, и каждый на свою колодку.

— И долго ты при советской власти жил?

— Обыкновенно, как все, — с самой даты рождения до семнадцатого июля нынешнего года, когда мы накрылись, — словоохотливо сообщил Денисов.

Гвоздь сказал задумчиво:

— Вот я бы с тобой на задание в напарники пошел: человек ты обстоятельный, с тобой не пропадешь.

— Не-е, — возразил Денисов, — против тебя у меня лично возражения.

— А чем не гожусь?

— Пришибешь ты меня — и все, и сам застрелишься от огорчения.

— Это почему же?

— А так, глаза у тебя дикие. Немец — он до нас тупой, не различает. А я чую — переживаешь. К своим не подашься, нет. Это я не говорю. Даже ничуть. Явишься, допустим, к властям: мол здрасте, разрешите покаяться. А тебя — хлоп в НКВД. Могут и сразу, без канители, в жмурики.

а могут и снизить — дадут четвертак. — Сказал с укоризной: — Найдутся среди нас, я полагаю, наивняки с мечтой в штрафниках свою вину искупить. Мечта детская. На то он и «карающий меч» в руках пролетариата, чтоб таких, как мы, наивняков сокращать.

Гвоздь спросил:

— Тебе за такую агитацию сигаретами выдают или жиром?

— Не-е, я добровольно. — Тревожно спросил: — А что, разве добавку дают за правильное собеседование?

— Дают, — сказал Гвоздь. — Но только не здесь.

— А ты меня не страшай. Другие, вроде тебя, в случае — попадутся, может, таблетку с ядом сглотнут. Я — нет. Я самоубийством заниматься не стану. Господин инструктор правильно рекомендовал на такой случай «легенду на признание». Я советские законы знаю. За быстрое и чистосердечное признание — по статье скидка. Ну и поживу в лагере, что ж, и там люди.

— Ох и гнида ты, Селезень!

— Я ж тебя информировал, — сердито сказал Денисов. — Не заденешь!

Зашуршал соломенный тюфяк, — наверно, улегся... Тишина.

Иоганн повернул ручку переключателя на другой барак. Здесь играли в карты на сигареты и порции маргарина. Сделал запись: «Курсант Гвоздь сказал курсанту Селезню: если тот захочет перебежать к противнику, Гвоздь застрелит его. Гвоздь оказывает правильное воспитательное влияние. Возможно, следует соединить их при задании».

Вспомнил, как однажды Гвоздь сказал ему в ответ на замечание: «Господин инструктор, у меня только глаза дерзкие, а так я тихий, как дурак, спросите кого хотите». Не так давно Иоганн стал свидетелем драки Гвоздя с бывшим уголовником Хнычем. Выясняя причину, узнал: Хныч высказал грязное предположение насчет жены Гвоздя, и тот чуть не убил его. Обоих отправил тогда в карцер. Хныч умолял посадить его отдельно, утверждая, что Гвоздь псих и задушит за свою бабу.

После дежурства Вайс узнал в картотеке адрес Гвоздя и составил шифровку: просил найти жену Гвоздя и получить от нее письмо для мужа.

К карточке Денисова он прикрепил желтый квадратик: ненадежен, к карточке Гвоздя — зеленый: проверен. Это он

сделал не для себя, а для ориентации сослуживцев, точнее — для их дезориентации.

Выпал непрочный, слабый снег. Воздух был тусклым.

Курсанты на плацу занимались физзарядкой — приседали, взмахивали руками.

Денисов усерднее других проделывал упражнение. На скулах его появился румянец, глаза блестели от удовольствия, что он жив, дышит и еще сколько-то будет жить.

Гвоздь вскидывал руки яростно, энергично. Розовое, глянцевитое лицо его было неподвижно, как лакированная маска.

Курсанты топтали слабый, нежный снег, отпечатывая на нем свои черные следы, тотчас же заполняемые талой водой.

Огромные сосны с розовато-желтыми стволами в легкой чешуе отслаивающейся тонкой коры широко распростерли ветви с зелеными кистями хвои. И если поднять голову и долго смотреть на шатровые вершины деревьев и еще выше — в самое небо, смотреть до легкого головокружения, то может прийти пьянящее ощущение, что ничего этого нет, и не было, и не может быть, и вот сейчас Иоганн опустит взгляд и увидит...

Нет-нет, нельзя распускаться, дразнить себя, свое воображение.

Сегодня занятия по подготовке агентов путем допроса друг друга. Этим занятиям отводится много учебных часов. Один из агентов выступает в роли официального сотрудника советской контрразведки, другой — в роли задержанного в тылу советских войск подозрительного человека. Первый обязан уличать «задержанного» в принадлежности к агентуре немецкой разведки, а второй — оправдываться и любыми способами отводить от себя обвинение.

Эти «спектакли», учиняемые турнирными парами за каждым столом, давали Иоганну новые, неотвратимо обличающие улики против одних и укрепляли надежды, возлагаемые на других, — тех, кого он приметил и к кому начал питать даже нечто вроде скрытой симпатии.

Денисов играл свою роль совершенно искренне. Его серые, как слизняки, глаза мокры. Униженно и скорбно он молит своего «следователя»:

— Вы ко мне по-человечески. Окружили. Убёг. Документы сничтожил... А эти? Откуда же я знал, что они «липа»? Переходил линию фронта с одним окруженцем.

Его огнем пришибло. Я документы у него вынул: сдать властям, как полагается. Ну, наскочил на патруль. Они — документ! Я и сунул его документ. Если б я знал, что он шпион, я бы его самостоятельно сразу. Примкнул ко мне, гад! Я же не сыщик, чтобы понять, кто он такое. Почему возле железной дороги бродил? Так где же мне еще находиться? Истомился, все пешком. Желал подъехать с попутным эшелонem... Как куда? До крупного населенного пункта, где НКВД. Доложиться. Армейские особы — они нашего брата окруженца сразу того... А вы опыт на шпионах имеете. Вам различить чистого от нечистого сам бог велел... Что значит — скрывался. Ни от кого не скрывался. Мне бояться своих нечего, это я когда у немцев в тылу скрывался, может, привычка осталась таиться, так я за нее извиняюсь...

Гвоздь увлеченно разыгрывал роль следователя, говорил яростно пожилому, степенному Фишке, бывшему петлюровцу, считавшему себя здесь выше всех, кичившему своим заслуженным перед немцами прошлым:

— Ты, гад, немцам Украину уже раньше продавал и теперь снова продаешь с потрохами!

— Гражданин следователь, у вас нет никаких улик, — солидно возражал Фишка.

— А оружие? Оружие у тебя нашли? Советских людей убивал, паразит!

— Оружие я носил для самообороны. Защищаться от тех, за кого вы меня принимаете.

— Из армии дезертировал?

— Я баптист. Уклонился от службы в армии не по политическим мотивам, а по религиозным убеждениям.

— Бог у тебя не с крестом, а со свастикой. Ты же эшелон подорвал с людьми!

— Откуда у вас такие неверные сведения?

— Так ты же сам хвастал!

— Кому?

— Мне.

— Где? Когда?

— Да в бараке, недавно. Что шуришься?

Вайс нашел нужным вмешаться, сказал строго:

— Курсант Гвоздь, вы должны пользоваться только теми предполагаемыми уликами, которые вы получили при задержании... — Фишке заметил наставительно: — Кстати, учтите, что советские органы при задержании могут востребовать все материалы, касающиеся вашего прошлого. По-

этому не исключайте возможность подобных вопросов. Для более плодотворной тренировки изложите курсанту Гвоздю хотя бы основные факты, говорящие против вас, с тем чтобы, когда он обратит их против вас же, вы попытались найти контраргументацию.

Фишка, поеживаясь, вздыхая, начал перечислять Гвоздю свои минувшие деяния.

Лицо Гвоздя стало серым, напряженным, глаза зло блеснули.

Вайс, якобы всецело занятый другой парой, стоя спиной к Фишке, внимательно слушал перечень некоторых его злодеяний, которые тот считал возможным пустить в оборот для тренировочного допроса.

Потом Вайс перешел к новой паре. Разыгрывавший роль следователя уныло выуживал у допрашиваемого:

— Нет, ты мне толком скажи, почему ты им продался, против своих пошел?

— Да я не пошел. Насильно заставили. И потом, думал, как подвернется случай, к своим убегу.

— А чего сразу по начальству не явился?

— Боялся статьи.

— Так ты там в лагере был?

— В лагере.

— А в шпионы пошел, чтобы из лагеря уйти?

— Правильно, только поэтому. От смерти самосна-
сался.

— Значит, теперь ты со всех сторон пропащий.

— А ты что, нет? — обиделся допрашиваемый. — Кто в лагере на своих доносил? Ты.

Вайс строго предупредил:

— Допрашиваемый лишен права задавать вопросы следователю.

Допрашиваемый пожаловался:

— А что он мою личность задевает не по существу дела? Я раскаявшегося играю, темную жертву фашизма, а он наш местный материал против меня сует...

Вдруг раздался звук пощечины, стон, хрип. Вайс подошел к столу, за которым сидели Гвоздь и Фишка. Оба они вскочили, вытянулись перед ним.

— Он меня бить стал, бить изо всей силы! — восклицал Фишка, мясистое лицо которого набухало лиловыми пятнами.

Гвоздь, кривя сухие губы и нагло глядя в глаза Вайсу, объяснил развязно:

— А что такого? Я следователь. Он запирается, ну, я ему и вмазал. Сами же нас уговаривали, что в НКВД пытаются. — Кивнув на Фишку, объявил: — Вот я ему и сделал тренировку. Пусть закаляется. — В зеленых узких глазах Гвоздя играл насмешливый огонек.

— В карцер обоих, — приказал Вайс.

— А меня за что? — изумился Фишка.

— Не проявили стойкости, выдержки, хладнокровия. Трое суток...

Изредка в канцелярии появлялась высокая худошавая дама с застывшим, неподвижным лицом, в роговых очках. Держала она себя с достоинством, деловито. По приказанию Дитриха ей показывали фотографию того или иного курсанта и сообщали его основные приметы.

Дама внимательно, запоминая смотрела на фотографию, молчаливо выслушивала то, что ей сообщали о приметах, и, равнодушно кивнув, уходила, четко печатая шаг в меховых полуботинках, украшенных бантиками из лакированной кожи.

Это была унтершарфюрер Флинк. Специальность ее — оперативное исследование отдельных лиц посредством особо подобранной для этого группы уличных девок.

В свободное от заданий время девки могли заниматься своим обычным, ничем не усложненным промыслом, отчисляя определенный процент дохода в фонд праздничных подарков фронтовикам.

Унтершарфюрер проводила с ними занятия. По утрам после физзарядки — строевые, а два часа перед обедом — по агентурной подготовке.

Курсанты, числившиеся не совсем благонадежными, наряду с другими проверочными комбинациями подвергались проверке с помощью этих девиц. И девицам твердо вменялось в обязанность заучить наизусть какую-нибудь жалобную историю жертвы фашизма, дабы спровоцировать сочувствие к себе.

Соответствующее количество спиртного для этих целей, так же как и разнообразную гражданскую одежду девицам, женское вспомогательное подразделение унтершарфюрера Флинк получало со складов «штаба Вали».

На выпущенного за пределы расположения испытуемого курсанта унтершарфюрер, используя фотографию и приметы, нацеливала одну из своих подчиненных. Та охотилась за ним и, в зависимости от того, за кого она себя выдавала — за судомойку, горничную, уборщицу, — приво-

дила на кухню, в сторожку, в кладовку подвального помещения. Девицы были все немолодые, опытные, неглупые и обычно твердо выучивали свои роли и только сообщали унтершарфюреру Флинк о результатах идеологической проверки испытуемого.

Докладывая как-то Лансдорфу о настроениях курсантов, выявленных с помощью подслушивания по микрофону, Вайс необычно громким голосом заявил в ответ на вопрос, не следует ли Дитриху несколько усложнить методы проверки:

— Господин капитан Дитрих — выдающийся контрразведчик, я преклоняюсь перед его талантом.

Лансдорф удивленно вскинул глаза. Иоганн сделал гримасу, дотронулся до своего уха, потом указал на стену и повторил столь же отчетливо громко:

— Капитан Дитрих — это ходячая энциклопедия всех самых современных приемов техники разведки.

Лансдорф ничего не ответил. Но спустя несколько дней, встретив во дворе Вайса, сказал:

— Ефрейтор Вайс, я еду вместе с капитаном Дитрихом в Варшаву, вернемся мы только на следующее утро.

В мое отсутствие придет связист. Укажите ему мою комнату и комнату Дитриха. У нас что-то не в порядке с телефонами. — Приказал строго: — Окажите ему помощь, в которой он будет нуждаться. Но чтобы вы и он — больше никого...

— Слушаюсь, — сказал Вайс.

Он оказал весьма высококвалифицированную помощь связисту и не только помог установить в комнате Дитриха тайник с микрофоном, провод от которого был протянут в комнату Лансдорфа, но и успел вмонтировать такой же микрофон в комнате Лансдорфа, а отводы от обоих микрофонов спустить в помещение канцелярии, замаскировав их под электропроводку.

Теперь Иоганн получил возможность во время дежурств прослушивать разговоры не только одних курсантов.

Когда Лансдорф вернулся, Вайс доложил ему, что не мог оказать помощь связисту, так как, к сожалению, не обладает для этого достаточным опытом и знаниями. Но связист и один справился. Вайс проверил — телефонные аппараты работают отлично. Связист отбыл в свою часть.

Для выброски на задание формировались небольшие группы. Старшим группы обычно назначали радиста, но не исключалось, что старшим мог быть и разведчик-ходок.

Большинство слушателей школы разведчиков-радиистов раньше с радиоделом знакомо не было. Попадая в плен, советские бойцы-радиисты, как правило, упорно скрывали от врага свою воинскую профессию. Те же из них, кто становился на путь измены Родине, тоже, хотя и по иным побуждениям, скрывали, что они радиисты, и в школе с большей или меньшей долей притворства как бы заново изучали радиодело.

В первый же день занятий проводилась контрольная письменная работа по русскому языку. Вследствие низкой грамотности, притворной или действительной, часть курсантов сразу же отсеивалась и зачислялась в школу ходоков-разведчиков.

Занятия в классах, оборудованных передающим зуммером и телефонными наушниками, проводились по семи часов в день. Первые две недели отводились изучению алфавита на слух. В день разучивали в среднем по две буквы.

После месяца учебы тех, кто был неспособен или притворялся неспособным освоить прием азбуки Морзе на слух, отчисляли из школы радиистов и отправляли в барак разведчиков-ходелов. Этих отчисленных Иоганн внимательно изучал, чтобы выявить, кто из них действительно не обладает способностями, а кто счел необходимым утвердить за собой репутацию полуграмотного тупицы.

Тренировочный период в группе считался законченным, когда курсант, обладающий самой низкой способностью приема на скорость, принимал не меньше семидесяти буквенных знаков в минуту.

Потом группа изучала код, правила шифровки и расшифровки. Разбившись по двое, из соседних классов обменивались радиограммами. Инструктор включал свои наушники, контролировал пары и разбираал ошибки, когда передача заканчивалась.

Затем переходили к работе на рациях. Отправлялись в лес и на расстоянии трех — пяти километров группа от группы вступали в радиосвязь. Участки леса, где проходили занятия, патрулировались охраной со сворами сторожевых собак.

На овладение короткой связью отводилось десять дней.

Обучению работе на длинной связи тоже отводилось десять дней. Корреспондентом служила одна из кенигсбергских радиостанций — филиал разведывательного центра абвера, много лет специализировавшегося на изучении Востока.

Срок подготовки радистов-слухачей составлял от трех до четырех месяцев, в зависимости от способности и усердия учащегося. Группы радистов имели четные номера, группы ходоков — нечетные.

Особенное отвращение Иоганн испытывал к радисту по кличке «Фаза».

Этот юноша лет девятнадцати, из московских ополченцев, по-видимому, был до войны радиолюбителем, но выделялся он здесь не только способностями к радиodelу. Вкрадчивой обходительностью, гибкой лестью он сумел завоевать расположение многих руководителей школы, тем более что за короткое время пребывания здесь научился бойко говорить по-немецки.

Он был нагл, развязен, на тощем, остроносом лице его постоянно блуждала ироническая улыбка. С курсантами держал себя высокомерно, ни с кем из них не сближался. Его сочинение на обязательную тему отличалось не только хвастливой, вычурной литературностью, но и восторженными рассуждениями, восхваляющими фашистский кодекс всевластия сильной личности.

Вызванный как-то Вайсом на беседу, он держал себя без тени подобострастия. Расчетливо и умно объяснил, почему он разделяет фашистские убеждения. И даже позволил себе упрекнуть Вайса в старомодных взглядах на категорию нравственности. Заявил, что не собирается такие отвлеченные понятия, как родина, воинская честь и т. п., возводить в степень высшей морали. Сказал, что разумом здравомыслящего человека управляет действительность. И если фашистская Германия практически доказала, что она более сильна, чем Советский Союз, то естественное право каждой свободной индивидуальности стать на сторону сильного.

Он цитировал на память соответствующие его высказываниям места из антисоветских брошюр, которыми обильно снабжали курсантов. Но цитировал с такой убежденностью, что у Иоганна не оставалось даже тени сомнения в том, что перед ним не только завербованный немцами изменник, но и редкостной подлости экземпляр, искренне и необратимо

предавший свои советские верования. Его несколько неврастеническую взвинченность Иоганн приписал той наглой нетерпеливости, с какой сей тип хотел занять привилегированное положение, возвышающее его над прочими курсантами.

Изучая поступающую из различных источников информацию о благонадежности курсантов, Дитрих выделил Фазу и после собеседования с ним решил, что тот заслуживает особого доверия, а способности, которыми он тут, несомненно, выделялся, дают все основания утвердить его в качестве инструктора радиодола.

Вайс, понимая, какие дополнительные трудности в его деятельности создаст зачисление Фазы в преподавательско-инструкторский состав школы, пытался, но, увы, безуспешно, возражать Дитриху. К удивлению Иоганна, его возражения против этой кандидатуры поддержал заместитель начальника школы обер-лейтенант Герлах.

Герлах прошел нелегкий жизненный путь. Отец его, инвалид войны, нищенствовал. Герлах еще юнцом совершил ограбление мелочной лавки. Но неудачно — попался. Отбыл наказание в тюрьме для малолетних преступников. Выйдя из тюрьмы, долго оставался безработным. Вступил в штурмовики, вначале соблазнившись одним лишь казенным обмундированием да дармовыми завтраками. Постепенно стал одержимым фанатиком, таким же, как многие другие наци, которые готовы были отдать жизнь за фюрера не только из-за преданности его идеям, но и потому, что видели в нем человека, подобно им вышедшего из самых низов. Герлаха роднила с его фюрером ненависть к евреям и к интеллигенции. На евреях можно было безнаказанно вымещать свою злобу за все пережитое. А презрение к интеллигентам, преследование их как бы ставило его, люмпена, выше образованных людей, подчиняло их его злой, дикарской воле.

Гитлеру удалось поднять всю грязь со дна общества. И эти выплывшие на поверхность подонки видели в нем своего апостола, главаря, говорившего на площадях понятным им языком крови, погромов, грабежей.

К Дитриху, этому надменному аристократу, Герлах испытывал тайную неприязнь.

Вначале, ослепленный социальной демагогией Гитлера, он полагал, что движение наци ущемит немецкую аристо-

кратию, потомственных юнкеров-помещиков, юнкеров-промышленников. Но расправа над Ремом и его штурмовиками, учиненная в угоду требованиям рурских магнатов и генералитета вермахта, показала, что его мечты были иллюзией. Гитлер упрочается в своей власти, упрочая власть господствующих, правящих классов. И все же преданность Герлаха фюреру не ослабела. Наоборот, она перешла в иступленное, слепое преклонение.

Он верил только фюреру — и никому больше.

Герлах отличался необычайной работоспособностью, он никому ничего не поручал, стремился все сделать сам. Подозрительный, угрюмый, упрямый, он не доверял даже старшим по званию и занимаемой должности. Бесстрашно отстаивал то, в чем был уверен, убежденный, что его безукоризненное фашистское прошлое служит ему надежной защитой.

Он был опасен Вайсу не только своей неусыпной подозрительностью: он был здесь, пожалуй, единственным, кто свою работу в разведывательно-диверсионной школе рассматривал не просто как прохождение армейской службы, а как своеобразное служение высшему существу и самозабвенно, самоотверженно отдавал все свои силы делу, не интересуясь ничем другим, кроме дела.

К советским военнопленным он чувствовал звериную ненависть и даже мысли не допускал, что эти низшие существа могут служить Германии, руководствуясь каким-либо иным побуждением, кроме страха смерти. Поэтому он не верил, что курсант Фаза надежен. И присоединил свои аргументы к возражениям Вайса.

Но Дитрих непреклонно стоял на своем. Это упорство было вызвано, очевидно, неприязнью, которую он со своей стороны испытывал к Герлаху, этому наглому выходцу из низов. В свое время такие, как Герлах, были на месте, отлично выполнили свою палаческую роль, расправились с представлявшим немалую опасность немецким социалистическим рабочим движением, но ныне они уже отработали свое.

Начальником разведывательно-диверсионной школы был ротмистр Герд — зять фабриканта Вентлинга.

Некогда Герд, как и его тесть, придерживался монархических взглядов и до тридцать пятого года находился в оппозиции к Гитлеру. Но затем уверовал в фюрера как

в главу Третьей империи, императора новой, великой Германии. И хотя из иных побуждений, чем Герлах, но так же, как и тот, с фанатической преданностью отдался служению фюреру.

Империалистическая агрессия фашистской Германии сулила фирме Вентлинга возможность занять монополистическое положение среди крупных воротил в финансовом мире, а восточные сырьевые придатки — баснословные барыши. Герд, так же как и Герлах, работал много и добросовестно. Но это было одно лишь чиновничье усердие, лишенное страсти. Он думал только о том, чтобы посылаемые в Берлин рапорты и отчеты выглядели солидно, внушительно.

Герлах знал, что Герд не захочет из-за какого-то курсанта усложнять свои отношения с офицерами отдела «ЗЦ», и потому вынужден был уступить настояниям Дитриха. Но все-таки посоветовал Вайсу подать рапорт о своих соображениях, касающихся курсанта по кличке «Фаза».

После занятий, проводимых на объемном макете одного из советских городов, и просмотра хроникального фильма о металлургическом комбинате, расположенном в этом городе, — завод намечался объектом для диверсионного акта, — к Иоганну подошел курсант Хрящ и сказал шепотом, что у него есть секретная информация.

Хрящ выдавал себя за сына бывшего коннозаводчика из Сальских степей, служившего в годы гражданской войны адъютантом у генерала Гнилорыбова. При советской власти Хрящ работал ветеринаром конного завода на Дону. Утверждал, что он казак, хотя в действительности был сыном орловского пристава.

В лагере для военнопленных Хрящ подавал прошение, чтобы ему разрешили сформировать казачий эскадрон, но при проверке оказалось, что он не знает кавалерийской службы.

Белесый, с рыхлым, бабьим лицом и светлыми бараньими глазами, трус, ленивый и глупый, Хрящ, оказавшись в разведывательно-диверсионной школе, наушничал, как мог. Но курсанты сторонились его. Он раздражал их своей навязчивостью, пытем, грубыми попытками выспрашивать о запрещенном, и его, случалось, даже втихомолку поколачивали. Доносы Хряща были настолько мелочны, что Дитрих приказал вычеркнуть его из списка осведомителей.

Обычно преподаватели и инструкторы выслушивали доносы в специально для этого отведенной комнате рядом с канцелярией. Это была крохотная каморка, вроде кладовой, с отдельным выходом во двор. Хрящ сообщил Вайсу, что слышал, как курсант Туз, разговаривая с курсантом Гвоздем, сказал: «Лучше красиво и гордо помереть за дело, чем подлостью отыгрывать себе жизнь». И Гвоздь согласился. И сказал, что он подумает.

Вайс сказал убежденно:

— Я полагаю, он имел в виду дело великой Германии.

Хрящ поежился, но, набравшись храбрости, возразил:

— Неточность. Он совсем в обратном смысле думает. И с другими тоже шепчется.

— Ладно, — прервал Иоганн. — Понятно. — Приказал: — Если еще чего узнаешь, доноси только мне лично. Я сам займусь Тузом.

— Слушаюсь! — Хрящ помялся, прошептал: — А еще этот, из интеллигентов, Фаза... Он разъяснял, будто Гитлер дал указание, чтобы в оккупированной России всем жителям позволять только четырехклассное образование. И еще запретить всякие прививки, чтобы, значит, дети мерли свободно. Регулировать там будут количество населения. Словом, внушал нам пессимизм этот Фаза.

— Зачем?

— А затем, чтобы мы заскучали, а он, подлец, выигрывал перед нами своей бодростью.

Вайс задумался. Приказал:

— Пиши мне о нем рапорт.

Рапорт Хряща с доносом на Фазу Иоганн подписал, поставил дату и положил в папку для докладов обер-лейтенанту Герлаху.

Он все-таки не расстался с надеждой, что вместо Фазы ему удастся подобрать более подходящую кандидатуру на должность инструктора по радиodelу. Что же касается Туза, то надо постараться как можно скорее отчислить его из школы. Иоганн знал, что Хрящ не ограничится доносом только ему, а будет наущничать всем другим преподавателям и инструкторам.

Воспользовавшись жалобой администрации экспериментального лагеря на то, что капитан Дитрих, забрав в школу почти всех внутрилагерных агентов, поставил руководство лагеря в трудное положение, Иоганн под этим предлогом посоветовал Дитриху вернуть Туза обратно в лагерь.

На вопрос Дитриха, представляет ли какую-нибудь ценность этот курсант, Вайс ответил пренебрежительно:

— Психически неуравновешен, подвержен ностальгии. Крайне истощен физически. Только в лагере ему и место.

Дитрих подписал приказ, и Вайс вызвал Туза, чтобы дать ему наставления о том, как следует выполнять в дальнейшем функции внутрилагерного агента. Туз получил от Иоганна важные рекомендации, касающиеся работы Союза военнопленных.

Прежде всего Вайс посоветовал на всех листовках, выпущенных Союзом военнопленных, ставить адрес — Берлин. Это будет выглядеть значительно. И замаскирует подлинное местонахождение организации.

— Гений! — сказал Туз. — Ну просто гений!

На тех курсантов, которых Туз предложил вместо себя, Иоганн еще раньше обратил внимание и порадовался, что их наблюдения совпали.

Протягивая Иоганну руку на прощанье, Туз произнес задумчиво:

— Хороший ты парень. — Помолчал и добавил: — Я вашего брата не очень-то чтит. А теперь вижу, какие у вас есть люди: партийной выделки. — Усмехнулся: — Теперь мы все тут против фашистов чекисты. Штатные и нештатные, а чекисты.

— Ладно, — сказал Вайс. — Береги себя.

— Обязательно, — пообещал Туз. — Я же теперь господин...

Обер-лейтенант Герлах решил все же учинить проверку Фазы и довольно хитро разработал план этой проверки. Он выписал ему увольнительную в город и выдал пистолет со сточенным бойком и патронами, из которых был удален порох. Сообщил унтершарфюреру Флинк, чтобы та снарядила соответствующую девицу. Кроме того, поручил агенту, исполнявшему роль беглого лагерника, попытаться снискать сочувствие к себе у молодого курсанта. Подготовившись столь основательно, Герлах с нетерпением ожидал результатов.

Но результаты проверочной комбинации оказались катастрофическими для всего руководства школы.

На шоссе нашли обезоруженного мотоциклиста с проломленной пистолетом головой. Этот мотоциклист должен был отвезти Фазу в Варшаву. Сам Фаза исчез. Но исчезли

также радиокоды. Их, несомненно, похитил Фаза: вероятно, он полагал, что эти коды используются не только для занятий.

Из Берлина прибыла в школу следственная комиссия. Обо всем этом Иоганн Вайс не знал. В тот день, когда Туз был отправлен обратно в лагерь, Вайс уехал в командировку. Он получил задание отобрать из трофейного фонда советские хроникальные кинофильмы, пригодные для обучения агентов, подготавливаемых для заброски в определенные города и районы.

Сидя в пустом, затхлом, пахнущем пылью кинозале, Иоганн трое суток просматривал фильмы, и жизнь Родины проходила перед его глазами. Это было безмерно волнующее ощущение — он как бы возвращался в подлинную жизнь, единственно, казалось, для человека возможную, единственно реальную на свете. Это было пробуждение после лживого, тягостного сна.

Иоганн знал, что эти ленты для его страны — уже прошлое. Ныне она стала другой — суровой, строгой, напряженной в своем трагическом единоборстве. Но здесь, на экране, была она, его отчизна, и он сам такой, каким он был недавно. И за все это он готов был отдать свою жизнь, как отдают ее миллионы его соотечественников, ушедших с этих празднично-радостных лент на фронт, на смерть.

И эти ленты будут внимательно глядеть те, кто стал на путь измены Родине, глядеть для того, чтобы как можно более умело вредить народу, которому они изменили.

Это были мучительные для Иоганна трое суток. Он вернулся в «штаб Вали» обессиленный, словно после болезни, когда жар и бред истощают физические и нервные силы человека настолько, что он может зарыдать от пустяка — от неласкового слова, от внезапного шума — и впасть в истерику, если пуговица на рубашке не застегивается.

И тотчас же Вайса вызвали в штабной флигель на допрос.

Члены следственной комиссии сидели за столом. Руководители школы — на стульях поодаль.

Вайс не мог не заметить, какое бледное, вытянутое лицо у Дитриха, как торжествует Герлах, как встревожен Штейнглиц, как озабочен Лансдорф. Один лишь Герд сидел в равнодушной, спокойной позе, будто все происходящее здесь его не касалось.

Каким невероятным ни показался Иоганну побег этого Фазы, в измученном, усталом мозгу его не мелькнуло ниче-

го, кроме удивления. И лицо Иоганна отразило это удивление.

У него не было сейчас даже сил мысленно наказать себя за глухую, злобную ненависть, которую он испытывал к этому юноше.

Он просто тупо удивился — и все. Наверное, раскаяние, гнев на свою недалекость, на отсутствие тонкости в наблюдательности придут позже, обязательно придут и будут грызть его безжалостно, мучительно. Но теперь его хватило только на то, чтобы удивиться.

Казалось, что все это происходит во сне. Ни о чем не хотелось думать. В сущности, во всей истории с этим парнем он абсолютно чист, и ничто ему не угрожает. И это ощущение безопасности как бы усыпляло все его чувства.

«Ну, в чем дело?» — вяло размышлял Иоганн. Он же возражал Дитриху, вместе с Герлахом считал, что этого юнца не следует делать инструктором, предупреждал начальника школы.

Из-за этого Фазы капитан Дитрих стал в последнее время гораздо холоднее относиться к Вайсу. Ну и пускай теперь за это поплатится.

Да, Дитрих поплатится. Но разве Дитрих не нужен больше Вайсу? На смену ему придет другой. Кто? И как он будет относиться к Вайсу? А Штейнглиц, он все-таки считает себя приятелем Дитриха, ему выгодно дружить с Дитрихом. Что будет со Штейнглицем, если Дитриха уберут? Ну, а Лансдорф, он ведь благоволит к Дитриху, и не потому, что видит в нем способного работника: он ценит в нем немецкого аристократа. Кто же от всего этого выиграет? Герлах. Фашист, фанатик, работяга, самый полезный здесь для школы человек. Раз самый полезный, значит, самый опасный для Вайса.

По мере того, как эти мысли сначала вяло, а потом все быстрее проносились в голове Иоганна, восстанавливалась обычная для него напряженная и четкая ясность, боевая вооруженность мышления, которую он было утратил, полагая, что нужды в таком оружии сейчас нет. А она есть. И не будь у него собранности мысли, он мог бы безвозвратно потерять то, что так долго и терпеливо, с невероятной гибкостью и чуткостью искал в сближении с этими людьми.

Иоганн вздернул подбородок, глаза его блеснули, и он сдержанно и равнодушно сказал главе следственной комиссии:

— Господин штандартенфюрер! Я признаю, что внача-

ле не располагал отрицательными материалами о бывшем курсанте по кличке «Фаза», но капитан Дитрих настойчиво приказывал следить за ним. Затем я получил донос на курсанта Фазу от курсанта Хряща и направил его господину обер-лейтенанту Герлаху, но тот оставил информацию без внимания. — Оглянулся на Герлаха. — Ведь вы, обер-лейтенант, стояли на точке зрения, прямо противоположной взглядам капитана Дитриха, и я вынужден был соглашаться с вами как ваш непосредственный подчиненный. — Глядя в глаза штандартенфюреру, сообщил: — Донос с датой и моей визой находится в папке рапортов обер-лейтенанту Герлаху.

Эсэсман по приказанию штандартенфюрера вышел из комнаты и принес папку. Донос Хряща пошел по рукам членов комиссии.

Иоганну сказали, что пока он может быть свободен.

И больше его не вызывали.

Герлах отбыл из школы под охраной эсэсовцев.

Но только один Штейнглиц нашел возможным откровенно оценить поступок Вайса. Встретив его в коридоре, он подмигнул, похлопал по плечу, сказал дружески, тронув пальцем его лоб:

— А у тебя тут кое-что есть!

Ротмистр Герд стал вести себя с Вайсом с особой вежливостью, за которой скрывалась настороженность.

Лансдорф заметил как-то с усмешкой:

— Низший чип спасает жизнь офицера. Ты, оказываешься, хитрый, пруссачок. Я думал, ты простодушней.

Что же касается фон Дитриха, то тот стал избегать Вайса, а при встречах так пытливо-внимательно, неприязненно и подозрительно поглядывал на него холодными глазами, словно хотел дать Иоганну почувствовать: что бы там ни было, он, капитан Оскар фон Дитрих, контрразведчик и ни в какие благородные человеческие побуждения не верит.

Иоганн немало размышлял о том, чем грозит ему эта неожиданная неприязнь Дитриха, и пытался установить ее причины.

Возможно, высокомерному, брезгливому аристократу Дитриху претит, что он обязан своим спасением низшему чину. Не исключено и другое: прибегнув ко лжи, он тяготеет тем, что Вайс, так же как Лансдорф и Штейнглиц, стал свидетелем его унижения. Можно допустить и иной вариант: Дитрих, как-то связав теперь с Вайсом свою

судьбу, с отвращением ждет, что тот напомним о своей услуге и даже больше того — нагло потребует награды.

Но ведь, в сущности, Вайс ничего такого не сделал, он только сказал членам следственной комиссии, что Дитрих занимал позицию, противоположную точке зрения Герлаха. А то, что Дитрих при несомненной поддержке Лансдорфа и Штейнглица сумел потом энергично выскочить через открытую для него лазейку, это Вайса уже не касается, это — дело самого Дитриха.

Как же поступить? Дать Дитриху почувствовать, будто он, Иоганн, не придает своему поступку никакого значения и даже не понимает, сколь круто могла покатиться вниз карьера капитана?

Нет, спасительное простодушие теперь уже исключено из арсенала Иоганна. Он настолько утвердил за собой репутацию смышленного, неглупого человека, что притворная наивность в данном случае может только повредить, предать его.

Значит, лучше всего терпеливо ждать и, оставаясь все время настороже, хладнокровным равнодушием умиротворить раздражение Дитриха.

Через несколько дней Иоганн обнаружил в тайнике, указанном Эльзой, долгожданное письмо, о котором он запрашивал Центр, — письмо от жены курсанта Гвоздя своему мужу.

Рекомендация Туза и непосредственные наблюдения за Гвоздем укрепили уверенность Вайса, что с этим человеком можно начать работу.

Вызвав Гвоздя на очередное политическое собеседование, он начал издалика:

— Как заявил маршал Геринг, в интересах долговременной экономической политики все вновь оккупированные территории на Востоке будут эксплуатироваться как колонии и при помощи колониальных методов. Поэтому отдельные представители восточных народов, отдавшие себя служению великой Германии, могут рассчитывать на некоторые привилегии по сравнению со своими соплеменниками.

— Понятно, — сказал Гвоздь. — Спасибо за разъяснение, а то некоторые глупые полагают: немцы только против большевизма. А выходит, вы умные, по-хозяйски мыслите. Колония — и точка.

— За освобождение народов Востока от большевистского ига, за такую услугу Германия должна получить эконо-

мическую компенсацию, и это справедливо,— заметил Иоганн и внезапно спросил сурово и резко: — Вы сдались в плен добровольно?

Гвоздь настороженно посмотрел Иоганну в глаза. С лица его исчезла ухмылка, скулы напряглись.

— Находясь в состоянии беспамяත්ства, в силу контузии, вел себя очень деликатно, вполне как живой покойник.

Вайс сказал пренебрежительно:

— Значит, как трус, сдались.— Повторил злобно: — Как трус!

Гвоздь сделал движение, чтобы приподняться. Опомнися, расслабил сжавшиеся кулаки.

— Правильно.— Наклонился и спросил: — А вам что, желательно, чтобы я храбрецом оказался?

— Желательно!

— Это в каком же смысле? Чтобы, значит, я на фронте ваших бил, а потом таким же манером своих? Этого же не бывает! Кто ваших на фронте старательно бил, тот своих не тронет. Разорви его на части — не тронет!

— Значит, вы считаете, что все здесь только трусы?

— Нет, зачем же? Герои! Куда же дальше! Дальше ехать некуда.

— Некуда?

— Нет, почему же, есть адресок: на виселицу.

— Где?

— И тут и там.

— И где вы предпочитаете?

— Да вы меня не ловите, не надо,— снисходительно попросил Гвоздь.

— Вы коммунист?

— Здравсьте. Хотите все сызнова мотать?

— А Туз — коммунист?

— Это кто такой?

— Член комитета Союза военнопленных.

— Никого и ничего я не знаю.

— Ладно, поговорим иначе.

— Бить желаете? Это ничего, это можно. После лагеря я маленько отвык, конечно. Но, выходит, зря отвык.

Вайс продолжал, будто не расслышал:

— Туз дал показания, что вы согласитесь выполнить его задание.

Гвоздь угрюмо поглядел себе под ноги, предложил:

— Ты вот что, ефрейтор, брось пылить. Хватит мне глотку словами цапать, я на такое неподатливый!

— Ах, так! — Иоганн расстегнул кобуру.

Гвоздь усмехнулся.

— Зачем же в помещении пол марать? Ваше начальство будет потом недовольно.

— Пошли! — приказал Иоганн.

Он привел Гвоздя к забору за складским помещением. Поставил лицом к бревенчатой стене, бережно потыкал стволом пистолета ему в затылок и сказал:

— Ну, в последний раз спрашиваю?

— Валяй, — ответил Гвоздь. — Валяй, фриц, не кани-
телься.

— Наклонись, — сказал Вайс.

— Да ты что, гад, желаешь, чтобы для удобства я тебе еще кланялся? — Гвоздь резко повернулся и, яростно глядя Иоганну в глаза, потребовал: — Пали в рожу! Ну?

Вайс положил пистолет в кобуру.

— Я был вынужден к этому прибегнуть. — Указав на бревно неподалеку, предложил: — Присядем? — Вынул свернутое в сигаретный цилиндрик письмо на папиросной бумаге, протянул Гвоздю. — Это от вашей жены. — Объяснил: — Надеюсь, теперь не будет никаких сомнений.

Гвоздь недоверчиво взял бумажный цилиндрик, развернул, стал читать, и постепенно лицо его утрачивало жесткость, ослабевало, а потом начало дрожать, и вдруг Иоганн услышал не то кашель, не то хриплое рыдание.

Он встал и отошел в сторону.

По небу медленно волоклись серые, дряблые от снега лиловые тучи. В просветах светились звезды. От земли, покрытой жидким, нечистым снегом, пахло кислой грязью.

Высокий тюремный забор с навесным дощатым козырьком, оплетенным колючей проволокой, ронял черную тень, будто возле заборов зиял бесконечный ров. Было тихо, как в яме.

Подошел Гвоздь. Лицо его за эти несколько минут осунулось, но глаза блестели. Спросил шепотом:

— Вы мне позволите сказать вам «товарищ»? Это допустимо? Или еще нельзя, пока не докажу чем-нибудь?

Иоганн протянул ему руку. Объяснил:

— По понятным вам причинам, остаюсь для вас ефрейтором Вайсом.

Гвоздь жадно пожал ему руку.

— Механик-водитель, сержант Тихон Лукин.

— Так вот, сержант Лукин, — сказал Иоганн деловито. — Первое задание. Заниматься так, чтобы выйти в от-

личники по всем предметам. По политической подготовке тоже. Не пренебрегайте всей этой антисоветчиной: пригодится для разговоров с другими курсантами. А то, я заметил, пренебрегаете. Через пять дней обратитесь ко мне после занятий с каким-нибудь вопросом. Я вызову на собеседование. Все. Идите в барак.

— Товарищ, — вдруг попросил Лукин жалобно, — разрешите, я тут маленько посижу. — Виногато признался: — А то ноги чего-то не держат, все ж таки смертишку я от вашей руки пережил. Когда вы пистолет наставили, весь твердо собрался. А сейчас отошло, вот я и ослаб.

— Хорошо, — согласился Вайс. — Отдохните. — И попросил: — Так вы все-таки меня извините за ваши переживания.

— А письмишко супруги нельзя сохранить? — стонущим шепотом попросил Лукин.

— Нет, — сказал Иоганн. — Ни в коем случае.

Он сжег папиросную бумагу, затоптал пепел и ушел, не оглядываясь. Ему казалось, что лицо его светится в темноте: такое вдруг охватило его счастье. Ведь это счастье — спасти человека от самого страшного, от губельного падения. Счастье деяния, добытое из тончайших наблюдений за малейшими оттенками человеческих чувств, хотя порой казалось, что тот, на кого Иоганн обратил внимание, неотвратимо низвергнул себя в пропасть предательства, что нет здесь настоящих людей, только отбросы.

Это был поединок на смертоносном острие. Посединок за человека. Человек этот заслужил кару, но Иоганн боролся за то, чтобы спасти его от возмездия, предоставив ему возможность подвигом искупить свою вину.

А как это трудно — проникнуть в душу человека, раздавленного тяжестью совершенной измены...

Этот юноша, по кличке «Фаза»... Его поймали через несколько дней после побега. Преследователи загнали его на крышу дома, на чердаке которого он скрывался. Он отстреливался до последнего патрона и прыгнул с крыши на землю так, как, наверно, прыгал с трамплина в воду, — ласточкой.

Умиравшего, его притащили на допрос. Молчал. Из последних сил собрал пальцы в кукиш, но поднять руку, чтобы поднести его к склоненному лицу переводчика, не смог. Так и умер со сведенными в кукиш пальцами.

У Иоганна было такое чувство, будто это он виноват в смерти юноши. На какую же потаенную в страшном

одиночестве маскировку обрел себя этот паренек, чтобы дерзновенно, отчаянно отомстить врагам! А Иоганн не сыскал даже отдаленного, призрачного полупапека на то, что творилось в его душе.

Курсантам объявили, что курсант Фаза переведен в один из филиалов школы.

Иоганн сообщил Гвоздю правду и рекомендовал, соблюдая осторожность, рассказать обо всем тем, кого Гвоздь считает заслуживающими доверия. Он также информировал Центр о героическом поступке Фазы — ополченца Андрея Андреевича Басалыги, 1922 года рождения, студента МГУ, как выяснилось из личного дела курсанта.

Думая об Андрее Басалыге, Иоганн испытывал одновременно и скорбь потери, и чувство восхищения перед этим замечательным юношей, чье мастерское притворство он оказался бессильным разгадать. Такому притворству учился и Вайс, все тонкости его он постигал здесь день за днем. И как бы в новом озарении Иоганн осознавал свой долг, и чем явственней мерк ореол его собственной исключительности, тем сильнее упрочалась надежда найти тут верных соратников.

Бегство и «измена» курсанта Фазы пятном легли на Центральную показательную школу разведчиков при «штабе Вали» и повлекли за собой усиление наблюдения всеми доступными средствами не только за курсантами, но и за преподавательско-инструкторским составом.

Дитрих вместе с подчиненными ему сотрудниками контрразведывательного отдела разработал целую систему соответствующих мероприятий, и проверочным испытаниям должны были подвергнуться даже весьма уважаемые сотрудники абвера.

Следуя полученным от Вайса указаниям, Гвоздь стал заметно выделяться по успеваемости среди других курсантов. Ревностное чтение антисоветской пропагандистской литературы дало ему возможность весьма толково одобрять политику Гитлера. К тому же он теперь являл собою пример бодрости и жизнерадостности, и это производило самое благоприятное впечатление. Все это послужило основанием, чтобы назначить Гвоздя старшим группы, выделенной для исполнения особо секретного задания.

Группу эту перевели в отдельное помещение. Здесь офицер абвера ознакомил курсантов с двумя самоновейши-

ми немецкими снарядами для диверсионных действий и терпеливо учил, как надо с ними обращаться.

Первый снаряд предназначался для взрыва железнодорожного полотна. Это была металлическая конусообразная трубка, начиненная у основания клееобразной массой, схватывающей любой предмет. На верхушке трубки — отвинчивающийся колпачок, к которому прикреплена веревочка от взрывателя.

Снаряд следовало прилепить к рельсу, а затем, отвинтив колпачок, дернуть веревочку и бежать со всех ног в укрытие, так как взрыв следовал почти мгновенно.

Второй снаряд, служивший для разрушения телеграфных столбов и мачт электропередачи, походил на колбасу. Тестообразное вещество завернуто в непромокаемую бумагу. Перед взрывом в «колбасу» втыкается капсюль, пассажиру на конец бикфордова шнура.

Кроме того, офицер продемонстрировал курсантам набор зажигательных средств, в изготовлении которых немцы, как известно, большие мастера.

Из всего этого следовало, что группа будет выполнять диверсионные задания.

Прочли заключительные лекции: разъяснили, как избегать слежки, как держать себя в случае задержания и на допросах.

Тому, как следует вести себя в местах заключения, учил солидный лектор, от чрезмерной тучности страдающий одышкой. Он так красочно и живописно, с таким великолепным знанием дела рассказывал о тюремных обычаях и способах приспособления к ним, так восхвалял свою собственную ловкость и изворотливость, что невольно возникала мысль, будто пребывание в тюрьмах — лучшие страницы жизни этого типа.

Но в его ответах на вопросы заключалось тягостное противоречие. С одной стороны, он обязан был внушить курсантам бодрость и надежду и потому не мог запугивать их строгостями тюремного режима. С другой же стороны, он обязан был погасить все их надежды и так застрашать заключением и ужасами тюрьмы, чтобы они предпочли самоликвидацию добровольной явке с повинной. Поэтому, уклоняясь от прямых ответов, он главным образом усиленно рекламировал как шедевр германской химической промышленности пилюли с ядами, действующими мгновенно и, значит, почти безболезненно.

Инструктаж о порядке пользования фальшивыми доку-

ментами проводил испитой, плешивый человек с унылым узким лицом. Своих зубов у него не было, их заменяли вставные, и, когда он говорил, челюсти хлопали, словно пасть капкана. Немцы освободили его из тюрьмы, где он отбывал очередной срок за спекуляцию валютой. Это была его наследственная специальность, и, будучи привержен ей, он хорошо изучил делопроизводство советских административных органов.

Уныло глядя на свой свисающий живот, он мямлил:

— В командировочном предписании вы сами проставите дату: на сутки раньше дня вылета. Срок командировки, согласно действующему закону, — пятнадцать суток. Поэтому по истечении срока аккуратно заполните новое командировочное предписание.

Не храните гражданские и военные документы в одном и том же месте. В случае чего первоочередно уничтожайте военные. Если обнаружат, что ваши гражданские документы фальшивые, можете отговориться тем, что купили их, чтобы избежать службы в армии. Самое большое — пошлют на фронт. А если обнаружат оба комплекта документов — и гражданские и военные, — то будет затруднительно доказывать, что вы не засланные. Когда прибудете в назначенный пункт, отметьтесь у коменданта города. Но не спешите. Если заметите, что дежурный придирчивый, обождите до следующего дня. Поселяйтесь в частных домах, а не в гостиницах, лучше всего — у вдов. Освобождение от воинской повинности дается с переосвидетельствованием. Статьи подберите сами. Желательно, чтобы у вас на них имелись хоть малые признаки. Если нет, берите психические болезни. Как симулировать — будет дополнительная консультация.

Сказал, выставив в улыбке синевато мерцающие зубы:

— Лично у меня убедительно получалась мания преследования. А также болезнь рака, в силу чего не раз в местах заключения выхлопывал диетическое питание. — Объявил почтительно: — Германская полиграфия на такой недосыгаемой высоте, что лучше немцев «лип» никто не делает. — Добавил осторожно: — Но если удастся на месте обрасти подлинными документами, скажу: береженного бог бережет. Лично от себя советую: на взятки не полагаться. Возьмут, но и тебя за шкуру тоже. Имею на такие случаи печальные прецеденты из личной практики.

Мастерская по изготовлению фальшивых документов находилась в помещении без окон, за обитой железом

дверью. Старик гравер, бывший работник артели «Часы, печати, оптика», по фамилии Бабашкин, находился здесь в заточении. Спит он на раскладушке, а днем убирает ее. На нем вся техника заполнения документов и согласования необходимых данных. Он же подписывает документы разными перьями, чернилами, любым почерком.

Каждого курсанта трижды сфотографировали: один раз — в военном обмундировании и два — в разной гражданской одежде, — для паспорта и удостоверения. Снимки подвергли химической обработке, чтобы они не выглядели на документах совсем новенькими.

Иоганну удалось достать образцы «почерка» пишущей машинки, на которой печатали текст удостоверений, и обнаружить, что на фальшивых партбилетах обложка несколько ярче обычной, и если посмотреть вдоль нее, то ясно виден искристый отблеск. Он заметил также, что, когда Бабашкин отрезал от расчетных книжек комсостава талоны на получение денежного содержания, маленькие ножницы, которыми он пользовался, оставляли на корешке книжек зигзагообразный след.

Все эти сведения, а также образцы клея, которым здесь приклеивали фотографии к документам, он переправил через тайник в Центр.

Перед тем как выдать курсантам документы, ротмистр Герд собрал группу для последних наставлений.

Он сказал строго, что ожидает четкой работы. Выдумывать разведанные бессмысленно: все сведения будут проверяться. Всякая попытка обратиться в НКВД приведет лишь к гибели самого разведчика, немецкому же командованию нанесет только незначительный материальный ущерб.

Потом он встал и, благостно улыбаясь, предложил:

— Кто испытывает колебания или боится, пусть заявит об этом сейчас. Вам предоставляется последняя возможность решить, работать с нами или нет. Если кто-нибудь откажется, ему ничего плохого не сделают. Отправят обратно в лагерь или в другое место, где работа будет ему по силам.

Герд выждал. Наивных простаков — охотников на такие признания — не нашлось.

Обо всей этой процедуре Гвоздь был предупрежден Вайсом и соответствующим образом подготовил двоих заслуживающих наибольшего доверия людей из своей группы.

За несколько дней до отъезда отбывающих начали обмундировывать. Они получали теплое белье. Кальсоны белые бумажевые и оранжевые трикотажные. Сорочки голубые. Джемперы серые, с зеленой каймой на воротнике и рукавах. Советские портянки теплые, фланелевые — их разрезали пополам, и они стали квадратными. Брюки на складе остались только красноармейские — диагональные, а шинелей комсостава РККА и вовсе не было. Сапоги преимущественно кирзовые.

Гражданские костюмы иностранного покроя: на брюках два задних кармана, пиджаки однобортные с сильно закругленными фалдами. Сорочки верхние обычно без воротничков. Иногда их пришивают в мастерской, выкраивая материю из подола, и это сразу заметно, а если материал полосатый, то полосы на воротничке получаются не горизонтальные, а вертикальные.

Почти всем выдали серые полотняные полуботинки с черными головками.

Полученную одежду и обувь носить в лагере не разрешается — сразу же после примерки все должно быть упаковано. Если происходит задержка в отправке группы, обмундирование сдается обратно на склад с ярлычками, на которых обозначено, что кому принадлежит.

Все эти мелкие и, казалось бы, совсем незначительные детали, точно подмеченные Вайсом, имели существенное значение: они послужат уликами для опознания преступников. Даже то, что немцы не дают своим агентам возможности обносить одежду, может стать приметой для зоркой наблюдательности советских людей. Необношенная одежда в годы войны и лишений — мундир по меньшей мере жулика или дезертира.

Штейнглиц скептически наблюдал за процедурой примерки обмундирования.

До нападения на Советский Союз, в ходе войны с европейскими государствами, Гитлер придал косвенным военным действиям широкий размах и вложил в них особое содержание. Он рассчитывал на вольных и невольных агентов из среды правящих классов этих государств, на их своекорыстное честолюбие, авторитарные наклонности. Крупнейшие финансисты, промышленники успешно сотрудничали со своими немецкими партнерами по международным концернам, обогащаясь за счет независимости своих стран.

До сих пор германское командование основное внимание уделяло не столько прямым военным действиям, сколько нападению на противника с тыла в той или другой форме.

Штейнглиц знал: раньше Гитлер начинал войну с деморализации и дезорганизации противника. Отравить, сломать волю противника к сопротивлению — вот высшая цель тайной войны.

А кто эти так называемые «агенты»? Отбросы. Падаль, которую поставили на ноги, чтобы, как скот, гнать на укрепления противника, на его минные поля. Их гибель должна была содействовать выявлению тайных опасностей в лагере врага, расставленных там ловушек.

Он вспоминал опытных, солидных агентов, завербованных в процветающих европейских странах. И хотя эти люди и были чужды ему, с ними он всегда находил общий язык, добивался взаимопонимания. Ведь у них и у него была общая жизненная цель. Они, как и он, видели свое благополучие в сумме, записанной на их счету в одном из иностранных банков. И если они изменяли, то не своим собственным интересам, а своему правительству. В случае военного поражения изменилось бы только правительство, но не сущность и цель жизни каждого, кто хочет и умеет делать деньги любыми способами.

А эти?

Ну, убьют, взорвут, передадут агентурные материалы. Но разве они способны отравить, ослабить волю противника к борьбе, снискать у каких-либо советских кругов сочувствие, поддержку? Изучая советских военнопленных, Штейнглиц давно начал подозревать, что политическая стратегия войны против России была построена на ложной предпосылке, мифе о существовании в Советском Союзе реальной оппозиции строю и режиму.

Ведь если бы это отвечало действительности, абверовцам достаточно было бы выявлять среди военнопленных соответствующим образом настроенных людей. Но, увы, все было совсем иначе.

Главный контингент завербованных составляли слабые, те, кто, будучи сломлен лагерным режимом, предпочел путь к измене дороге в крематорий.

Еще в начале своей карьеры, работая в уголовной полиции, Штейнглиц убедился, что лучшие полицейские агенты — это бывшие уголовники. Но они не нуждались в перевоспитании так же, как и политические агенты абве-

ра, завербованные в других капиталистических странах. И в этом залог их надежности.

А эти?

Он презирал их так же, как крупный профессионал-уголовник презирает тех, кто крадет, понуждаемый только страхом перед голодной смертью.

Штейнглиц молча, насмешливо наблюдал, как агенты примеряют обмундирование. И даже эта дешевенькая их одежда, лишенная европейского лоска и шика, вызывала у него брезгливость.

Очевидно, те же чувства испытывал и Лансдорф. Он был знаком с Бенито Муссолини еще в годы первой мировой войны, когда тот подвизался в качестве рядового агента «Второго бюро»: работал на французскую разведку, не отказывая в услугах и Лансдорфу, богатому немецкому аристократу-разведчику, принятому в лучших домах Парижа, Рима, Лондона. Сам Уинстон Черчилль начал свою политическую карьеру разведчиком, и как знать, если бы Лансдорф, будучи знаком с ним в те годы, угадал его будущее, многое могло быть иначе... А Гитлер? Не случайно при нем немецкая разведка достигла такого процветания. Гесс свою диссертацию написал, отдав годы изучению японской системы тотального шпионажа, и эту систему потом с колоссальным размахом перенесли на почву рейха.

Случай с курсантом Фазой произвел на Лансдорфа тяжелое впечатление. Он не сумел разгадать эту сильную личность. Беседа с ним внушила ему надежду, что этот энергичный, образованный юноша, сын врача, уверовав в фашистские догмы, сможет выполнить усложненное, с дальним прицелом задание. И как же он обманулся! И теперь, руководствуясь инстинктом чисто служебной безопасности, он самоустранился от новых попыток найти среди курсантов такого блистательного агента, каких ему удавалось вербовать во многих европейских странах.

Теперь Лансдорф ограничивался докладами ротмистра Герда, требуя от него не устной, а только письменной информации, чтобы в случае чего предъявить специально подобранные документы и уничтожить те, какие могут свидетельствовать не в его пользу.

И только Дитрих, разъяренный случаем с курсантом Фазой, с необычайной и, пожалуй, не свойственной ему энергией дотошно следил за всеми этапами подготовки специальной группы. Так, он заметил, что один из курсантов небрежно примеряет обувь, а когда кладовщик обратил

внимание этого курсанта на то, что подметка на одном ботинке как будто отстаёт, тот сказал легкомысленно: «А, ладно, сойдет...» И этого было достаточно, чтобы Дитрих тут же устранил курсанта из особой группы.

Вайс сделал из всего этого вывод, что напряжённое внимание Дитриха становится сейчас особенно опасным и для него самого.

Он вел себя с Дитрихом с подчеркнутой деловитостью и избегал разговоров, не имеющих прямого отношения к службе.

Попытки Дитриха выведать, какое впечатление на него произвела смерть курсанта Фазы, Иоганн пресек небрежными репликами:

— Истеричный мальчишка. Боялся агентурной работы, поэтому и удрал.

— Но он отстреливался до последнего патрона!

— От страха перед наказанием за побег. — И добавил с насмешкой: — От отчаяния. Боялся порки — и все.

Старшиной школьного лагеря был военнопленный по кличке «Синица» — тяжеловесный, обрюзгший, чрезвычайно властный и беспощадно требовательный к курсантам.

В годы первой мировой войны он попал в плен к немцам. В тридцатом году, находясь в составе советской торговой делегации (он имел поручение купить красители для текстильного производства), остался в Германии. Получал вспомоществование от белогвардейского центра, доносил в гестапо на просоветски настроенных эмигрантов. Заброшенный агентом в Советский Союз, струсил. Деньги растратил в ресторанах, кутежах. Отозванный обратно, был посажен в концентрационный лагерь, где доносил на заключённых немецких коммунистов, вызвав их доверие тем, что выдавал себя за советского гражданина, схваченного гестапо. Провалился. Из лагеря его взяли в абвер, как специалиста по русским делам. Обнаружил неосведомлённость. Стал переводчиком. Женился на уличной девке. Отчислили из абвера за столь неприличную женитьбу. Жил на доходы супруги. Когда супруга очутилась в специальной больнице, работал швейцаром в ночной гостинице. Пришел в советское посольство. Каким-то образом сумел обмануть. Его пожалели и разрешили вернуться. Призванный в Красную Армию в июле 1941 года, перебежал к немцам.

Синица говорил курсантам:

— Русские — это нация мужиков и солдат, а генерала-

ми у нас всегда были только немцы. У немцев, верно, души нет. Душа — это у нас, у славян. От нее фантазии и глупости. Немец что любит? Порядок. Чистоту. Аккуратность. То, чего у нас нет. Соблюдай — и будешь в целости.

Грубый, тупой солдафон, он стремился еще больше подчеркивать эти свои качества, чтобы снискать доверие начальников.

Ротмистр Герд считал Синицу образцовым экземпляром славянина.

Став мнительным, Дитрих подозревал в Синице тайного сторонника русских монархистов, приверженцев единой, неделимой великой России, тех, кто наивно полагал, что, как только Россия будет освобождена от большевиков, на престол ее взойдет русский царь, а немцы добровольно удалятся. Дитрих считал, что такой образ мыслей порождает не только никчемные, но и вредные иллюзии. Россия, Украина, Кавказ — бескомпромиссные колонии великой германской империи. И никакие иные формы управления этими территориями неприемлемы. Инакомыслящий внушает подозрение. Дитрих установил наблюдение за Синицей.

Не внушал Дитриху доверия и радист штабной радиостанции, бывший штурмовик Хакке, которого он подозревал в сочувствии Рему, казненному фюрером вместе с другими главарями штурмовиков 30 июля 1934 года в угоду требованиям германского генералитета. Член национал-социалистической партии с 1930 года, Хакке был таким же преданным наци, как и обер-лейтенант Герлах, но был несколько умнее его. Вернее, у него хватило ума понять, что после того, как штурмовики проделали самую черную, палаческую работу, терроризовали немецкий народ и Гитлер завоевал признание германских магнатов и получил от них команду готовить под опекой генштаба войну, нацистским низам за все их грязно-кровавые подвиги отводится всего-навсего роль бездумных, бешеных фанатиков, вспомогательных ударных, карающих сил вермахта. И поэтому Хакке, как и Герлах, испытывал угрюмую неприязнь к Дитриху, видя в нем одного из представителей извечно правящего класса — прусской аристократической военщины.

Так же он относился и к Герду, понимая, что для Герда сотрудничество с наци — это только форма взаимодействия капиталистических монополий с нацистской верхушкой. Но не более.

Он чувствовал себя обманутым в своих надеждах. Будучи ветераном нацистского движения, он рассчитывал

на более видное место, чем отвели ему, зачислив в кадры тайной агентуры нацистской партии, чтобы вести наблюдение за политической благонадежностью каждого наци, вне зависимости от должности и звания. Его попытки прощупать Вайса тот отражал с помощью хитроумного приема. Достаточно осведомленный в истории Древнего Рима, Иоганн с увлечением рассказывал Хакке, какие ритуалы и символы наци позаимствовали у римлян и что они означали в своем первородном виде. Это позволило Иоганну уклоняться от ответов на каверзные вопросы и одновременно демонстрировать свои глубокие познания в деталях фашистского катехизиса.

Но жизнь Вайса здесь состояла не только в том, чтобы улавливать всевозможные оттенки отношения к нему окружающих и, основываясь на них, продумывать тактику поведения с каждым. Не мог он сосредоточить все свои силы и на том только, что в совокупности составляло его труд разведчика: собирать, обрабатывать, организовывать материалы и транспортировать их, а также изучать тех, кто находился в поле его зрения.

Для того чтобы иметь возможность осуществлять свою прямую задачу, он должен был прежде всего слыть исправным служащим абвера. И поскольку он не был лицом командующим, а лишь исполняющим команду, подчиненным многим другим, то, естественно, ему приходилось выполнять не только свою работу, но и часть работы тех, у кого он находился в подчинении. И не просто выполнять, а выполнять с блеском, с той педантичной точностью, какая — так полагали абверовцы — в крови у истинных немцев.

Вайс знал: достаточно допустить малейшую оплошность по службе, хоть кому-нибудь показаться неисполнительным, — и его неотвратно ждет отчисление на фронт. И ему все время приходилось проявлять двоякую бдительность: с одной стороны, служебную, ни на секунду не забывая, что он абверовец, а с другой — бдительность советского разведчика, успех работы которого прямо зависит от успешности его службы в абвере.

И естественно, что Вайс не мог в связи со своей перегрузкой по одной линии ослабить работу по другой. Напротив, как только он получал задание в одном направлении, сейчас же гармонично, как в челночном движении, возникала потребность усилить деятельность в направлении противоположном.

Словом, если отбросить моменты психологического характера и не думать о конечных высоких целях, которые руководили Вайсом, если взять его работу, абстрагируясь от ее назначения, то специалисты, занятые изучением проблем гигиены умственного и физического труда, несомненно, пришли бы к выводу, что совмещение столь интенсивной и разнообразной деятельности требует от человека такой высокой умственной и нервной напряженности, какая свойственна людям только в порыве самозабвенного вдохновения.

Но Александр Белов был начисто лишен права на какие-либо порывы. Единственным источником, из которого он черпал запасы сил, служила холодная расчетливая рассудочность.

Он приучил себя спать без сновидений, чтобы его мозг мог хотя и кратковременно, но полностью отдыхать. Он приучился — конечно, в тех случаях, когда представлялась возможность, — как бы выключать свое сознание, «обращаться в дурака», гасить на время нервную возбудимость. Надев на себя личину напряженного внимания, он делал вид, что почтительно слушает пространные наставления начальства подчиненным, а сам в это время блаженно расслаблялся и ни о чем не думал, не вспоминал, чтобы отдохнула голова.

Такие выключения помогали Иоганну блестяще, с неукоснительной точностью справляться с двойственностью своего положения, требовавшей напряжения всех его сил.

На одни только обязанности переводчика-инструктора ежедневно уходило девять-десять до отказа заполненных часов, и должность эта отнимала не только время, но и умственные силы. Для того чтобы успешно справляться с ней, нужна была неустанная сообразительность. К этому следует приплюсовать канцелярские и хозяйственные задания, которые ему постоянно поручали, и необходимость, общаясь со своими сослуживцами уже в нерабочее время, быть бодрым, свежим, находчивым и приятным в обращении, как всякий хорошо воспитанный человек.

Поэтому те крохи свободного времени, какие ему попадали, он как бы спрессовывал в концентрат, обдуманно уплотненный до самых крайних пределов.

Как бы ни были кратковременны поездки в Варшазу, Иоганн старался использовать их с максимальной пользой. Так, однажды ему удалось свести знакомство с мелким

имперским чиновником из группы, инспектирующей заготовку шерсти в генерал-губернаторстве.

Иоганн оказал чиновнику небольшую услугу, устроив его машину на ремонт в армейский гараж.

В обмен на это чиновник, очевидно, стремясь, в свою очередь, возвыситься в глазах Вайса, похвастался, что порученное ему задание имеет особо важное значение. До недавнего времени планировалась заготовка зимнего обмундирования только для оккупационных частей. Однако сейчас получен приказ снабдить теплыми вещами все армии Восточного фронта.

Это свидетельствовало о том, что, несмотря на обещание Гитлера и его генералитета покончить с Россией к исходу 1941 года, генштаб исподволь готовится к затяжной войне.

Особое внимание Иоганн оказывал механику — специалисту по счетным машинам, присланному из Берлина для наладки криптографа — шифровального аппарата, установленного в помещении радиостанции.

Криптографы выпускала шведская фирма, но несколько лет назад гитлеровцам удалось купить контрольный пакет акций и стать ее фактическими хозяевами. Фирма снабжала своими изделиями специальные службы многих стран мира. И вот внезапно она отказалась заменить быстро изнашивающиеся запасные части криптографов, установленных в тех европейских странах, на которые гитлеровцы готовили нападение. Аппараты выходили из строя как раз в то время, когда от специальных служб этих стран требовалась особенно интенсивная деятельность.

Механик держал себя с профессорской важностью. Иоганн встретил его на Варшавском вокзале, привез в расположение «штаба Вали» и даже уступил ему свою комнату, получив за это право по вечерам беседовать с ним.

Некоторое представление о конструкции подобных машин Иоганн имел. Академик Линева считал, что со временем они могут быть использованы в качестве баснословной информационной кладовой памяти, и утверждал, что за такими машинами великое будущее.

Вайс, разговаривая с механиком, иронически и ядовито подвергал сомнению возможность четкой и безупречной комбинационной работы механизмов, подобных криптографу, чем несказанно раздражал собеседника. Но свой консерватизм Вайс подкреплял технической осведомленностью. И для того, чтобы опровергнуть Вайса, механик не только обстоятельно и толково ознакомил его со схемой

устройства криптографа, но и объяснил в пылу спора, начертив на бумаге, как он настраивает систему кодирования, как обеспечивается самоконтроль шифровальных знаков и какие именно детали своей нечеткой работой могут нарушить правильность шифровки и дешифровки. И, разъясняя, указывал на образцах брака, где, в каком месте происходило искажение.

Иоганн передал все эти разрозненные сведения в Центр, и там был найден ключ к расшифровке кода.

Как известно, сия тайна оберегается в сейфе, открываемом одновременно двумя ключами, хранимыми у разных лиц, кроме того, существует шифр-набор для особого, третьего замка, меняемый почти каждую неделю.

Для похищения подобных тайн у других иностранных служб абвер разрабатывал операции с применением подкупов, убийств, взрывчатки, и участвовали в них целые группы самых матерых разведчиков. Иоганну помогли не только его изобретательность и находчивость, но главным образом недюжинные математические способности, которые он принес в жертву своему новому трудному поприщу.

И хотя код периодически менялся, на какое-то время, пока он действовал, Центр получил возможность расшифровывать корреспонденцию радиостанции «штаба Вали».

Все это входило в повседневный труд разведчика Александра Белова, неотрывный от труда сфрейтора Иоганна Вайса. Ведь, кроме ежедневной переводческой работы в школе, он был загружен составлением канцелярских отчетов и конспектов с различными сведениями о советских районах, куда предполагалось забросить диверсионные группы. Немало времени отнимали также всевозможные поручения командного состава, начиная от отправки посылок семьям и кончая финансовыми отчетами, которые Вайс писал за помощника начальника школы по материально-хозяйственной части.

К тому же надо было неустанно наблюдать за теми курсантами, которых Иоганн наметил для своих целей. И Гвоздь осторожно выведывал их сокровенные мысли, довольно быстро научившись кратко докладывать о них Вайсу во время встреч на ходу — от плаца до барака.

Несмотря на неимоверную нагрузку, дела у Иоганна шли хорошо. Тем неожиданней для него оказалось внезапное приказание ротмистра Герда сесть с ним в машину, чтобы сопровождать особую группу до прифронтового аэродрома.

Ротмистр разрешил отлучиться только на минуту: сменить ботинки на сапоги и захватить с собой пару теплого белья.

Иоганн заметил, что рядом с шофером грузовика-фургона, в котором разместились агенты, сидит с угрюмым лицом радист Хакке. А среди агентов почему-то оказался и старшина лагеря Силица, которого не готовили для заправки в тыл.

Ротмистр сопровождал группы на аэродром в крайне редких случаях. Обычно это поручалось кому-либо из офицеров.

Он почти всю дорогу милостиво беседовал с Вайсом и даже считал возможным поделиться с ним соображениями на тему о том, как полезна служба в разведывательной школе. Ему лично, например, она много дает, так как здесь он приобретает ценный опыт, который, бесспорно, будет применен им в его дальнейшей коммерческой деятельности. Вайс, очевидно, знает о существовании Бюро «Н-В-7» экономической разведки «ИГ-Фарбениндустри», дающего этому величайшему концерну возможность получать информацию из первых рук. И опыт агентурной работы «штаба Вали», несомненно, обогатит приемы коммерческой разведки, без которой ни одна солидная фирма не может успешно развиваться.

И он доброжелательно посоветовал Вайсу специализироваться в области экономической разведки, так как и в том случае, если Германия овладеет мировым пространством и не будет конкурирующих держав, останется конкуренция между мировыми немецкими концернами, и им понадобятся услуги опытных агентов разведки.

Иоганн рассеянно слушал ротмистра, прикидывая, какие дела остались незавершенными из-за внезапного отъезда и чем вызвана такая внезапность. Размышлял он также о том, что внезапность эта не случайность, а прием, нацеленность которого он не мог выявить, сколько ни пытался перевести разговор на тревожащую его тему.

Едва только Вайс касался этой темы, как Герд тотчас же начинал озабоченно хмуриться и замолкал. Поведение Герда заставляло Иоганна все больше утверждаться в своей догадке, что внезапность его отъезда была заранее кем-то предусмотрена. Но кем?

Все вокруг завалил чистый, сухой от холода снег.

На ротмистре был авиационный комбинезон с электро-

подогревом, шнур от которого он включил в запасные аккумуляторы, специально для этого поставленные на пол кабины.

Кроме того, в держалках стояли два больших термоса с горячим кофе. Но ротмистр, наливая себе из термоса, каждый раз забывал предложить кофе Вайсу, так же как не поделился с ним и завтраком, аккуратно уложенным в дорожный несессер с прикрепленными к крышке пластмассовыми тарелками, складными наборами ложек, вилок, ножей и даже соковыжималкой.

Началась метель. Сквозь белый движущийся сумрак Вайс видел, как население окрестных деревень и городков сгребает под наблюдением солдат снег с дороги, и не у всех в руках лопаты — сгребают и досками.

Ротмистр спал. Во сне его лицо обмякло, губы обвисли, и казалось, что это не живое человеческое лицо, а маска.

Беглая, шуршащая о стекла машины, сыпучая, снежная мгла. Мерное, подобное метроному, скрипучее движение «дворников», протирающих ветровое стекло. Усыпляющее качание их было схоже с колебаниями маятника, неведь кому отсчитывающего медленное, тягучее время.

Только теперь, в этом состоянии безделья, Иоганн почувствовал — имел наконец время почувствовать, — как безмерно он устал, измотался. Сказался почти мгновенный переход к покою от невероятного напряжения, от необходимости постоянного острого комбинационного мышления, решения уравнений со многими неизвестными, неустанного жестокого самонаблюдения и чутко возбудимого, настороженного внимания ко всем другим. Все это было подобно неустанному поединку одного со всеми, бесконечно длящемуся каждый день, каждую минуту.

И теперь, в пути, он добровольно отдался бездумному отдыху, почти прострации, той тоскливой прострации, которая охватывает человека после неимоверного напряжения всех сил.

И в его сознании без всякого сопротивления проносились воспоминания, которым он прежде не разрешал себе предаваться, считая их уступкой слабости.

...Вот так же, как сейчас, падали махровые хлопья снега. Они исчезали в незастывающей, цвета дымчатого стекла воде Москвы-реки. Он шел по набережной с Линой Линевой. Она говорила взволнованно, осуждающе:

— Если человек смелый, то он должен быть смелым во всем.

Он взглянул в ее лицо — худенькое, с влажными щеками, его не назовешь красивым. Но глаза! Всегда такие ярко выразительные, откровенные. Он взглянул в ее глаза и понял их. Сказал, отвечая не на слова Лины, а на ее взгляд:

— Ну, ты и доказала бы, что любишь. И ни о чем другом думать не хочешь.

— Я и не думала тогда ни о чем, и ты не имел права думать! А ты думал!

— Вот именно, думал о тебе! Неужели ты не понимаешь?

— Я хотела заставить тебя всю жизнь помнить меня. Я на это решилась — и все.

— Даже если мы потом не будем вместе?

— Ты полагаешь, все это для того, чтобы получить тебя в пожизненное пользование?

Ему не нравился весь этот разговор. И он сказал хмуро:

— Мне кажется, мы не разговариваем, а читаем вслух чей-то чужой диалог.

Лина остановилась. Глаза ее стали добрыми, она воскликнула радостно:

— Ну вот, понял наконец-то! — И, вздохнув, прошептала: — Ты знаешь, Саша, любовь требует величайшего такта... и ума.

— Я это читал где-то.

— Возможно. Но я хотела придумать тебя такого...

— Ладно, — с досадой сказал Белов, — валяй придумывай...

Академик Линева говорил ему как-то:

— Настоящий ученый должен знать все в той области науки, которой он себя посвятил, а также возможно больше о сопутствующих науках. Но если, обретя все эти знания, он не извлечет из ведомого новое, неведомое познание, он все равно не ученый, а только книжный шкаф. — Произнес раздраженно: — Овладение нашей новой интеллигенцией иностранными языками — это не только проблема ее деловой информированности, но и идеологическая проблема. Одноязычие — признак национальной ограниченности либо невежества.

Злой, нетерпимой требовательности Линева был обязан Белов своим безукоризненным знанием иностранных языков.

Линев строго и тщательно занимался многими видами спорта, утверждал:

— Научный работник обязан обладать максимально крепким организмом. Рабочий день его не нормирован. Интенсивность отдачи нервных и даже физических сил колоссальная. Прерывать свою деятельность из-за любых недомоганий — безобразие недопустимое, возмутительное. — Делился своим опытом личной жизни: — Жениться следует отнюдь не в юношеском возрасте. Один раз и окончательно. Любовные коллизии обычно сопровождаются колоссальной растратой необратимой нервной энергии.

— Папа! — с упреком воскликнула Лина. — Но ты же совсем не такой! Я читала твои письма к маме.

— Значит, есть документальное подтверждение того, что я прав, — отнюдь не смущаясь, сказал академик. Обращаясь к Белову, объяснил: — Ухаживая за своей будущей супругой, в то время студенткой Петроградской консерватории, я, будучи музыкально абсолютно бездарным и тупым, тратил гигантское количество драгоценного времени на посещение концертов и даже пытался обучиться, представьте, игре на арфе. Воображаете? Мужчина — арфист! Это была высшая степень подхалимажа. — Подозрительно покосился на дочь, кивнул на Белова, спросил: — Как, он все еще терпит твои фортепьянные бдения?

— Но он любит музыку!

— Не знаю, не знаю, что он там любит, — сердито сказал академик и добавил ехидно: — Но я любил не столько слушать свою будущую супругу, сколько смотреть на нее, мечтая о тишине вдвоем.

— Но тебе нравится, когда я играю.

— У меня выработался защитный рефлекс!

Как-то Лина сказала Белову:

— Папа относится к тебе, как тренер к своему ученику, которого он готовит к мировому рекорду. Он тщеславен и мечтает, чтобы его ученик превзошел его самого.

Академику нравилось, когда Белов оставался у них в доме обедать. Потирая руки, провозглашал:

— Я сторонник средневекового цехового обычая, когда мастера брали к себе учеников на харчи.

За столом часто велись серьезные разговоры.

— Владимир Ильич был величайшим ученым, — сказал однажды Линева. — В силу этого Октябрьская революция не носила характера политической импровизации. Я полагаю, в политике, так же как и в науке, субъективизм — плод

опасного невежества и спесивого самомнения. Я твердо убежден, что субъективизм в науке и политике чужд большевизму и приносит чрезмерный вред.

...У Белова не хватило духа зайти проститься с Линевыми перед отъездом из Москвы. Он мог только мысленно представить себе, какое презрение и ярость вызвало бы у Линева сообщение о том, что его ученик, по-мальчишески бросив институт, вдруг отправился невесть куда, на Север. А Лина? Что она о нем подумала?

И сейчас, в дорожном безделье, Иоганн Вайс позволил себе эту роскошь воспоминаний. словно награждая самого себя отдыхом, он устроил просмотр некоторых частей хроники своей жизни, как бы прослушал их звукозапись.

Он хорошо помнит побледневшее, холодное, запрокинутое лицо Лины с остановившимися глазами, почти бездыханные, горячие, дрожащие, ставшие мягкими губы, ее руки, вялые, обессиленные... А он не решился. Нет, он решился. Решился отшатнуться и, задыхаясь, сдавленно спросить:

— Лина, ты понимаешь? — Потряс за плечо. — Понимаешь?

Она молчала. Приподнялась, поправила волосы, присела к зеркалу и, глядя в зеркало на Белова, сказала раздельно:

— Я все всегда понимаю и помню — это мой недостаток. Но даю тебе слово: никогда, ни при каких обстоятельствах, я теперь с тобой не забуду этих моих недостатков. Можешь быть уверен. — И пообещала мстительно: — Теперь тебе не угрожает опасность совершить безнравственный, не зарегистрированный в загсе поступок.

— Лина! — воскликнул он с упреком.

— Цинично не то, что я сказала, а твоя попытка вразумлять меня. — Опустила глаза, прошептала жалобно: — Очевидно, даже после этого люди не становятся до конца близкими. — Посмотрела, сощурясь, на него в кулак: — Ох, какой ты сейчас от меня далекий! И маленький, как лилипут, но, — добавила она насмешливо, — солидный и умный.

Это случилось в тот день, когда Белова предупредили, чтобы он подготовил близких к мысли о своем длительном отсутствии, и, как деликатно выразился начальник, «если у него нет перед кем-либо моральных обязательств, то не следует в преддверии чрезвычайно продолжительной командировки брать на себя невыполнимое».

Ротмистр Герд вольготно полулежал на сиденье, бесцеремонно оттеснив Вайса к бронированной холодной стенке вездехода. После уютного сна в электроотапливаемом авиационном комбинезоне, после кофе со значительной порцией коньяка он пришел в добродушное настроение и был не прочь поболтать с Вайсом.

Очевидно, Герд пожелал разъяснить своему спутнику, что хотя чин у него небольшой — он только ротмистр, но положение его в германской промышленности равно генеральному и даже больше того. И, по существу, люди, подобно ему обладающие крупным капиталом, независимы настолько, что могут позволить себе безнаказанно говорить такие вещи, которых не посмеют высказать вслух даже самые матерые наци.

О Канарисе он заметил пренебрежительно, что в годы первой мировой войны тот работал агентом вместе со знаменитой Мата Хари, но, по всей вероятности, выдал ее французам и этим спасся от ловушки, расставленной ему «Вторым бюро». Сейчас положение Канариса незавидное, потому что Гиммлер рано или поздно, но все равно добьется объединения, подчинит себе все немецкие разведывательные службы и практически станет вторым лицом в империи. Что же касается Гейдриха, то ходят слухи, будто он приказал похитить с могилы своей бабки старое надгробие, где значилось ее имя — Сара Гейдрих, и заменил другим, на котором высечены теперь только инициалы. Об этом знает Канарис. И Гейдрих знает, что об этом знает Канарис, и поэтому они вынуждены ладить между собой.

Самым дальновидным из всех наци Герд считал Геринга. Слабость его к орденам и чинам простительна, потому что Геринг стал на солидный путь и его концерн позволит ему войти в круг истинных правителей Германии, таких, как господа Стайнес, Борзиг, Крупп, Тиссен. Именно они и представляют германскую империю. Политическое дарование Гитлера именно в том, что он понял это раньше, чем все другие руководители национал-социалистской партии.

Герд сказал, что, когда высшие чины генерального штаба, разрабатывая планы будущей войны, проводили в 1936 году в Дрездене учения, на них присутствовали Бош, Феглер, Шпрингорум, Сименс, Тиссен, Крупп, Борзиг, а также другие крупные промышленники, которые подго-

тавливали экономическое обеспечение этой наступательной войны. Но если немецкий генеральный штаб и имперское правительство мыслят в рамках узконациональных интересов, то крупных промышленников отличает широта мышления, и их международные экономические связи независимы от того, находятся государства в состоянии войны между собой или не находятся.

Так, например, Крупп еще до первой мировой войны заключил сделку с английской военной фирмой «Викерс — Армстронг» — продал ей патент на взрыватель для ручной гранаты. При заключении сделки было обусловлено, что за каждую использованную гранату уплачивается по одному шиллингу, и англичане в соответствии с этим условием выплачивают Круппу дивиденды. Такие же доходы получают другие немецкие фирмы за оптические прицелы.

В свою очередь, немецкие промышленники выплачивают дивиденды за подобные сделки иностранным фирмам, в том числе крупнейшим концернам США, так же как и те им.

— Поэтому, — наставительно сказал Герд, — наш поход на Россию — это как бы священная война, связанная не только с интересами рейха, но и с главной целью: покончить с коммунизмом, который опасен тем, что пытается подорвать у народов Европы доверие к цивилизации, покоящейся на незыблемых устоях.

Иоганн спросил:

— Если я вас правильно понял, — чем больше английские солдаты будут бросать в нас гранат со взрывателями нашей системы, тем больше будет приток к нам английских фунтов?

— Совершенно верно, — согласился Герд. — Поэтому как бы ни была разрушительна война между цивилизованными державами, в итоге она укрепляет экономическую и финансовую мощь самых могучих промышленных объединений, не затрагивая политических и экономических устоев. Именно благодаря этим обстоятельствам мы вышли из огня первой мировой войны, как птица феникс, и с еще большей энергией и оснащенностью вступили в новую силовую акцию.

— Вы, несомненно, будете министром! — с восхищением воскликнул Вайс. — Вы обладаете исключительным аналитическим даром.

— Я только называю вещи своими именами, — скромничал Герд. Добавил добродушно: — Некоторые на-

ши молодые люди считают представителей делового мира бездельниками, живущими в роскоши и праздности. Как видите, я отдаю все свои силы работе, испытываю лишения наряду со всеми другими офицерами, не позволяю себе никаких излишеств. И служу фюреру с преданностью и благодарностью за ту исключительную решимость, с какой он широкими насильственными мероприятиями избавил нас от опасности, угрожающей целостности исторически сложившейся системы, управляемой теми, кто этого достоин по правовым принципам собственности.

На ночлег остановились в Гомеле, в расположении абвер-группы № 315.

Как обычно, абверовцы, офицеры этой группы, были в штатском. Держались они друг с другом свободно, товарищески. В большинстве это были выходцы из интеллигентных семей, воспитанные и тактичные, и представителям «штаба Вали» они оказали приятное, без тени подхалимажа, но вместе с тем подчеркнуто уважительное гостеприимство.

Разговоры с гостями носили характер светской болтовни. Абвер-офицеры не прочь были посплетничать и дружески высмеивали различные мелкие происшествия, участники которых довольно терпеливо относились к тому, что их избрали мишенью для шуток за столом.

Так, во время ужина, устроенного в честь Герда и Вайса, объектом дружеского розыгрыша стал зондерфюрер Вилли Крахт. Намекали на его донжуанские похождения, что ему, несомненно, льстило. Начальник зондергруппы Дресс рассказал, между прочим, про него одну занятную историю.

Вилли Крахт вынудил к сожителству радистку из парашютной группы, некую Раю Мокину. Впоследствии выяснилось, что эта Мокина — предательница и работает на противника. Ее вторично арестовали, на этот раз органы СД, начальником которого в Гомеле был Вилли Шульц, большой друг Крахта. И вот, чтобы подшутить над Крахтом, он во время допросов сожительствовал с ней.

Потом они оба присутствовали, по долгу службы, при ее казни, а она вдруг стала кричать: «Вилли! Вилли!» Но, поскольку они оба были «Вилли» и имели к ней равное личное касательство, положение их оказалось настолько комичным, что даже унтер-офицер, проводивший казнь, не мог скрыть улыбки.

И Дресс, стремясь представить себя рыцарем без страха и упрека, разъяснил свое повествование:

— Как видите, чувство юмора скрашивает некоторые мрачные стороны, связанные с выполнением нашего долга. — Заметив, что из всех присутствующих только Герд и Вайс не улыбнулись, сообщил уже другим, строгим и осуждающим, тоном: — Но вообще я не поощряю подобных развлечений. — И, обратившись к Крахту, спросил: — Вы помните, Вилли, мы держали на отдыхе после основательного пребывания в тюрьме и достаточно энергичных допросов гестапо некую Милу, в прошлом машинистку какого-то маленького учреждения? Хорошенькая девица, правда, слишком тощая и изнуренная. Но некоторым именно такие нравятся. И вот гостившие у нас старшие офицеры из Берлина после ужина с напитками возымели желание нарушить уединение этой девицы.

Что же сделал я? Умчался вперед на машине и увез ее на дачу. Берлинские друзья были этим не только огорчены, но и возмущены, и это грозило мне неблагоприятным отзывом о нашей работе. Но я пошел на это в интересах абвера. Агентку должны были на следующий день забросить. Но помилуйте, как бы она могла выполнить задание после такого визита, причем нескольких мужчин? И тут я пресек их поползновения со всей решительностью, не колеблясь ни на минуту.

— И где же сейчас эта худышка? — поинтересовался Герд.

Вилли Крахт не мог сдержать усмешки, но Дресс, строго взглянув на него, с готовностью объяснил:

— К сожалению, господин ротмистр, должен вам доложить — разбилась. При первом же выбросе на парашюте. Не раскрылся. Но, полагаю, не из-за технической неисправности. Некоторые из них, знаете ли, избирают подобный возмутительный способ для того только, чтобы уклониться от выполнения задания. — Добавил почтительно: — Конечно, контингент вашей школы представляет большую ценность. Мы же вынуждены мириться с подобными потерями. Вербуем наспех, по тюрьмам. Получаем материал физически крайне ослабленный. Как только перестают волочить ноги, засылаем. Время на подготовку весьма ограниченное. Попадаются и ценные экземпляры — сыновья тех, кого большевики некогда лишили крупной земельной собственности. У этих развиты способности к террористическим актам. Но, к сожалению, они снова

падают жертвами тех, кто воспользовался их землей.— Пожаловался: — Вы видели белорусские деревни? Мужиков? Азия! По сравнению с крестьянами, имеющими землю в любой европейской стране,— нищие. И вот загадка. Уходят целыми селениями в партизанские отряды, дерутся, как дьяволы. Мне думается, они развращены политически значительно сильнее, чем мы предполагали.

Поэтому только соединением усилий частей СС и вермахта удастся осуществить массовую ликвидацию излишнего населения на этих оккупированных территориях. Это не гуманное, но единственно целесообразное действие.

Вилли Крахт предложил Вайсу переночевать в его комнате.

Сдержанность гостя Крахт принял за своего рода чопорность, свойственную выходцам из дворянских семей, и, желая расположить его к себе, рассказал подробно историю своего сближения с Раей Мокиной.

После вина Крахт был настроен сентиментально и, лежа на койке и куря сигарету в длинном костяном мундштуке, говорил, мечтательно прикрыв глаза:

— Вы себе представить не можете, какое это было занятное существо. Как неистово она меня вначале ненавидела! Но я, чтобы смягчить ее, сделать более приятной, пользуясь своей дружбой с начальником местного отделения СД Вилли Шульцем, попросил его о некоторых временных поблажках для заключенных, которые, как утверждала Рая, были абсолютно ни в чем не виновны. И даже доставил ей письмо от них. Ну, и позволил себе также быть объектом ее пропаганды. Унизил своих родителей до степени рабочих. Рассказал о себе рождественскую сказку: бедный мальчик копил пфенниги, чтобы учиться в школе. Представьте, это измученное беседами в СД существо стало даже жалеть меня, как заблудшую овцу в стае волков.

Ее наивность была настолько трогательной и восхитительной, что, откровенно между нами, я просто влюбился. К сожалению, наедине со мной она говорила такое, что мне пришлось официально доложить Шульцу о ее неблагонадежности.

— И что же было дальше?

— Вы же слышали: ее казнили.

— Были основания?

— Да, кое-какие основания у Шульца были... Хотя

Шульц, этот грубый баварский мужлан, мог бы повременить, хотя бы из уважения к моим чувствам.

— Вы ее вспоминаете?

— Да, конечно. Это хотя и советская, но, безусловно, Гретхен, с присущей ей наивностью, чистотой и страшно упрямой убежденностью.

Иоганн смотрел на Вилли Крахта — такого деликатного, благовоспитанного. Смотрел на его высокую опрятную шею. На его лицо, чуть бледное, узкое, с правильными чертами. На его выпуклые, голубоватого оттенка глаза. На его по-женски безмускульные руки. На теплую фуфайку, которую Вилли заботливо надел, чтобы не простыть ночью даже под периной, привезенной, очевидно, из дому.

Он видел на тонкой шее Вилли золотую цепочку со связкой медальонов-иконок, которые тот, прошептав молитву, прежде чем лечь в постель, бережно поцеловал.

Вилли показал Вайсу портрет своей сестры. Сказал, что они близнецы. Нежно любят друг друга. И один из медальонов — талисман, который его сестра приобрела за большие деньги у известного в Мюнхене астролога, и этот талисман должен уберечь его от насильственной смерти.

И, глядя на тонкую шею, на которой висел талисман, Иоганн не мог позволить себе даже подумать о том, с каким бы наслаждением он сдавил своими пальцами эту шею.

Полузакрыв глаза, он мысленно повторял номера автомашин, которые, как ему удалось заметить, развозят по конспиративным квартирам абвера в Гомеле пайки с продуктами. Зная номера этих машин, оперативная группа или партизанские группы смогут установить места явок немецких агентов.

И пока он впечатывал всю эту нумерацию в свою память, Вилли, удобно улегшись на подушках, понизив голос, сплетничал. Говорил он главным образом о своем начальнике.

Капитан Дресс — пьяница. Недавно он, совершенно пьяный, ввалился к отмечавшему свой день рождения коменданту города, старому прусскому служаке. Бухнул на стол — прямо перед носом изумленного полковника — вытащенную из абвергрупповской столовой пыльную, полузасохшую пальму и, прервав речь, которую тот произносил, долго жал и тряс его руку. Потом сел за стол и уснул, положив голову на тарелку.

Всего несколько дней назад он пил здесь, в этом доме, с ротмистром фон Вальде, но когда ротмистр покинул

собутыльника и пошел спать, Дресс ворвался в его комнату и потребовал продолжить выпивку. Вальде отказался. Тогда Дресс объявил, что, если тот не вернется к столу, он помочится здесь же, в комнате Вальде, на печку.

Вальде взял пистолет, лежавший на ночном столике, и прицелился. С трудом удалось утащить Дресса из комнаты.

Постоянный собутыльник капитана, начальник гомельской жандармерии, и тот стал его избегать после того, как Дресс ночью вломился в жандармерию и пошел по длинному коридору, стреляя в лампочки. Жандармы решили, что это — нападение партизан, и все могло окончиться ужасно, если б начальник жандармерии не узнал голос Дресса, кричавшего при каждом выстреле: «Желаю пить, желаю пить!»

Но вообще-то Дресс — хороший служака. Добр ко всем сослуживцам, заботлив.

А недостатки его можно объяснить. Ведь допросы местного населения контрразведывательный отдел ведет ночью.

К тому же у людей низшей расы настолько притуплены болевые ощущения и так не развит естественный для каждого живого существа страх смерти, что приходится прибегать к особым мерам, и это требует от работников второго отдела колоссального самообладания и такой грубой физической работы, по сравнению с которой труд каменотеса или мясника — детская забава.

О себе Вилли сказал с содроганием, что он не выносит криков. И не может понять, как их выносят другие его коллеги. И вообще это ужасно, что мы, немцы, вынуждены так ронять свое достоинство с этими людьми, не желающими понимать всю бессмысленность сопротивления новому порядку.

Вайс спросил:

— Ну, а если нам несколько смягчить отношение к местному населению?

— Что вы! — ужаснулся Вилли. — Это было бы воспринято ими как проявление слабости, и они стали бы еще чаще нападать на нас. Нет-нет, как это ни жестоко, но жестокость — единственное средство. Вы же знаете, считается, что мы находимся в тылу. Но опасности, которым мы здесь подвергаемся, ничуть не меньше, чем на фронте. — Пожаловался: — А наград дают меньше. Это несправедливо.

— Вы свое получите, — твердо сказал Вайс. — Это я вам

обещаю. — И тон, которым он это произнес, ему самому показался непростительно откровенным.

Но Вилли ничего не заметил.

— Конечно, вы можете замолвить в «штабе Вали» доброе словечко обо мне, — сказал он. И вежливо пожелал: — Спокойной ночи, дружище!

А что оставалось Вайсу? Ответить тем же.

Утром, еще до завтрака, Иоганн напомнил Вилли Крахту о его желании быть аттестованным «штабу Вали» с лучшей стороны и в связи с этим попросил как о любезности чисто по-товарищески информировать его о достоинствах и недостатках агентов, работающих на группу № 315. Вайс объяснил, что ротмистр Герд имеет поручение подобрать кандидатов для разведывательных школ, но, по вполне понятным мотивам, капитан Дресс предпочтет лучших агентов оставить при своей группе и поэтому может необъективно охарактеризовать их.

Крахт, замаявшись, напомнил о правилах обращения с секретной документацией.

Вайс изумленно пожал плечами:

— Но разве я прошу, чтобы вы давали списки мне в руки? Отнюдь. И читать их буду не я, а вы. Просто я взгляну на то, что вы читаете, и, если агент не заслуживает доверия, ну... вы ограничитесь одной лишь мимикой. — Положив Крахту руку на плечо, Иоганн сказал доверительно-дружески: — Только между нами — вы знаете, чей зять господин Герд?

— О! — воскликнул Вилли. — Еще бы!

— Так вот, ротмистр Герд не обладает некоторыми качествами, необходимыми для офицера абвера, и, по-видимому, не стремится их приобрести. Капитан Дресс легко проведет его. Но если Герд узнает, что вы оказали ему эту маленькую услугу... — Вайс устремил глаза ввысь, произнес задумчиво: — В конце концов, после войны нам с вами, Вилли, как и многим молодым людям, благодарность совладельца такой крупной фирмы, какую представляет Герд, может дать значительно лучшее положение в обществе, чем Железные кресты всех степеней. Я лично именно так думаю и так поступаю.

Крахт заколебался.

— Но как я могу быть уверен в том... — он несколько замешкался, скулы его порозовели, — ну, в том, что вы не припишете себе мою заслугу?

— Если ротмистр не выкажет вам благодарность, вы

можете без всяких церемоний представить меня перед ним в самом невыгодном свете, — решительно заявил Вайс. И добавил с улыбкой: — Но клянусь вам, Вилли, у вас не будет нужды прибегать к этому.

Вилли Крахт выполнил просьбу Иоганна Вайса. Натренированная память помогла Иоганну с автоматической точностью почти зрительно запечатлеть то, что его интересовало.

Оставался Герд. Тут требовалась работа на чистом воображении.

Иоганн спросил Герда, не считает ли он разумным взять в качестве сувениров несколько икон из старинного русского храма. В самых богатых домах Германии иконы сейчас считаются модным украшением.

Герд обрадовался.

Тогда Иоганн произнес тоном заговорщика:

— Капитан Дресс намеревается раздобыть их для себя, но зондерфюрер Крахт, желая сделать вам приятное, сообщил мне, где находится этот храм.

— Отлично. Я ему чрезвычайно признателен.

Вайс сказал настойчиво:

— Я думаю, господин ротмистр, вы выразите Крахту свою благодарность, но только в самых общих выражениях, чтобы не поставить его в затруднительное положение перед капитаном.

— Можете быть уверены, — решительно пообещал Герд.

И он выполнил свое обещание. Горячо пожал руку Крахту, дал свою визитную карточку. И многозначительно заявил, что не забудет его любезности.

О церкви, превращенной в склад боеприпасов, Иоганн узнал от бывшего дьякона, находящегося на службе абвергруппы № 315 в качестве возчика.

Вайс не раз беседовал с «этим типичным русским бородачом», который интересовал его главным образом потому, что развозил продукты агентам, живущим на квартирах в разных концах города.

По пути на аэродром они заехали на склад, и Герд беспрепятственно получил «модные украшения» для своего загородного дома.

На секретном аэродроме абверчасти, где стояло только несколько транспортных самолетов, Вайса подстерегала первая и очень неприятная неожиданность. Здесь оказа-

лась группа агентов, подготовленных в школе «Зет». И если они и не отличались столь фундаментальной и тщательной технической подготовкой, как агенты Варшавской центральной школы при «штабе Вали», то обладали другими особенностями, свойственными стилю этой специальной школы.

Почти всех их заставляли быть исполнителями казней, и фотографии, запечатлевшие их в этот момент, заменяли в их личных делах письменные работы курсантов Варшавской школы, в которых те объясняли, почему они считают себя врагами советской власти. Их тренировали в технике свершения террористических актов. Это были утратившие человеческие чувства, отупевшие, готовые на все, законченные мерзавцы.

Группу Варшавской школы включили в группу агентов школы «Зет», и старшим оказался уже не Гвоздь, на чем строил Вайс свои расчеты, а агент из школы «Зет» по кличке «Хлыст», совершивший уже не одну операцию.

В соответствии с инструкцией за час до вылета Вайс выдал своим курсантам карту объекта разведки масштаба 1 : 30 000. Карту пути от места высадки до объекта масштаба 1 : 100 000. Наганы с патронами. Компас, один на двоих. Карманный электрический фонарь, один на двоих. Советские дензнаки — по 10 тысяч рублей каждому. Ручные часы. Складные ножи.

В порядке исключения заставил радиоинструктора опробовать вместе с Гвоздем его позывные и позывные его корреспондента. Еще раз проверил букву, обозначающую его подпись, пароль на случай перехода обратно через линию фронта, личный номер для предъявления в штабе любой немецкой части. Выдал гранату, которой Гвоздь был обязан в случае крайней необходимости уничтожить рацию.

Вайс знал, что руководство никогда не смешивало в одной операции выучеников разных школ. Необычный поступок со стороны педантичного начальства его насторожил и заставил видеть за всем происходящим нечто недоброе и опасное.

По выражению глаз Гвоздя он понял: тот уже догадался, что план срывается и Хлыст со своими людьми занимает господствующее положение.

Вайс задержал Гвоздя под тем предлогом, будто хотел проверить, как тот пригнал ремнями себе на грудь обернутую в одежду рацию.

— Плохо? — прошептал Гвоздь.

Иоганн кивнул.

— Мне бы хоть первым выпрыгнуть.

— Зачем?

— Есть соображение. — Он посмотрел Иоганну в глаза и твердо добавил: — Надо.

Иоганн знал, что в соответствии с инструкцией посадка в самолет производится в порядке, обратном порядку выброски (тот, кто садится последним, выбрасывается первым), и сказал об этом Гвоздю.

В довершение всего Гвоздю вдруг было приказано снять с себя рацию и передать ее радисту из школы «Зет». Тем самым терялась возможность сообщить в Центр радиосигналы о месте нахождения группы после приземления. Но новый радист, взяв у Гвоздя рацию, забыл попросить у него прилагающуюся к ней гранату, и она осталась у Гвоздя.

Перед самой посадкой Гвоздь уселся на землю и стал переобуваться.

Из-за этой задержки он поднялся по трапу последним. Оглянувшись на тоскливо и потерянно глядящего ему вслед Иоганна, Гвоздь вдруг успокоенно и торжествующе усмехнулся.

Вернувшись с летного поля в штабной барак, Вайс застал здесь Хакке и Синицу. Вначале его удивило их путешествие вместе с курсантами, но потом он как-то не задумывался об этой странности, и только теперь, увидев их встревоженные лица, он понял, что все это неспроста и, вероятно, имеет какое-то отношение и к нему, потому что оба они устремили на него явно беспокойно-вопросительные взгляды.

Вошел ротмистр Герд вместе с комендантом аэродрома и, держа в руках телеграфную ленту, прочел, запинаясь, приказ штаба. Предписывалось немедленно высадить в тылу противника для выполнения особого задания группу в следующем составе: Вайс — старший, радист — Хакке, Синица.

О цели задания группе будет сообщено сразу же после ее приземления.

Комендант, как только Герд закончил читать приказ, потребовал, чтобы члены группы сдали свое личное оружие для замены его советскими пистолетами «ТТ». И тут же

солдат внес советское обмундирование: белье, носки, сапоги и даже советские папиросы и спички.

А комендант разложил на столе армейские документы, изготовленные в мастерской абвера. Для Вайса была заготовлена орденская книжка.

Переодевшись, Иоганн старался понять, зачем у него сразу же отобрали личное оружие. Если не дадут другого, значит... Но что значит? Где он мог допустить ошибку, оплошность? И потом он ведь не один, с ним Хакке, Синица. Нет, здесь явно таится что-то другое.

Да вот и комендант. Принес пистолеты и, сверив по номерам, положил рядом с документами. И даже гранаты-лимонки выложил на стол. Это хорошо. Значит, тут другое.

Вайс подошел к столу и, улыбаясь, попросил коменданта разъяснить, есть ли какие-либо особенности у советского оружия, которые следует учесть.

Комендант с вежливой готовностью дал необходимые объяснения.

Но Вайс заметил, что ротмистр посмотрел на него при этом вопросительно и удивленно.

Иоганн понял, что он переиграл. В школе ведь изучали все образцы советского оружия. И тут же Иоганн заявил коменданту, что ему отлично известны конструктивные особенности советского оружия. Но он задал свой вопрос, чтобы узнать, пристрелян ли его пистолет и какие при этом выявлены особенности, ибо всякое оружие обладает своими особенностями и их следует учитывать при стрельбе.

Комендант сказал:

— Нет, не пристрелян.

— Напрасно, — пожурил Вайс. — Значит, если я промахнусь, отвечать будете вы.

— Правильно, — согласился Герд. — Это — серьезное упущение.

Комендант взглянул на часы.

— Пора. Пообедать придется в самолете.

Солдат помог им надеть парашюты.

Вайс подошел к Герду, протянул руку:

— До свиданья, господин ротмистр.

Но Герд, будто не видя протянутой руки, с недоступным выражением лица произнес сухо:

— Желаю вам с честью выполнить ваш долг.

Иоганн мельком поймал тусклый, неприязненный взгляд Герда и сделал вывод, в котором, правда, еще не был окончательно уверен.

Выброску их в тыл Герд не рассматривает как подвиг. Это ясно. Герд не сумел притвориться, будто провожает его как героя на подвиг, и тем самым кое-что выдал Вайсу. Он чем-то озабочен. Уж не тем ли, что так откровенно беседовал с Вайсом и, когда они были в абвергруппе № 315, слишком подчеркивал перед офицерами свое к нему расположение? Но почему это его теперь беспокоит?

Иоганн решил первым подняться по трапу в самолет, чтобы прыгать последним. Зачем? Чтобы выгадать лишние минуты. Они могут пригодиться.

Окна в кабине самолета были заклеены черной бумагой, в какую обычно заворачивают фотопленку.

Самолет выкатился на взлет тотчас, как захлопнулась дверца за Хакке,— у Хакке на груди была подвешена рация, он вошел последним.

Батарей с питанием находились у Синицы.

Несколько минут летели в полном мраке, потом зажглась лампочка в потолочном плафоне.

Синица объявил, что помирать на голодное брюхо не собирается, и развернул свой пакет с едой. На каждого была бутылка водки.

Хакке почти не притронулся к еде, но, держа бутылку в руке, часто отхлебывал понемножку из горлышка.

Синица ел и пил смачно. Он быстро охмелел, стал болтливым. Подбрасывая на ладони ампулку с ядом, сказал, нежно на нее поглядывая:

— Говорят, мгновенно: раз — и готов.

— Кто говорит? — спросил Вайс. — Те, кто пробовал?

— Правильно! — расхохотался Синица. Потом спросил с надеждой: — Все ж таки химия, а вы, немцы, в ней великие мастера, не то что мы, сиволапые... — Вздохнул: — Эх, Россия! — Дунул на другую ладонь: — Была — и нет. — Пожаловался: — А я все ж таки хухрик.

Вайс спросил:

— Хухрик? Это что по-русски?

— Так... — сказал печально Синица. — Вроде тех, кто сами себя обмошенничивают, а других не умеют. Небось те, кто поумнее, сидят себе в Берлине на заседаниях и сочиняют контрреволюции, а тех, кто попроще, тех, как меня вот, швыряют, будто мусор с балкона, на головы проходим.

— Вам это не нравится?

— Нет, почему же! — насторожился Синица. — У каждого своя доля.

Хакке явно презирал Синицу, недовольный, очевидно, тем, что этого русского поставили с ним как бы в равное положение. Он доверительно сказал Вайсу:

— Я полагаю, что этот тип должен быть только нашим носильщиком.

Вайс кивнул. Снова отхлебнув из бутылки, Хакке пробормотал раздраженно:

— Я полагаю, моя кандидатура была выбрана господином ротмистром потому, что я сообщил партии о некоторых его чрезвычайно вольных взглядах.

— И что же? — спросил Вайс.

Побагровев, Хакке ответил озлобленно:

— Мне дали строжайше понять, что господа, подобные Герду, находятся вне досягаемости. И мы, наци, обязаны им, а не они нам. Как вам это нравится?

— Насколько я помню, — строго сказал Вайс, — все крупнейшие промышленники и финансисты оказали фюреру поддержку в самом начале его пути, о чем я вам не рекомендовал бы забывать.

— Да, — согласился Хакке, — это верно. Но я проливал кровь за фюрера.

— Да, но не на фронте и не свою.

Хакке задумался, потом сказал обиженно:

— С гестаповцами так не обращаются, как со мной, их не посылают на подобные задания, они работают в тылу.

— Почему же вам выпала эта участь?

Хакке опять приложился к бутылке, еще больше побагровел, закашлялся, вытер мокрый рот ладонью и прошептал, дохнув в лицо Вайса перегаром:

— А потому, что я, как и многие другие ветераны движения, многовато знаю кое о чем таком... Поэтому вот, — Хакке похлопал себя по спине, где, как горб, возвышался парашют, — меньше свидетелей. Людвиг Рем предупреждал нас, что фюрер пойдет за наш счет на сделку. Вот и получилось, — он скривил рот, — господин Герд — фигура. А я, старый ветеран, наци, — у этого фабриканта под каблуком... И фюрер тоже.

— Господин Хакке, — осуждающе произнес Вайс, — я не желаю слушать ваши рассуждения.

Хакке откинулся к стенке кабины, внимательно и долго смотрел на Вайса, потом сказал совершенно трезвым тоном:

— Это не мои рассуждения.

— А чьи же?

— А ты как думаешь,— грубо заявил Хакке,— мне безразлично, с кем я буду работать? Нет, парень, не безразлично. Я тебя пощупал. Понял?

— И что же?

— А ничего,— сказал Хакке.— Ничего. Сойдешь за ангелочка. Только вот, думаю, советские тебя сразу отгадают.

— Почему?

— Уж очень немец, из тех, кому еще в «гитлер-югенд» вколачивали, каким должен быть немец.

— Да, я такой,— с гордостью согласился Вайс.

— Но никто не будет знать, что ты и с петлей на шее захочешь проорать: «Хайль Гитлер!» Никто.

— А ты где в это время будешь? — спросил Вайс. Предупредил: — Ветеран! Запомни: струсил — я тебя сразу же к твоему Рему отправлю...

— Правильно,— сказал Хакке.— Правильно говоришь, командир. Настоящие слова,— и протянул руку.

Но Вайс не подал своей. Сказал холодно:

— Ладно, посмотрим, каков ты там будешь.

— Тоже правильно.— И Хакке, довольно улыбаясь, объявил: — Крепкий ты парень, вот такой, какие нам нужны.

И, слушая Хакке и говоря с ним, Иоганн упорно думал, чем вызвано решение «штаба Вали» забросить его в тыл. Он засек время взлета, по его расчетам, самолет уже должен был миновать линию фронта и лететь над советской территорией. Но моторы почему-то работают на одном и том же режиме, и нет расслабляющего ощущения высоты. Вайс знал, что по инструкции самолету полагается брать над территорией противника потолок от четырех тысяч до шести тысяч метров и кабина снабжена кислородными аппаратами. Странно.

Потом он думал о том, что ему придется сразу же овладеть рацией Хакке. Надо дать знать Центру об опасности, которую представляет сейчас группа, куда входит Гвоздь, а также сообщить о месте своего приземления. Но как завладеть рацией? Применить оружие?

Он может пристрелить и Хакке и Синицу еще в воздухе, когда те будут висеть под ним на парашютах: ведь он прыгает последним.

Но тогда безвозвратно, необратимо погибнет Иоганн Вайс. Останется только Александр Белов, по существу, погубивший ефрейтора абвера Вайса, бесценного человека. А его долг — спасти Вайса, сохранить Вайса и вернуть

Вайса туда, где он должен сейчас находиться. А как тогда предотвратить злодеяния группы, где Гвоздь оказался блокированным агентами школы «Зет»? Заодно с ним только двое — он успел обработать двоих и в свое время сообщил об этом Иоганну.

В кабину вошел второй пилот и приказал готовиться.

Параюты были полуавтоматического действия: шпильку крышки дергает не парашютист, а канатик, прикрепленный к самолету. Над люком для сбрасывания протянут стальной трос, а на крышке парашюта уложен змейкой канатик длиной восемь — десять метров, с карабином на конце.

Перед прыжком часть канатика отпускается, карабин защелкивается на тросе, и разведчик вниз головой сползает по желобообразному люку.

Никакой специальной парашютной тренировки, даже объяснений, как нужно прыгать, курсантам не дается. Сообщают лишь, что при приземлении ноги надо держать вместе, а падать на бок.

Эти же рекомендации получили Вайс, Хакке и Синица.

Командование «штаба Вали» считало нецелесообразным расходовать моторесурсы и горючее на обучение курсантов парашютным прыжкам. И так как обычно при приземлении кто-нибудь из агентов получал тяжелые травмы, старшему группы вменялось в обязанность бесшумно избавиться от раненого. Командование «штаба Вали» — так же как и руководство других разведывательных школ — стремилось к максимальной экономии всех материальных средств, и снижение затрат производилось с необычайной тщательностью. Даже зимнее обмундирование агентам выдавали непарное: к суконной гимнастерке — бумажные брюки или наоборот. Вот почему добротные советские офицерские шинели не получал никто. Их, если они были, распарывали и отсылали в посылках своим домашним.

Первым сполз по желобу Хакке, за ним Синица.

Светящееся звездное пространство океаном повисло над головой Иоганна, он окунулся в белый мрак облачности, а потом и в темные сумерки ночи.

Он начал подбирать стропы с одной стороны, чтобы приземлиться несколько в стороне от своих напарников, рассчитывая на возможность случайной встречи с кем-нибудь из советских людей, когда он пойдет на сближение.

Глядя вниз на всплывающую навстречу землю, Иоганн

заметил отчетливую выпуклую сетку межей, которую не мог скрыть слабый снежный покров, а в стороне мелькнуло острие кирхи. Вот разгадка того, чему он так тщетно искал объяснения!

Иоганн стал быстро подбирать стропы, теперь уже для того, чтобы сблизиться при приземлении с напарниками. Поздно. Он поджал ноги, принял удар и повалился на бок, на вздутое полотнище парашюта.

Отстегнув и закопав парашют, поспешно зашагал к месту приземления напарников. Но вдруг остановился, вынул пистолет, сел на корточки, снял ушанку и, засунув в нее руку с пистолетом, нажал спусковой крючок.

Щелчок. Выстрела не было. Оттянул ствол, повторил все сначала — выстрела не было. А когда он вынул из гранаты запал и осмотрел его, латунная трубка со взрывчаткой оказалась пустой.

«Ловко. Значит, вот что они со мной затеяли. Ладно».

Иоганн уже не шел, а бежал через поляну к темнеющей опушке леса, где, как он и предполагал, его ожидали напарники.

Хакке, уже с наушниками на голове, сидел у рации.

— Приказано идти прямо по просеке, в сторожку лесника, и там ждать дальнейших указаний.

Сторожка оказалась нежилой, заброшенной. Возле печки Иоганн увидел полуобгоревшие клочки польского букваря, а на пустой пыльной консервной банке, стоявшей на подоконнике, была датская этикетка.

Пока Хакке переплетал антенным канатиком бельевую веревку, висевшую во дворе, чтобы замаскировать антенну, Вайс мысленно собирал воедино все им подмеченное, обнаруженное и окончательно утверждался в том, что стал объектом проверочной комбинации, задуманной и симпривизированной Дитрихом. И сознание, что теперь он может принимать решения не вслепую, вселяло в него бодрость и уверенность в себе.

Вайс запретил разводить огонь. Поужинали всухомятку. Приказав Синице нести дежурство первым, он предложил Хакке выспаться как следует. И сам тоже лег на дощатый топчан.

В сторожке пахло гнилью, сыростью. Спать на голых досках было жестко, зябко. Но Иоганн приказал себе уснуть, ни о чем не думать, так как надо было отдохнуть, вернуть свежесть ясной и четкой мысли.

И, думая о том, что не надо ни о чем думать, он уснул.

Их взяли на рассвете.

Синица сидел на земле, раскачивался, стонал, прижимая ладонь к окровавленной голове. С ним не церемонились, пинками заставили подняться.

Хакке, связанный, корчась, скрипел зубами. Но его никто не бил, как не били и Вайса, только ныли руки, скрученные за спиной куском антенного канатика.

Два парашюта, выпачканные землей, как улики внесли в сторожку.

Человек с двумя шпалами в петлицах и звездой политработника на рукаве командовал захватившими их бойцами.

Хакке и Вайса отвели в погреб-ледник рядом со сторожкой лесника и заперли там.

Значит, допрос решили начать с Синицы.

Они хорошо провели операцию, эти парни. Но если они особысты, почему ими командует батальонный комиссар? И почему они сразу же обнаружили два парашюта на точке приземления и не могли найти третий, который Вайс зарыл не на обусловленном месте, только слегка присыпав землей? Все подкрепляло предположения Вайса.

Один из этих людей беспрестанно, как заведенный, тщательно ругался матом. Другие обменивались негромкими и короткими фразами, подкрепляя их указующими жестами, словно не были уверены, что их слова можно понять.

Батальонный комиссар в лайковых перчатках. Забавно. Боевая операция, а руки у него в перчатках. В перчатках! Какая же может быть точность стрельбы в перчатках? Ясно, он не рассчитывал, что придется применять оружие.

А почему не рассчитывал? Ведь он так уверен, что взял немецких парашютистов. И правильно, что уверен: разве советские военнослужащие будут выбрасываться сами у себя в тылу на парашютах? Ведь парашюты-то обнаружены.

Сквозь деревянную вытяжную трубу в кровле погреба донеслись вопли и страдальческий визг Синицы. В темноте Вайс не видел Хакке, но слышно было, как тот ворочается на соломе, уложенной поверх льда.

Хакке спросил шипло:

— Слышишь? — Добавил глухо: — Но я не дам такого концерта русским. Пусть хоть кожу сдерут. — Потом осведомился: — А может, они хотят нас здесь заживо заморозить?

— Не думаю, — сказал Вайс. От озноба голос его звучал силло.

— Трусись? — спросил Хакке.

— Пока не очень.

Синица перестал вопить. Вызвали Хакке.

Он нашарил во мраке руку Вайса, пожал. Пообещал:

— От меня ты звука не услышишь, я лучше откушу себе язык.

Дверь захлопнулась. Иоганн остался один. Прислушался. Кроме возни, падения тела и глухих ударов — ничего. Ай да Хакке! Крепкий мужик.

У Иоганна уже не было сомнения в том, как ему следует теперь себя держать. Сейчас он заботился только о том, как бы не простыть в погребу: ведь одного этого достаточно, чтобы в лучшем случае остаться инвалидом. Только не сидеть неподвижно, иначе замерзнешь. И он стал подпрыгивать, шевелил пальцами на руках и ногах, извивался, стучался о каменные стены погреба.

Наконец вызвали и его, привели в сторожку.

«Комиссар» сидел за столом. Он по-прежнему не снял перчаток. На полу молча лежал Синица. Хакке стоял лицом к стене с поднятыми руками, стонал. Бриджи его свисали, на обнаженном теле вздулись рубцы.

В углу сидел солдат с наушниками. Рация в брезентовом чехле стояла перед ним на табуретке.

Иоганн бросил внимательный короткий взгляд на шкалу диапазона.

Стрелка указывала диапазон, на котором работала штабная радиостанция «Вали».

Радист встал и подал человеку с неподвижным холодным лицом, одетому в форму батальонного комиссара, бумажку, где была записана принятая радиограмма.

Тот прочел и разорвал бумажку. Кивнув на лежащего на полу Синицу, сказал:

— Он выдал вас. Вы заброшены к нам в тыл как диверсанты. — Ткнул пальцем: — Ты Иоганн Вайс, он Зигфрид Хакке. — Вынул из расстегнутой кобуры наган и, нацелив в живот Вайса, приказал: — Ну?! Быстро. — Выждал. Спросил: — Ты отморозил язык? Хорошо. Мы тебя согреем экзекуцией.

Быть выпоротым? Ну, нет!

Иоганн наклонился и попросил:

— Хорошо. Я согласен. Но только, — он указал глазами

на Хакке и Синицу, — развяжите руки, я дам письменные показания.

Ему развязали руки. Он взялся за табуретку, медленно поволочил ее к столу и вдруг рывком поднял и обрушил на офицера, одновременно левой рукой выдирая у него пистолет.

Бросился к двери. Выстрелил и побежал через двор, стреляя в разбежавшихся солдат.

За амбаром стоял мотоцикл. В коляске, застегнутой брезентовым фартуком, сидел солдат. Он не успел подняться — Иоганн ударил его по голове ручкой пистолета, раскатил машину с пригорка, прыгнул в нее и помчался по просеке.

Держа одной рукой руль, другой расстегнул фартук и с ходу выбросил солдата на землю.

Оказавшись на шоссе, Иоганн включил полный газ. Он запомнил, в каком направлении высилась островерхая кирха. Крупное селение. Там, наверно, должна быть немецкая комендатура.

Не доезжая до селения, Иоганн скинул гимнастерку: слишком уж небезопасно было появляться здесь в полном советском обмундировании.

Въехал на главную улицу поселка. Без труда, по скоплению машин у одного из лучших зданий, понял — здесь. Затормозил прямо у ног изумленного часового. Произнес повелительно:

— Герр коменданта. Чрезвычайно важное сообщение.

Его провели в здание комендатуры. Но дежурный офицер, прежде чем доложить о нем коменданту, потребовал объяснений. Вайс топнул ногой:

— Ты, тыловая крыса! У вас под носом высадились советские парашютисты, а ты еще смеешь перед агентом абвера строить тут из себя штабного адъютанта! — И, властно толкнув ногой дверь, вошел в кабинет.

От участия в операции по уничтожению советских десантников Вайс уклонился, сославшись на необходимость срочно продиктовать радисту информацию обо всем случившемся в «штаб Вали».

Дежурный офицер, после того как «штаб Вали» вынужден был подтвердить принадлежность Вайса к службе абвера, стал чрезвычайно любезен и даже отдал Иоганну свой запасной комплект обмундирования, чтобы тот мог принять приличный вид.

В этот день Иоганну не удалось повидаться ни со

своими напарниками, ни с теми, кто организовал на них облаву. Его, очевидно, по приказанию «штаба Вали», продержали более двух суток в уважительной и весьма комфортабельной изоляции. И только после того, как сюда приехали Штейнглиц и Дитрих и Вайс провел с ними наедине некоторое время, понадобившееся на то, чтобы клятвенно заверить обоих офицеров, что обо всем происшедшем он будет докладывать именно так, как они договорились, ему предоставили свободу.

И не только свободу — Штейнглиц и Дитрих официально оценили поведение Вайса как героическое.

Был составлен рапорт, послушно подписанный и комендантом гарнизона, в том, что в данном районе такого-то числа высадилась группа советских десантников. При ее уничтожении погибли — далее перечислялись имена военнослужащих из подразделения СС, которому было поручено провести операцию по проверке сотрудников абвера, а также солдат немецкого гарнизона, павших во время перестрелки с теми, кого приняли за советских десантников.

Три стороны: серьезно покалеченный ударом табуретки офицер подразделения СС, комендант гарнизона и майор Штейнглиц с капитаном Дитрихом — договорились во имя спасения своей репутации, и не только своей, о количестве уничтоженных советских парашютистов.

За основу приняли соотношение 1 : 3 — потери, обычные при любом наступательном бое.

Синицу в тот же день расстреляли за предательство.

Хакке, выдержав экзекуцию, не выдержал, когда «комиссар», допрашивая его после экзекуции, объявил, что никакой он не советский, а гестаповец. Хакке же признался в том, что он сотрудник абвера, а к гестапо не имеет никакого отношения, и заявил, что гестаповцы — это палачи, а абвер — военная служба разведки, и поэтому нельзя, не надо его вешать, а надо взять его в плен и обращаться с ним как с военнопленным.

Пребывание в ледяном погребе не прошло для Иоганна бесследно — он захворал воспалением легких. Но от госпиталя решительно отказался.

Лежал у себя в комнате в расположении «штаба Вали». И награждал себя отдыхом.

Лансдорф несколько раз навестил его во время болезни. В первый раз он только осторожно пытался выяснить, как расценивает Вайс все происшедшее.

Мямлил что-то о чести мундира. Говорил, что печальная слабость Хакке — это пятно на мундире абвера, что так отлично зарекомендовавший себя Синица оказался неспособным перенести даже самый деликатный способ проверки. И все это очень неприятно, так как службы СС и гестапо постараются раздуть этот случай, чтобы причинить неприятности Канарису.

Но Вайсу не о чем беспокоиться: уже подписан приказ о присвоении ему унтер-офицерского звания и о награждении его Железным крестом второго класса за участие в операции по уничтожению советского десанта.

И как бы между прочим Лансдорф рассказал поучительный эпизод из практики первой мировой войны, когда один из сотрудников разведки, которой тогда руководил полковник Вальтер Николаи, тоже, как и Вайс, был награжден Железным крестом за исключительную смелость и преданность рейху.

Этот сотрудник продал женам нескольких старших офицеров генерального штаба противника ювелирные изделия из настоящих бриллиантов, выдав их за фальшивые. Затем он помог неприятельской контрразведке арестовать себя, и у него обнаружили список тех, кому он продал драгоценности.

Офицеры дали показания, что жены их купили дешевые побрякушки, что это жалкая имитация. А когда экспертиза установила, что бриллианты настоящие и огромной ценности, судьба этих офицеров была решена.

— Поэтому, — многозначительно произнес Лансдорф, — героизм, доблесть — это все фейерверк. Я сторонник операций изящных, бесшумных, но производящих действие более разрушительное, чем даже прицельное бомбометание.

Иоганн не понял: не то Лансдорф хочет умалить значение его «подвига», не то пытается внушить ему желание поискать применения своим силам в совсем ином стиле работы.

Штейнглиц искренне радовался успеху Вайса. Но так же, как Лансдорф, скептически рассуждал о том, что в их профессии смелость — это нечто вроде солдатской доблести. Награждают низших, а платят высшим. И поведал о том, как в угоду немецкому генералитету Гейдрих ловко

скомпрометировал фельдмаршала Бломберга, подсунув фюреру неопровержимые доказательства того, что жена Бломберга — бывшая проститутка.

— Вот за такую работу, — сказал Штейнглиц, — конечно, не награждают. Но платят. И платят столько, что одной подобной операции достаточно, чтобы обеспечить себе старость.

Вайс сказал с улыбкой:

— Но я еще не думаю о старости.

— Напрасно, — упрекнул Штейнглиц. — Молодость — это только средство, чтобы обеспечить себе старость. И ничего больше.

С Дитрихом Иоганн держал себя холодно, сдержанно, всячески подчеркивая, что не может примириться с оскорблением, которое тот ему нанес, подвергнув испытанию проверочной комбинацией.

Напомнил, что во время истории с курсантом Фазой он, в сущности, спас Дитриха и испытание проверкой объясняет не чем иным, как только желанием капитана избавиться от свидетеля своего служебного позора.

И решительно заявил, что больше не хочет сохранять все это в тайне...

Такая наступательная тактика возымела свое действие.

Дитрих струсил.

В довершение всего Вайс сказал, что считает Дитриха, затеявшего нелепую проверочную комбинацию, прямым виновником бесславной гибели доблестных сотрудников СС и солдат комендатуры.

Это можно рассматривать как преднамеренное убийство, и за подобное служебное преступление рейхсфюрер Гиммлер, пожалуй, прикажет не расстрелять даже, а позорно повесить. И сейчас Вайс чувствует себя в положении человека, укрывающего преступника.

Хорошо зная, с кем имеет дело, Вайс предупредил Дитриха, что, испытав уже один раз на себе его коварство, он теперь обезопасил себя. Изложил все это на бумаге и послал ее одному другу, который в случае любого несчастья с Вайсом не замедлит передать пакет в СД.

Все это Вайс говорил шепотом, и Дитрих отвечал ему тоже шепотом. И оба они смолкали, когда кончалась очередная пластинка, положенная на патефонный диск.

Дитрих был жалок. Он даже стал советоваться с Вайсом, не застрелиться ли ему, спасая фамильную честь.

Но скоро Иоганну надоело быть безжалостным, да и противно было все время видеть это влажное, дрожащее лицо, пахнущее пудрой.

Он сказал властно:

— Ладно. Но помните, Дитрих: вы мне обязаны всем, а я вам ничем. — И зловеще предупредил: — И если вы хоть на минуту об этом забудете, я не забуду сделать то, о чем я вам говорил.

Хакке до приезда следственной комиссии держали в карцере при расположении «штаба Вали».

Курсанта по кличке «Финик», прибывшего в школу из экспериментального лагеря по рекомендации заключенного № 740014, Иоганн дополнительно проверил через Центр.

В группе радистов новичок сразу выделился своими знаниями и прекрасной подготовкой, и Иоганн, мимоходом сказав Дитриху, что, по-видимому, этот Финик — подходящая кандидатура, совсем не удивился, когда через несколько дней узнал, что курсант зачислен на должность инструктора.

Чего Иоганн, даже с некоторой примесью уважения, не мог не оценить, так это того чопорного самообладания и спесивой великогерманской офицерской амбициозности, с какими его абверовские сослуживцы молчаливо восприняли катастрофическое поражение армий вермахта под Москвой. Никто в расположении «штаба Вали» не проронил об этом ни слова. Казалось, все тут состязались друг перед другом в безукоризненном мастерстве притворства.

Но если раньше здесь как бы витал дух дружеского попустительства, порожденный пренебрежением к противнику и непоколебимой уверенностью в быстром и победоносном завершении восточной кампании, то теперь его сменила жестокая подозрительность, беспощадная дисциплина и безукоризненно точная исполнительность, любое отклонение от которой незамедлительно каралось.

Да, если бы Иоганн в нынешних условиях начал свое продвижение по служебной лестнице абвера, едва ли бы он столь преуспел.

Отбор курсантов в разведывательно-диверсионные школы проводился теперь многоступенчато, с изощренной тщательностью. Кандидатов подвергали такой коварной проверке, что выдерживали ее только самые отъявленные подонки, и немало людей, подготовленных подпольными

лагерными организациями, гибло при этих проверках — цели достигали лишь единицы.

Режим в школах усилился, и за малейшее отступление от правил распорядка пороли, а иногда даже расстреливали.

Но положение Иоганна Вайса было уже совсем иным, чем вначале. В школе у него имелись свои люди. Он расставил их, и по цепочке они руководили друг другом. Только один из них знал Вайса, принимал от него указания, для остальных же он оставался врагом, немцем.

Штейнглиц, зайдя проведать Иоганна во время его болезни, высказал мрачное предположение, что теперь Гиммлер и Гейдрих попытаются причины временных неуспехов на Восточном фронте свалить на абвер, не сумевший разведать истинных сил противника. Канарис, не понимая грозящей ему опасности, полностью отдался маневрам тайной дипломатии, связался с англичанами. Но теперь поздно.

Если до разгрома вермахта под Москвой Черчилль еще колебался, следует ли заключить сепаратный мир с Германией, чтобы совместными усилиями продолжать войну с большевиками, то теперь все кончено.

— Ерунда, — сказал Вайс, — просто ты (он теперь был на дружеской ноге с Штейнглицем) обижен на то, что из Берлина снова пришел отказ использовать тебя как специалиста по западным странам, хотя ты посылаешь уже не первую просьбу об этом.

— А как же я могу быть не обижен? — оживился Штейнглиц. — Я знаю своих старых ребят, которые сейчас делают карьеру и деньги, давно участвуя во всей этой возне с англичанами.

— Заделались дипломатами! — усмехнулся Вайс.

— Нет, зачем же! Работают по специальности. Ведут слежку за теми, кто тайно выполняет дипломатические миссии или играет роль посредников в переговорах. — Спросил: — Ты помнишь ту парочку глухонемых?

Иоганн кивнул.

— Даже эти калеки неплохо заработали в Швейцарии. — Добавил злорадно: — Но им не пришлось получить наличными.

— Почему?

— Парни Гиммлера ликвидировали их. — Вздыхнул. — Очевидно, рейхсфюреру не нравится, что Канарис слишком много берет на себя в переговорах с англичанами.

— Но фюрер знает? Это же предательство.

— Ты дурак или притворяешься? — рассердился Штейнглиц. — Ты что же думаешь, Гесс, будучи первым заместителем фюрера, без его соизволения очертя голову кинулся на англичан с парашютом? Да любому солдату известно, что фюрер остановил Гудериана перед Дюнкерком только для того, чтобы тот не уничтожил начисто английские экспедиционные войска. Им дали возможность унести ноги и души через пролив, с тем чтобы английское правительство на примере этого дружеского со стороны фюрера акта убедилось, что есть еще возможность союзничества с нами против главного противника — России. В этом сказался гений фюрера. А то, что сейчас Гиммлер, Геринг, Риббентроп, наш Канарис и еще кое-кто, каждый порознь, крутят с англичанами, так это не против политики фюрера, а в соответствии с его надеждами. Только каждый из них заинтересован в том, чтобы получше разузнать, о чем разговаривают с англичанами его соперники. И здесь для настоящего профессионала, — такого, допустим, как я, — исключительные возможности выскочить в большую политику. И дают не награды, а чеки: любой банк в любой валюте...

Вайс спросил, какова судьба разведывательно-диверсионной группы, в которую входил курсант Гвоздь.

Штейнглиц сказал, что, хотя самолет, доставлявший группу в советский тыл, не вернулся на базу и двое — старший группы и радист — погибли при неудачном приземлении, руководство оставшимися тремя взял на себя радист Варшавской школы Гвоздь. Он передает ценную информацию, а совсем недавно его группа совершила диверсионный акт, подорвав воинский эшелон.

Штейнглиц сообщил об успешной работе группы без всякого воодушевления. Не то потому, что это был для него самый обычный, рядовой факт агентурной деятельности, не то потому, что в последнее время слишком был озабочен. Ему не давала покоя мысль о том, почему еще в июне 1940 года адмирал Канарис приказал уничтожить его, Штейнглица, докладную записку об исключительной слабости английских вооруженных сил, что полностью соответствовало действительности, и приказал составить другое донесение, в котором силы англичан лживо преувеличивались. А ведь Канарис располагал самыми точными статистическими данными об английских вооруженных силах: шифровальщик американского посольства в Лондо-

не Тейлор Кент передал абверу свыше 1500 кодированных сообщений, заснятых на микро пленку.

Если за этим крылась какая-то политическая комбинация, то Канарис должен был, как это принято, оплатить услугу Штейнглица. А может быть, Канарис вынудил его написать лживую докладную, чтобы потом «держать на крючке»? Но для чего? И без того над ним висит постоянная опасность: Гейдрих знает, что он загнал агента гестапо в лапы Интеллидженс сервис. И никому нет дела, что он поступил так по неведению.

Штейнглиц мучило также одно стыдное воспоминание. Через своего агента он получил информацию о том, что в марте 1940 года Герделер и Шахт, встретившись в Швейцарии с лицом, близким английскому и французскому правительствам, сообщили ему, что Гитлер решил двинуться дальше Данцига и Варшавы, на Восток, и захватить черноземную Украину и нефтяные источники Румынии и Кавказа.

Штейнглиц решил, что в руки ему попал сверхсвежий материал, уличающий двух высокопоставленных особ в шпионаже в пользу иностранных держав. И этот материал даст ему возможность совершить скачок в ранее недосягаемые сферы.

Канарис, получив его рапорт, смял бумагу и даже не уничтожил на спиртовке — бросил в корзину.

Спросил:

— Какие приметы у осла? — И пристально посмотрел на уши Штейнглица. — Вы полагаете... — И потрогал свое ухо. Усмехнулся. Ткнул пальцем в корзину: — Вот они, ослиные ваши приметы.

Только несколько месяцев спустя Штейнглиц узнал, что таким методом Герделер и Шахт по заданию фюрера вывели, что Англия и Франция благосклонно относятся к германской агрессии на Восток.

Вот высший класс разведки тех, кто принадлежит к высшим правящим классам рейха.

А Штейнглиц их чернорабочий. Поэтому его и не радовало, что одна из диверсионных групп, засланных в Россию, успешно выполняет задание. Не те это масштабы, не те.

Пессимистическое настроение не покидало Штейнглица.

Ротмистр Герд в последнее время был также погружен в себя и озабочен.

Дело в том, что он и его тесть состояли пайщиками акционерного общества «Дейч-американише петролеум АГ», капитал которого на 95 процентов принадлежал американской компании «Стандарт ойл», поставлявшей Германии половину всей потребляемой в стране нефти. К началу войны она одного только авиационного бензина поставила на сумму в 20 миллионов долларов. Кроме того, она же построила в Гамбурге крупнейший в мире нефтеперегонный завод и финансировала строительство заводов синтетического бензина.

И Герд должен был срочно выяснить, согласятся ли американские фирмы на то, чтобы британские воздушные силы бомбили на немецкой территории их собственность, включая сюда предприятия автомобильной и танковой промышленности, находящиеся под финансовым контролем Форда и «Дженерал моторс», или не согласятся. И если согласятся, то тогда следует немедленно продумать, в какое дело рентабельнее всего вложить свои страховые премии. Например, в кавказскую или румынскую нефть. Кавказская, несомненно, перспективней в смысле колоссальных дивидендов. Но кто убедит фюрера в том, что разгром Москвы сейчас не столь существен, как захват территории Украины и нефтепосных районов Кавказа?

Следовало бы быть сейчас в Берлине, где делается политика. А он, Герд, вынужден сидеть в предместье Варшавы и готовить агентов для засылки в тыл Красной Армии, когда главное и решающее сейчас вовсе не здесь.

Поразмыслив, Герд написал письмо герцогу Карлу Эдуарду Саксен-Кобург Готскому, он же внук королевы Виктории, носитель титула английского герцога Олбани, и он же — группенфюрер СА. Сопроводив свое послание чеком на предъявителя, Герд просил герцога-группенфюрера СА Карла Эдуарда о дружеской услуге: дать коммерческую деловую консультацию по волнующему его фирму вопросу.

Озабоченный всеми этими чрезвычайной важности делами, ротмистр Герд склонялся к тому, что капиталы все-таки следует вложить в кавказскую нефть. И волновался, как бы англичане во время наступления армий вермахта на Кавказ не переправили туда своих агентов для проведения диверсий на нефтепромыслах. Он помнил, что еще до заключения договора с Румынией абвер заслал в ее нефтеносные районы специальные группы для охраны промыслов от диверсионных акций англичан.

И сейчас Герд серьезно подумывал, не следует ли ему склонить руководство абвера к мысли о засылке подобных групп и на Кавказ, чтобы перед захватом нефтеносных районов обезопасить их от диверсий со стороны противника.

Герд был настолько поглощен всеми этими высшими стратегическими соображениями, что в делах управления школой всецело положился на Штейнглица, обещая ему за эту любезность какую-нибудь хорошо оплачиваемую должность после войны в фирме своего тестя.

Обо всем этом Штейнглиц откровенно поведал Вайсу.

Информацию обо всех соображениях Герда Иоганн передал в Центр.

Даже во время болезни Иоганн Вайс не бездельничал, а работал, собирая с помощью навещавших его сослуживцев информацию, чтобы быть в курсе дел, которые представляли для него существенный интерес.

Так, он узнал, что последняя радиограмма, полученная «штабом Вали» от Гвоздя, носила трагический характер: «Группа накрыта советскими органами контрразведки. Рацию уничтожаем. Если удастся уйти от преследования, будем пытаться перейти линию фронта». Значит, с Гвоздем все в порядке.

Дитрих, основываясь на своем опыте, который он приобрел во время допросов в лагерях, отбирая кандидатуры для школ, пришел к выводу, что у русских чрезвычайно развито чувство братской взаимопомощи, активного сочувствия к тем, кто в нем нуждается. Кроме того, в советских доктринах имеются официальные указания, требующие от граждан чуткости друг к другу. И главное, определяющее: советское гражданское население фанатически патриотично, и каждый советский солдат или офицер, ставший инвалидом после ранения, пользуется глубоким уважением соотечественников, заботой и покровительством властей.

В связи с этим Дитрих считал более чем целесообразным приступить к поискам в лагерях инвалидов.

Впрочем, он мало надеялся на успех, так как обычно лагерная администрация из чисто экономических соображений в первую очередь ликвидировала военнопленных, оставшихся калеками, или создавала им такие условия, при которых они довольно быстро погибали естественным путем.

Дитрих уже дал абвергруппам команду заняться в лагерях поисками военнопленных, лишенных одной из конечностей. А если таких в наличии и не будет обнаружено, то наметить подходящие кандидатуры, чтобы, после проверки их благонадежности, под тем или иным предлогом отправить «на излечение» в госпиталь. Там опытные медики в соответствии с полученными указаниями ампутируют им руку или ногу.

Но пока такой контингент поступит в школу, не следует ли наметить несколько кандидатур из числа уже подготовленных курсантов, которые находятся в несравненно лучшем физическом состоянии, нежели заключенные в лагерях, и исцеление их после операции потребует значительно меньше времени?

По мнению Дитриха, лучше всего ампутировать нижнюю конечность. Это броско, заметно и даст засланному в тыл противника агенту возможность требовать, поскольку руки у него целы, чтобы ему предоставили работу на каком-нибудь оборонном советском предприятии.

Наличие рук позволяет работать, а отсутствие ноги (естественно, потерянной на фронте) — лучшая гарантия того, что агент, поступая на оборонное предприятие, не будет подвергнут слишком тщательной проверке.

Штейнглиц высоко оценил это предложение Дитриха.

Лансдорф, выслушав обоих офицеров со скупающе-брезгливым выражением лица, сказал:

— Нечто подобное проделывали компрачкосы.

Штейнглиц не знал, кто такие компрачкосы, и задумчиво моргал.

Дитрих воскликнул протестующе:

— Но военнопленные не дети!

— Тонкое наблюдение для контрразведчика, — иронически заметил Лансдорф.

Он испытывал одновременно досаду и смутную грусть, только сейчас почувствовав, что с возрастом постепенно утрачивается память и он начинает забывать о многом из своей богатейшей и когда-то весьма изощренной практики.

Еще в годы первой мировой войны, во время боев под Верденом, он придумал летучие разведгруппы, которые спешно инструктировали легко раненных немецких солдат, переодевали во французские мундиры и утаскивали ночью на поле боя. Здесь этих диверсантов подбирали французские санитары и на своих плечах приносили в крепость.

Во время войны в Испании один из коллег Лансдорфа, занимавший должность советника при Франко, вспомнил об этом методе. Легко раненных франкистов переодевали в комбинезоны республиканцев, и по ночам они весьма успешно орудовали пистолетами и взрывчаткой на улицах Мадрида, а днем выставляли напоказ свои толсто перебинтованные конечности и, живо ковыляя на костылях по Рио-де-Гранде, вызывали восторженное поклонение горожан.

Но для Лансдорфа было бы ниже его достоинства кичиться своим блистательным прошлым и напоминать о своих заслугах так, словно они были недооценены. Поэтому, отдавая честь замыслу Дитриха, он снисходительно согласился с ним.

— Ваше предложение в своей основе остроумно и психологически неотразимо. Но... — Лансдорф сложил перед собой ладони и, разглядывая тщательно отполированные, с синеватым оттенком ногти (не то уже сердце: с возрастом оно бьется все медленнее и медленнее), холодно заявил: — Но я решительный противник, — помедлил, — экстравагантностей, подобных насильственному оперированию.

Дитрих живо перебил:

— Никакого насилия. Объект попадает в госпиталь. Там ему внушают необходимость хирургического вмешательства. При современных анестезирующих средствах он даже не испытает болевых ощущений. Проснется и...

Лансдорф поморщился.

Дитрих, заметив это, сказал поспешно:

— В конце концов, нашим хирургам разрешено проводить некоторые медицинские эксперименты на лагерном материале. Я сам видел, посещая спецблоки, как...

— Вы видели, а я не хочу знать об этом, — раздраженно перебил Лансдорф.

— Но все это во имя высоких общечеловеческих целей, — напомнил Дитрих. — Сейчас не средневековье, когда врачей приговаривали к сожжению на костре только за то, что для проникновения в тайны человеческого организма они вскрывали трупы.

— Именно не следует забывать, что сейчас не средневековье, а эпоха цивилизации, которую мы несем человечеству. — Эту фразу Лансдорф произнес почти механически, вспоминая о своей недавней поездке в Берлин.

Там он был на интимном обеде у колченогого Геббельса, этого всемогущего ничтожества, запуганного скандальны-

ми припадками ревности своей супруги Магды, — она даже фюреру сплетничает о всех сластолюбивых прихотях своего мужа и провозвестника новой германской культуры.

Так вот, после обеда Геббельс повел Лансдорфа в свою картинную галерею, где были развешаны полотна, похищенные из прославленных музеев разных европейских стран.

Многие из этих картин Лансдорф помнил еще с тех пор, когда ездил по Европе, выполняя различные специальные миссии, но, будучи просвещенным человеком, находил время посетить пантеоны искусства.

Он поделился с Геббельсом своими воспоминаниями.

Тот сказал озабоченно:

— Вы правы. Существует обычай рассматривать эти изделия как национальные ценности, своего рода собственность государства. Но я по личной просьбе фюрера, Геринга, Гимmlера, Риббентропа и других высоких лиц империи собрал небольшой консилиум из самых выдающихся юристов. И они заверили меня, о чем я информировал заинтересованных лиц, что международные законы предусматривают лишь двадцатилетний срок давности, после которого лицо, совершившее любое деяние, уголовно не наказуется, а владельцу ценностей не может быть предъявлен иск потерпевшей стороны.

— Стоило ли беспокоить юристов? — спросил Лансдорф.

— А почему бы и нет? — в свою очередь, задал вопрос Геббельс. И лукаво осведомился: — Вы заметили, дорогой друг, что в наших коллекциях чувствуется печальное отсутствие предметов из национальных галерей Лондона, Нью-Йорка и, что самое огорчительное, пока ничего нет из Москвы, Ленинграда? Так вот, — сказал он многозначительно, — если стены моей галереи не будут украшены кремлевскими иконами и картинами из Ленинградского Эрмитажа, консультация юристов окажется отнюдь не лишней. Как коллекционер, я проявляю дальновидность, извинительную для коллекционера, и не только для коллекционера, не так ли?

Этот разговор с Геббельсом пришел сейчас на память Лансдорфу не случайно.

И, делая из него столь же дальновидный вывод, Лансдорф сказал Дитриху официальным тоном:

— Как ваш начальник, я запрещаю вам любые действия, которые могут противоречить принципам гуманно-

сти. — Перевел взгляд на Штейнглица, спросил: — Надеюсь, у вас хорошая память и вы при любых обстоятельствах сумеете вспомнить это мое решительное указание? — Задумался. Потом, глядя насмешливо на вытянутые, разочарованные лица офицеров, повторил: — Так вот, я запрещаю всякие насильственные действия. И если кто-либо из курсантов, допустим, во время ознакомления с новыми взрывчатыми веществами или из-за небрежного обращения с оружием получит травматическое повреждение, что часто бывает с солдатами во время боевой подготовки, я, несомненно, наложу строжайшее взыскание на того офицера, который будет проводить эти занятия. Но если потерпевший после выздоровления окажется физически пригодным и выразит добровольное желание продолжить свою агентурную службу, — такой человек достоин всяческого поощрения. — Добавил внушительным тоном: — А вообще ваше намерение использовать инвалидов после ранения на фронте имеет гуманную цель: дать им возможность приобрести профессию и быть полезным рейху. Кстати, обычно калеки ощущают свою неполноценность, их мучает бесперспективность в будущем, и потому они наиболее податливый материал для вербовки. Не только абвер, но и другие наши разведывательные и контрразведывательные органы не раз убеждались в этом. Здесь уже приобретен богатый и плодотворный опыт.

Так, например, майор Штейнглиц, очевидно, полагает, что одно высокопоставленное лицо из английского министерства иностранных дел оказывало нам услуги потому, что стало вдруг поклонником идей фюрера? Увы! Мы воздействовали на него не идеологическими, а медицинскими способами. Предложили нашему соотечественнику, знаменитому лондонскому медику, внушить своему пациенту, что он неизлечимо болен раком, и даже точно определить срок его недолгого пребывания на этом свете. Естественно, тот в состоянии крайней подавленности был озабочен только одним — обеспечить семью после своей смерти. Мы и помогли ему это сделать, высоко оплачивая его услуги. О том, что он снабжал нас документами из нескораемых шкафов «Форин-оффис», вы знаете. — Зевнул, потянулся. — Как видите, господа, цветы новых идей вырастают из семян, собранных нами, стариками.

Все-таки Лансдорф не удержался и удовлетворил свое задетое тщеславие, дав Дитриху понять, что его предложение не столь уж ново, как тот полагал.

Вайс был в курсе идеи, с которой носился Дитрих. Оставалось только узнать, кого из курсантов намечено превратить в инвалидов, а также выяснить, на каком предприятии намечается диверсия. Вайс прежде всего решил ознакомиться с заявкой на отбор соответствующей советской кинохроники. Он уже неоднократно пользовался этим способом, чтобы собирать информацию для Центра.

До сего времени агентуре «штаба Вали» не удавалось пропикнуть ни на одно советское оборонное предприятие. Несмотря на гневные требования Канариса, почти все операции, направленные к этой цели, неизменно срывались.

Теперь диверсии стали готовить в атмосфере исключительной секретности.

При «штабе Вали» был создан особый лагерь, допуск за ограждение которого имели только высшие офицеры. А тем абверовцам, которые работали с подготавливавшимися в лагере группами, запрещалось выходить за его пределы. Вайс не имел туда доступа.

Создание этого секретного лагеря свидетельствовало о новом этапе деятельности «штаба Вали», о том, что перед ним поставлены серьезные задачи, о том, что сейчас он, как никогда раньше, представляет большую опасность для Советской страны.

Строжайшая дисциплина усугубилась еще и тем, что ожидался приезд Канариса, который решил совершить инспекционную поездку по всем частям абвера, нацеленным на Восток.

В этих условиях Иоганну необходимо было соблюдать величайшую осторожность, гибкость и вести себя с вдумчивой неторопливостью даже в таких обстоятельствах, когда каждый день промедления в раскрытии вражеских замыслов приближал грозную опасность.

Начальник женского филиала Варшавской разведывательной школы, капитан созданной немцами из изменников и предателей так называемой «Русской освободительной армии» (РОА), Клавдия-Клара Ауфбаум-Зеленко была дама образованная и с большим житейским опытом.

Так, по ее настоянию, еще в 1920 году ее супруг Фриц Ауфбаум, бывший бухгалтер донецкой шахты, принадлежавшей бельгийской компании, переименовал не только имя

и фамилию, но и специальность и при советской власти занял уже должность главного инженера. В этом не было ничего удивительного. Нужда в технической интеллигенции была огромная. Недостаток знаний искупался у новоявленного главного инженера умением солидно держаться с подчиненными, немногословием и беспрекословным исполнением приказаний и рекомендаций любого начальства. Это был человек недалекий, но безбоязненный в своем самозванстве, ибо втайне он был глубоко убежден в том, что русские и украинцы — это полуазиаты. А поскольку он, Ауфбаум, чистопородный европеец, — этого вполне достаточно для того, чтобы руководить ими, тем более что среди подчиненных попадались люди, хорошо осведомленные о том, о чем сам он имел весьма смутное представление.

Клавдия Зеленко увлекалась украинской стариной и даже опубликовала в этнографическом журнале какой-то труд по этому вопросу. Потом, когда мужа перевели в Брянск, она начала увлекаться и русской стариной.

В тот период, когда из стахановцев, прославивших себя трудовыми рекордами, стали готовить командиров производства, Клавдия Зеленко преподавала этим уважаемым взрослым людям немецкий язык.

Это дало ей возможность приобрести связи с теми из них, кто стал потом руководить крупными предприятиями.

Будучи человеком трудолюбивым, она переводила немецкую техническую литературу на русский язык и хорошо зарабатывала. А затем стала переводить с русского языка на немецкий те труды советских металлургов и угольщиков, которые интересовали немецких издателей.

Несколько раз Федор Зеленко ездил в командировки в Германию.

Там, узнав, что он немец, к нему проявили особый интерес, пытались завербовать. Выслушав все предложения и посулы, тщательно все взвесив, Зеленко-Ауфбаум уклонился от этих предложений: его положение в Советской стране, прочное, солидное и перспективное, прельщало его больше, чем роль германского агента.

Вернувшись домой, он счел выгодным для себя сообщить об этих предложениях ГПУ, а также своей супруге. Данная им информация еще более упрочила доверие к нему. Что же касается супруги, то тут реакция была несколько неожиданной.

Клава-Клара, будучи женщиной пылкой, с сильно развитым воображением, не только увидела в этом некую

романтику, но и воспылала страстной тоской по земле своих предков. И, вопреки воле мужа, связалась с одним работником издательства, где она сотрудничала, оказавшимся немецким агентом.

Воображая себя новой Мата Хари, вдохновленная своей новой деятельностью, Клава-Клара даже похорошела, похудев от хлопотных переживаний и восстановив тем самым девическую статность фигуры.

Но тут — и притом с самой неожиданной стороны — на семейство Зеленко-Ауфбаум обрушился удар.

У них был пятнадцатилетний сын, комсомолец.

Образ Павки Корчагина служил ему идеалом. Он бросил школу и, вопреки родительской воле, вступил в молодежную бригаду на одной из шахт, находившихся в состоянии прорыва.

Работали жаростно, самоотверженно, но, несмотря на все, жили впроголодь, так как, не имея еще опыта, да и физических силенок, не могли выполнять нормы.

И вот однажды, приехав домой, чтобы вымыться и за один день отъесться за все дни недоедания, сын услышал, как ночью шепотом его отец категорически требовал от матери, чтобы она прекратила свои сношения с немецким агентом.

Сын ворвался в спальню родителей и спросил с ужасом:

— Это правда?!

Клава-Клара после всех слов, сказанных ей мужем и сыном, крикнула с отчаянием:

— Можете доносить на меня!

— Ну что ж, я так и сделаю, — сказал сын. И, вырвавшись от отца, который пытался удержать его, ушел из дома.

А наутро Федор Зеленко, войдя в гараж, где стояла собственная «эмка» — премия за выполнение на сто четырнадцать процентов годового плана предприятием, которым он руководил, — обнаружил, что сын повесился.

У Федора Зеленко не нашлось душевных сил после этого несчастья поступить так, как собирался поступить его сын: потрясенного случившимся, его в невменяемом состоянии пришлось отвезти в психиатрическую лечебницу.

Прервав после смерти сына и болезни мужа связи с немецким агентом, Клара благодаря помощи бывшего своего ученика, ставшего одним из крупных командиров промышленности, получила должность преподавателя в десятилетке, а затем даже стала ее директором.

Когда немецкая армия оккупировала город, где жила Клава-Клара, ее забрали в лагерь. Продержали несколько месяцев и после всесторонней проверки зачислили переводчицей в формирование РОА, а потом, учитывая ее энергичную деятельность и немецкое происхождение, дали, не без участия гестапо, капитанский чин и пост начальницы женской разведывательной школы.

Эта школа, расположенная, как и Варшавская, в дачной местности, готовила разведчиц-радисток. Обучение продолжалось шесть месяцев.

Затем курсанток отвозили в центральную школу, где в течение еще одного месяца они проходили подготовку совместно с мужчинами — каждая со своим напарником.

Командование «штаба Вали» полагало более целесообразным использовать в качестве радистов женщин, а не мужчин. Ибо мужчина призывного возраста, долго живущий на одном месте, скорее навлечет на себя подозрение, чем женщина, которая может выдавать себя за беженку из оккупированных немцами областей или за эвакуированную и даже вызывать этим сочувствие к себе местного населения.

Контингент курсанток вербовался из лагерей и тюрем, где сотрудники СС и гестапо подвергали их подготовительным испытаниям. После этого, отобрав соответствующую подписку, их обычно привозили в школу в самом плачевном состоянии, и начальнику охраны, доставлявшей будущих курсанток, приходилось каждый раз заверять капитана Клару Ауфбаум: компетентная медицинская экспертиза дала справку, что доставленная (или доставленные) не имеет тяжелых повреждений жизненно важных внутренних органов и обязательно выживет.

Абвергруппы, полиция, немецкие комендатуры, действующие в оккупированных районах, также оказывали содействие школе, поставляя кадры, уже проверенные у них на работе.

Эти привилегированные особы прибывали не столько с охраной, сколько с сопровождающими лицами, выглядели весьма неплохо, были прилично одеты и вначале держали себя развязно. Но капитан Клара Ауфбаум своеобразным способом быстро давала им понять, что здесь не публичный дом, а разведывательное училище с более строгим, чем даже армейский, порядком.

Сама капитан Ауфбаум, правда, никогда лично не применяла физических методов воспитания.

Для этой цели имелся специальный человек — помощник начальницы школы по политической части, лейтенант РОА, горделиво именовавшая себя Ингой Ратмировой, но откликавшаяся и на имя Нюрка, — коренастая, широкоплечая, с тучным вздернутым задом, затянутым в бриджи, коротко стриженная, с ровной челкой на низком лбу и коричневыми, прокуренными зубами. У нее были мужские манеры и мужские повадки.

Женщины, прибывавшие из оккупированных районов, уже имели опыт по части сотрудничества с немцами и умения завязывать с ними связи, к тому же они не утратили физического здоровья. Поэтому они давали решительный отпор Нюрке, когда та пыталась проявить кое-какие свои специфические наклонности, но некоторых, измученных и обессиленных пытками и допросами в тюрьмах гестапо, девушек она, делая вид, что заботливо ухаживает за ними, понуждала уступать ей.

Сама капитан Клара Ауфбаум отличалась высоконравственным поведением, несмотря на то, что благодаря гигиеническому образу жизни выглядела очень молодо, и никто не мог бы сказать, что этой женщине за сорок. И мундир шел к ее фигуре, и ее остроносое, с птичьим профилем лицо было свежим, и на высокой шее ни одной морщины.

Некоторые пожилые, степенные офицеры абвера были бы не прочь завязать с ней необременительные приятные отношения, в крайнем случае даже супружеские, но она мужественно отклоняла все домогательства, так как считала безнравственным выходить замуж при наличии живого мужа. А кратковременные, легкие связи — это было ниже ее достоинства.

Порочные склонности Нюрки вызывали у нее естественное чувство брезгливости. Но, в душе страшась этой иногда впадавшей в яростное бешенство, способной на все уголовницы, капитан Ауфбаум ограничивала протесты по поводу непристойного поведения своего заместителя по политической части тем, что с холодной и жестокой ненавистью преследовала курсанток, которые пользовались благосклонностью Нюрки.

За малейший проступок она отчисляла их в концлагерь. А если проступок был серьезным, то направляла в подразделение СС, расположенное неподалеку от школы. Ликвидационными операциями это подразделение занималось в районе мусорной свалки, вокруг которой были

поставлены столбы с надписями «Запретная зона», обычными для мест, где производились казни.

Когда в школу с хозяйственной, финансовой или учебной инспекцией приезжали офицеры абвера, капитан Ауфбаум встречала их очень гостеприимно. И сама руководила в таких случаях приготовлением обедов и ужинов, чтобы побаловать «гостей» домашней стряпней.

После обильного ужина и столь же обильной выпивки, дабы отклонить ухаживания, затрагивающие ее женское и офицерское достоинство, капитан Ауфбаум, выбрав момент, любезно предлагала легкомысленно настроившемуся гостю просмотреть личные дела ее курсанток, в которых имелись фотографии. Если внимание гостя привлекало какое-либо дело, она говорила, что дополнительные сведения тот может получить непосредственно от интересующей его курсантки, и давала приказание вызвать девушку в комнату, специально предназначенную для инспектирующих чинов абвера.

Этот ее способ избавляться от фамильярничания старших по званию или по занимаемой должности офицеров вызывал возмущение и протесты ее заместителя. Но объяснялись они не столько соображениями нравственными, сколько самой низменной ревностью.

Понимая это, капитан Ауфбаум строго делала соответствующее внушение и приказывала:

— Лейтенант, смирно! Кругом марш!

И лейтенант Нюрка вынуждена была подчиняться священным правилам армейской дисциплины, столь же неукоснительной в абвере, как и в частях вермахта.

Вильгельм Канарис, сын директора Рурской металлургической фирмы, лощеный офицер крейсера «Бремен», приобрел на этой плавучей базе германской разведки специальность, приведшую его ныне к высокой должности начальника абвера.

Канарис считался человеком светским, порой склонным к отвлеченным философским рассуждениям, к которым он прибегал, стремясь уклониться от высказывания прямых и ясных суждений.

Его дружба с начальником гестапо Гейдрихом, тоже бывшим офицером крейсера «Бремен», но уволенным с флота за порочные наклонности, зиждилась не на юношеских воспоминаниях.

Оба они имели все основания бояться, презирать, ненавидеть друг друга.

Руководствуясь своего рода смелостью, смешанной с коварством, они предпочли видимость дружбы откровенной вражде, прощупывающие схватки на короткой дистанции — бою на длинных, но независимо от дистанции эти схватки были в равной степени обоюдно опасны.

Наиболее удачные разведывательные операции Канарис обычно проводил, опираясь на деловые круги немецких промышленников. Используя свои международные связи, они весьма охотно и успешно выполняли разведывательные поручения абвера, совпадающие с экономическими интересами германских концернов. Тем более что, помимо всего прочего, концерны располагали своими собственными специальными разведывательными отделами, состоящими на бюджете фирм.

Самую бесценную для фюрера информацию Канарис получал из уст тех лиц, которые правили германской промышленностью и одновременно были компаньонами столь же могущественных магнатов США, Англии, Франции.

Этот обоюдный обмен деловых людей деловой информацией только крайне бестактный и невоспитанный человек мог бы назвать шпионажем, наносящим ущерб безопасности стран, гражданами которых они числились. Но так или иначе баснословные прочные дивиденды были им обеспечены при всех условиях, даже в том случае, если между этими странами возникнет война.

Естественно, что директоров крупнейших германских фирм, возвращающихся из зарубежных вояжей, Канарис не рассматривал как вульгарных агентов и не платил им из специального секретного фонда абвера за их разведывательные услуги. Напротив, они сами с готовностью предлагали вознаграждение для имперских министров, маршалов и фельдмаршалов, с тем чтобы те форсировали военные заказы германским концернам.

Кроме того, директора хотели получить соответствующие субсидии, чтобы быстрее начать выпуск продукции по патентам, добытым у зарубежных компаньонов, предприятия которых также выполняли военные заказы своих правительств.

Так, например, совершенно братские коммерческие связи установились между немецкой фирмой «Карл Цейс» и американской «Бауш энд Ломб», и в угоду уважаемому партнеру американская фирма отказала союзной держа-

ве — Англии, когда та попросила выполнить заказ на военную оптику.

Как известно, построенные в Германии заводы «Опель», выпускавшие военную продукцию, являлись собственностью американской «Дженерал моторс».

Что же касается Гуго Стиннеса — владыки Рура, то он предусмотрительно создал за океаном фирму «Гуго Стиннес индастриз корпорейшн» (Нью-Йорк). В Англии, в центре Глазго, возвышалось здание с вывеской «Гуго Стиннес лимитед». Надо отметить, что в период самого разнузданного расизма в Германии немецкие магнаты становились, так сказать, выше предрассудков и вступали в тесные не только финансовые, но и родственные связи с такими влиятельными иностранными семьями, ни одна из которых не смогла бы пройти даже самой снисходительной проверки в расовом чистилище рейха.

Таким образом, то, что составляло сокровенную, строящую государственную тайну, служило лишь предметом дружеской болтовни между промышленно-финансовыми партнерами, сплоченными общими коммерческими интересами.

Для подстегивания Гитлера в его агрессивных планах рурские промышленники были заинтересованы в некотором преувеличении сведений о военной мощи США, Англии, Франции. Финансируя военное производство, используя все средства фашистского террора внутри страны, они надеялись полностью парализовать недовольство рабочих масс.

Кроме того, им желательно было, чтобы фюрер не имел истинного представления о военной мощи СССР, так как это могло несколько притупить его воинственный пыл в отношении большевизма. Тем более что зарубежные компаньоны германских магнатов порой снисходительно шли на значительные уступки в твердой надежде на то, что гитлеровская Германия, осуществив поход на Восток, создаст самую плодотворную почву для процветания корпораций, сливших свои капиталы и политические чаяния.

И Вильгельм Канарис за услуги агентурной информации, оказанные ему германскими магнатами, расплачивался тем, что информировал фюрера в заранее обусловленном направлении и духе.

Что до Гейдриха, то его уделом была разведка внутри страны, которой он и занимался успешно, во всеоружии своего опыта.

Менее удачливо Гейдрих конкурировал с Канарисом в области разведки и контрразведки за рубежом, не располагая для этой цели столь ценными кадрами, как его соперник.

Для получения сведений из иностранных политических кругов Канарис пользовался услугами самых родовитых аристократических семей рейха, чьи имена были записаны в готском альманахе — племенном справочнике титулованной знати.

Правда, здесь ему приходилось прибегать к крупным изъятиям из секретного фонда абвера в западной, стойкой валюте.

Но такие расходы всегда были оправданы.

Эти люди с громкими титулами, даже если и не занимали официальных государственных постов, обладали способностью при встречах в других странах с себе подобными со свободной небрежностью, будто между прочим, выводить важнейшие политические секреты. Этим секретам в так называемом высшем обществе придавалось куда меньше значения, чем семейным тайнам, затрагивающим честь именитых фамилий.

Особое дарование в этой области проявил, например, князь Гогенлоэ.

А разве не бесценны были услуги французского маршала Петэна? Еще будучи французским послом в Мадриде, он систематически информировал Франко о состоянии французских вооруженных сил, твердо уверенный в том, что это незамедлительно станет известно Гитлеру и усердие информатора не будет забыто.

А знаменитый американец Чарльз Линдберг — поклонник фюрера, принятый в Лондоне с распростертыми объятиями!.. Сей национальный герой США с рабым усердием обстоятельно сообщал немецким друзьям о возможностях воздушного флота как Америки, так и Великобритании.

А услуги Ватикана...

Да, Канарис мог позволить себе изображать просвещенного гурмана, покровителя искусств, нежного любителя такс, чудака, развлекающегося игрой на флейте, выращивающего в оранжерее редкие тропические растения, и, облачившись во фрак, принимать на своей загородной вилле агентов с такой торжественностью и почтительностью, какой заслуживают особы высшей знати и владыки немецкой промышленности.

И хотя сферы деятельности между Гейдрихом и Канарисом были официально поделены: Канарис занимался разведкой иностранной, Гейдрих — разведкой внутри страны, — оба они стремились залезть в охотничьи угодья друг к другу.

Гейдрих — с целью слежки за абвером, Канарис — с целью собрать как можно больше грязи, как можно больше нужных ему сведений о тех, кто входил в правящую клику, чтобы держать их в случае нужды на привязи.

И каждый в этой конкурентной борьбе стремился изловить и предать другого, чтобы прибрать хозяйство павшего к своим рукам.

После семейной партии в крокет Канарис и Гейдрих, оставив жен в саду, удалились в кабинет, чтобы поболтать наедине в ожидании обеда.

Гейдрих даже во время игры в крокет не решился расстегнуть пуговицы на кителе.

Он, как всегда, был чопорно-подтянут и, если проигрывал, сжимал узкие губы так, что они белели.

Канарис, напротив, небрежно относился к своему туалету, а проигрывая, умел так ликовать, так радоваться успеху противника, что у того возникало ощущение невольной досады: стоило ли так усердно стремиться к победе ради того только, чтобы доставить удовольствие своему партнеру?

Гейдрих коротко рассказал Канарису о полученном им рапорте, в котором сообщалось, что в одной из разведывательных женских школ абвера курсантка совершила покушение на жизнь сотрудника гестапо.

— Знаю, — лениво сказал Канарис. — Истеричка. — И заметил предостерегающе: — Если ваши ребята не видят разницы между известными домами и моими школами и ведут себя там неподобающим образом, не мне, а вам следует призвать их к порядку. — И ехидно добавил: — В сущности, у вас больше опыта работы с женской агентурой. Когда вы были начальником тайной уголовной полиции, берлинские уличные профессионалки, кажется, составляли наиболее надежную вашу сеть? Здесь же материал иного порядка. У этих, очевидно, еще не изжиты некоторые представления о женской чести.

— Я не знал, что ваши школы подобны пансионатам для благородных девиц, — съязвил Гейдрих.

Канарис добродушно улыбнулся.

— Дорогой друг! В силу своей биологической природы женщины самим богом поставлены в зависимое положение от нас, мужчин. Но и мы, мужчины, по законам физиологии в некоторой мере зависимы от женщины. Ибо все, что мы делаем,— это воля тайного инстинкта, объемлющего всю нашу сущность и являющегося духовной субстанцией, пренебрегать которой и вредно и опасно.— Последние слова он произнес подчеркнуто угрожающим тоном.

— Не мне ли грозит подобная опасность?

— Ну что вы! — запротестовал Канарис.— Я имел в виду только одно: согласитесь, этот ваш унтершарфюрер после возвращения из госпиталя заслуживает наказания. Ведь своими действиями он чуть было не испортил ценный материал, подготавливаемый нами для важного задания. Теперь же выполнение этого задания непозволительно откладывается из-за чуть было не утраченных упомянутым объектом необходимых иллюзий. А без иллюзий человечество одичало бы. Мы все жертвы иллюзий.— Сказал со вздохом: — Я, например, всегда мечтал стать знаменитым музыкантом.— Сокрушенно развел руками.— И что же? Вы даже мне в утешение не скажете: «Канарис играет на флейте как виртуоз». По моим данным,— он обольстительно улыбнулся,— вы высказывали нечто совсем противоположное. А по сведениям из другого источника,— речь идет о вопросе, меньше задевающим мое самолюбие,— даже изволили высказать предположение, будто я нашему десанту в Англию предпочитаю английский десант на нашу территорию с целью совместного ведения войны против России.

Глаза Гейдриха стали леденяще внимательными.

— Кстати,— столь же внимательно глядя на Гейдриха, деловито продолжал Канарис,— у Черчилля за плечами опыт высадки английских экспедиционных войск на Севере России. Об этом нам не следует ни при каких обстоятельствах забывать. И если б он в новых условиях и на новых условиях применил, уже совместно с нами, свой опыт, мы могли бы потом в новом варианте вернуться к операции «Морской лев», хотя этого льва когда-то сильно потрепали русские. Но это, конечно, в том случае, если б Черчилль не против нас, а с нами принял участие в Восточной кампании.— Упрекнул: — И напрасно вы расправились с моими глухонемыми в Швейцарии. Меня только интересовало, насколько плодотворно ваши люди ведут переговоры с англичанами, чтобы потом, получив информацию, дать вам несколько добрых советов в обоюдных наших интересах.

И вдруг такая бестактность! Впрочем, я не протестую: они знали много лишнего. Поэтому позвольте рассматривать это как чисто дружескую услугу гестапо абверу. — Объявил насмешливо: — Считайте меня обязанным вам.

Гейдрих молча глядел на световые блики, играющие на носках его ярко начищенных сапог.

Спросил хмуро:

— Так как же мы поступим с этим раненым унтершарфюрером?

— Дайте ему медаль. Если он не дурак, то сумеет понять совершенную им глупость. А если не поймет, пусть на фронте покажет свою храбрость. Хотя не одолеть девчонку — позор для эсэсовца!

— Хорошо, — согласился Гейдрих. И, осторожно дрогнув щекой, что означало улыбку, дружеским тоном осведомился: — Насколько мне известно, эта русская — дочь репрессированного советского полковника?

— Да, — небрежно подтвердил Канарис и положил руку на костлявое плечо Гейдриха. Сказал с шутливым упреком: — И эту девицу, дочь благородного советского полковника, ваш парень хотел лишить иллюзий. — Добавил игриво: — А также и... Ай-ай, как нехорошо! Неприлично. Невоспитанно. Мы же европейцы... — Спросил деловито: — Лансдорфа знаете?

Гейдрих угрюмо кивнул.

— Великий человек, — с искренним восхищением сказал Канарис. — Он обещал мне подыскать там у себя, в «штабе Вали», настоящего арийца — благовоспитанного, абсолютно надежного и обладающего соответствующей внешностью. Тот с полной деликатностью и целомудренностью совершит с этой девицей небольшую туристскую развлекательную поездку. Успокоит и вдохновит на работу, которую она обязана будет выполнить. Вот так, мой друг... Нам нужен подходящий человек для засылки в крупный армейский штаб. Надеюсь, что ее сумеют хорошо подготовить... — Признался с легким вздохом: — Это моя слабость — предпочитаю агентуру не из подонков, которые, увы, заполняют наши разведшколы, нацеленные на Восток.

Вошел пожилой лакей с мясистым лицом, задрапированным профессорскими, торжественными морщинами. Он получал жалованье как лейтенант абвера и одновременно почти такую же сумму как агент гестапо.

Объявил:

— Кушать подано...

«Самая большая роскошь — это чистота». Говоря так курсанткам, капитан РОА Клара Ауфбаум без всяких иллюзий имела в виду только чистоту помещений и одежды.

Инспектировавший однажды школу представитель «штаба Вали» Эрнст Гаген поучал ее:

— Женственность для агентки имеет две стороны — положительную и отрицательную. Первая — приманка. Вторая — применяя эту приманку, агентка может настолько увлечься, что превратит ее в самоцель, забудет, ради чего она использует свою внешность как приманку.

В цивилизованных государствах — я исключаю из их числа Россию, — кроме продажных женщин известной профессии, имеются мужчины, посвятившие себя такого же рода деятельности. Мы их используем только в западных направлениях. Что касается этих наших восточных агенток, то мы не ставим вам в упрек слишком завышенный процент самоубийств среди них. Среди мужского контингента тоже бывают подобного рода инциденты. Причем способы, применяемые для этой цели, обычно старомодны. — Поясняя, Гаген растопырил пальцы и коснулся ими своей старческой, морщинистой шеи. — И тут мы почти бессильны лишить их самых примитивных бытовых средств, которые они используют для того, чтобы лишать себя жизни. Так что, повторяю, с этой стороны у нас к вам нет особых претензий.

Но есть момент в подготовке агенток, представляющий серьезную проблему.

Действуя в тылу противника, идя на сближение с интересующими нас лицами, они, естественно, обязаны энергично пользоваться теми дарами, которыми их снабдила природа.

У цивилизованных наций, в особенности это касается образованных кругов, выработались совершенно здоровые суждения, далекие от рабских понятий так называемой морали, освобождающие от каких-то там нравственных обязательств при решении физиологических вопросов.

У восточных рас все еще господствуют первобытные представления. Они чрезмерно преувеличивают интимную сторону жизни, предаются совестливым переживаниям, дрожат от мистического страха перед возмездием, и все это по таким поводам, которые для культурных людей давно уже не составляют никаких проблем.

— Следовательно,— Гаген все-таки опустил глаза,— свободное общение ваших курсанток с нашими военнослужащими входит в задачи подготовки агенток так же, как и обязательная программа их обучения. Следует, конечно, строжайше следить, чтобы при общении не возникало никаких обоюдных привязанностей. Этого можно добиться, решительно не допуская повторных встреч.

Таким образом мы обезопасим агенток и будем уверены, что при исполнении ими своих обязанностей у них не возникнут лирические чувства, которые могли бы привести их к излишней откровенности при выполнении заданий в тылу противника.

— Господин Гаген,— внушительно заявила Ауфбаум,— вы забываете о Священном писании.

— Я христианин, фрау капитан,— сухо сказал Гаген.— И не нуждаюсь в том, чтобы мне напоминали об этом.

— Но вспомните Марию Магдалину, она все-таки раскаялась. И я не уверена, что ваше предложение может стать радикальной гарантией.

— Мария Магдалина — исключение,— строго заметил Гаген.— И весьма желательно, в ваших же интересах, чтобы подобных феноменов среди ваших агенток не оказалось.

Повинуясь инструктажу Гагена, как представителя руководящего «штаба Вали», капитан Клара Ауфбаум дала служащим школы соответствующие указания.

И не только офицеры квартирующих поблизости частей, но даже младшие чины получили доступ в школу.

Две попытки самоубийства — одна из них закончилась смертью курсантки — не смутили командование школы, твердо выполняющее указания свыше.

Но то, что одна из курсанток нанесла ранение унтер-шарфюреру СС, пятном ложилось на школу.

Эту курсантку, вскрывшую потом себе вены осколком стекла, вернули к жизни, с тем чтобы торжественно расстрелять во дворе школы, в назидание всем другим.

Но неожиданно пришел приказ освободить арестованную из заточения. А для расследования происшествия должен был прибыть полномочный представитель «штаба Вали».

Этим особоуполномоченным представителем оказался Иоганн Вайс.

Его снабдили инструкцией, предписывающей строжайше наказывать виновников, а потерпевшей разрешить деся-

тидневное путешествие по любому избранному ею маршруту. Цель — отдых и развлечения.

Причем Вайс, оказывая девушке всяческое уважительное внимание, должен был сопровождать ее в этом путешествии.

В день приезда Вайса в школу прибыл также полковник РОА Сорокин, который получил приказ выполнять на месте все распоряжения представителя абвера.

Вызывая поочередно курсанток для допроса, Вайс убедился, до какой степени утраты даже тени человеческого достоинства довел этих женщин метод, порекомендованный Гагеном.

Одни из них, оступившие и безразличные ко всему, не способны были даже понять вопросы, которые им задавались. Все время испуганно смотрели на руки Вайса и, съежившись, закрывали глаза, когда он непроизвольно делал резкое движение.

Лица у них были одутловатые, а глаза тусклые, с неподвижными зрачками.

С усилием они произносили «да», «нет», «не могу знать». И каждый раз при этом вставали, вытянув руки по швам и вздернув подбородок.

Другие, истерично возбужденные, почти до невменяемости взвинченные, хохотали, плакали, ругались, нагло требовали сигарет, водки, обещая за это все, что угодно. Говорили безудержно, но в горячем потоке слов Вайс не мог уловить какого-либо смысла, не мог добиться от них ответа на свои вопросы. Многие из них страдали нервным тиком: у них дергались подбородки, нижние веки, беспрестанно дрожали пальцы. Это были психически искаленные люди. Полупомешанные.

Но самое гнетущее впечатление произвели те, кто не потерял еще здесь полностью психического и физического здоровья. Большинство их озлобилось и ожесточилось в лагерях настолько, что им было безразлично, кто станет потом жертвой их преступлений. Чаще всего это были здоровенные бабы, тупые, с уголовным прошлым. В лагерях они были блоковыми надзирателями, избрав предательство и палачество, чтобы продлить свою жизнь, добыть сытость, приобрести власть зверя над людьми.

Одна такая, с обрюзгим и тяжеловесным лицом и выщипанными в ниточку бровями, заявила Вайсу обиженно:

— И никакого унижения я в этом не вижу. Все вполне нормально. Тут им не кружок самодеятельности.

— А вам?..

— А я — не они. Я идейная. Своя крупорушка у отца была. А муж — скорняк, до последнего на дому мастерскую держал. Как могли, от властей свою зажиточную жизнь спасали. — Сказала презрительно: — Тут девки больше какие? С которыми немецкие офицеры побаловались. В казино водили, вежливо, как невест. А после сдали в СС, ну, а те сюда, на пансион. Только какие из них шпионки? Одно название. По ночам спать не дают. Плачут. А о чем? О советской власти. Вот она им теперь, советская власть! — и показала кукиш. Порекомендовала внушительно: — Я бы, господин офицер, на вашем месте сюда из кого кадры подбирала? Исключительно из пожилых, которые понимают толк в жизни, про которых точно известно, что они советской властью обижены. Мне, например, ни медали, ни ордена за мое геройство не надо. Мне бы патент на торговлю меховыми товарами. Тут я в люди выйду, будьте уверены.

— И много тут таких, как вы?

— Раз, два — и обчелся. А вот в РОА имеется публика положительная. Унтер-офицер Полканов о бане мечтает. Его предки по банному делу шли, на нем капитал собрали. — Спросила с надеждой: — Большевиков прогонят, тогда возврат на полную катушку для вольной коммерции?

Вайс сощурился, сказал строго:

— Но не для вас.

— Это почему же?

— Как вам известно по материалам РОА, Россия станет нашей колонией, и подобные вам обученные люди будут и в дальнейшем выполнять карательные функции по отношению к местному населению.

— Ну что ж, значит, причислят к фельдполиции. Я так вас поняла? — Вздохнула. — Ну что ж. Тоже должность.

Сорокин, полковник РОА, тучный, бравый, с венчиком крашенных в ярко-черный цвет волос вокруг белой лысины, страдал астмой и потому говорил с одышкой.

Преданно глядя в глаза Вайсу, заверял:

— У нас в РОА модерна не признают, всяких там современных фокусов. По старинке, как деды и прадеды. Порем. Есть такие мастера-уникумы! В гестапо подобных не имеется. Там по-европейски, с применением всякой техники. А у нас в РОА с обыкновенным сыромятным ремешком виртуозы!

Вайс сказал полковнику, чтобы тот дополнительно допросил лейтенанта Нюрку и ее пособницу о деле унтер-

шарфюрера СС. А капитана Ауфбаум он допросит сам. Затем в сопровождении капитана Ауфбаум обошел общежитие курсанток. Это был такой же барак, как и в «штабе Вали».

Удушливо воняло дезинфекцией. К этой вони примешивался приторный запах крема, одеколона, пудры — всей той косметики, которую выдавали курсанткам в дни приезда начальства.

Ауфбаум внимательно оглядывала напряженные, напудренные лица стоявших по команде «смирно» женщин. Одни из них намалевались тщательно, аккуратно, другие нарочито небрежно, как бы в издевку над собой. Таким она делала строгие замечания. Объяснила Вайсу, что у курсанток есть также партикулярная одежда. Но хранится она в кладовой и выдается по мере надобности, в отдельных случаях.

— Например? — спросил Вайс.

Ауфбаум замялась:

— Ну... когда кто-нибудь из приезжих имеет желание побеседовать...

— Понятно, — сказал Вайс.

— Белье им мы выдаем солдатское. Но разрешаем обрезать кальсоны. А из обрезков они шьют себе лифчики.

— Дисциплинарные взыскания?

— Это миссия моего заместителя, лейтенанта, — уклончиво объяснила Ауфбаум.

— Есть жалобы, претензии?

Никто из женщин не ответил.

Вайс спросил девицу с обезображенным ожогами лицом:

— Это что у вас?

Ауфбаум поспешно сообщила:

— Это она сама, утюгом.

— Странно. Обычно утюгом лицо не гладят.

Стоящая в стороне толстая, ярко намалеванная девица объяснила мстительно:

— Это она нарочно рожу испортила, чтобы ее к офицерам пореже вызывали. Чтобы другие за нее отдувались.

— Так, любопытно, — сказал Вайс. Спросил девушку с обожженным лицом: — Ваша фамилия?

— Нет у меня ни имени, ни фамилии.

— Кличка?

— «Штырь», — сказала Ауфбаум и пожаловалась: — Я полагала, поскольку у меня женский состав, давать клички по названиям цветов, но командование не одобрило.

Курсантку по кличке «Спица», ради которой он прибыл сюда, Вайс решил посетить один, без сопровождающих.

Ему указали комнату, где ее держали взаперти.

На топчане сидела тоненькая девушка в длинном, слишком широком для нее, расшитом блестками платье.

Маленькое, бледное личико, темные, чуть выющиеся короткие волосы, еще не успевшие отрасти после лагеря. Опухший большой рот, вставшие глаза, высокая, тонкая шея. Руки на запястьях забинтованы.

Она была такая худенькая, тоненькая и легкая, что матрац, положенный на топчан, не проминался под ней.

Иоганн вежливо представился и объяснил цель своего визита. Она молча выслушала, сказала:

— Врете.

— Вы сможете сами убедиться: виновники будут строжайшим образом наказаны.

— Увидим.

— Разрешите присесть? — И Вайс опустился на топчан. Девушка вскочила, бросилась к двери, толкнула ее. Дверь распахнулась.

— Может, нам лучше беседовать не здесь? — Вайс тоже встал.

— А я не желаю с вами *беседовать*!

— Тогда назовем это иначе. Вы дадите мне некоторые показания, которые необходимы как формальность, хотя мне уже все ясно.

Она спросила, озлобленно улыбаясь:

— А если все ясно, зачем вам нужна я?

— Можно узнать ваше имя?

— У меня есть кличка — «Спица».

— Пожалуйста, ваше имя.

— Допустим, Инга.

— Вы Инга, а я Иоганн — приятное созвучие.

— В таком случае я Ольга.

— Это правда?

— Вы уже начинаете допрашивать?

— Знаете что, — дружески сказал Иоганн, — мне не нравится ваше платье, уж очень оно такое...

— Какое «такое»?

— Ну, сами знаете... Я попрошу, чтобы вам дали другое.

— Шелк, блестки...

— Вот именно. И поэтому оно вам не идет.

Девушка внимательно посмотрела в глаза Вайсу.

— Зря притворяетесь. Вы, гестаповцы, вначале всегда так...

— А потом?

— Вы сами знаете, что потом. Ведь я дала подписку... Мне можно теперь приказывать все, что угодно.

Глаза девушки потускнели, погасли.

Вайс сказал резко:

— Фрейлейн, у меня есть основания курсантку по кличке «Штырь», — напомнил: — Ну, ту, которая обожгла себе лицо утюгом, подозревать в сокрытии своих истинных убеждений. Ее следует направить обратно в штрафной блок Равенсбрюка.

— Ну что вы! — всполошилась Ольга. — Она... Она настоящая контрреволюционерка и поклонница фюрера! — Лицо девушки выражало отчаяние и тревогу.

— Вы убеждены в этом?

— Да-да, полностью! — горячо заявила Ольга.

— Ваше свидетельство для нас настолько авторитетно, что в таком случае я отменю приказ капитана Ауфбаум.

Видя, что лицо Ольги прояснилось, он тут же спросил:

— А эта, с выщипанными бровями, меховщица?

— Сволочь!

— Простите, я не понимаю этого слова.

Блестя глазами, кривя губы, с какой-то коварной усмешкой Ольга сообщила:

— Эта особа не может внушать вам доверия.

— Благодарю вас. — Вайс встал, щелкнул каблуками, склонил в поклоне голову. Исподлобья глядя, быстро спросил: — Ваш отец полковник? Начальник штаба армии, репрессированный Советами?

Девушка, задыхаясь, кивнула. На шее ее вздулись вены.

Иоганн сказал:

— Будьте, пожалуйста, внимательны ко мне настолько же, насколько и я к вам. — Усмехнулся: — У меня ведь такая сложная миссия. А русская девушка — это загадочная славянская душа.

Ольга нерешительно спросила:

— Но вы из гестапо?

— К сожалению, — сказал Вайс, — не имею чести. Как доложил вам, я унтер-офицер абвера. — Помедлил. — Но это нечто родственное.

— Зачем вы об этом сказали?

— Чтобы была ясность.

Вайс пошел разыскивать Ауфбаум, чтобы дать ей

приказание об одежде для Ольги. Но Ауфбаум, оказыва-
ется, сама разыскивала его, и не одна, а в сопровождении
полковника Сорокина и двух солдат РОА.

Она бросилась к Вайсу, моля спасти, оказать ей мило-
сердие...

Полковник, отстранив капитана Ауфбаум, доложил
Вайсу, с трудом преодолевая одышку, что уже подверг
эзекуции разжалованного лейтенанта Нюрку и курсантку,
которая оказывала ей содействие в истории с унтершарфю-
рером СС.

А сейчас прибыл нарочный с приказом РОА разжало-
вать капитана Ауфбаум в рядовые.

Ауфбаум спросила скорбно, умоляюще глядя на Вайса:

— Что же вы мне посоветуете?

Вайс сказал холодно:

— Я хотел бы задать вам еще несколько вопросов.

— О, пожалуйста. Я вся к вашим услугам, — жалко
улыбнулась Ауфбаум. Губы у нее дрожали.

Оставшись с капитаном РОА наедине, Вайс спросил:

— Насколько я выяснил, вы действовали по прямым
указаниям сотрудника «штаба Вали» господина Гагена?

Ауфбаум только закивала в ответ. Вздволенная и по-
трясенная, она еще не владела собой.

— Если это так и вы можете подтвердить все пись-
менно, ваша вина облегчается.

— Я готова написать сию минуту все, что вы мне
скажете.

— Я вам ничего не говорю. Я вас только спрашиваю,
так это или нет? Если так, будьте любезны подробно изло-
жить все на бумаге.

— О, я так волнуюсь!

Но, несмотря на свое состояние, Ауфбаум очень толково
и мстительно написала донос на Гагена.

Пряча бумагу в карман кителя, Вайс предупредил
капитана Ауфбаум:

— Вас ждал самый суровый приговор. Но вы произвели
на меня настолько благоприятное впечатление, что я счел
возможным ограничиться чисто предупредительными ме-
рами. При условии, или, вернее, гарантии... — Спросил: —
Какие я могу иметь с вашей стороны гарантии?

— О, я же сказала — какие вам угодно! — Ауфбаум,
преданно улыбаясь, подняла руки, чтобы поправить во-
лосы.

— Ну, это вы бросьте! — оборвал ее Вайс. Накло-

нился: — Вы мне дадите сейчас письменное подтверждение тому... — Иоганн на минуту задумался. — Допустим, полковник Сорокин предлагал вам работать на советскую разведку...

— Этот палач на все способен, на все! — горячо заявила Ауфбаум.

— Ну вот и пишите. Можете совсем коротко.

И только когда Вайс спрятал вторую бумагу рядом с первой, Ауфбаум спросила:

— Но зачем это вам?

— Затем, — внушительно произнес Вайс, — что, если вы в дальнейшем вздумаете отказать в какой-нибудь моей незначительной просьбе, это послужит мне гарантией. — Объявил: — А теперь прикажите курсантке с обожженным лицом зайти после ужина ко мне в комнату.

— Ну и вкус у вас! — Ободрившись, Ауфбаум снова превратилась в гостеприимную хозяйку. — У нас есть просто милашки.

— Я не привык повторять.

Более часа Иоганн Вайс беседовал с девушкой по кличке «Штырь». Под конец они уже говорили так: сначала она шептала на ухо Вайсу, потом он ей.

Вайс не узнал ее из-за обожженного лица. Но она сразу узнала его.

Это была Люся Егорова из 48-й школы. Когда-то пионервожатая. Александр Белов был у них в школе на вечере и даже танцевал с ней.

Люся попала в плен, тяжело контуженная под Смоленском.

Вайс, заговаривая с ней, видел, что она вся дрожит.

— Ну, успокойтесь!

— Я спокойна, я очень спокойна. Просто я обрадовалась, что вы не подлец.

Об Ольге она ничего не могла сообщить и очень удивилась, услышав от Вайса, что Ольга старалась выгородить ее, назвав настоящей контрреволюционеркой.

— Странно, — протяжно, беспрестанно вздрагивая, сказала Люся. — Я с ней совсем не разговаривала. Очень странно.

Перед тем как уйти, спросила:

— Я ужасный урод, да?

Вайс сказал искренне:

— Вы по-настоящему красивый человек.

— Не хотите лгать? Ну и не надо. А мне свое лицо не

жалко. Хотя оно было ничего себе. Многие говорили, чтобы я обязательно снималась в кино. Ну, прощайте...

Иоганн наклонился и бережно поцеловал ее изуродованную щеку.

Полковник РОА Сорокин пил чай в комнате Клары Ауфбаум. Встав при виде Вайса, он кивнул на Ауфбаум и произнес снисходительно:

— Вот, жалею Клару Федоровну за ее переживания.

— Ну, хватит! — прервал Вайс. Заявил официальным тоном: — Расследование по делу капитана Ауфбаум прекращаю. Без последствий. А вы, полковник, подпишите-ка сейчас приказ о назначении курсантки Штырь заместителем капитана Ауфбаум по школе и о присвоении ей звания лейтенанта РОА. Исполнение — не позже трех дней.

— А что прикажете с теми, экзекуцированными?

— В лагерь!

Полковник щелкнул каблуками, склонил голову с выкрашенными волосами и вышел из комнаты.

Ауфбаум сказала жеманно:

— Вы спасли мне жизнь.

И, не удержавшись, заметила иронически:

— Однако вы щедры с девицами; чин, должность. За один визит!

— Вот что, капитан Ауфбаум! — сказал Вайс, глядя ей в переносицу. — Хотите продлить свое существование? Научитесь молча выполнять мои приказания, кем бы они ни были переданы.

Разорвал марку. Отдал половину, вторую спрятал в верхний карман кителя.

— Понимаю, — сказала Ауфбаум.

— Вот, давно пора. И предупреждаю: контрразведка абвера ничем не уступает гестапо в применении энергичных средств воздействия.

— Значит, я могу считать себя...

— Да, пожалуйста. Считайте себя кем угодно. Но если третье лицо узнает, кем вы себя считаете, — и РОА, и гестапо, и абвер поступят с вами так, как вы будете того заслуживать.

Дальнейшие распоряжения Вайса касались только канцелярских бумаг.

Он потребовал, чтобы его ознакомили с личными делами курсанток, с приказами по школе, а также с отчетами о действиях агенток, посланных в советский тыл. Над этими материалами он просидел в канцелярии всю ночь.

СОДЕРЖАНИЕ

ЩИТ И МЕЧ

Роман

Книга первая 5

Кожевников В. М.

К58 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 6. Щит и меч:
Роман: Кн. 1. — М.: Худож. лит., 1987. — 479 с.

В том вошла первая книга романа «Щит и меч» о подвиге советского
разведчика в годы Великой Отечественной войны.

К 4702010200-015 — подписное
028(01)-87

ББК 84Р7

Вадим Михайлович

КОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений

Том 6

Редактор **Т. Халилова**

Художественный редактор **Т. Самигулин**

Технические редакторы **В. Кулагина, Л. Синицына**

Корректоры **И. Ломанова, Т. Сидорова**

ИБ № 4200

Сдано в набор 02.01.86. Подписано в печать 03.06.87. Формат 84 ×
× 108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Пе-
чать высокая. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 25,2. Уч.-изд. л. 28,68.
Тираж 100 000 экз. Изд. № III-2262. Заказ 214. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная
литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный
Двор» им. А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Pp. 100.